

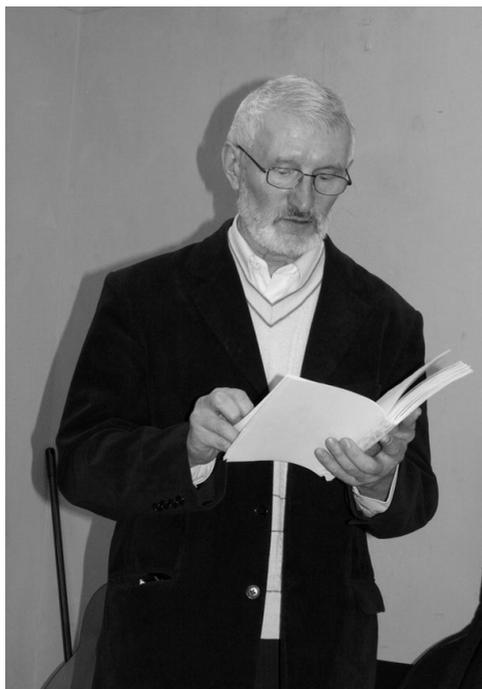
Василий Чернышев

III. ЗАПИСКИ РЕДАКТОРА

Книга первая

**ПРИЗВАНИЕ
ЛИТЕРАТУРЫ**

Посвящается трем музам:
Н. Т.; Н. Е.; Е. Л.



ISBN 978-5-00071-076-0 © В. Чернышев "Призвание литературы", 2017
© «NAPISANO PEROM». 2017

ГЛАВА ПЕРВАЯ НАСИЛИЕ И ЛЮБОВЬ.

1.

31 декабря 2012 г. Мой товарищ Борис О---н был редактором (при этом, на мой взгляд, божественным, я у него учился этому ремеслу-искусству, изучая случайно сохранившиеся у меня листки чужой рукописи с беспощадными зачеркиваниями и исправлениями) сорок лет. Он редактировал и свои произведения, и чужие, полемизировал со мной, в основном меня ругая, то есть *редактируя*.

Наконец он пришел к странному выводу, что авторский текст редактировать совсем не нужно. Нужно, может быть, слегка исправлять вопиющие ошибки написания слов и расстановки интонации и пауз в предложении, но не более того, а как уж автор написал, так и оставлять. А готовил он к изданию Леонтьева, переводил Кастанеду, рвался исправлять мои сочинения.

Тот текст, листочки которого с его исправлениями случайно у меня оказались и послужили моему обучению искусству редактирования, стал лучше, он обрезал все лишнее, торчащее, выпрямил неестественно изломанное, уплотнил водянистое... все стало лучше, если смотреть на каждую фразу как на отдельное художественное произведение, а не кусочек его.

Представьте себе, читатель, *отдельную* деталь человеческого лица, которую вы видите вне целого. Что вы будете делать с этой деталью? Да, вы заметите в ней неправильности, отличия от некоего идеального образа этой детали, который у вас сложился в уме и воображении, и вы перемените это ухо и этот глаз. Но станет ли лицо того человека, которому вы теперь прищиплите этот улучшенный глаз – лучше? Не станет ли оно даже безобразным?

Редактор, правя текст автора, особенно не признанного, приставляет к его строкам микроскоп, видит в них особенно выпукло все волоски и пятнышки, царапины, бугорки, и начинает тереть их наждаком или накладывать какую-то безобразную пасту вместо живой человеческой плоти. Исправляет ли он текст? Или портит, иногда неотвратимо?

Есть общая обывательская аксиома, которая состоит в том, что учиться писать надо у великих. И я этой аксиоме верил, и я у них учился тоже.

Только вот пишут ли великие хорошо? Умеют ли они писать? Или, по крайней мере, все ли они писать умеют? Лучше ли они пишут, чем образованная, тонкая, любящая литературу учительница русской словесности?

Меня воспитывали и учили языку многие. И деревенский народ, среди которого я родился, и книги, и прекрасные школьные учителя (а это были избранные столичные интеллигенты, своею неволею утраченные в страшную Сибирь и там – кому повезло – оказавшиеся учителями), и преподаватели в университете (один из них, сын знаменитого певца, читал нам лекции по астрономии, и меня так завораживал его певучий красивый язык, что я ничего не понимал по существу сказанного).

Помимо книг – просто книг, авторами которых были сотни прекрасных, выдающихся и не слишком выдающихся, но замечательных – русских и зарубежных – писателей, меня учили Избранные, так сказать, представители неба на нашей разнообразной земле. Их тоже было много, но я назову самых великих: Пушкина, Лермонтова, Толстого и Достоевского. Но так как я не только читатель, но еще и волею судьбы возомнил себя редактором, учили меня и писатели особого рода, писатели-редакторы. Помимо Бориса О. и еще одного человека, которого утаиваю, но многому у него учился, учили меня Мережковский, в частности его книга «Голстой и Достоевский», Иванов-Разумник и в особенности его книга «По тюрьмам и ссылкам», и Твардовский.

Начну с последнего. Он был смел и проницателен. Именно к нему попала рукопись Солженицынского «Одного дня» Ивана Денисовича, Твардовский пошел к Хрущеву¹ и уговорил его разрешить печатанье этой повести в Новом мире, главным редактором которого Твардовский был. Текст повести он не правил, кажется только в известном слове предложил букву Ха заменить на Ф². Позже он напечатал в журнале солдатские воспоминания, которые тоже не правил, а только отдельные повторяющиеся абзацы убрал – и наряду с повестью Солженицына это была лучшая публикация журнала.

Большое влияние на меня оказал Иванов-Разумник, который был и сам проницательным и тонким писателем-публицистом и великолепным редактором. Он, конечно, не писал о том, как НАДО редактировать, учили его сочинения в целом.

Что же до непосредственного редактирования, то это мне пришлось редактировать Иванова-Разумника, а не наоборот. Дело в том, что во время войны он оказался в оккупации, потом в США, там написал свои воспоминания, рукопись их пропала, сохранился только экземпляр машинописи, напечатанный не автором, а машинисткой, или на слух, или с рукописи.

Их в живых не было, в 95-м году я захотел Воспоминания опубликовать в журнале, мы получили ксерокопию из Библиотеки Конгресса США и принялись за работу. В машинописи встречались ошибки в словах и темные места в предложениях, и я, конечно, исправлял и то и другое. Более того, отдельные пассажи производили впечатление неправильно понятых (так что, возможно, машинистка печатала на слух), и надо было их как-то изменить, чтобы по возможности вернуть их к исходному состоянию. Я был молод, самонадеян, горяч, и без сомнений и опасений взялся за "редактирование".

После этого я так обнаглед, что начал "редактировать" Кнута Гамсуна. Этот был осужден Шведским судом за сочувствие Германии, тоже оставил книгу Воспоминаний «На заросших тропинках», знакомая переводчица перевела их текст на русский, но прочитав книгу и проникшись духом ее, я уже предлагал ей исправить те или иные абзацы, не зная, разумеется, языка оригинала. Переводчица отчасти меня любила, отчасти доверяла, отчасти боялась, и принимала мои поправки.

Но Борис О. поколебал мою самоуверенность. Да и собственная жизнь меня колебала не раз, и я уж не так самоуверен и сам по себе.

И вот, наконец, перехожу я к Мережковскому, и привожу из его книги «Толстой и Достоевский» длинные цитаты.

Но только что начинается отвлеченная психология не «душевного», а *духовного* человека, размышления, «философствования», по выражению Флобера, «умствования», по выражению самого Л. Толстого – только что дело доходит до нравственных переворотов ... – происходит нечто странное; ... «он ужасно падает»; язык его как будто сразу истощается, иссыкает, изнемогает, бледнеет, обессиливает, хочет и не может, судорожно цепляется за изображаемый предмет и все-таки упускает его, не схватив, как руки человека, разбитого параличом.

Из множества примеров приведу лишь несколько наудачу.

«Какое же может быть заблуждение, – говорит Пьер, – *в том, что* я желал... сделать добро. И я это сделал хоть плохо, хоть немного, но сделал кое-что для этого, и вы не только меня не разуверите *в том, что то, что* я сделал, хорошо, но и не разуверите, чтобы вы сами этого не думали».

Об отношении к болезни Наташи отца ее графа Ростова и сестры Сони: «Как бы переносил граф болезнь своей любимой дочери, *ежели бы* он не знал, что *ежели* она не поправится, то он не пожалеет еще тысяч и повезет ее за границу... Что бы делала Соня, *ежели бы* у нее не было радостного сознания *того, что* она не раздевалась три ночи *для того, чтобы* быть наготове исполнять в точности все предписания доктора, и *что* она теперь не спит ночи *для того, чтобы* не пропустить часы, в которые нужно давать пилюли... И даже ей радостно было *то, что она*, пренебрегая исполнением предписанного, могла показывать, *что она* не верит в лечение».

О лицемерной заботливости жены Ивана Ильича: «Она все над ним делала только для себя и говорила ему, что она делает для себя то, что она точно делала для себя, как такую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно». Вот настоящая загадка. Какое напряжение сообразительности необходимо, чтобы распутать этот грамматический клубок, в котором заключена самая простая мысль!

Другая загадка в том же роде, но еще сложнее и запутаннее: «Досада на жену за *то, что* сбывалось *то, чего* он ждал, именно *то, что* в минуту приезда, тогда как у него сердце захватывало от волнения при мысли *о том, что* с братом, ему приходилось заботиться о ней *вместо того*, чтобы бежать тотчас же к брату, – Левин ввел жену в отведенный им номер».

Это беспомощное топтание все на одном и том же месте, эти ненужные повторения все одних и тех же слов – «для того, чтобы», «вместо того, чтобы», «в том, что то, что» – напоминают шепелявое бормотание болтливового и косноязычного старца Акима. В однообразно заплетающихся и спотыкающихся предложениях – тяжесть бреда. Кажется, что не тот великий художник, который только что с такую потрясающею силою, точною и простотою речи изображал войну, народные движения, детские игры, охоту, болезни, роды, смерть, – заговорил другим языком, а что это вообще совсем

другой человек, иногда странно похожий на Л. Толстого, как двойники бывают похожи, но по существу ему противоположный, его уничтожающий, – что это смиренный старец Аким заговорил после дяди Ерошки, «великого язычника».

Попадаются такие нарушения грамматических правил, которые можно бы счесть за случайные опiski, если бы не повторялись они столь упорно и часто. Например, в четвертой части "Войны и мира": «ему и в голову не приходило, *чтобы* такое веселое для него препровождение времени *могло бы* быть для кого-нибудь не весело». Это «чтобы – могло бы» ошибка, которой не сделал бы гимназист третьего класса, да и все остальные грамматические оплошности Л. Толстого без труда исправил бы учитель русской грамматики. Кажется, что он не обращает на них внимания по преднамеренной небрежности.

Даже та, обыкновенно столь чуткая и требовательная у него, как у всех великих мастеров слова, чувствительность к звуковому построению речи, которую называет Ницше *совестью ушей*, изменяет ему в этих случаях. У него встречаются такие, например, «бессовестные» сочетания звуков: «муж уж жалок». Нельзя себе представить, чтобы после семи переписок Софьей Андреевной, и, следовательно, после, по крайней мере, сорока или пятидесяти просмотров "Войны и мира" самим Львом Николаевичем, все-таки не заметил он этого безобразно шипящего и жужжащего соприкосновения трех ж. По всей вероятности, оно казалось ему «естественным»: разве в живом разговоре люди заботятся о красивом сочетании звуков?

Как будто язык его, этот укрощенный, но все еще вольный и дикий, в лес смотрящий зверь, иногда вдруг возмущается и окончательно отказывается служить. Художник борется с ним яростно, подчиняя чуждому строю мыслей и чувств, ломает, калечит, уродует, втискивая в Прокрустово ложе христианских «умствований». Нет зрелища более жалкого и поучительного, чем эта борьба великого писателя с собственным языком.

И, усмирив его, долго еще не может он простить, насилует его, уже без нужды, из властной прихоти, из мести, точно хватает своими небрежностями, своим презрением к нему. Не только, впрочем, относительно языка – у него особое, свойственное аскетам, щегольство цинизмом, нарушением правил внешнего приличия и пристойности. Он словно говорит читателям: «вам кажется слог мой недостаточно изящным? Как будто я забочусь о слоге! Я говорю, что думаю – мысли мои сами за себя постоят». Но, благодаря именно этому чрезмерному стремлению к простоте, к разговорной естественности, впадает он в тот самый недостаток, которого всего больше страшится – в особый род изысканности, может быть, наиболее утонченной, в «изысканность простоты», если можно так выразиться, в искусственность безыскусственного.

Тургеневу казалась психология в "Войне и мире" слабою. «Какой психолог!» – восхищается Флобер по поводу той же "Войны и мира".

Чем ближе Л. Толстой к телу или к тому, что соединяет тело с духом – к животному-стихийному, «душевному человеку», – тем вернее и глубже его

психология или, точнее, его *психофизиология*. Но, по мере того, как, покидая эту, всегда под ним твердую и плодотворную, почву, переносит он свои исследования в область независимой, отвлеченной от тела духовности, сознательности – не страстей сердца, а *страстей ума* (ибо у человеческого ума есть так же, как у человеческого сердца, свои страсти, не менее сложные и глубокие: Достоевский – великий изобразитель этих именно *страстей ума*), – «психология» Л. Толстого становится сомнительной.

Нельзя не поверить тому, что минута, когда Николай Ростов увидел в водомойне копошившихся с затравленным волком собак, одна из которых держала зверя за горло, была, действительно, «счастливейшею минутою в жизни» Ростова. Но христианские чувства, в особенности христианские мысли Иртеньева, Оленина, Безухова, Левина, Позднышева, Нехлюдова возбуждают множество сомнений. Написанные не только другим языком, но даже, как будто, другим человеком, все эти изображения религиозных и нравственных переворотов выделяются на основной ткани произведения, как заплаты; ясное течение эпоса эти куски отвлеченных «умствований» прерывают огромными, расплывающимися, туманными пятнами; они не вытекают, не вырастают, вследствие непреложной внутренней необходимости, из живого действия и ничего не прибавляют к нему. Их можно бы сократить или даже вовсе исключить, не только без ущерба, но с выгодой для архитектурной стройности всего произведения.

В этих именно местах «психология» Л. Толстого напоминает старинную восточную басню о юноше, который, желая узнать, что заключается внутри луковицы, стал снимать шелуху за шелухою, кожицу за кожицею; но когда снял он последнюю, то от луковицы ничего или почти ничего не осталось. Точно так же Л. Толстой, доискиваясь вечной правды, последнего естественного ядра человеческих чувств, снимает с них шелуху за шелухою, условность за условностью, ложь за ложью; но, в конце концов, от того, что было, может быть, и нечистым и двойственным невинно-порочным, христиански-языческим, но все-таки подлинно живым, понятным человеческим чувствам, несомненно существовавшей «луковицей» – ничего или почти ничего не остается: мы готовы даже усомниться, было ли тут вообще какое-либо чувство, или его не было вовсе, – так что после всех этих психологических раскопок, вылушиваний и обнажений мы знаем о нем меньше, чем до них.

Должно, впрочем, заметить, что вообще в произведениях Л. Толстого художественный центр тяжести, сила изображения – не в драматической, а в повествовательной части, не в диалогах действующих лиц, не в том, что они говорят, а лишь в том, что о них говорится. Речи их суетны или бессмысленны – зато их молчания бездонно глубоки и мудры. «Она была одно из тех животных, – замечает Л. Толстой по поводу Фру-Фру, лошади Вронского, – которые, кажется, не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого». Можно сказать о некоторых действующих лицах Л. Толстого, например, о Вронском и Николае Ростове, что они говорят только потому, что механическое устройство их рта им это позволяет.

У Анны также «нет своих слов», как у Наташи, которая говорит словами мужа, и у Платона Каратаева, который говорит словами народа, изречениями и поговорками. Сколько забываемых, лично-особенных чувств и ощущений Анны Карениной сохранилось в нашей памяти – но ни одной мысли, ни одного человечески-сознательного, личного, особенного, только ей принадлежащего слова, хотя бы о любви.

Итак, я редактор (или Мережковский). Я вижу (а Мережковский видел еще лучше меня) бесконечное количество беспомощностей у Толстого, отсутствие историзма в романе о Войне двенадцатого года, слабость и ходоульность в изображении характеров, вопиющую предвзятость в изображении Наполеона, 28 (двадцать восемь) раз повторенное слово «который» на протяжении только одной страницы – читатель, прочитай книгу Мережковского, и потом скажи мне, что должен бы делать редактор, для которого Толстой еще не общепризнанный великий, а просто автор, написавший чрезмерно толстый роман о войне и принесший его в редакцию? Да до редактора этот роман не дошел бы! Сначала бы рукопись взвесил Издатель и воскликнул в ужасе автору: Вы что, с ума сошли? Кто это будет читать? Сократите раза в три и потом приносите!

И я не отвечаю определенно на вопрос: Хорошо ли пишет Толстой?

Не бросайте в меня камень или книгу, но я осмелюсь сказать, что иногда он пишет чудовищно (по крайней мере, в сравнении с Тургеневым).

Впрочем, что до Тургенева, то я напомним известный эпизод (почти анекдот) который произошел с ним (если только не перепутал я его с Салтыковым-Щедринным, но это не суть важно, оба они равносильно великие стилисты) уже при расцвете его литературной славы.

Племянница-гимназистка попросила дядю написать за нее школьное сочинение, он его написал. Племянница вернулась из гимназии в слезах, ей поставила учительница (и заслуженно, она сочинение разобрала перед всем классом) двойку и велела учиться писать у своего великого дяди.

Так надо ли нам учиться писать у классиков? Или нам поставит двойку не только школа, но и жизнь?

Пушкин издавал журнал «Современник», я с восторгом читал его журнальные статьи (еще учась в школе, когда я не знал, что вступлю на панель... ммм, на стезю... редактора). Не буду писать о нем пространно. Все, что было значительного в первой трети девятнадцатого века, в России и Европе, он оценил исключительно точно (и Рукопись, найденную в Сарагосе, и Метьюрина, и Торо, и Эмерсона, и Мериме, и Баратынского, и десятки !!! других русских поэтов, своих современников, иногда друзей... Он был всеяден.

Правил ли он чужие тексты? А собственные он немало исправлял, перечеркивая, писал на полях, переписывал и дополнял...

Постепенно я стал склоняться к тому, чтобы не подгонять чужие сочинения под собственный вкус, не пытаться завладеть чужим творением, насилуя его, а – ПОЛЮБИТЬ. Или пройти мимо.

(Похоже, я начинаю рубить сук, на котором висит мое призвание. Что теперь скажет автор, слова и строки и абзацы которого я перечеркиваю?)

Недавно я познакомился с работой над романом уверенного в своей силе редактора. Я этот роман читал, и так был увлечен чтением, что не заметил в нем слабостей. С изумлением увидел, сколь зачарован был мой взгляд и сколь холодно-внимателен взгляд «профессионала».

Так что же делать? Надо ли было исправлять Толстого? Надо ли было Мерилин Монро «редактировать» свою внешность?

Не знаю, но узнав об этом, я ее разлюбил. Что-то погасло в моем восприятии ее.

Так все таки, оправдан ли труд редактора?

Я издавал Альманах, был в нем главным редактором, тексты были моих товарищей по «щеху», я их боялся править.

Набравшись смелости, ПЕРЕПИСАЛ статью своего товарища, дал ему на утверждение, он мне позвонил и с удивлением посетовал: Я что-то не нашел, что ты изменил в моей статье? Она вроде бы осталась такой как была?!

У второго автора я не изменил ни одного слова, только переставил несколько запятых.

Он познакомился с моей работой и был в восторге. «Что-то меня мучило, – сказал он, – а теперь все встало на свои места».

И именно он назвал меня гением редактирования.

На этой счастливой новости я сделаю паузу, лягу спать, а завтра продолжу свои размышления. Пусть и читатель остается в неведении, и гадает:

Плохо или хорошо писал Толстой, стал бы лучше его роман, если бы его редактировал даже гениальный, по-видимому, Мережковский?

И оправдано ли редактирование?

Что надо делать?

Ведь для ответа на последний вопрос я и затеял свои «философские заметки».

2.

Перенесемся в наше время. Злосчастная или счастливая судьба сделала меня редактором? Что и как пишут сегодня?

Этого мы не поймем, пока не разберемся с классиками.

Что Толстой писал в значительной части плохо, мне это уже несомненно. Герои его не поднимаются над средним уровнем аристократической толпы, они читают (или не читают) одни и те же книги, в театр ходят реже, чем в гости и на балы, об искусстве, философии и смысле жизни не говорят или говорят глупости или общие места, никто из них не читал Библию, не говоря уж о Гомере, Аристотеле или Зеноне Элейском. Выслушивать их речи, даже в

романе, неинтересно, они скучны, почти глупы... А, впрочем, умен ли обыденный человек?

В любом случае он менее умен, чем даже самый посредственный автор из тех, что дерзают выкладывать свои сочинения для всеобщего обозрения. Умных людей чрезвычайно мало, разговаривать не с кем, вот почему мужчинам приходится пить, а женщинам обсуждать с подругами пьянство мужей.

И это правда. Но, к счастью или несчастью, только одна сторона правды. Человек – ящик Пандоры. Как и толпа. Как и народ. *Отдельный* непонятен, не известен другим, а даже и самому себе. *Отдельные* не делятся строго на две части: слева умники, справа глупцы. Человек закрыт даже сам для себя, и только особые обстоятельства его открывают. Анна Каренина открылась в своих страстях, о которых она даже не подозревала. Некогда ей было глубокомысленно разговаривать, да и с кем? С Вронским, которого сам Толстой называет жеребцом в мундире? Анна бросилась в море страсти, и писатель, суровый по отношению к другим, особенно женщинам, ее в нем утопил. Жестоко и безобразно. Впрочем, он и не искал умную женщину, он не искал ум в женщине, он не искал ум в другом, кроме себя. Впрочем, он сам был, кажется, не очень умен. Достаточно прочитать его статьи о религии, смысле жизни, морали и культуре. Он не любил театр и музыку и не слышал их. Пересказывая оперу Вагнера, которую он слушал (или видел) в театре, он словно рассказывает глупый и пошлый анекдот. Правда, он любил слушать цыганский хор, любил Варю Панину. И это показывает его народность (не любовь к аметистовой певичке, а нелюбовь к другой, более сложной музыке). О чем бы, например, стал бы я сам с ним разговаривать? О бабах? Как вспоминает о разговорах с ним умный Вернадский.

Правда, в воспоминаниях современников и Тургенев и Достоевский предстают скучными и не слишком умными... К счастью, это только часть правды. С большинством своих собственных собеседников я тоже скучен и не интересен, как и каждый из нас, даже самый умный.

В воспоминаниях жены академика Павлова, относящихся к семидесятым годам 19-го века, когда она была невестой тогда еще начинающего ученого и училась на Бестужевских курсах, и Тургенев и Достоевский предстают совершенно в другом свете. Очаровательная и умная девушка устраивала для своих подруг литературные вечера и приглашала на них знаменитых писателей. Они приходили. И сияли умом, образованностью, тактом, вдохновением! Это были лучшие мгновения моей жизни, восхищенно резюмирует мемуаристка.

Так, может быть, и писатели не так уж глупы и не так уж середины, как нам кажется? И девушки умеют не только краснеть, бледнеть, склонять головку и потуплять глазки, но вести даже и философские разговоры?

Да, свидетельствую, девушки даже превосходят в интеллектуальном отношении самоуверенный пол, только скрывают свой ум и свою ученость. И когда не боятся раскрыться – о, сколько ума, сарказма, иронии, глубокомысленности выказывают они в разговорах о самом незначительном

предмете! А о значительном? Однажды я призвал скромную даму в свидетели литературных достоинств моего обожаемого апостола Павла, я прочел ей отрывок из Послания к евреям (разумеется, в русском переводе), на что она заметила, что по древнегречески он звучит сильнее, в доказательство повторила цитированное послание целиком, затем перешла на латынь, чтобы я оценил превосходство оригинала в сравнении с переводами не только на современные языки но даже на древние.

– Может быть, Вы знаете халдейский? – спросил я ее.

– Хуже, чем иврит, – ответила она. – Кстати, на иврите наш автор звучит тоже сильно, но это перевод, писал он преимущественно на древнегреческом, даже Послание к евреям во всяком случае на иврите не сохранилось.

А вы рассказываете анекдоты о блондинках!

Кстати, хотя привлекает нас в девушках и вообще в слабом и прекрасном поле преимущественно красота, но – удивительно и непостижимо – интеллектуальная высокость тоже притягивает мужчину к женщине, производит даже сильное чувственное впечатление, и надо говорить не только о любви с первого взгляда, но и о любви.. если не с первого слова, то с первой законченной речи.

«Красота трагична, женская красота трагична вдвойне!» – это сказала мне девушка.

«А если еще при этом учиться на философском факультете и читать Аристотеля, то приходится чувствовать себя словно прокаженной! Возможно, именно таких девушек сжигали средневековые инквизиторы!» – добавила она со вздохом, побледнела, покраснела, потупила глазки... как видите, читатель, я все еще сражен, хотя и прошло с тех пор почти пятьдесят лет!

Но это пока лирические отступления от темы моих рассуждений.

3.

Итак, в сравнении с Тургеневым и Достоевским Толстой пишет плохо (не говоря уж о Пушкине и Лермонтове, которых можно считать камертонами русской литературы, двумя половинами Млечного пути нашего звездного литературного неба).

Но представим себе, что умный и гениальный Мережковский РЕДАКТИРУЕТ глупого Толстого, исправляет все те его ошибки, о *которых* он нам рассказал, убирает длинноты и повторы, например слово «*который*» на той странице, на *которой* оно повторяется целых двадцать восемь раз, и читатель, *который* спотыкался на этих «*которых*», и *который*, если его в школе хорошо редактировали, ожидал, когда, наконец, отредактирует и Толстого тот редактор, *который*...

Итак, представим себе улучшенный, исправленный вариант романа.

Станет ли он лучше?

Что Мерилин Монро стала «сексуально» привлекательнее после пластической операции, повествуют ее биографы, поверим им. Но "Война и мир" – это не ... ммм, это даже не... эээ... словом... затрудняюсь сказать... Человеки все разные, среди них есть привлекательные, не говоря уж о

красавцах и красавицах. Вглядимся в каждого из них. О, как много можно найти в них недостатков и даже пороков, и даже преступных наклонностей, особенно если подходить к ним пристрастно, как следователь или редактор. Но хотим ли мы подвергнуть редактированию тех из наших близких, которых мы любим, например, буду ли я выискивать неправильности и несовершенства в моих покойных родителях? Я о них писал. А поэтому размышлял о них как и о других своих литературных героях, выдуманных и невыдуманных. Да, если быть математически точным, то не все в них безукоризненно. И в то же время они СОВЕРШЕННЫ! И что самое удивительное, именно несовершенства дополняют их цельный облик и делают их для меня людьми идеальными!!!

Вот так же много я вижу того, что меня отчуждает, в своих обожаемых писателях апостоле Павле и протопопе Аввакуме. Я их не люблю. Я не согласен с многими в их воззрениях (в том, что я считаю именно их собственными воззрениями, а не христианскими взглядами как таковыми – если впрочем, таковые можно сформулировать как некую цельность...) – но они для меня идеальны в литературном отношении, и с грустью я вижу, что не успею достигнуть их высоты.

Роман "Война и мир" – совершенен. Это вершина русского романа. Я его читал. Я проливал над ним слезы. Я не замечал ни ходульности Пьера Безухова, ни глупости Наташи. Вот так же я не замечал никаких недостатков в тех девушках, в которых я влюблялся. А к чему стремится автор? Разве среди прочего не к тому, чтобы его творение полюбили?

Все в этом романе удивительно ЦЕЛЕСООБРАЗНО! И повторы. И штампы. И нагромождения слов в иных абзацах. И историческая неверность многих образов. И путаная философия. И примитивная психология (вот, кстати, избитый штамп о писателе как *инженере человеческих душ* или выдающемся психологе. Особенно часто в психологи, а то и в философы зачисляют Достоевского. Известно, что он «бегал» за Аполлинарией Суловой, которую изобразил затем в романе Игрок, и на которой женился через двадцать лет Розанов. Обоих она свела с ума. Оба они обожали эту порочную женщину – даже я, дамский угодник, называю ее порочной! Понимали ли они в ней хоть что-нибудь? Она ими вертела как хотела. Она исковеркала им жизнь, особенно Розанову. Она им изменяла с кем попало. И после этого они психологи и философы и знатоки человеческих душ? Особенно Достоевский, обозвавший русский народ «Богоносцем», народ, который вскоре переломал, сжег или превратил в конюшни большинство храмов, истребил или закопал живьем в землю сотни и тысячи священников! Ничего они ни в чем не понимали, как и я сам, претендующий всех поучать и даже редактировать. И все же они гении! Как и... Остановись, впрочем, мгновение, а не то в меня точно кто-то запустит если не камнем, то книгой!)

Итак, роман "Война и мир" удивителен вопреки или благодаря своим недочетам, как и многие люди удивительны, хотя не все они ангелы, и некоторые удивительны, потому что почти ангелы, как Тая Ковалева в романе «Обнарв» Наталья Троицкой, а другие удивительны, потому что совсем не ангелы, как Рыжая Мэри в одноименном романе Анны Бартовой.)

4.

Но зато Пушкин и Лермонтов пишут безукоризненно, хотя их никто не редактировал, кроме них самих.

Есть речи – значение
Темно иль ничтожно,
Но им без волнения
Внимать невозможно.
Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово;
Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду.
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу,
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.

Редактор журнала «Отечественные записки» А. А. Краевский вспоминает:

Я смотрю и говорю: «Да здесь и грамматики нет – ты ее не знаешь. Как же можно сказать «из пламя и света»? Из пламени!» Лермонтов схватил листок, отошел к окну, посмотрел. «Значит, не годится?» – сказал он и хотел разорвать листок. «Нет, постой, оно хоть и не грамматично, но я все-таки напечатаю». – «Как, с ошибкой?» – «Когда ничего придумать не можешь. Уж очень хорошее стихотворение». – «Ну черт с тобой, делай, как хочешь», – сказал Лермонтов».

... Однако во многих русских говорах, в разговорной речи и, главное, в художественной практике ряда русских писателей XVIII – начала XIX века, как об этом писал известный исследователь русского литературного языка Л. И. Булаховский, слова «имя», «время» и подобные им склоняются по образцу «поле». Живые народные формы этих слов относительно свободно употребляли Кантемир, Радищев, Державин, Крылов, Лермонтов и даже позднее Л. Н. Толстой в «Войне и мире».

Ну, как после этого относиться к редакторам? Становится стыдно, что и я принадлежу к этим «демонам глухонемым» (слова Тютчева).

Набило оскомину утверждение, что Пушкин – создатель русского литературного языка, что он – вершина русской речи и русской поэзии.

Школьники искренне считают, что до Пушкина все говорили и писали как Ломоносов, Тредьяковский, Державин. Правда, некоторые школьники даже думают, что до Пушкина в России не было книгопечатанья.

Прочитаем стихи Жуковского, ну, например, поэму «Светлана» 1813 года, Пушкин только пробовал себя в стихотворстве.

Раз в крещенский вечерок
 Девушки гадали:
 За ворота башмачок,
 Сняв с ноги, бросали;

 Взором счастливый твоим,
 Не хочу и славы;
 Слава – нас учили – дым;
 Свет – судья лукавый.
 Вот баллады толк моей:
 "Лучший друг нам в жизни сей –
 Вера в провиденье.
 Благ зиждителя закон:
 Здесь несчастье – лживый сон;
 Счастье – пробужденье".

Или стихотворение Батюшкова 1817 года:

Как счастье медленно приходит,
 Как скоро прочь от нас летит!
 Блажен, за ним кто не бежит,
 Но сам в себе его находит!
 Разве это не современная речь, не современная поэзия?

У меня есть Учебник физики **1812** года.

Если говорить о совершенстве языка, то именно этот учебник написан языком совершенным, например:

«*Тоны*, коих отношения к начальному тону ухо может легко различать, производят *согласие звуков*. Сюда преимущественно относятся *октава, квинта и кварта*.» [интервалы шириной в восемь, пять и четыре ступени.]

И, наконец, совсем уж я был потрясен, разочаровавшись в преимуществах языка писателей перед языком обычных смертных, когда заглянул в многочисленные журналы двадцатых-пятидесятых годов девятнадцатого века. Там публиковались научные статьи, рецепты солений и варений, записки об охоте и ужении рыбы, о ягодах и грибах, об устройстве жилищ и огородов, о сватовстве, празднествах и тысяче других мелочей повседневного быта. Авторами сих заметок были мелкопоместные дворяне, гимназисты и семинаристы, студенты, военные, служащие... И я увидел, что наша литература – это просто городской отводной канал от великой реки провинциальной общественной словесности, только если сравнить эту журнальную словесность с нынешним Интернетом, то та река была наполнена

водой родниковой, а нынешняя – водой сточной. Писатели писали совершенно на том же языке, на котором писали еще миллионы их читателей, иногда пишущих тоже в провинциальных журнальчиках и газетах. Не языком они различались между собою, а чем-то другим... И учительница гимназии, поставившая племяннице Тургенева двойку, следовательно, была владелицей языка не худшего, нежели сам Тургенев. Что это так, доказывают нам граммофонные пластинки, в сотнях образцов песен и романсов начала двадцатого века донесших стиль и выговор языка музыкального. А эти сотни и тысячи исполнителей были рядовые певцы и актеры, не только Собинов и Шаляпин, Вяльцева или Плевицкая.

Да, вот почему редактор в 19-м веке был не нужен – пишущие были образованны как и он.

А сегодня?

И я задумался. Может быть, нас еще рано отправлять в утиль?

Ибо хотя Пушкин и Лермонтов писали безукоризненно, хотя их никто не редактировал, кроме них самих, но все ли мы сегодня пишем безукоризненно?

5.

Итак, язык Толстого временами чудовищен.

Я повторяю сии слова, чтобы не оскорбилась авторша, о языке которой я эти слова повторю, ибо она и впрямь временами пишет даже хуже Толстого.

В ее речи повторы так же часты, как и запятые, которые я находил даже в середине слова.

В ее речи невероятное количество штампов (как и у всех, надо заметить, ибо: «слава богу, с богом, пошел к черту, бог с тобой, ни к селу ни к городу, до каких пор, неспроста, надо заметить, ну и ну, вот те на, разве так можно, да что вы говорите, подумаешь, тоже мне, ...») и тысячи других выражений – это все языковые штампы, которые язык производит для сокращения усилий говорящего, мы не соединяем слова в некоторую нужную нам конструкцию, а прямо машинально пользуемся ими.)

В ее речи ходульные выражения, то есть те же штампы, но уже затертые от непрерывного использования – кем? Эпигонами!

Например: «как говорится, лиха беда начало, ...» – ну, читатель найдет их и сам.

Редуцирование выражений в речи автора, сдвигающее ее в сторону речи разговорной, например: ...

Неправильное согласование падежей (что легко замечается, поэтому сей недостаток я исправил): «Сидя за столом, к ней вошли в дверь».

Неправильное согласование времен...

Чрезмерное использование метафорических и сильных выражений, точнее сказать, гипербол: он зарычал, выкатил глаза, прыгнул, влетел, зарыдал, закрипел зубами, в бешенстве, ненавидяще, злобно, горячо, ужасно, затрясся, съезжился, стиснул зубы, ... – но, с другой стороны, а что в этом плохого? Ну: «В голову Мэри ударила кровь, глаза яростно впились в беглецов. Что было сил, она закричала им вдогонку редкостные, отборные ругательства, употребляемые не так часто даже разбойниками.»

Язык ведь определяется жанром произведения, и если двое влюбленных на скамейке, то разве не естественно «шопот, робкое дыханье, трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья», над чем потешался Маяковский, у которого «Обутые лодочкой качает ноги водочкой.» – тоже великолепно, но не для влюбленных.

Редактор прежде всего читатель.

И я придумал такое правило:

Если при чтении не замечаешь ничего, пропускаешь и штампы и повторы и запятые, значит – НИЧЕГО НЕ НАДО ПРАВИТЬ, надо оставить все как есть, потому что ты, редактор, сделаешь все хуже.

Читаю: «Солнце кланялось к закату.» Очевидно, автор перепутала глаголы КЛОНИТЬСЯ и КЛАНЯТЬСЯ.

Я оставил эту фразу в следующем виде: «Солнце кланялось закату».

Мне не написать такой роман, какой написала она, неистовый, kloкочущий, с визгами и выкриками, звоном шпага, выстрелами из мушкетов, выпученными и горящими глазами... но я останусь в истории русской литературы хотя бы тем, что сохранил для нее это прекрасное выражение, лучше которого о заходящем солнце не скажешь.

Это русская стивенсонка! – воскликнул я.

Дети и подростки, старцы, сохранившие детское в душе, и бабушки, вспоминающие молодость – все будут с упоением читать о приключениях Рыжей Мэри, да простит меня автор, что я все же не осмелился сказать, что она пишет лучше Толстого!

Книга ее удивительна – не только тем, что она захватывает как банда пиратов, в плен, и уже не отпускает, пока не выпотрошит душу, но и силой, живостью, точностью и разнообразием характеров. ВСЕ НЕПОХОЖИ один на другого. Появляется персонаж на четверти листа – и мы его помним до гробовой доски.

Характеры даже развиваются, ее Макбет раскаивается, а Отелло одумывается, Яго перестает клеветать, а пираты уходят в монастырь спасать душу, и всему этому веришь, потому что она убедительна, и я сам встречал их в монастыре.

Она пишет: "медленно вставало ленивое солнце".

"Этот день начался безоблачным ясным небом и ярким теплым солнцем."

"Солнце кланялось закату, розовые облака быстро плыли к горизонту, северный ветер усиливался, угрожая бурей. Волны, окрашенные заходящим солнцем в фиолетовый цвет, поминутно нарастали, обдавая корму белой пеной. Далекие чайки искали ночлега на редких скалистых каменных островах. «Победа», горделиво покачиваясь на волнах, неторопливо плыла, подгоняемая ветром. Французское судно, крепко соединенное с пиратским кораблем, трещало и изнемогало от двух с половиной сотен тяжелых ног захватчиков. Намного дальше от «Победы», там, где человеческий глаз уже не мог ничего различить, там, где небо и море сливались воедино, там, где волны были особенно сильны, а скалы остры, спасались с тонущего судна несчастная команда и их пленники."

6.

До того, как судьба занесла меня в редакторы, я был учителем. Вспоминаю часто эти блаженные дни и годы, десятки горящих глаз и открытых ртов, как у цыплят, тишина на экзамене и на контрольной, гул голосов, когда я вызываю кого-нибудь к доске, слезы в глазах в ожидании двойки (впрочем, рука моя застывала в воздухе – нет, не в силах я был поставить двойку!), *трели соловья* в предвкушении пятерки, разбор и исправление ошибок, решение трудной задачи – абсолютно все совпадает с тем, что теперь. Учитель – это Редактор (только вместо текста он редактирует умы и души), а Редактор – это учитель, он демиург, он почти создатель вселенной и хозяин рая. Особенно наглядно сравнение, когда писатель – женщина. Оставить ее в раю, эту лживую Еву, или изгнать вместе с ее героями?

«Абсолютная власть развращает абсолютно», а нет более абсолютной власти, нежели власть Редактора. Только любовь притупляет меч в руках повелителя. Посему я надеюсь, что влюбившись в Рыжую Мэри, я не слишком много причинил ей вреда своими самоуверенными указаниями, тем более, что временами оказывался в плену я сам.

Но все же, современная литература существует и плодоносит в принципиально других условиях, нежели в благословенном девятнадцатом веке. Писательский кружок – это оазис, вне его – общество. Тогда оно говорило на том же языке, что и посетители какой-нибудь Зеленой лампы. А сегодня? Сегодня за границами оазиса – пустыня и подворотня, улица, сточная канава, гастарбайтеры, еще не овладевшие даже ненормативной лексикой, школьники из неполных семей, студенты, купившие место под солнцем. Некоторые из них умеют складывать дроби, большинство – нет.

И кажется, что если писатели – учителя народа, то редактор – учитель учителей. Тем более что оазисы заносят пески, и как научиться правильно говорить, когда песок скрипит на зубах?

И все же...

Только что я прочитал обширное исследование Текста, предпринятое редактором-хирургом. Он его вскрыл, косточки отделил и сложил слева, мягкие ткани справа, сухожилия и прочие мелочи выбросил (забыв, что у романа есть душа!) А этот же текст я перед тем тоже читал. Но ничего не заметил. Потому что был очарован. О, сирена! Так не только для Одиссея твой медоточивый голос, но и для соблазнения нестойких редакторов?! Или, если я уснул и видел сны, которые ты мне напела, то и не просыпаться, и не приставать с правилами грамматики, логики и психологии? Они – для людей, но не для небожителей, творцов воображаемых миров, более достоверных, чем миры действительные? Это я говорю о романе «Обнаров», но это же справедливо и об «Осколках памяти» Натальи Ефремовой, это же справедливо и для русской стивенсонки, Рыжей Мэри (меня, каюсь, последний роман так сбил с толку, что я уже не пойму, кто из них автор, а кто пиратка, «гроза морей»?)

И все же, среди почти бесконечного количества упреков, высказанных в отношении одной из любимых (да и другой тоже), хотя бы некоторые надо мне разобрать.

(Да простят меня редакторы! Я не утверждаю, что они не правы и не попытаюсь обосновать их неправоту. Но если Мережковский не стал исправлять Толстого, так, может быть, НЕ НАДО непременно исправлять и сегодняшних авторов – некоторых из них? Почему не надо исправлять Толстого? Потому что он гений? Не только поэтому. А прежде всего потому, что роман – ЛИЧНОСТЬ. В каждой личности много неправильностей. Некоторые из них **НУЖНЫ**, как соли нужны воде. Дистиллированная вода не только невкусна, но она ядовита! Может быть, исправлять роман – это то же самое, что заменять естественное зачатие (безобразное и порочное, с точки зрения христианского редактора) зачатием НЕПОРОЧНЫМ? Но ... Однажды это удалось, когда редактором был БОГ-Отец, а теперь... Не собирается ли редактор заменить Создателя?

Итак.

Эпизод первый. Прилетает черный аист. Редактор недоволен. Автору, по его мнению, надо было ввести читателя в историю проблемы, показать значение черных аистов в русской мифологии, ввести специальных персонажей и так далее...

Но дадим слово Мережковскому:

У княгини Болконской, жены князя Андрея, как мы узнаем на первых страницах "Войны и мира", «хорошенькая, с чуть черневшимися усиками, *верхняя губка* была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю». Через двадцать глав губка эта появляется снова. От начала романа прошло несколько месяцев; «беременная маленькая княгиня потолстела за это время, но глаза и *короткая губка* с усиками и улыбкой поднимались так же весело и мило». И через две страницы: «княгиня говорила без умолку; *короткая верхняя губка* с усиками то и дело на мгновение слетала вниз, притрагивалась, где нужно было, к румяной нижней губке, и вновь открывалась блестящая зубами и глазами улыбка». Княгиня сообщает своей золовке, сестре князя Андрея, княжне Марье Болконской, об отъезде мужа на войну. Княжна Марья обращается к невестке, ласковыми глазами указывая на ее живот: «Наверное? – Лицо княгини изменилось. Она вздохнула. – Да, наверное, – сказала она. – Ах! Это очень страшно»... И *губка* маленькой княгини *опустилась*. На протяжении полтора ста страниц мы видели уже четыре раза эту верхнюю губку с различными выражениями. Через двести страниц опять: «Разговор шел общий и оживленный, благодаря голосу и *губке* с усиками, поднимавшейся над белыми зубами маленькой княгини». Во второй части романа она умирает от родов. Князь Андрей «вошел в комнату жены; она мертвая лежала в том же положении, в котором он видел ее пять минут тому назад, и то же выражение, несмотря на остановавшиеся глаза и на бледность щек, было на этом прелестном детском личике с *губкой*, покрытой черными волосиками: «Я вас всех люблю и никому дурного не сделала, и что вы со мной сделали?»

Интересно, стал бы давать современный редактор советы писателю (не зная, например, что это Толстой), если бы он наткнулся на эту губку с черными усиками?

Эпизод второй.

Герой должен войти в сцену. Для этого его надо ввести в неё, затем провести действие с ним, и, обязательно, после, вывести. Как это будет сделано – сила и труд таланта.

Ничего не понимаю.

Вот я каждый день встаю с постели, хожу по комнате, выхожу из нее, одеваюсь, и так далее. Иногда (когда я пьян – хотел было добавить для красного словца «а пьян я всегда!») – но это неправда, так что красным словом придется пожертвовать) я хожу запинаясь.

Итак, я хожу, и мне это удается. Почему? Потому, что я не знаю, как НАДО ходить. Тогда бы точно, сделав два шага, я запутался бы и упал. Автор НЕ ДОЛЖЕН знать, как надо писать стихи и прозу, как НАДО говорить, а редактор не должен учить автора, как НАДО писать. Этому учаг в ЛитОбъединениях, чтобы было перед кем покрасоваться. Учить литературному мастерству не только невозможно, но и вредно!!!!

Вот почему я занимаюсь только тем, что вытаскиваю запятые из середины слов, а больше ничего не делаю.

Я даже не говорю, что надо писать ХОРОШО. Черт его знает, может быть и это не надо. Литературное творчество – почти то же таинство, что и объятия и поцелуи. Если кто-то вздумает учить объятиям и поцелуям, его надо тут же сжигать на костре. Для острастки. Каждый целуется как может. Каждый и пишет как может. Если он МОЖЕТ написать лучше, он пишет лучше.

Тогда зачем нужен редактор? Что именно делаю в качестве редактора я сам? Или я тоже не нужен?

Об этом я еще напишу.

А пока, повторяю, зачем и как летают черные аисты, автору виднее. Когда и как плакать Обнарову, автору тоже виднее. Вот и я сам плакал. Тогда же, когда плакал Обнаров. Значит, ГЕНИАЛЬНОСТЬ (то есть ДУХ) не изменили автору, и она ни разу не ошиблась.

Эпизод третий. Таисия на работе в кафе.

Например, деталь: "*В закускойной были обычные для этого времени посетители*".

Снова неподготовленная сцена! Соответственно, совершенно непонятно, о каком времени идёт речь, и – естественно, кто такие эти самые "обычные для этого времени" посетители?

Меня это уже начинает умилять.

Открываю текст романа. Хотя – какая разница, *это время* – пять часов или шесть, и что значит, что посетители были *обычными*? Если бы важна была их необычность, тогда автор на них бы остановился. А так – посетители пока не важны. Тем более что те, которые ВАЖНЫ, войдут позже.

А пока... «– Ковалева, уже восемнадцать тридцать. Опаздываешь! – рывкнул бармен.»

Я думаю, что если бы бармен просто рывкнул, что она опаздывает, не указывая на точное время, читатель ничего бы не потерял. Это ТОЧНОЕ время в дальнейшем никак не сказывается на течении событий.

Возможно, автор указал время уже после того, как на нее рывкнул редактор?

«Мои дорогие! – хочется мне сказать авторам, которых я редактирую. – Меня вы не бойтесь! Я вам ничего плохого не сделаю.»

"Сугробы до подмышек!" "Коснулся лбом её виска".

Редактор уверяет, что так писать нельзя... Не знаю, что и сказать. Я вовсе не обратил на эти выражения внимания. В Уголовном кодексе соответствующей статьи нет.

Далее Редактор учит автора, как надо и как не надо писать. Мне это показалось весьма поучительным в том отношении, что я теперь буду внимательнее следить за собственными поучениями. Не производят ли они впечатления, что я усаживаю автора за парту в первом классе ЛитСтудии, обещая, что по окончании школы мы с нею этот роман допишем?

Относитесь к автору, как к девушке, обращаюсь я к себе и к редакторам. Необходимо, чтобы она не сбежала с первого же свидания, поэтому вы должны быть ИНТЕРЕСНЫ и соблазнительны.

Да, редактор не Создатель, он – Дьявол-искуситель, он является к Маргарите и к Фаусту, он должен им предложить нечто такое, что они готовы будут отдать ему даже свою бессмертную душу, только в этом случае имеет право он обращаться к ним с поучениями.

Итак, не буду дальше разбирать возражения «историка-христианина» на историческую действительность. Вот менты, например, своих не сдают. А что это я напустился на своего собрата? Тем более, что я у них у всех прохожу ШКОЛУ редактирования, и у тех, кто и меня ругает, а не только авторов, иногда даже жестоко, тем более.

Пока хватит.

Я еще собираюсь написать небольшую статью о Русской литературе в новом веке, возможно, именно в ней я попытаюсь или смогу написать, оправдан ли труд редактора, чем он может ПОМОЧЬ автору (и читателю) и должен ли он читать тексты только авторов гениальных?

Правда, на последний вопрос отвечу сразу. Среди моих учеников были те, кто совершенно не способен был понимать математику. И я с ними возился дольше, чем с понимающими.

Post scriptum. Тот ли я редактор, которого некоторые знают по совместной работе, не гадайте. В этих записках, разумеется, подвизается другой герой, даже если случайно он прописан по тому же адресу, что и тот самый редактор. Но это другая ипостась известного вам человека, и они совсем НЕСЛИЯННЫ (хотя, быть может, отчасти и нераздельны, как нераздельны жена и муж).

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОБЫДЕННОСТЬ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ.

1.

Иногда мне кажется, что некоторая магическая полнота Знания является человеку лишь на заре его жизни, лет в шесть-семь. Это не знание деталей мироустройства или физики и химии, а словно бы интуиция восприятия и переживания. Глубоко чувствуются небо и звезды, цветы, животный мир, чувства, связывающие людей. Зарождается любовь и дружба, и неизвестно, сильнее ли они переживаются потом, когда мы вырастаем. Конечно, страсти мы узнаем позже, но вот эту тихую музыку чувств слышим так чутко только в детстве. Хотя... бывают в нем и страсти... Как дитя любит своих родителей, как он привязан к матери, как волнуется за нее – так не волнуется он, становясь взрослым. Узнаёт шести-семилетний ребенок и про любовь к противоположному полу. И мне ангелы предлагали не раз «руку и сердце», то порываясь «выйти за меня замуж», то – стать подругой. Я об этом пишу потому, что в дальнейших рассуждениях о любви и, как ни странно, о редактировании буду опираться на воспоминания о такой вот чистой и небесной детской любви.

Соединяя вместе несколько таких воспоминаний, пытаюсь представить в них самое характерное и важное.

Во-первых, зарождение симпатии иррационально и мгновенно, обычно это, как ни странно, «любовь с первого взгляда».

Во-вторых, «свидания» проходят духовнее и душевнее, чем у взрослых. Почти отсутствуют «шопот, нежное дыханье...», она, в отличие от себя семнадцатилетней, много говорит и заставляет говорить друга, задает ему уйму вопросов, слушает его внимательно и впитывает в себя его ответы. Придумывает игры и заставляет своего кавалера в них участвовать, бегать и прыгать, и бросать камешки... Пишет или рисует, загадывает загадки, рассказывает стихи, рассказывает о себе, о друзьях, о родных, происшествиях и чувствах, одна такая Ева (ее так и звали) с горечью рассказала мне о своей несчастной любви к мальчику в первом классе, который носит сумку другой девочки, а на Еву не обращает внимания.

Внимательно выслушала она и мои жалобы на невнимание ко мне девушек и вынесла приговор: Не переживай! Они тебя просто не стоят!

А теперь вернемся к предыдущей части моих полуфилософских очерков и припомним чарующие образы двух толстовских героинь, которыми бредили многие читатели-юноши: Наташу Ростову и Анну Каренину.

Отчасти в играх участвовали и они, если ассоциировать с играми танцы на балах. Но не припомню, чтобы они рисовали, читали стихи, читали романы и вели философские разговоры со своими кавалерами.

Толстовские героини *молчали, бледнели, краснели, вздыхали, опускали*

ресницы, загадочно улыбались и, наконец, падали в объятия своих избранников.

Разумеется, это отчасти характерная черта именно толстовских героинь, но не слишком от них отличаются героини и многих других любовных романов, даже наших собственных, читатель.

Говорят, что *жизнь – театр*.

Отчасти это верно. Только, к сожалению, жизнь отличается от театра в худшую сторону.

В театре разыгрывается пьеса, как правило, талантливых авторов, играют гениальные актеры, к тому же ее еще редактируют, сам автор или режиссер, проводится множество репетиций, затем устраивается генеральный просмотр... а в жизни? Даже если мы талантливы, все же на сцене жизни мы вынуждены импровизировать, она нам не разрешает переигрывать, исправлять, делать дубли (как в кино), режиссер нам не подсказывает, зрители равнодушны.

И вспомним, о чем говорят влюбленные в театре?

НИ О ЧЕМ!!!

Может быть, они вспоминают стихи Лермонтова, Тютчева, Блока, цитируют Аристотеля или Канта, анализируют Декарта и Фихте?

Нет. Они, правда, тоже о чем-то говорят... Но когда они молчат, они интереснее. Все, кроме Гамлета. Это единственный интеллектуальный герой среди бесконечного множества злодеев и святых, проходящих по сцене.

И напрашивается вывод, что в театре жизни (как и в театре) участвуют не духовные образы людей, а их односторонние изображения: характеры, воли и устремления, мечтания, нравственные представления и ... ТЕЛА. Но только не полнота личности, соединение духовного, душевного, интеллектуального.

Особенно в любви.

Если в семь лет любят *души*, то потом, когда любовь словно бы становится самою собою, подлинно любовью (ибо что такое детская любовь, думает читатель? Так, детский лепет), любят словно бы только ТЕЛА. Правда, действительно ли они любят? И ждет ли их, в конце концов, счастье? То есть... ну, скажем, СОУЧАСТИЕ во взаимной духовной жизни, а не только в семейной повседневности?

Каков результат мечтаний Долли, Наташи, Анны? У первых двух пеленки, у третьей ...

Или счастливее герои в романах Достоевского? Или в Поэмах Пушкина? Или в Поэме Грибоедова? Не говоря уж о драмах Островского...

2.

Но это все был девятнадцатый век, тот идеальный век русской литературы, на который я молюсь. Тот, как теперь думают православные, идеальный уклад христианской жизни, когда в мире царствовала та любовь, которую поставил перед нашим взором апостол Павел, в которой не должно было быть ничего чувственного, телесного, где истинно было не прикасаться к женщине (ибо это было грехопадением – а если не было грехопадением, то почему нельзя было прикасаться?), и уж в крайнем случае, если не

удавалось обуздать свою чувственную природу, то надо было свести прикосновения к минимуму, прикосаться только к одной и только для рождения ребенка).

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.»

Но это любовь духовная, в которой не только нет ничего чувственного, ничего родового, нет пола и тела, но нет и действительной жизни.

Правда, возможно, именно такой любовью мы любим в семь лет!

И она тоже существует, вопреки тому, что я только что сказал, по крайней мере в литературе. Такова любовь к Богу, такова любовь к своим братьям и сестрам тех, кого преследовали за веру. Так любили неистовый Аввакум и мученица боярыня Морозова.

Мы же, грешные, любим несколько иначе, и в нас пребывает весь спектр любовных страстей, от томления только телесного до страсти только духовной.

3.

И странно мне, что в то время, когда телесное изгонялось, а духовное одно прославлялось, героини Толстого любят так странно – страстно и самоотверженно, но словно бы страсть и самоотверженность имеют источник только в теле. Любят так, как возможно любить в тюрьме, где узник если и увидит женщину, то уже другой женщины ему увидеть не удастся, и разве лишь взглядами обменяются они, так когда уж им читать стихи и беседовать?

Что же тогда *полюбляет* в них?

Я не судья, не знаю.

Но судьей является писатель, и у Толстого мы несомненно узнаём, что страсть Наташи Ростовской к Анатолию Курагину никаких духовных оснований не имела, а была только томлением тела, и страсть Анны Карениной была безусловно греховной, за что властью своею Толстой ее и осудил.

Так что же такое наша земная любовь?

Боюсь, что читатель, воспитанный на классической литературе, получает о ней довольно превратное представление.

Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Манон Леско, Травиата, Настасья Филипповна, Анна Каренина, Леди Макбет Мценского уезда...

Есть ли у них хоть что-нибудь похожее на ту любовь, о которой писал апостол Павел?

Жизнь можно сопоставить с толщей речной воды. В реке есть еще некие подводные течения, есть омуты, заводи, водовороты – но они исключительны, а вся масса воды более или менее однообразна. Романы Толстого и большая часть классической литературы девятнадцатого века реалистичны в высшей мере, они передают именно эту толщу, эту массу реки точно и верно, она

словно протекает через них, они – инструмент, на котором река жизни играет, они зеркало, в котором река жизни отражается. Вот почему впечатление некоторой обыденности и усредненности остается от героев – они слишком типичны, сами по себе они НЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ из ряда жизни.

Но тогда в них ли тайна жизни, истина жизни, истина любви?

В математике есть одна странная особенность. Сущность математических идей, ее подлинное важное содержание открывается только как *исключительное* – точка перегиба, точка экстремума, касательная, ось симметрии, *особое* решение дифференциального уравнения, *предел* функции, непрерывность и разрыв. Бесконечность точек кривой, в которых не происходит ничего исключительного, словно бы не существуют. Например, в параболе замечаются только *вершина* и ось симметрии, все остальное словно бы несущественно. И поэтому мириады обыденных точек кривой существенного о ней ничего не говорят, существенное – в точке *разрыва* или *экстремума*. Возможно, интуитивно именно поэтому писатель, даже повествующий о типичном человеке, показывает его в моменты излома судьбы: любовь, измена, смерть, здесь даже заурядное проявляется всем самым существенным в себе. Но и *тип человека выявляется в исключительном*, вот почему мы судим о человечестве не по миллионам таких как все, а по Дон-Кихоту, Дон-Жуану, Ставрогину и князю Мышкину.

«Правда жизни», как мы ее видим каждодневно – это человек заурядный в заурядных обстоятельствах – но мы почему-то ею не удовлетворяемся, и находим высшую правду в Жанне Д'Арк и в Гамлете.

Итак, что же такое наша земная любовь?

Русская литература достигла своей вершины в девятнадцатом веке, она показала нам, казалось бы, всю бездну человеческого, и все же она не ответила нам на главные вопросы бытия – ни что такое любовь, ни в чем смысл жизни, ни что есть истина.

Или, если отвечала, то только повторяя «зады», цитируя Библию или Новый завет, «лучше человеку не касаться женщины», «жена да убоится мужа», или «Жены, повинуйтесь мужьям своим... Дети, будьте послушны родителям вашим во всем... Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти...» – итак, только одно: *жены, дети и рабы – должны быть послушны!!!* – какая тут может быть любовь по влечению сердец, любовь душевная, духовная, небесная? А если и возможна любовь, то только любовь-страсть, греховная, распутная, осуждаемая, отвергнутая Богом и боголюбивыми людьми. И только у Пушкина прорывается вполне человеческое чувство, влекущее противоположные полюса друг к другу, а затем у Тургенева оно прославляется и торжествует.

4.

Советскую литературу я любил недолго. Вскоре, окунувшись в ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, я ее разлюбил. Потом даже стал ненавидеть.

Ибо не найдя ответа, что такое любовь, у Толстого и Достоевского, в советской литературе я не нашел даже ее изображения, не нашел, какою она бывает, какова она в жизни, равно и того, какова эта самая жизнь – в жизни.

В ней было все воображаемое. Человек был заменен деталью производственного процесса, любовь двух странно напоминала любовь христианскую, правда, как шарж. Это было соединение братьев и сестер по партии и производству, по борьбе с контрой или за царство Божие на земле, странно все отдаляющееся, несмотря на реки крови – и прежде, и теперь.

Но, может быть, если речь в ней не шла о том, какова жизнь, какова любовь, то речь шла хотя бы о том, какими они ДОЛЖНЫ быть?

Увы, даже этого я в ней не нашел.

5.

Наконец, наступило НОВОЕ ВРЕМЯ, время хотя бы ограниченной свободы, особенно в том, что всегда человеком осуждалось, то есть свободы творчества и блуда. Одновременно появилась и новая литература. Часть ее напоминала часть литературы начала двадцатого века с ее рисованными персонажами и отсутствием... ммм... всего: сюжета, смысла, содержания... Другая часть повторяла худшее в литературе римской времен упадка или в литературе раннего возрождения. Яркими образцами служат кумиры читателей, некто Бн и Пн (не хочу лишний раз повторять имена нечистой силы). У них, разумеется, ответов найти невозможно ни на какие вопросы, да и вопросы задавать не о чем.

Но если даже из-под асфальта прорастает трава, и на каменной гряде возрастают деревья, то в обществе лишь наполовину тоталитарном и деспотическом, хотя и растленном более, нежели при власти прежних тиранов, литература должна была прорасти – и она проросла!

Я познакомился, вероятно, лишь с небольшой ее частью, но надеясь, что почему-то заслужил внимание неба, верю, что не дает оно мне проходить мимо всего значительного в русской культуре, и из многих тысяч новых произведений достаиваюсь я чести столкнуться с лучшими. Конечно, не только любовь меня интересует, а и другие чувства и идеи и другие литературные жанры, и я назову несколько имен авторов и произведений, но подробнее пишу о них в заметках, посвященных каждому произведению отдельно, здесь же ограничиваюсь некоторыми общими замечаниями – о смысле любви, о смысле литературы, о смысле труда редактора.

Два года назад вышли в свет повести Анастасии Поповой, в интернете разбросаны и ее стихи – и хотя прошло уже два года, но я их не забыл и не забуду и через двадцать лет, и обязательно о них напишу. В них есть все – и что такое любовь, и как горестно любить, и стоит ли и зачем жить на свете, высшая ли ценность – жизнь или есть нечто, во имя чего даже жизнью можно пожертвовать!?

В прошедшем году три ярких метеора прочертили небесный литературный свод: Рыжая Мэри Анны Бартовой, Осколки памяти Натальи Ефремовой и Обнаров Натальи Троицкой. Две из этих трех книг вызвали чуть ли не гнев людей знающих (пишу это без сарказма), во многом гнев справедливый – но, читатель, не большую ли ярость вызывал Шостакович («сумбур вместо музыки»), Анна Ахматова, Зощенко и Платонов, Пастернак и Солженицын, Высоцкий? Не оглушительный ли провал сопровождал

некоторые оперы Верди? Не смехом ли и молчанием была встречена живопись импрессионистов? Да и тысячи других произведений встречали противодействие и неприятие. Но ликование сопровождало Сальвадора Дали, художника, выпавшего за пределы мира – возможно, и его зрители выпали вместе с ним, потому и ликовали?! Глас народа – вовсе не глас божий, хотя и сказал это Пушкин, но он же сказал и другое, в стихотворении **Поэту**.

Поэт! не дорожи любовью народной.
 Восторженных похвал пройдет минутный шум;
 Услышишь суд глушца и смех толпы холодной,
 Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
 Ты царь: живи один. Дорогою свободной
 Иди, куда влечет тебя свободный ум,
 Усовершенствуя плоды любимых дум,
 Не требуя наград за подвиг благородный.
 Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
 Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
 Ты им доволен ли, взыскательный художник?
 Доволен? Так пускай толпа его бранит
 И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
 И в детской резвости колеблет твой треножник.

Рискуя обрубить смоковницу, на которую я взобрался, добавлю: не дорожи, Поэт, и мнением редактора, мнением профессионального критика, даже твоего собрата по ремеслу – собратья бывают особенно пристрастны и несправедливы, а даже если и справедливы, то ... еще хуже!

«В день тридцатилетия личной жизни Вошеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда.

Вошев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге – в природе было такое положение.

.....

Привыкнув к пустоте, надзиратель громко ссорился с женой, а женщина сидела у открытого окна с ребенком на коленях и отвечала мужу возгласами брани; сам же ребенок молча щипал оборку своей рубашки, понимая, но ничего не говоря.»

Особенно ужасно окончание второго абзаца, какой редактор его бы стерпел? Но, узнав, что это Андрей Платонов, мы замираем – гении неподсудны редакторам.

Впрочем, Платонов написал это в 30-м году, когда он еще не был гением, и вообще был никем, как и я сам. И многие из гениев в то время, когда мы с ними беседуем, или их поучаем, вычеркиваем у них слова, строки, абзацы, страницы и даже целые главы – еще никто (а то бы они нам показали!)

Что же делать редактору? Надо ли исправлять падежи и глаголы, склонения и спряжения, убирать лишние запятые, лишние слова, лишние страницы?

Держай, редактор! Но помни заповедь Гиппократа: *Не навреди!*

И другую: *Врачу, исцелися сам!*

Поэтому я и воюю: с теми, кого не люблю, ожесточенно, с теми, кого люблю – бережно. Поэтому я несправедлив – но всякая любовь несправедлива.

6.

Повесть Ефремовой наполнила меня нежностью, я словно бы прикоснулся к лирике Тургенева. Язык был сочный, свежий, точный, даже добавлю одно слово, отчасти смешное по отношению к писателю, но среди сегодняшнего языкового невежества и безграмотности уместное: Язык ее был *грамотный!*

И что же мне было к нему придирается? Я и не придирался. Не придирался и умница-корректор... правда, где он придирался, там, каюсь, я стоял на страже романа, в который влюбился. (Называю это произведение романом, потому что действие его обнимает десятилетний период жизни героев).

Какие-то слова, возможно, я в тексте исправил, а с автором вступил в разговор, надеясь, что женщина, наконец-то, приоткроет мне (и читателю) хоть краешек своей тайны.

Дело в том, что красота трагична. Трагична любовь. Красивая и умная женщина трагична уже безысходно. И только красота, любовь и дух возвышенности утишают трагедию и примиряют с жизнью.

После Толстого прошло полтора столетия. Моря горя излились на русский народ. То, что не могли еще понять они, благополучные, образованные дворяне, жившие при расцвете культуры, суждено понять нам, новым наследникам классической литературы. И даже, может быть, загадку любви.

В этом романе главные героини красивы. (И даже второстепенные). Они любят, и юноша и девушка, и их любовь делает их несчастливymi. Но она же их и возвышает. Это не напыщенный Анатолий Курагин и не вздорная юная дворяночка Наташа, они образованны, а героиня пишет прекрасные стихи (во всяком случае, лучшие, чем писал граф Толстой, лишенный музыкальности). *Это их первая любовь, и в ней участвует вся их личность, их детские грезы, их сны, ямочки на щеках, их чувство ритма, их плотская жажда, но и тот дух, который в прах, которым негодует Толстой, вдохнул Бог. И это Бог вдохновляет их любовь!* Хотя, быть может, и дьявол любитесь гордостью и страстностью юных сердец.

И вот я все дочитал. И так и остался в неведении, по-прежнему не знаю, почему и они и мы мучаем друг друга, то холодностью, то неверностью, то непониманием, то жаждой власти и обладания, то жаждой покорности и

подчинения, то восстанием своенравия. Какое уж тут «Жены, повинуйтесь мужьям своим...»!

Но те, с кем мы сталкиваемся и разговариваем, принадлежат к почти противоположным типам. От одних мы учимся. От других увядаем (даже если они умнее самого беса). От третьих вдохновляемся.

«Осколки памяти» – роман-вдохновение. Это оазис в пустыне. Это источник в безводьи. Это запах душистого меда на городской улице.

7.

Роман «Обнаров» тоже посвящен преимущественно любви, но уже не только романтической, но всеобъемлющей, всем ее формам, видам, родам. Это уже чуть ли не гербарий, в котором содержатся (в живом виде) отношения полов в полноте их разнообразия, от соращения, разврата, цинизма, похоти, пошлости, подлости – до самопожертвования, нежности, страсти, верности, преданности – и, наконец, до само-отвержения. От удовольствия, наслаждения, счастья – до трагической безысходности. От рождения человека в результате любви – до смерти.

В нем проходят не только два центральных героя, но целая галерея персонажей, и каждый поучителен.

Только ясно видна особенность, разделяющая мужчин и женщин. Мужчины любят так, как описал это Толстой (как об этом говорит Мережковский), то есть «психофизиологически» (словцо Мережковского), или, прямо говоря, физиологически, или даже – телесно! Женщины любят – душевно! При этом – все и всякие, даже те, которые безумными взвинченными толпами устремляются к своим кумирам. К чему они стремятся? Что их влечет?

Они *жаждут*. И где они ищут утоления жажды? Взор свой они направляют к небу, к звездам, ибо великий трагический актер Обнаров (герой романа) – звезда первой величины. Это успешный, сильный, мужественный, красивый мужчина, герой в высоком смысле этого слова.

Вот, к примеру, «отрицательная» героиня, мотылек, летящий на яркий свет, Кира Войтенко:

– Едем? У меня на этой стороне неподалеку квартира матери, – небрежно произнес он. – Купим хорошего вина, фруктов. Я включу Фрэнка Синатру. У меня осталось много его виниловых пластинок. Ты исполнишь мне легкий стриптиз для начала. Затем я раздену тебя до конца. А там... Запретов нет. Едем?

Он протянул ей руку, точно приглашая следовать за собой. Кира гордо вскинула голову, точно празднуя победу. Он сорвал с нее плед, отгеснил к парапету.

– Да! Да, котик! Возьми меня! Возьми прямо здесь, сейчас! – шептала она и страстно целовала его. – Ты только мой. Мой... Мой...

Жестко, вульгарно, рывком он прижал ее к себе, прижал так сильно, что Кира вскрикнула.

– Нравится? – заботливо осведомился он.

Растерянная, Кира не нашлась, что ответить. Обнаров схватил ее за шею, сжал пальцы. Кира захрипела, судорожно рванулась, тщетно пытаясь освободиться.

– Душить меня не надо, девочка! Бесит! – сквозь зубы, пристально глядя в ее застывшие глаза, произнес он. – Дышать хочу, свободно. Поняла?!

Он внезапно разжал объятия, и, потеряв равновесие, Кира упала на асфальт.

Удивительно ли, но мне, читателю, ее жалко. В ней немало эгоизма, встречается даже подлость, и все же Автор не написала ее портрет так, чтобы вызвать в нас отвращение. Нет, в нас – осуждение, смешанное с жалостью.

А «герой-любовник»? Увы, симпатии в этой сцене я к нему не испытываю. И даже неважно, скупилась ли женщина-автор на симпатии мужчине и неосуждение женщине, но есть то, что есть, что выше желания автора, и что удивительно правильно. Да, вот, кстати, одно из важнейших отличий гениального автора от посредственного: гений не сочиняет, не конструирует, он словно творит из своего (или небесного) Духа.

Он, как Демург, вдыхает в мертвую плоть живой дух.

Привожу пример совсем уж отрицательный.

В его кресле, положив ногу на ногу, сидела абсолютно нагая девица. Туфли на высокой шпильке, блестящие подвески на шее и такие же серьги – вот, пожалуй, и все, что прикрывало ее наготу.

– Ну, что, красавчик, иди ко мне. ... Я жаркая. Я страстная. Я вся твоя!

Резко, с шумом, ногой он распахнул дверь гримерки, подхватил вещи девицы, швырнул их в коридор, едва сдерживаясь, сказал:

– Убирайтесь! Не медля!

– А джентльмены так не поступают... Я пришла, потому что люблю тебя. Давно люблю! Ты же такой одинокий, Костик, такой несчастный. Только представь, как нам будет хорошо! Ну посмотри на меня! Посмотри же! – она шла к нему с явным намерением обнять.

– Я сказал, вон убирайтесь! – рявкнул Обнаров.

Стоя на пороге гримерки, он придерживал рукой норовившую захлопнуться дверь.

Что их влечет? Похоть? То же самое, что наших кумиров (и моих) Александра Блока и Александра Грина влекло в Публичный дом в дореволюционном Петрограде? НЕТ!

Женщина выше мужчины даже *в падении*. Да и падение ли это?

Я был знаком с «печковистками», когда уже они были, конечно, бабушками. И это были образованные, утонченные дамы с седыми буклями. Но за сорок лет до того они ночевали в огороде среди грядок у деревенского дома Печковского, в ожидании, когда он утром выйдет из дома. И с воплями ринулись они к своему кумиру, и разорвали на полосы его рубашку, уже в беспамятстве.

Явление это существует давно, существует везде. Я его не понимаю. Но я

его не осуждаю. Мне гораздо противнее другое, и теперь придется привести обширную цитату:

Бросив сумки на тротуар, она носовым платком стала стирать грязь с одежды.

– Будь ты проклят, гадина! Чтоб у тебя не встало ничего и никогда! – зло, сквозь слезы бубнила она, стирая то грязь с дубленки, то слезы со щек.

– О-го! Ты кого это так?

Тая, легкая, изящная, выпорхнула из новенького «Ниссана» и подбежала к подруге.

– Привет!

– Здравствуй... – нехотя отозвалась Беспалова и, бросив бесполезный грязный носовой платок на дорогу, жалобно всхлипнула. – Вот сука! Кобель чертов!

Она прикрыла глаза ладошкой, силясь не расплакаться.

– Перестань, Оленька. Ну, бывает. Если не страшно, садись, я тебя домой отвезу. Я же наконец права получила!

– Очень за тебя рада, – хмуро пробубнила Ольга и, продолжая отпускать ругательства, стала подбирать лежащие на тротуаре пакеты.

Тая деятельно помогала, потом услужливо открыла дверцу, разместила покупки, усадила подругу на переднее сиденье и села за руль.

Резво, под неодобрительный гул клаксонов они влились в поток.

– Нет, гадина! Просто гадина! Никогда не прощу!

– Перестань, Оль. Посмотри, движение какое! Этот водила просто заматался. Водители маршруток вообще ничего, кроме своего графика, не видят.

– Тай, да какого «водилуу»?! Не до водилы мне! Не сахарная, не растаю. Я козла своего... Понимаешь? Я козла своего сейчас видела!

– Сережу?

– Падаль! Стоит на светофоре и «соску», белобрысую, за сиськи лапает. А та млеет, б..дь! Это он так в Дмитрове на съемках. Представляешь?! Баб, гаденыш, снимает!

Но я и в этих «сосок» не брошу камень. В отличие от Христа я скажу так: «Кто из нас, даже безгрешных, осудил сначала братьев наших, пусть первый бросит камень в сестер!»

Итак, бывших «печковисток» я встретил в театре, это были весьма уважаемые дамы. Встречал я и мужчин, снимавших на панели «сосок», но уже не в театре, а в пивной, где они просили «на опохмел». Судьбы вознаграждают иногда по заслугам.

Но далеко ушел я в сторону от той любви, относительно которой не возникает ни сомнений ни споров. Но еще раз подчеркиваю: И ЛЮБОВЬ, и жертва, и подвиг, и талант в этом романе существуют не в виде рисунка, а в сгущенном пространстве полного бытия, где есть все. И кажется, что если по странице провести ножом, пойдет кровь.

8.

Что для Толстого любовь чуть ли не мерзость, и что женщину он презирал или ненавидел, хотя и хвастался Вернадскому своими победами, очевидно, надо припомнить не два его знаменитых романа, а повести «Крейцера соната» и «Отец Сергей».

В последней повести Толстой осуждает грех. Кто же грешен? Конечно, женщина! Кто же свят? Конечно, мужчина!

Да и в Анне Карениной это так же. А что шестнадцатилетнюю Анну родители ДЛЯ СВОЕЙ ПОЛЬЗЫ выдали замуж за пятидесятилетнего, не спрашивая ее, это не грех, ибо «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем...», следовательно, это добродетель.

Правда, в «Воскресении» Толстой попытался обрушиться с упреками на мужчину, но талант ему уже изменил, упреки оказались слабыми, как и сам роман.

А каковы другие?

Разные. Я уже говорил о том, что отношение к любви и к женщине у Пушкина и Тургенева безукоризненно (в их творчестве), как и в большинстве произведений русской классики.

Но вот наступило время «свободы», разнузданные девьяностые годы, пришла и новая литература. В ней тоже не все одинаково, и все же *девальвация чувства* несомненна, не только любви.

Все добродетели поставлены под сомнение, но любовь в особенности. Когда-то, на заре «свободы», смех вызвало заявление одной дамы, что в Советском Союзе не было секса. Смеялись все, особенно интеллигенция.

Но самое удивительное состоит в том, что это правда, не было секса в СССР, но его не было и в США. И нигде в мире. И во все времена. Было все, что угодно, но не секс.

Были похоть, блуд, разврат, Содом и Гоморра (которые, кстати, перестали быть, когда появился секс), была страсть, вожделение, была и любовь. Но тех особенных отношений с женщиной, о которых говорила в начале двадцатых годов коммунистическая Коллонтай, что «это» должно быть так же просто, как выпить стакан воды – таких отношений не было. Возможно, так подчас чувствовала «девушка с панели», но так не чувствовал, в этом случае, мужчина, потому что он испытывал по крайней мере смущение.

И только в начале девьяностых, когда произошла «сексуальная революция», наступил секс. Пришло время и «сексуальной» литературы.

А так как я редактор, то мне пришлось читать такую литературу.

Что лежит в основе сюжета?

Герою что-нибудь наскучило, чего-то захотелось, например, «любви». Где ее «дают»? Разумеется, на улице, на панели. И он туда отправляется. А дальше действие в разных повествованиях разнится, в зависимости от фантазии автора, но общим остается одно: завязка, происхождение.

И вот здесь я увидел ПРОПАСТЬ, разделяющую мужчину и женщину.

И тот и другая иногда нуждаются в любви, и за ней куда-нибудь отправляются. Женщина отправляется в ТЕАТР, хотя бы и обнаженная, к

Кумиру, которого она обожает, к своей небесной мечте. Мужчина отправляется на улицу, на панель, или в ресторан, или в какое-нибудь место еще похуже, к женщине, которую он презирает.

Женщина готова отдаться своему кумиру бескорыстно, Мужчина ее покупает, или спаивает, или подсыпает в бокал с шампанским порошок, как омерзительный Никитос Сазонов.

Ну, а каков Сергей Беспалов? Каков и сам Обнаров?

Впрочем, хватит негодования. «Судьба Обнарова хранила», именно поэтому она протащила его почти сквозь все круги ада, чтобы выделатать из него человека.

И роман, по-видимому, прежде всего об этом. Хотя и о многом другом, и о несчастной (или преступной?) России тоже.

9.

Из чего состоит художественное произведение (даже если его части отдельно уже не существуют, как не существует водород в воде)?

Во-первых, ЯЗЫК.

Во-вторых, повествование (сюжет и фабула, содержание, конфликт, герои и те чувства и идеи, которые держат их в пространстве романа).

В-третьих... нечто еще, для чего, может быть, я и не найду термина, но без чего произведение несостоятельно, даже если оно написано совершенным языком.

Теперь, чувствую, мне нужно будет взять небольшой отпуск у читателя, дабы осмыслить то, что собираюсь ему объяснять далее. Дабы отчасти оправдать и присутствие редактора, и иногда найти в нем пользу.

Начну я со строк Лермонтова, с его "Журналист, читатель и писатель":

И я скажу – нужна отвага,
 Чтобы открыть... хоть ваш журнал
 (Он мне уж руки обломал):
 Во-первых, серая бумага,
 Она, быть может, и чиста;
 Да как-то страшно без перчаток...
 Читаешь – сотни опечаток!
 Стихи – такая пустота;
 Слова без смысла, чувства нету,
 Натянут каждый оборот;
 Притом – сказать ли по секрету?
 И в рифмах часто недочёт.
 Возьмём ли прозу? Перевод.

 Когда же на Руси бесплодной,
 Расставшись с ложной мишурой,
 Мысль обретёт язык простой
 И страсти голос благородный?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЛЮБОВЬ.

1.

23 января 2013 г., среда. Думал я, что наконец-то перейду к исследованию взаимоотношений Редактора и Писателя, подлинных взаимоотношений, когда словно встречаются мужское и женское начало, грубое мужское и нежное женское, «нож, резец, молот» – и «текст» – неважно, мужчина ли этот текст создал, груб ли он как Толстой или утончен как Оскар Уайльд: перед Редактором все равны, всех он одинаково стремится подчинить своей воле, исправить, очистить, преобразить, «обладать», сделать своим.

И вот я думаю, что хотя я и редактор, но во мне преобладает нечто женское или женственное, поэтому, может быть, я так оттягиваю решительное объяснение Редактора и Писателя, как и женщина оттягивает объяснения с мужчиной или стремится к тому, чтобы даже после объяснений их отношения были подернуты хотя бы некоторой дымкой неясности.

Так что, читатель, потерпи, снова я вернусь к своей излюбленной теме *любви*.

Удивительно, что хотя и говорится в известной песне, что «о любви не говорят, о ней все сказано, сердце, мол, о ней молчать обяzano», и многие девушки так и думают, но вот уже две с лишним тысячи лет бесчисленное количество поэтов и писателей, мужчин и женщин, и даже религиозных проповедников, говорят о любви и наговориться не могут.

2.

Говорит о любви и Толстой, но, скорее, не рассуждая, не философствуя, а изображая. В этом отношении он похож на своих героинь, которые или считают, что «о любви не говорят», или им нечего о ней сказать.

Снова даю слово Мережковскому.

Пушкинская Татьяна слушает сказки няни, размышляет над простодушным Мартыном Задекою и над чувствительным Мармонтелем. Нам ясно, как Дарвин и Мошотт подействовали на Базарова, как он должен относиться к Пушкину или Сикстинской Мадонне. Нам хорошо известны книги, изображающие любовную страсть, которые прочла madame Bovary, и как именно повлияли они на зарождение и развитие ее собственной страсти. Но тщетно старались бы мы угадать, кто больше нравится Анне Карениной – Лермонтов или Пушкин, Тютчев или Баратынский. Ей, впрочем, не до книг. Кажется, что эти глаза, которые так умеют плакать и смеяться, блистать любовью и ненавистью, вовсе не умеют читать и смотреть на произведения искусства.

А ведь в действительности душа современного человека не только в отвлеченных мыслях, но и в самых жизненных чувствах своих состоит из бесчисленных влияний, наслоений, *наваждений* прошлых веков и культур. Кто из нас не живет двумя жизнями – действительной и отраженной? Исследователь души современных людей не может безнаказанно пренебрегать этой связью двух жизней. Л. Толстой пренебрег ею: никто из художников так не вылушивает, не обнажает внутреннего животно-стихийного, «душевного» человеческого ядра из внешней культурно-исторической скорлупы, как он. Все надстроенное человеком над природою, все культурное – для него только условное, только искусственное и, следовательно, лживое, нелюбопытное, незначительное. С легким сердцем проходит он мимо, торопясь из этого воздуха, кажущегося ему зараженным, испорченным человеческими дыханиями, на свежий воздух всего стихийно-животного, естественного, как предмета, единственно достойного художественного изображения, как вечной правды и природы.

В этом отношении Толстой, как ни странно, сближается с вульгарными писателями – как почти со всей толщей современной «попсы» в шоу-бизнесе и в бизнес-литературе (авторы нашего издательства в этом отношении преимущественно счастливое исключение), так и, например, с Фаддеем Булгариным, романы которого он ценил и высоко ставил.

Мне кажется, что Толстой думал, что земная правда человека – это животная правда. Ей он пытался противопоставить небесную правду, и любви мужчины и женщины противопоставить любовь новозаветную, проповеданную евангелистом Иоанном и апостолом Павлом.

Он думал, что в любви, связанной с полом, не может быть ничего кроме греха и блуда, и даже в семейной жизни грех, хотя и смягченный, а уж в «преступной страсти» один только блуд.

Да и в самом деле, разве не показывает и жизнь и литература, сколь многое ужасное связано с любовью – и страдания от «не любит», и измены, и коварство, и зависть, и ревность, и ненависть! С одной стороны завистливый ненавидящий Яго, с другой – не менее ужасный любящий Отелло (я бы воскликнул: Боже, избавь нас от такой любви!!)

Как часто любовь мужчины и женщины пронизана ненавистью и жестокостью и почти неотличима от них! Упомянул уже я о Лесковской «Леди Макбет...», надо еще остановиться и перечитать рассказы Салтыкова-Щедрина или Тургеневские «Живые мощи»...

И я сейчас перечитываю сначала Тургенева. И слезы, признаться, выступают на глазах.

Я приблизился – и остолбенел от удивления. Передо мною лежало живое человеческое существо, но что это было такое?

Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая – ни дать ни взять икона старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа; губ

почти не видать – только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, медленно перебирая пальцами, как палочками, две крошечных руки тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальнее: лицо не только не безобразное, даже красивое, – но страшное, необычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нем, по металлическим его щекам, я вижу – силится... силится и не может расплыться улыбка.

– Вы меня не узнаете, барин? – прошептал опять голос; он словно испарялся из едва шевелившихся губ. – Да и где узнать! Я Лукерья... Помните, что хороводы у матушки у вашей в Спасском водила... помните, я еще запевалой была?

.....

– А то я молитвы читаю, – продолжала, отдохнув немного, Лукерья. – Только немного я знаю их, этих самых молитв. Да и на что я стану господу Богу наскучать? О чем я его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал он мне крест – значит, меня он любит. Так нам велено это понимать.

.....

В тот же день, прежде чем отправиться на охоту, был у меня разговор о Лукерье с хutorским десятским. Я узнал от него, что ее в деревне прозывали «Живые мощи», что, впрочем, от нее никакого не видать беспокойства; ни ропота от нее не слышать, ни жалоб. «Сама ничего не требует, а напротив – за все благодарна; тихоня, как ешь тихоня, так сказать надо. Богом убитая, – так заключил десятский, – стало быть, за грехи; но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее – нет, мы ее не осуждаем. Пушай ее!»

Тоже ведь, можно подумать, рассказ о любви. Если это о любви Бога к человеку, то избавь нас, Боже, и от такой любви!!

Итак, если в жизни не всегда отделима любовь от ненависти, то в литературе тем более, и не всегда ясно, о какой любви идет речь, ибо реальное чувственное переживание связано и с многообразной любовью между мужчиной и женщиной, и с непостижимыми отношениями между людьми, и с любовью человека к Богу, и с нашим восприятием действительной или мнимой любви к нам нашего Бога. Да и сверх перечисленного океан любви-ненависти...

Начал перечитывать Житие сурового Аввакума, неистового ревнителя за старую веру, и житие его духовной дочери боярыни Морозовой, и голова моя пошла кругом.

Я-то думал, что это только у большевиков, «все для человека, все во имя человека», и во имя этого человека сотни расстрелянных выдающихся поэтов и писателей, философов и ученых, среди которых Николай Гумилев и Павел Флоренский; миллионы расстрелянных всех состояний и званий уже после Гражданской войны, так что даже на одной Левашовской пустоши около ста

тысяч, и среди них дед моей самой верной ученицы; миллионы умерших от голода из крестьянского костяка, основания не только народа русского, но и самобытной русской крестьянской культуры; и десятки миллионов убитых, умерших в плену, умерших в наших лагерях и тюрьмах, умерших от голода – во время Мировой войны – и все это последствия не любви, а злобы, ненависти, невежества, тирании, следствия еще того, что низшая часть народа захватила власть над целым народом и правила им так, как даже телегой не правит пьяный дурной мужик – но нет, и в эпоху, когда уже словно бы Спаситель спас Своєю жертвой человека, и оставил ему словно бы завет любви, во имя этой любви и царствия Божия громоздились горы погубленных и проливались моря крови и слез.

Начинается Житие со слов о любви «...не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес красных бог слушает, но дел наших хочет. И Павел пишет: "аще языки человеческими глаголю и ангельскими, любви же не имаю, – ничто же есмь"»

Помимо распри религиозной и церковной, пронизывают повествование рассказы о мучениях, которым подвергался и сам Аввакум, и сподвижники его, и которые завершились, как известно, сожжением его с товарищами в 1682 году в Пустозерске в деревянном срубе. (Так что не одна Инквизиция жгла, но и наши православные!)

Вот только малая часть тех гонений:

У вдовы начальник отнял дочь, и аз молих его, да же сиротину возвратит к матери, и он, презрев моление наше, и воздвиг на мя бурю, и у церкви, пришед сонмом, до смерти меня задавили. И аз лежа мертв полчасу и большу, и паки оживе божиим мановением. И он, усташася, отступился мне девицы. Потом научил ево дьявол: пришед во церковь, бил и волочил меня за ноги по земле в ризах, а я молитву говорю в то время.

Таже ин начальник, во ино время, на мя рассвирепел, – прибежал ко мне в дом, бив меня, и у руки отгрыз персты, яко пес, зубами. И егда наполнилась гортань ево крови, тогда руку мою испустил из зубов своих и, покиня меня, пошел в дом свой. Аз же, поблагодаря бога, завертев руку платом, пошел к вечерне. И егда шел путем, наскочил на меня он же паки со двумя малыми пищальми и, близ меня быв, запалил из пистолу, и божию волею на полке порох пыхнул, а пищаль не стрелила. Он же бросил ея на землю и из другия паки запалил так же, – и та пищаль не стрелила. Аз же прилежно, идучи, молось богу, единою рукою осенил ево и поклонился ему. Он меня лает, а ему рекл: "благодать во устнех твоих, Иван Родионович, да будет!" Посем двор у меня отнял, а меня выбил, всего ограбя, и на дорогу хлеба не дал.

...дьявол научил попов, и мужиков, и баб, – пришли к патриархову приказу, где я дела духовныя делал, и, вытаща меня из приказа

собранием, – человек с тысящу и с полторы их было, – среди улицы били батожем и топтали; и бабы были с рычагами. Грех ради моих, замертва убили и бросили под избной угол.

.....

...Неронов мне приказал церковь, а сам один скрылся в Чюдов, – седмицу в полатке молился. И там ему от образа глас бысть во время молитвы: "время приспе страдания, подобает вам неослабно страдати!" Он же мне плачючи сказал; таже коломенскому епископу Павлу, его же Никон напоследок огнем сжег в новгородских пределах;...

....

Посем привезли в Брацкой острог и в тюрьму кинули, соломки дали. И сидел до Филиппова поста в студеной башне; там зима в те поры живет, да бог грел и без платья! Что собачка, в соломке лежу: коли накормят, коли нет, Мышей много было, я их скуфьею бил, – и батожка не дадут дурачки! Все на брюхе лежал: спина гнила.

....

В те же поры и сынов моих родных двоих, Ивана и Прокопья, велено ж повесить; да оне, бедные, оплошала и не догадались венцов победных ухватити: испужався смерти, повинились. Так их и с матерью троих в землю живых закопали.

Это – повествование о великой верности ИДЕЕ, которая овладевает человеком, становится его полнотой бытия, его сутью, смыслом его жизни, его главной любовью (так говорю, потому что такова и есть любовь, к кому бы то она ни была, и к чему бы то она ни была, то ли это страстная преданность религиозной идее, то ли учению о спасении и перемене мира, вере ли Кампанеллы в казарму-коммуны, вере ли революционеров начала двадцатого столетия в лучшее будущее всего человечества. Преданность науке, для которой, как Гипатия Александрийская или Джордано, или русские генетики, можно пожертвовать жизнью. Преданность театру, собирательству книг, картин, других духовных ценностей. Преданность литературе или живописи... И всегда эта преданность и эта страсть требуют у человека жертвы, нередко всей его жизни.)

Как мы видим, любовь не только улаживает, но и мучает. Требует жертв.

Но она еще и ревнива. Она стремится быть единственной владелицей того, кто ей покорился. Она не терпит соперников или соперниц.

А еще сказать ли тебе, старец, повесть? Блазновато, кажется, – да было так. В Тобольске была у меня девица, Анною звали, дочь моя духовная, гораздо о правиле прилежала о церковном и о келейном и вся мира сего красоту вознебрегла. Позавиде дьявол добродетели ея, наведе ей печаль о первом хозяине своем Елизаре, у него же выросла, привезена из полону из кумыков. Чистотою девство соблюла, и, егда исполнилася плодов благих, дьявол окрал: захотела от меня отыти и за первова хозяина замуж пойти, и плакать стала всегда. Господь же

пустил на нея беса, смиряя ея, понеже и меня не стала слушать ни в чем и о поклонех не стала радеть.

Егда меня сослали из Тобольска, и я оставил ея у сына духовнаго тут. Хотела постригися, а дьявол опять сделал по-своему: пошла за Елизара замуж и деток прижила. И по осьми летех услышала, что я еду назад, отпросилася у мужа и постриглася. А как замужем была, по временам бог наказывал, – бес мучил ея. Егда ж аз в Тоболеск приехал, за месяц до меня постриглася и принесла ко мне два детища и, положи предо мною робятишок, плакала и рыдала, кающася, бесстыдно порицая себя. Аз же, пред человеки смиряя ея, многожды на нея кричал; она же прощается в преступлении своем, каяся пред всеми. И егда гораздо ея утрудил, тогда совершенно простил.

... Имя ея во иноцех Агафья.

Господи, да что же это такое?! Да почему же нельзя любить по земному (а, может быть, именно эта земная любовь и есть подлинно небесная?!), а непременно надо отдать требовательному суровому Богу всю свою жизнь, все свои чувства, страсти, мечты и упования? Или этот небесный жених ревнив без меры, слишком себялюбив, не жалеет нас, не способен дать нам счастье в земной жизни, и во имя своего небесного царства требует от нас «жить аки умереть»?!

Егда еще был в попех, прииде ко мне исповедатися девица, многими грехми обремененна, блудному делу ... повинна; нача мне, плакавшеся, подробну возвещати во церкви, пред Евангелием стоя. Аз же, треокаянный врач, сам разболелся, внутрь жгом огнем блудным, и горько мне бысть в той час: зажег три свечи и прилепил к налою, и возложил руку правую на пламя, и держал, дондеже во мне угасло злое разжение, и, отпустя девицу, сложа ризы, помоляся, пошел в дом свой зело скорбен. Время же, яко полнощи, и пришед во свою избу, плакався пред образом господним, яко и очи опухли, и моляся прилежно, да же отлучит мя бог от детей духовных, понеже бремя тяжко, неудобь носимо.

Да, вот где ревность, всем ревностям ревность! Что там измены ветреных девиц, что там измены неверных мужей!

Истинный «треугольник» – это мужчина, женщина и Создатель, более ревнивый, чем мы оба.

Читаю Толстовского Отца Сергия, и думаю – с кого это списано?

Так ведь это и есть Аввакумовы мучения!

Но не жаль мне Аввакума, и когда его били, и когда в яму на чепь посадили, и когда в ссылку в Сибирь сослали, и когда сожгли. Но не смею сказать, что надо было ему отступить от своей веры и своего Бога. И все таки мне его не жаль, мужчине и положено страдать за свои убеждения или за свою Родину, в его мучениях дано ему великое утешение: женская любовь, сочувствие, сострадание.

Но жаль мне женщину, у которой сжигаемый своею страстью мужчина отнимает ее главное достояние – ее ЛЮБОВЬ.

Читал ли ты, читатель, повесть о страданиях боярыни Морозовой, великой страстотерпицы? «Нет повести печальнее на свете...»

Вот отрывок из письма боярыне протопопа Аввакума.

...слезы от очей твоих, яко бисирие драгое, исхождаху, из глубины сердца твоего въздыхания утробу твою терзаху, яко облацы въздух възмушаху. Глаголы же уст твоих, яко камень драгое, удивительны пред Богом и человеки бываху. Персты же рук твоих тонкостны и действены....

.... Очи же твои молненосны держастася от суеты мира, токмо на нищих и убогих призирают. Нози же твои дивно ступание имеют. До полунощи с Анною домочадицею своею, тайно бродишь по темницам и по богодельням, милостыню от дому своегонося, деньги и ризы, и потребная комуждо неимущему довольно: овому рубль, а иному и десять, а инде 50 рублей и мешок сотенной. Напоследок же сына своего Ивана в жертву принесе Богу, православия ради, еже есть скончался скоро отрок от великия печали, егда отступники с тобою разлучили; ты же, ни мало от подвига не усумневся, наипаче простирашеса к обличению врагов креста Христова и раззорителей догматов святыя церкви. Они же тя, яко зверие дивии, терзаху на пытке: руце твои и плоть рваху, и сестру твою княгиню Урусову, Евдокию Прокопьевну, мучили на пытке; и Марью Герасимовну Акинфия Ивановича Данилова жену, с вами же пытали и кнутом били.

..... О светила великая, солнце и луна Русския земли, Феодосия и Евдокея! И чада ваши яко звезды сияющия перед Господом Богом! О две зари освещающия весь мир на поднебесней! Во истинну красота есте церкви и сияние присносущныя славы Господни. По благодати вы забрала церковныя и стражи дома Господня.

Как же окончила дни свои милосердная, красотой и стойкостью несравненная, гордость земли русской? Символ и образ для подражания...

«Раб Христов! – взывала замученная голодом боярыня к сторожившему ее стрельцу. – Есть ли у тебе отец и мати в живых или преставилися? И убо аще живы, помолимся о них и о тебе; аще ж умроша – помянем их. Умилосердися, раб Христов! Зело изнемогах от глада и алчу ясти, помилуй мя, даждь ми колачика». И когда тот отказал («Ни, госпоже, боюся»), она из ямы просила у него хотя бы хлеба, хотя бы «мало сухариков», хотя бы яблоко или огурчик – и все напрасно.

Уже умирая, боярыня обратилась к стражнику с последней просьбой:

«Мать у тебя есть? Женщина же родила тебя, и ради этого молю – побойся Бога: я женщина, и надо мне сорочку постирать. А ты видишь, самой мне это сделать невозможно, на цепи я, и слуг при

мне нет. Сходи на реку и постирай мою сорочку. Призывает меня Господь, и неподобно мне... в нечистой одежде лежать в недрах матери земли».

Бросила боярыня стрельцу сорочку. Он спрятал ее под полой и, глотая слезы, пошел стирать к Протве...

Как же окончила дни свои милосердная, красотой и стойкостью несравненная, гордость земли русской? Символ и образ для подражания...

Первой 11 сентября скончалась княгиня Урусова, за ней 1 ноября умерла от истощения Морозова. Дольше всех, еще целый месяц, мучалась Мария Данилова.

Но иная правда глаза колет. Восхищаюсь я Аввакумом, со стыдом сознаю, что до его крепости и верности долгу мне даже на тысячную долю не подняться – но не могу попенять его суровости. Безжалостный к себе, был он безжалостен и к дочерям своим духовным.

Как сурово попрекал он боярыню за ее маленькие человеческие слабости!

...и ты, бытго патриарх, указываешь мне, как вас, детей духовных, управляти ко царству небесному. Ох, увы, горе! бедная, бедная моя духовная власть! Уж мне баба указывает, как мне пасти Христово стадо! Сама вся в грязи, а иных очищает; сама слепа, а зрячим путь указывает! Образумься! Веть ты не ведаешь, что клусишь!

.....

Дочь ты мне духовная – не уйдешь у меня ни на небо, ни в бездну. Тяжело тебе от меня будет. Да уж приходит к тому. Чем боло плакать, что нас не слушала, делала по своему хотению – и привел боло диявол на совершенное падение. Да еще надежа моя, упование мое, пресвятая богородица заступила от диявольскаго осквернения и не дала дияволу осквернить душу мою бедную, но союз той злый расторгла и разлучила вас, окаянных, к богу и человеком поганую вашу любовь разорвала, да в совершенное осквернение не впадете! Глупая, безумная, безобразная, выколи глазища те свои челноком, что и Мастридия. Оно лутче со едином оком внити в живот, нежели две оце имуще ввержену быти в геену. Да не носи себе треухов тех, сделай шапку, чтоб и рожу ту всю закрыла, а то беда на меня твои треухи те.

Ну, дружец мой, не сердитуй жо! Правду тебе говорю. Кто ково любит, тот о том печется и о нем промышляет пред богом и человеки.

Любовь к женщине. Любовь к Богу (Идее), любовь к человеку. Запутался уже я в этих Любовях, а когда читаю, как человек отвечает на любовь к нему, руки опускаются и жить более не хочется.

И тут-то уместно вспомнить слова Аввакума, удивительно оправдавшего своих гонителей, даже когда они его истязали.

«Да и ныне оне не лихи до меня; дьявол лих до меня, а человеки все до меня добры.»

3.

Если не все содержание жизни в любви, в противоборстве любви и ненависти, различных Любостей между собою, и опалении их ревностью, то уж, кажется, в литературе другого столь существенного нет.

Социалистическая проза и поэзия словно бы выставили другую тему: Революция, безудержная борьба за нее и за ее безумные в большинстве своем идеалы – но как присмотришься: нет, и там Аввакум обличает слабых в уклонении, и там тяжба между приверженностью революционному делу без остатка, и там ревность за это дело распалается, и героиня Лавренева стреляет своему возлюбленному прямо в сердце, чтобы он не вставал у нее на ее пути к ее коммунистическому Христу.

А в иных сочинениях и того хуже: двое на стройке, двое на партсобрании. И если они говорят о любви, то завуалировано: он клянется вместе с нею план перевыполнить (то есть объясняется ей в любви), а она обещает его перевыполнить и сверх того, то есть говорит, что любит его еще сильнее. Так и Аввакум, встретившись с боярыней после сибирской ссылки, сидел с нею в сараюшке и они глядели друг на друга и не могли наговориться, говорили, конечно, только о вере и Боге, и на Аввакума я не смею даже тени бросить! Но прекрасная женщина боярыня, которой он сам же советовал лучше глаза выколоть, нежели на кого еще посмотреть, кроме «жениха небесного», которую обличал он и в страстях и в грехах – неужто она смотрела только на небо, не опуская глаза долу? Нет, она не всегда была с херувимами, оттого мы ее и любим сильнее, а я желаю ей утешения, хотя бы и после смерти, и жалею, что не я был тот стражник, у которого она молила о кусочке хлеба. Пусть бы и меня уморили, а я бы ее пожалел!

Любовь – это тот Млечный путь, который пролегает сквозь небо христианства, но постоянно закрывается облаками и тучами.

В чем логика, эсхатология и онтология Нового Завета?

Логика нам понятна (или понятно непонятна), эсхатология – в обетовании Воскресения и царствия Божия, а онтология – в ветхозаветном мифе о согрешении Адама. «Человечество в человеке Адаме пало, а в Богочеловеке Христе преодолело падение, искупив грех Его жертвой». В чем же было падение? Вот тут богословие и само христианское учение путано и противоречиво. Якобы падение в послушании запрета не брать с древа познания добра и зла.

И тогда бы главной добродетелью было бы – послушание.

Но нет, сквозь всю теорию и практику проходит главное – не прикасаться к женщине, проходит мысль о мерзости женской плоти, а главной добродетелью оказывается борьба с женским соблазном, тут и Аввакум жжет себе руку, и отец Сергей у Толстого, и главные христианские святые – либо раскаявшиеся блудницы вроде Марии Магдалины и Марии Египетской, либо устоявшие от соблазна Святой Себастьян и Блаженный Иероним.

Все остальное – так, мелкие грехи или мелкие добродетели. Бог должен быть единственной целью любящего, взгляд в сторону – огненная геенна.

Но ведь искушений и уклонений – множество! Тут и культура, и наука, и

философия, и сама жизнь – так со всеми ими и боролась церковь, пока сама не погрязла в мире и в мирском. И Аввакума били смертным боем в частности за то, что он изломал гусли и разорвал одежды у скоморохов и даже их медведя ушиб – не должно быть никакой радости у человека кроме Бога! Так думает и Толстой, и его публицистика и издевательства над культурой (и литературой) в последнее десятилетие его жизни именно в этом. Отличие только в том, что Аввакум сам укоренен в культуре и философии, и никониан побивает Дионисием Ареопагитом (христианским греческим философом), а Толстой и с героев своих совлек кожу культуры, и с себя. Его герой – голый, словно только что с гончарного круга, и не было двух тысячелетий страстей и борений.

В этом его главное отличие от нехристианской русской литературы девятнадцатого века, и в связи с этим находится призвание нарождающейся новой литературы – воскресить человека в его полноте! Прежде всего, разумеется, в его полноте культурно-исторической!

Следовательно, сколько бы тем ни стояло перед мысленным взором автора, но он должен видеть своего главного героя «одетым»! Во-первых, в ЯЗЫК. Во-вторых – в ИСТОРИЮ. (Правда, они неотделимы).

И закончу я свои рассуждения о любви, прежде чем погрузиться в язык и форму, в историю, философию (и математику), прекрасным стихотворением Натальи Ефремовой, роман которой «Осколки памяти» (вместе с романом Натальи Троицкой «Обнаров») и вдохновил меня на очерки об отношениях редактора и писателя.

А во мне умирал лирик,
Криком жалобным рвал душу,
Рифмовал слабый стон в мире,
Где он, в сущности, был не нужен.

Вам, служители уравнений,
Предстоит прозябать столетья.
А во мне догорал гений
Краснословья и речецветья.

Математики рек лунных,
Вам бы взять доказать совесть.
А во мне, оборвав струны,
Угасал мой живой голос.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПОЧВА.

1.

23 января 2013 г., среда. Говоря о кубанском черноземе, тамошний казак сказал: Да у нас туда вглубь чернозему на километр. Сунешь палку, через месяц на ней вишни и черешни. А что у вас? Диво еще, что хоть крапива растет!

Да, это верно, на нашем асфальте временами только крапива и растет.

Но если в основе земледелия почва, то что же в основе литературы?

Культура.

Но разве это не та же самая почва?

Что в черноземе? Перегнившие остатки прежних растений, корни и листья, стебли, упавшие с ветвей плоды, семена, вода, соли, воздух и свет. А в культуре? Ломоносов, Капнист, Тредьяковский, Львов, Василий Пушкин – все они продолжают питать и тех, кто пришел вслед за ними, и даже нас, отстоящих от них на два-три века.

Хотя бы только строкой или даже словом, или воспоминанием.

«Открылась бездна, звезд полна.

Звездам числа нет, бездне – дна!»

Понятие почвы глубоко, расплывчато, обширно, неопределимо. Иных писателей называют *почвенниками*, словно у Толстого и Пушкина и Солженицына почвы нет – но нет, все мы почвенники, но только на чем взрослеем? На компосте из США? На городском асфальте? На великой русской литературе (а шире – культуре) от Слова о полку Игоревом до Архипелага Гулага?

Вольно и невольно в произведении присутствуют Язык, Память (история), Предшественники, Философия и Образованность.

Иногда бывает трудно определить литературные влияния и заимствования, значит, возможно, в предшественниках все, или хотя бы девятнадцатый век, или двадцатый. Хотя писатель и не думает о них и не вспоминает, и не подражает, но в походке, в интонации речи, в ямочках на щеках – происхождение в чем-то да проявляется.

Вот он пишет фразу, обдумывает и *выбирает* слова, впереди у него вечность. Или он торопится, телеграфный бланк все не вмещает, сзади очередь, времени нет, и слов не хватает, и по диктанту у него всегда была двойка. Или перед ним экран компьютера, фантазия хлещет через край, литературных реминисценций и ассоциаций никаких, он торопится выплеснуть, зафиксировать, высказаться, заявить, успеть, самонадеян, самовосхищен, ни предшественников, ни почвы, ни памяти – ничего кроме воображения! В последнем узнается безошибочно век Интернета и САМОВыражения.

2.

Почва, конечно, шире жизни или рождения в деревне, шире даже социального и национального происхождения.

На русской почве выростали разнообразные цветы, и я начну с польского уроженца Осипа Ивановича Сенковского (пропустив Булгарина, тоже поляка), ориенталиста, критика и журналиста. Родился он в 1800 году в старинной польской дворянской семье; учился в Виленском университете, в 1828 году занял в Санкт-Петербургском университете кафедру восточных языков.

Вступил на путь журналистики наш герой (Józef Julian Sękowski) лишь в 1833 году, когда сделался сначала негласным, а затем и гласным редактором "Библиотеки для Чтения", в которой принимал деятельное участие до 1856 года. Здесь Сенковский поместил ряд статей самого разнообразного содержания и почти исключительно своими рецензиями наполнял критический отдел. Не ограничиваясь этим, он коренным образом **перedefывал** все доставлявшиеся ему статьи, не церемонясь даже с произведениями иностранных авторов. Сотрудничал в "Северном Архиве" Булгарина, "Сыне Отечества", "Северной Пчеле" и других русских изданиях.

Посланный ревизовать училища Виленского округа, Сенковский везде строго предписывал "внушать ученикам почтение к начальству и любовь ко всему русскому". У самого Сенковского, впрочем, эта любовь ни в чём не проявлялась, да **он и не мог любить Россию, так как не знал её** (как не знают ее многие коренные русские, получившие "иностранное" воспитание).

Он читал великих писателей всех веков и народов, знал их сочинения и их комментаторов, изучал историю всех литератур; но он не обладал поэтической восприимчивостью, пониманием искусства и тем эстетическим чутьем, которые составляют условия литературного критика; *он не питал сочувствия к созданиям поэта и художника, не был настроен поэтически*, а был прозаиком. Потому-то литературные критики его, блистательные по изложению, ... не оставили по себе впечатления на словесности. *Nemo dat quod non habet.*

Но совсем ли он был лишен почвы? Нет! Почвой его была (как и для русской литературы) европейская культура! Почвой его был русский язык, которым он владел в совершенстве, как НЕ ХОТЯТ знать и владеть им многие современные писатели, пишущие как будто бы по-русски. (А кстати, многие нынешние патриоты, часто лапти, деготь и квас ставящие в основание своей идеологии и отрицающие с яростью ЗАПАД, тоже по-русски не умеют связать и трех слов, исключая, конечно, те, что "впитаны с молоком матери").

Приведу для примера отрывок из его сочинения «Вся женская жизнь в нескольких часах», *Повесть, исполненная философии.*

Скажите мне, как рождается женщина?.. Откуда берется в ней, в самом начале ее существования, в самой почке ее жизни эта душа женского пола, душа сладкая, мягкая, благовонная, легкая, прозрачная, хрустальная; рдеющая разноцветными искрами, быстро

играющими по мелкой ее грани, налитая эфирною негою, беспрерывно вспыхивающая пламенем молнийных ощущений; насыщенная любовью, втягивающая в себя любовь отсюда: из вещественной атмосферы, из умственного мира, из вымысла, из надежд, из обманчивых видений, подобно тому, как игла громового отвода втягивает в себя разлитое вокруг нее в воздухе и облаках электричество; блестящая любовью, дышущая любовью и испаряющаяся из тела в горячий туман любви!.. душа с розовыми понятиями, с светлыми чувствами, с лучезарным воображением, с отрадным началом веры и горькими семенами земного счастья; чистая, как само счастье, и робкая, как добродетель; кроткая, стыдливая, слабая и беспечная; страшась ядовитого жала опытности и как опытность пронизательная?..

...

Скажите мне еще и то, почему, при всегдашнем замешательстве, господствующем в делах рода человеческого, никогда такая душа во время рождения не попадет в жесткое, медное мужское тело – ни душа мужская, душа смелая, гордая, сильная, брыкливая, жадная крови, увлажненная началами всех высоких добродетелей и всех нечистых страстей, душа без страха, без врожденного стыда, без сострадания не завалится случайно в тихое, роскошное, пуховое тельце девушки? По крайней мере, все члены Общества испытателей природы утверждают, что этого никогда не бывает. По положению, оно может быть так в самом деле, но в практике, я думаю, случаются в этом отношении большие, ужасные, непростительные ошибки. Как бы то ни было, я очень сожалею, что не родился девушкою.

Привожу я в пример Сенковского потому, что он тоже был **редактором**, хотя мы с ним почти противоположны, прежде всего своей ученостью превосходил он Николая Полевого и Белинского, превосходит и меня. Вторых, не питал он уважения и любви к чужому творчеству, то есть был превосходный редактор, если понимать под редактированием труд педанта, подгоняющего *самобытное* под *всеобщее* правило, и потому переписывающего все то, что из этого правила выпадает.

А из правила выпадает всё.

И в третьих, изгнал он из русского языка слово «ибо» и ввел в общее употребление «это» и «этот», а я – ИБО я русский – всемерно сие «ибо» превозношу и воюю с «это», не говоря уж о крапивном семени «это самое».

3.

Так что разные бывают редакторы, и не могу я безапелляционно утверждать, что только психотерапия предписана авторам, а хирургия им несомненно вредна – быть может, все зависит от больного... тьфу, от кризйтора... тьфу! Вот здесь уж точно ничем, кроме хирургии, обойтись невозможно!

А вообще, если уж связался писатель с редактором, то это как с женьбой: нет и не может быть всеобщих правил, и кому как повезет.

Так что же делать?

А то же, что делали все выдающиеся писатели: совместить в себе две ипостаси, два поприща, два признания – быть и создателем и критиком, писателем и читателем, вырабатывать ВКУС и МЕРУ! Без них ничего хорошего не сделать, сколько бы ни было знаний, умений, почвы.

ВКУС и МЕРА в наибольшей степени делают и писателя и редактора.

Да, кстати, чувствую я, что надо уточнить мне то самое понятие, которое стоит в центре моего исследования, то есть понятие ***редактора*** (определить же, что значит писатель, я не решаюсь. Меня самого иногда спрашивают в деревне наивные жители, не писатель ли я, и я отвечаю, что это и мне и никому не известно, а узнается только после моей смерти. Наиболее сердобольные отвечают: Да, в нашей России только так, только после смерти!)

Обычно под редактором понимают то же, что понимает школьник об учителе русского языка, то есть видят в нем человека, который исправляет ОШИБКИ, орфографические (словесные), в пунктуации (то есть в знаках препинания), в грамматике, синтаксисе, стиле, то есть в строе речи.

Но есть же еще технический редактор, художественный, литературный, есть еще Пушкин, издававший Современника, есть Твардовский, издававший Новый мир. И я интуитивно, говоря о редакторе, имею в виду ЛИЧНОСТЬ, вместившую (или, по крайней мере держащую) их все, то есть собирательный абстрактный, то есть идеальный образ, в котором и учитель и врач, и критик, и ценитель и ЧИТАТЕЛЬ.

И, возможно, поэт и писатель. Таковы были Пушкин и Твардовский, и если мы не таковы, все же мы должны к идеалу стремиться.

Есть еще одно важное обстоятельство, которое замедляет ход моего пера, слов и мыслей.

Уже я давно пишу о философии редактирования, и иные читатели меня спрашивают: да ведь тут о чем угодно, но вовсе не о редактировании! Тут и о женщинах, и о любви, и о Толстом – но том, как НАДО писать и как НАДО редактировать, пока еще почти ни слова.

И я в растерянности.

С одной стороны, я и не брался писать Учебник арифметики для писателя или редактора, более того, я думаю, что такого учебника не может быть, и не должно быть. Но ведь взялся же я за ПОУЧЕНИЯ, рассыпаю же я их на полях тех сочинений, которые дерзаю исправлять, и даже в конце этих сочинений, и даже в отдельных письмах, прилагаемых к ним?! Значит, некоторое понятие о том, как ДóЛЖНО и как НЕ ДóЛЖНО писать у меня должно же быть?!

Да, кажется, было. Довольно смутно. Но по мере того, как я с авторами переписывался, по мере того, как я их поучал и учил, я, наконец, многому от них научился, и теперь имею уже существенно другие понятия о том, что такое литература, какую она должна быть, каким должен быть писатель и каким редактор.

Так и учителя учат его ученики, и горе тому учителю, который их только учит (даже если и хорошо), а сам от них не учится.

4.

Войдя в первый раз в класс, ожидаешь увидеть светлых, любознательных, восторженных, умных, добрых и романтических. А видишь перед собою тридцать разбойников и разбойниц, то зевающих, то переговаривающихся между собою, то вступающих вдруг друг с другом в потасовки, ленивых, грубых, испорченных, циничных, жестоких.

Ну, думаешь, не повезло.

Ладно, разве я не талантлив, разве я не гениален, разве я не сумею их научить, воспитать, исправить, переделать, обтесать, переплавить?

Да, о своих мечтах и о том, как ОНИ (эти разбойники и разбойницы) меня переделывали, обтесывали, переплавляли, я бы написал роман, если бы я умел писать романы, а не только учить тому, как их писать.

Но один важный вывод, который на меня с тех пор влияет, я сделал.

Я понял, что люди таковы, каковы они есть. Лучше их сделать невозможно. Можно их сделать хуже.

Но иногда удается помочь им открыть в себе лучшее и притушить худшее, помочь им в собственном становлении. Научить точнее подбирать слова и правильное строить фразы (и это ПРЕОБРАЖАЕТ иногда саму сущность человека, как пение вдруг может преодолеть заикание).

Человека нельзя сделать лучше, но ему можно помочь РАСКРЫТЬСЯ его лучшими сторонами (а они в нем непременно есть). Он чаще всего просто никакой, ему еще не поставили голос (как певцу), и ему следует голос поставить (если только не поставлен он у него от природы, как иногда в исключительных случаях бывает).

Итак, я понял, что люди таковы, каковы они есть, но чаще всего они еще сами не знают, каковы они есть.

Им только надо помочь себя узнать, и оказывается, что в том, каковы они, почти все хорошо, интересно, своеобразно, самобытно, а стараясь их обтесать, мы их самобытность портим.

Вот, например, мы влюбляемся с первого взгляда. Смотрим – и насмотреться не можем. И видим, что она прекрасна, утонченна, женственна, благородна, умна. Или оригинальна, дерзка, бесшабашна, пряма и доверчива. Или с затаенным светом, неяркой, но оригинальной глубиной... Или... Но во всех случаях ОНА – лучше всех.

Значит ли это, что мы ее приукрашиваем, что ЛЮБОВЬ одевает на наших избранниц ложные одежды? Нет, любовь преображает наше зрение, мы начинаем видеть то, что в человеке подлинно, что скрыто за МУТНЫМ стеклом, искажающим правду.

Если только еще не законсел человек в том своем ложном образе, который был за мутным стеклом...

И когда, войдя в новый класс в первый раз, я влюблялся в них ВСЕХ с первого взгляда, я начинал видеть, как они удивительны и каждый по своему интересен и хорош. Даже в глупости. Даже в бестолковости. Даже в развязности. Даже в грубости.

Вот то же с литературой. Когда-то я думал, что она удел избранных, не могут же сто миллионов писать? Но почему бы и нет? Конечно, начиная, пишут они ПЛОХО (начиная, я писал еще хуже). Надо им помочь раскрыть свои способности.

НАУЧИТЬ писательству (а уж тем более стихосложению, точнее – поэтическому мастерству – невозможно). Но помочь раскрыть способности – можно.

Как это сделать?

Не знаю.

То есть, я пытаюсь это сделать, но думаю, что РЕЦЕПТА, правила, учебника преобразования автора в гениального писателя – нет.

Иногда мне удается тому или иному автору помочь сделать шаги на пути к мастерству (скорее, к самому себе, к раскрытию уже заложенных в нем задатков), но как мне это удается, я не знаю.

5.

Но продолжу о ПОЧВЕ, которая, конечно, шире социального и национального происхождения, и без которой литература невозможна, какими бы талантливыми ни были автор и редактор.

Да, на русской почве воистину вырастают удивительные цветы, и я приведу еще пример поляка, родившегося на Украине, а детство и раннюю юность проведенного в Азербайджане, Теодора Адамовича Шумовского (который, конечно же, родился Тадеушем, но таковы были в то время правила советско-русской грамматики). Прожил он девяносто девять лет, из них около двадцати «в местах общих для нашего многострадального народа», бывал и в «столице красноярских лагерей», где меня учили математике и литературе тоже люди европейски образованные (но и *русски* образованные тоже).

Ученик академика Крачковского, выдающийся арабист, мемуарист, он был и прекрасным поэтом, и единственный в мире перевел Коран стихами, за что благодарные мусульмане поставили ему памятник и отмечают на днях столетие со дня его рождения.

Он не был редактором, но зато мне посчастливилось издать сборник его стихов, несколько рассказов и отрывки воспоминаний, а так как к поприщу редактора относятся и составление и издание литературных творений, то хотя я ни слова не изменил в текстах Т. А., я считаю себя его редактором.

А посему приведу несколько отрывков из его сочинений, которые характеризуют мое понимание *почвы*.

«В 1953 году румынский юрист с парижским образованием И. Х. Кремер был освобожден из Озерлага в Восточной Сибири за отбытием срока заключения. В лагере он работал бухгалтером лесобиржи, а я в течение полугода состоял его помощником. Мне и пришлось теперь занять пост Кремера. В мои обязанности входило составление накладных и спецификаций на отгружаемую лесопroduкцию с подробным указанием сортиментов, кубатуры и других необходимых данных. По совместительству

бухгалтер должен был оказывать первую медицинскую помощь заключенным грузчикам и рабочим шпалозавода: погрузочная площадка и завод находились в одной и той же охранной зоне. Арсенал врачевания умещался в небольшом ящичке, висевшем на стене конторы.

Хотя отец мой и брат были бухгалтерами, я лишь работая с Кремером впервые вплотную столкнулся с цифрами и ответственностью за них: Но, как говорится, в лагере ни на какую работу не навязывайся и ни от какой не отказывайся – может быть еще труднее. Делать нечего, я пересел на табуретку Иосифа Хаимовича. Утешало воспоминание о том, что мой первый учитель по арабскому языку Николай Владимирович Юшманов, ставший членом-корреспондентом Академии наук, в 1920-х годах, чтобы прокормиться, составил два учебника по бухгалтерии: "В школах конторского и торгового ученичества" (Москва-Ленинград, 1925) и "Счетоводство без книг" (Москва, 1926). *Здесь, в далекой от него отрасли знаний, как всегда, играл и переливался необычайными гранями самобытный ум одного из крупнейших наших языковедов.»*

Не тешь себя: мгновенья сочтены.
 Рука времен, в которой все равны,
 И не таких в забвение швыряет.
 Тысячелетья роком казнены,
 И ты умрешь, как прелесть новизны
 В непостоянстве мира умирает.

.....

На суеты общественных кладбищах
 И под землей – один и тот же рот,
 Не разбираясь в вечности, жует
 Слепых царей и ясновидцев-нищих.

Топи стихи в изяществе, как Лилль,
 Превосходи картинами Гомера,
 С Абу ль-Аля в себе свяжи Вольтера,
 Рабиндранатом чувства пересиль –
 У всех стихий одна и та же мера,
 Для душ земных бессмертие – химера,
 В нас чутко дремлет будущая пыль.

Да, конечно, не кубанский чернозем и не архангельский суглинок являются почвой для Т.А., а вся культура Востока и Европы, но именно русский язык – универсальный, всеядный, легко уродняющий иноземное – и культуру Востока и Европы делает русской. И тем огорчительнее, что современный интернетно-уличный язык разрушает всякую почву, и русскую и иноземную. А безобразные предложения новоявленных русских лингвистов из Государственной думы, якобы в защиту языка, призваны скорее осмеять тех, кто еще по-русски говорить не разучился.

Но да пережили нашествия, переживем и невежд и ревнителей.

6.

Ибо в каждом из нас содержится Лев Толстой. Во-первых, потому, что писал он плохо, переписывал по двадцать раз свои книги (и я тоже свои книги переписываю столько же, не потому, что ему подражаю, а вижу, что получается плохо, и пытаюсь сделать лучше). А столько раз переписывая, неужели не достигнешь идеала?

Язык Толстого иногда косноязычен, часто тяжеловесен, текст особым умом не блещет, все как у всех. Можно ли его сделать лучше? Ноги укоротить, голову приплющить, глаза повернуть, нос передвинуть?

Иной бы редактор и взялся ретиво. Да ведь с ЖИВЫМ это делать нельзя! Нельзя корявый язык Толстого улучшать, нельзя корявый язык Платонова улучшать (даже не корявый, а невообразимый, иногда какое-то мычание вместо языка!)

Он скроен по фигуре, он сидит идеально. Такова фигура, и язык как одежда (из слов) ей соответствует.

К счастью, я раньше был учителем, давно уже отказался от перекраивания учеников по своим чертежам (Хотя, признаюсь, все еще лелею надежду перекрыть целый русский народ! Писателя перекраивать не хочу, а НАРОД – жажду перекрыть! В крайнем случае отправить на... Ну, ладно, оставим это...)

Итак, в каждом из нас содержится Лев Толстой, и жить сумасшедшей надеждой написать "Войну и мир" не только позволительно, но и необходимо. Только, правда, не надо повторять неправильно понятую поговорку, что не боги горшки обжигают. Горшки-то обжигают не боги, это точно, но романы пишут БОГИ! И надо стремиться стать Богом, только на этом пути начинающий (или продолжающий) автор и напишет роман своей жизни.

Правда, не забывайте, что не в каждом из нас Пушкин и Лермонтов. Почти ни в ком. Может быть, совсем ни в ком.

Даже не в отношении мастерства. И Тютчев написал прекрасные стихи, и Блок... Ну, ладно, будем только радоваться, что есть, выросли на русской земле два идеальных поэта, или, возможно, сразу родились... Ну, ладно, будем радоваться и гордиться.

Но будем верить, что каждый из нас сможет написать прекрасные книги, которые если и не сделают нас знаменитыми (а это ведь не главное, это все так, суета сует...), но будут достойны нашего восхищения и восхищения тех, кто их прочитает.

И эта вера движет и мною, редактором. Встретиться сразу с готовым Тургеневым, это удача, но надо любить и тех авторов, с которыми сталкивает судьба. В каждом из них есть жажда и способности, иначе бы они не стали мучить себя и других. Надо брать пример с учительницы, которая у одного моего товарища исправляла в слове «естествознание» букву «и» на «е», как он потом подсчитал – 38 раз! Теперь зато он знает, как пишется это слово.

Итак, редактор должен любить автора, любить его произведение. Только в таком случае он может автору оказаться полезен.

Не надо себя автору противопоставлять, над ним возвышаться (хотя

иногда и подмывает). Но надо, чтобы автор редактору верил, пусть даже с ним яростно спорил, но верил.

Что для этого нужно?

Автор – еще не Лев Толстой, хотя уже (вы меня простите, если я продолжу напрашивающийся каламбур) он уже... – простите – так сказать, на сносях...

Но редактор, для того, чтобы поправлять будущего великого писателя, обязан быть ИДЕАЛЕН. У него не должно быть недостатков. Он должен стать и быть БОГОМ!!!

Возможно ли это?

И необходимо и возможно.

Представим себе, что мы в Мариинке слушаем оперу, или наслаждаемся балетом. Двадцатилетняя певица поет Татьяну. Двадцатилетняя балерина танцует Жизель. Слезы катятся по нашим щекам.

Идеальна ли актриса? Нет. Она, возможно, вертихвостка, взбалмошная, глупенькая, невзрачная. Но это в жизни. А на сцене она богиня, она небожительница, она безупречна, она не имеет права в великой опере и в великом балете быть второстепенной.

Так и редактор. Возможно – нет, несомненно, как и поэту, ему помогает Бог.

В необходимом, в судьбоносном случае у редактора и автора сердца бьются согласно как две струны.

Я не судья самому себе, но есть то, чем я горжусь, что оправдывает меня перед Богом.

Судьба ко мне пристрастна, я ее баловень. И мне она передала роман Натальи Троицкой Обнаров. Это выдающийся роман, это великий роман! Что я с ним делал? Так, сдувал отдельные пылинки, не решаясь дотронуться скальпелем (или пером).

Но что-то меня мучило. Только два места. Одно было заплатой на прекрасном теле, другое – занозой.

И я возвал к доверчивой женщине, и, как оказалось, не напрасно, она тоже терзалась теми же чувствами, что и я, эти два места царапали ей гортань, когда она пробовала их на вкус, мешали слуху, когда она их произносила.

Слава Всевышнему, текст теперь безупречен.

Я об этом романе еще напишу, отдельную статью, как и о романе Натальи Ефремовой, который тоже вызвал мое восхищение, и в котором хотя бы пылинки сдуть мне удалось.

(Ах, читатель, какое это счастье – прикоснуться к художественно значительному творению! Возможно, так трепещет сердце костюмера, когда он одевает великого актера перед выходом на сцену!)

И все же, хотя я и хвастаюсь, и привожу пример удачного вмешательства в авторский текст, самое значительное, что может сделать редактор, это найти с автором взаимопонимание. *Нет лучшего редактора, чем сам автор*, побудить его исправить огрехи, помочь ему их увидеть – гораздо важнее, чем вычеркивать и подчеркивать.

У меня есть автор, которую я тоже люблю, на полях я пишу ей краткие заметки, она хохочет, читая их, но и им отчасти подчиняется, и как же радостно движется наша работа!

Где же философия (в приключенческом романе), полушутя я ее спросил? А она отнеслась к моему вопросу серьезно, и в романе появились еще строки, которые его сделали глужбе.

Так что я мечтаю о таком содружестве автора и редактора, когда всю работу по исправлению текста делает сам автор, а редактор только глядит и вздыхает или кивает головой...

Хотя, разумеется, взаимодействие его с авторами многообразно, и редактор-терапевт, учитель и хирург – не отрицают друг друга. Я читал правку разных редакторов, иногда весьма от меня отличных, и не скажу, что нерешительность (как у меня иногда) исключает решительность.

Но есть одно свойство, которое нас всех примиряет, и которое в РЕДАКТОРЕ должно быть главным.

РЕДАКТОР – это КАМЕРТОН, по нему автор настраивает свой слух, с ним сверяет свои оплошности и опечатки.

7.

Но, повторяю, на камне и сеять нелепо, и посеянное не растет. Вольно и невольно, в произведении присутствуют и формируют его Язык, История, Предшественники, Философия и Образованность.

Вот это все вместе и является почвой.

Есть в произведении фабула, герои, мировоззрение, явная и скрытая творческая задача... и многое другое...

Но так как не учебник по стихосложению я сочиняю, то не буду как анатом разделять творение на составные части.

Надо сосредоточиться на чем-то *основном*, да и читатель уже устал от подробностей и отвлечений.

Редактор имеет дело, все же, прежде всего с языком, из-за него он страдает, его он поправляет, в связи с языком вступает с автором в беседы и пререкания. Посему *наступлю я на горло* своим соловьиным песням и вернусь к главному, то есть к *языку*. Но для этого надо еще собраться с мыслями, почему и прошу я у читателя небольшого отпуска, хотя бы на два дня.

А ты за это время перечитай Грота и Потембу, просмотри сборник пословиц и поговорок Владимира Даля, статьи о редактировании Гумилева и Мандельштама, и прочти со вниманием журнальные заметки нашего великого поэта и гениального редактора (не поправлявшего, впрочем, поэтические строки своих собратьев) Александра Сергеевича Пушкина.

«Язык есть средство понимать самого себя. Понимать себя можно в разной мере; чего я в себе не замечаю, то для меня не существует и, конечно, не будет мною выражено в слове. Поэтому никто не имеет права влагать в язык народа того, чего сам этот народ в своем языке не находит.

... История и история языка находятся в обратном отношении.

Мир является нам лишь как ход изменений, происходящих в нас самих».

А. А. Потембу

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЯЗЫК

1.

24 января 2013 г., четверг. Возвращаюсь к словам *Потебни*:

"Язык есть средство понимать самого себя. ... Мир является нам лишь как ход изменений, происходящих в нас самих".

Быть может, не только через язык мы себя пытаемся понимать, но то, что именно через язык в наибольшей степени, несомненно... Впрочем, не буду возражать тем, кто приведет в пример музыку и интуицию и некоторые духовные состояния, например любовь и веру, переживание и постижение, прозрение, вдохновение и откровение, да и саму жизнь в ее целостности, которую вообще невозможно расчлнить на самостоятельные части, – как пример понимания, не связанного только с языком. С языком связано *размышление* и литературное творчество (включая философию и поэзию), и если мне возразят, что таким путем личность (и общество) не достигли понимания, не узнали, *что есть истина*, я тоже не буду спорить, ибо не случайно Пророк, томимый духовной жаждой, оказался на перепутье, и истина еще была скрыта от него, пока не «явился ему шестикрылый серафим», и пока не произошло преображение человеческого языка в *сверхчеловеческий*.

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.

Однако пророку (или поэту) «Бога глас» повелевает:

Глаголом жги сердца людей!

Очевидно, следовательно, что обращаться к людям пророк должен на том человеческом языке, который им внятен, слова которого, строй, стиль и интонации они усвоили по рождению – и все же, язык этот – преображенный.

Что-то отличает язык поэта и пророка, язык писателя и просто литературного деятеля от обыденного, уличного, кухонного языка, а тем более от языка Интернета, что и позволяет писателю обращаться к читателю с надеждой и верой не только быть понятым, но и воздействовать на читателя. Следовательно, сам автор заинтересован в том, чтобы язык его произведений был языком хотя бы в некоторой степени приближенным к тому, которого от него требует шестикрылый серафим.

Отрицание неуместно. Автор передал рукопись своих творений Редактору, он позволил, более того, он попросил Редактора о вмешательстве, о том, чтобы грешный его язык, празднословный и лукавый, Редактор приблизил к тому языку, для говорения на котором Ангел небесный «жало мудрыя змеи В уста замершие мои Вложил десницею кровавой.»

Вот почему Редактор вправе поучать и предписывать автору, КАК говорить и ПИСАТЬ – право это (так сказать, юридически) дано ему автором.

Но он имеет и другое право, более действительное, моральное или даже сакральное. Необходимо допустить, если не поверить, что еще раньше сам Редактор томился Духовной жаждой, и уже встретился «в пустыне мрачной» с «шестикрылым серафимом», и язык его уже преображен, и он уже тот, о котором говорится:

И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.

Может быть, это не совсем так. Может быть, это совсем не так.

Но когда поэт создает стихотворение, и Муза его обнимает, и вдохновение восхищает его чувство и мысль, он не тот обыденный человек, которого мы знаем в обыденной жизни, а через него говорит небо.

И Аз грешный не лучше никого из тех, кого я смею поучать. Но бог поэзии одухотворяет меня, и не я поучаю, но бог.

Как говорит апостол Павел: «Ибо не я говорю, но Христос во мне.»

Пока искал слова апостола, наткнулся и на собственные, которые, мне кажется, тоже уместно здесь привести:

... не будем спорить, каждому – своё! И все-таки, я счастлив, что до сих пор не могу принять слов *саммит*, *холдинг*, *эсклюзив*, *дистрибьютер* и *электорат*... счастлив, что даже "молодежная фея" вроде *торчать* и *приколоться* мне понятнее, чем "черный пиар", "фьючерс", "фрончайзинг", "брифинг" и "траст".

Обладая поразительным по мощи и выразительности наследием, не подверженным ни инфляции, ни девальвации, не ветшающим, не стареющим, и не обесценивающимся "в зависимости от моды и молвы" и внешних перемен, мы пренебрегаем им, портиим его, бросаем под ноги, сбиваем в коктейли, добавляя бочки словесного иноземного дегтя в чистейшие родники русской речи!

Обладая кладезями мудрости, заключенной не только в *изречениях* великих и безвестных, но и в жемчужных и самоцветных *россыпях отдельных слов*, обладая знаниями, вмещенными в слова, как роща содержится в горсти семян, знаниями большими, нежели все сочинения философов и даже Священное Писание, знаниями, полученными нами в дар при рождении, не требующими для пользования ими ни поручительств, ни верительных грамот, мы не вслушиваемся в слово, нагромождая поспешные и непродуманные сочетания их, в которых будто бы заключено "сообщение". Слитное и магическое знание, которое сосредоточивается в слове как золотиносный песок оседает на дне ручья, мы отвергли во имя "информации", в которой смысла не более, чем в случайных завываниях ветра.

"Сегодня на ..-ской улице автомобиль обрызгал прохожего восточнее озера Мичиган, глубина которого..." – это "информация", заполняющая страницы газет, журналов, теле и радиопередач – шум уличной толпы. Магия же заключена в ином:

Свободы сеятель пустынный..

Наедине с тобою, брат..

Очи держи до́лу, а ду́шу – горе́!

О́птина Пу́стынь.. Замоскворече.. Неглинная..

У Лукоморья дуб зеленый..

Я, мать Божия, ныне с молитвою..

Изречение, в котором выражено *магическое знание*, не сообщает и не "информирует", оно – очаровывает, повелевает, преображает душу и мир, воздействует на нас как заклинание, и камни падают вверх, и папоротник расцветает!

Братья! – пытаюсь я сказать. – Я, как и вы, не помню ни очертаний ни протяженности озера Мичиган, не смогу перечислить всех названий звезд в созвездии Кассиопеи и пока еще не знаю доказательства теоремы Ферма – но мои познания безграничны (как и ваши!), потому что во мне живет совершеннейший в мире язык, слова которого удивительны, в них содержатся начала и концы и ответы на все вопросы трагического бытия, и *Откуда есть пошла русская земля*, и *Камо грядеши?*, и *Кто виноват*, и *Что делать?*

Многие из нас родились в бедных семьях, нужда нас мучила и угнетала, так тянулись наши души к *добр*у, а мы начали, когда настал наш час, складывать "добро" в сундуки, как складывал его скупой рыцарь – червонцы, дукаты, мерседесы и хрусталь, дача в Невдубстрое и на улице Пролетарской Диктатуры – но никак не удавалось собрать столько добра, чтобы хватило всем "членам семьи", а после "контрольного выстрела" хоть что-нибудь осталось и любовнице – а ведь судьба давала нам возможность расточительства, но мы не спохватились...

"Будьте милосердны, утешайте несчастных, расточайте добро безоглядно, ибо чем больше его расточите, тем больше его соберется в душе!"

Среди алмазов и изумрудов живем, владеем сокровищами, а видеть их не желаем.

Всё в языке, в его словах, поелику в них – душа народа, преданья старины и правила добра!

Но я не отказываюсь от диалога и даже спора с автором – он и должен отстаивать свое чувство фразы и принять поправку редактора, лишь сделав их своими.

Художественное сочинение зависит от формы, форма определяется языком и определяет его. Поэтому «правильность и неправильность» условны, язык Толстого временами коряв, но если он воссоздает и природу и

человека, и войну и мир, то иным он и не должен быть. Он таков, каким ему быть необходимо.

Путь к истине не пролегает только через язык, как я уже согласился. Но читателю рассказать о любом из тех путей, по которым мы идем, возможно только через язык. Даже музыкальные впечатления передать надо с помощью слова, и чувство и звук.

Поэтому необходимо согласиться, что язык – это и необходимое и достаточное средство, с помощью которого устанавливается взаимопонимание автора и читателя.

Язык может быть и существенно неправильным, как у Андрея Платонова, но он не должен быть ПЛЮХИМ: вялым, бесцветным, неживым, замусоренным.

2.

Литературные тексты не однородны, литературу надо разделить на несколько родов.

Очевидно, что поэзия представляет собою нечто однородное, но особое, она принципиально стоит особняком от всего остального. Легче всего установить эту ее особенность в отношении изменчивости.

Прозаический текст можно перевести на другой язык, можно пересказать другими словами, не ухудшая качества текста, можно исправлять, РЕДАКТИРОВАТЬ.

Стихотворение в переводе теряет что-то самое ценное, если только поэт не попытается на чужом языке создать некий поэтический аналог данного стиха, новое стихотворение, в той или иной мере адекватное переводимому стихотворению.

Поэтический текст никто не может править, кроме самого поэта, да и творцу правка дается с трудом: если оно еще не довершено, то поэт его довершает, завершает процесс созидания. Когда же стих закончен, он уже застыл, и перелепить его невозможно.

Даже сам Лермонтов не смог изменить строку, признанную редактором негодной: *Из пламя и света рожденное слово.*

Что было бы, если бы образованный редактор Краевский, посчитавший сию строку негодной, стал ее редактировать? Мысль эту лучше не продолжать.

Итак, невозможно редактировать поэтический текст, кроме, может быть, текстов начинающих поэтов или третьестепенных, да и в них скорее всего речь идет о знаках препинания или орфографии. Впрочем, у Пушкина и Лермонтова даже об этом речь идти не может.

Однако же на столе редактора лежат и стихи, и на моем столе тоже, и я их вынужден редактировать, что мне совсем не нравится.

Но сразу, чтобы не было кривотолков, объяснюсь: с автором я разговариваю о том впечатлении, которое производит или может произвести его стихотворение на читателя, чтобы заставить автора, пока еще не поздно, пока еще строки не затвердели, исправить знаки препинания или ошибки, если только сам автор в состоянии их почувствовать и исправить.

Чужие СТИХИ ИСПРАВЛЯТЬ (то есть *редактировать*) НЕЛЬЗЯ.

Этот вывод станет понятен, если мы сопоставим стихи с другим родом текста, где этот же вывод даже не обсуждается, не только не оспаривается.

В середине семнадцатого столетия патриарх Никон начал церковную реформу (а после него ее довели до конца), прежде всего исправление богослужебных книг. Так как я не историк, то не буду касаться существа споров, я напомним только, к чему это привело.

Тысячи людей были сожжены. Тысячи сожгли себя сами. Треть народа противопоставила себя государству и официальной церкви. И хотя в результате многовековых жестоких репрессий часть народа, отколовшегося от государственной церкви, значительно уменьшилась, но даже в начале двадцатого столетия к старообрядцам принадлежали миллионы.

Пока сакральный текст рождается, не отвердел, он еще изменчив, но с некоторого мгновения изменения его приводят к разделению церкви на секты, к пыткам и казням. Таков результат становления текста, известного как Символ веры.

Сравнивая Поэзию с Священным писанием, замечаем существенно общие черты, роднящие их.

И потому я почти ничего не буду говорить о редактировании поэтических творений, даже если на деле и буду сталкиваться с таковыми текстами в своей редакторской работе.

Правда, читатель может впасть в соблазн, если еще не впал.

Он может решить, что я пишу Учебник редактирования, или Свод правил, которыми надо руководствоваться при работе с рукописями.

Ничего подобного. Я пишу Записки редактора, то есть Записки того человека, профессией которого является работа с литературными текстами. Но в таковых записках речь может идти о чем угодно, например о любви, о рыбной ловле, пьянстве или путешествиях, потому что и редактор может всем этим заниматься. Так, скажем, записки англичанина не обязательно описывают Англию, привычки лордов и обычай подавать на завтрак овсянку. Как и «Записки женщины» могут касаться особенностей армейской женской службы, но вовсе не особенностей, характеризующих девушек как таковых.

Итак, я пишу о литературе, и этого достаточно, чтобы оправдать название, данное моим Запискам. Но я еще пишу, «идя навстречу пожеланиям трудящихся» писателей, о трудностях, которые подстерегают их в общении с редакторами – о моих трудностях я умолчу, их, возможно, и вовсе нет. Например, какие трудности могут быть у юноши, желающего познакомиться с девушкой? Никаких! А у девушки эти трудности существуют, о чем нам и поведал автор в небольшой повести «Случайная любовь», написанной хорошим русским языком и с странным пониманием тайных мыслей и чувств молодой девушки, которых, как казалось мне раньше, она и сама не могла понимать. Но прочтите повесть!

Итак, стихи я не пытался подвергать исправлению, но о стихах я с удовольствием говорю. И вообще говорю о том, о чем мне нравится говорить в связи с моей профессией.

Возможно, когда-нибудь я напишу о своем опыте работы в школе и в институте, и этот рассказ в еще меньшей мере будет содержать изложение каких-либо педагогических принципов, чем редакторских принципов содержит данный рассказ. Поскольку я не учился в Пединституте и никогда не изучал педагогических правил.

Возможно, эти Записки – просто доверчивый разговор двух собратьев по ремеслу и искусству, по ремеслу-искусству, о превратностях литературной жизни. Я во многом разочаровался раньше авторов, с наивной надеждой на чудо несущих мне свои рукописи, но зато я после многих разочарований вновь взялся за поиски чуда и неожиданно начал очаровываться – этим свои сверхъестественным очарованием я и хочу поделиться с читателем-писателем.

Друг мой, утешься! – говорю я ему.

Сегодня мы переживаем трагическое время, когда человек почти повсеместно забыл о книге и перестал читать. Но тебе повезло. У тебя есть я. Даже если я единственный твой читатель, он у тебя есть. И не худший. Я умею восхищаться. Любить. Обожать. Ценить если не целое, то хотя бы часть, хотя бы наилучшее в авторе – а оно ЕСТЬ в каждом авторе!

Я тебя люблю как мать любит своих детей – а она любит всех своих детей, даже бесталанных. А этих еще сильнее.

Как тебе повезло, мой друг! Ты не имеешь права не быть счастливым.

И я тоже счастлив. Вы читаете мои придирки и замечания, вы их обдумываете, корпите над ними, мучаетесь, покоряетесь! Даже мои ученики не были мне так покорны. Даже те девушки, которым я нравился. Наконец-то Господь вознаградил меня за все, что было, как мне казалось, неблагоприятного в моей жизни... Хотя теперь я вижу, что в ней, напротив, было благополучно ВСЁ!

Простите меня за то, что я не так полезен, как следовало бы. Но сколько смог.

3.

Невозможно взаимоотношения редактора и автора разделить на правильные и неправильные по формальному признаку. Критерием разделения не может быть ни количество изменений, предложенных редактором, ни даже качество их.

Я уже приводил образчик Платоновского текста, приведу и еще.

Активист наклонился к своим бумагам, прощупывая тщательными глазами все точные тезисы и задания; он с жадностью собственности, без памяти о домашнем счастье строил необходимое будущее, готовя для себя в нем вечность, и потому он сейчас запустел, опух от забот и оброс редкими волосами. Лампа горела перед его подозрительным взглядом, умственно и фактически наблюдающим кулацкую сволочь.

Старательный редактор переписал этот текст так:

Активист наклонился к своим бумагам. Его занимало строительство будущего, он готовился к вечности, поэтому в настоящем опух от забот и зарос. Горела лампа, при свете которой он размышлял о кулацкой сволочи.

Еще более старательный редактор переписал его еще лучше:

Активист зажег лампу, склонился над бумагами и задумался о кулацкой сволочи, забыв постричься.

Что же до меня, то после долгих размышлений я решил изменить шрифт, не изменяя ни слова, ни знаки препинаний, скажем так:

АКТИВИСТ НАКЛОНИЛСЯ К СВОИМ БУМАГАМ, ПРОШУПЫВАЯ ТЩАТЕЛЬНЫМИ ГЛАЗАМИ ВСЕ ТОЧНЫЕ ТЕЗИСЫ И ЗАДАНИЯ; ОН С ЖАДНОСТЬЮ ...

Как ни удивительно, невозможно редактировать никакой текст, адекватно воплощающий авторский замысел, или мысль, или чувство, или образ. Перо редактора замирает перед текстом Толстого, Ремизова, Тургенева, Пришвина...

Не правда ли, по нескольким звукам вы узнаете известного вам человека, заговорившего с вами, даже когда его не видите? Узнаете его по походке? Иногда только по дыханию? Решитесь ли вы что-либо в нем менять? Нет, он именно таков, каков есть; попытавшись изменить в нем тоны голоса, походку, внешность, вы причините ему только вред.

Именно поэтому, работая учителем, я постоянно колебался, должен ли я своих подопечных только учить математике, или вправе ВОСПИТЫВАТЬ?

В конце концов я склонился к компромиссу.

Пока человек еще не отлился в некие ему предназначенные формы, пока идет становление, учитель может вмешиваться в процесс произрастания или отливки. Так и крестьянин рыхлит землю вокруг картофельных кустов, но лишь дважды, и до определенной поры, ибо позже он только помешает им расти.

Но, впрочем, а если суждено отлиться чему-то уродливому, бесформенному, если из вашего ученика вырастает разбойник? Или «девушка легкого поведения»?

И я понял, что опасно и нехорошо вмешательство, но не лучше и невмешательство.

Поэтому был я прилежным учителем, теперь вот я прилежный редактор, оглядываясь на плоды трудов своих, могу только сказать, что в них смогу найти примеры двух противоположных добродетелей: страстного, даже яростного вмешательства в жизнь, вплоть до баррикад – с одной стороны; и философского спокойствия и невмешательства – с другой.

Однажды я учил математике юношу, который, пока я диктовал ему задачу, спросил: *Но существует ли Бог?*

В конце длинной череды занятий (за которые я получал, кстати сказать, деньги) мы пришли к выводу, что «Бог, все-таки, есть!», но юноша не поступил на МатМех. (Через много лет он подарил мне книгу, в которой он уже доказал бытие Бога, хотя, впрочем, сам в этом слегка сомневался – не совсем, все-таки, математика прошла мимо!)

В другой раз я учил математике девушку, которая даже не умела умножать дроби и готовилась в гуманитарии. В результате длинной череды занятий девушка не поступила на Филфак, потому что поступила на МатМех, потом даже защитила диссертацию и стала преподавателем. Но позже отряхнула от ног своих и математику и воспоминания о наших ученых занятиях и создала любительский хор.

Поэтому-то, читатель, я и заливаюсь соловьем вокруг да около, прямо не говоря, в чем же состоит искусство или ремесло редактирования.

Правда, в этом уклонении от прямызни мне помогает одна поговорка, которую любила повторять моя мама (не знавшая не только редактирования, но и даже книг не писавшая и почти не читавшая, исключая Новый Завет и Протопопа): «Кто прямо ходит, тот дома не ночует!»

4.

Одно время у меня был, так сказать, свой собственный литературный кружок. Они все уже были самобытными писателями, и хотя я размещал их творения в сборник, но редактировать себя они не давались (даже попытка изменить ТОЛЬКО ОДНУ ЗАПЯТУЮ привела чуть не к скандалу).

Наконец они мне надоели настолько, что я стал проповедовать, что писание книг – это грех (и такова и в самом деле христианская точка зрения. Как и стремление к изменению мира и человека – грех, то есть воспитательная работа и политическая или революционная деятельность. Единственное, что нужно, это верить в Бога и поощрять веру в других. Или, точнее говоря, СПАСАТЬ СВОЮ – именно СВОЮ ДУШУ.

Спаси свою душу, говорил Серафим Саровский, и тысячи вокруг тебя спасутся! Не буду спорить, тем более что я пока не спас ни одного, не знаю, спас ли себя.)

Итак, своих писателей я стал убеждать перестать писать, даже сочинил стихотворение.

Сочинительство – мука и грех,
Дерзкий план исправления мира.
Посему – хоть божественна лира,
Все ж за сценою – дьявольский смех...

Мои писатели меня не послушались, да и сам я не смог побороть эту дьявольскую напасть, а потом окунулся в интернет, и увидел, что в нем уже два миллиона текстов...

А потом я ИЗМЕНИЛСЯ.

Я вдруг стал понимать, что это совсем НЕ плохо.

Плохо играть в карты на деньги, как Достоевский, или чрезмерно пить, как Эдгар По, или приставать к малолеткам (хотя бы в воображении), как Набоков – но писать стихи и прозу совсем не плохо, даже плохие стихи, как, например, Толстой, Тургенев, Достоевский, Солженицын (но они вовремя опомнились), или плохую прозу, как Некрасов (по крайней мере, в сравнении с его стихами).

Итак, **писать – это хорошо.**

Я это теперь не буду доказывать, это сложно, тем более что уже обнародовано два миллиона текстов и многие из них безграмотны, претенциозны, напыщенны, невежественны, тщеславны, пусты и прочая и прочая...

И все же. Письма пишут почти все, и это замечательно (хотя не все письма хороши). Пусть пишут и романы. Все не в подворотне на троих (хотя, впрочем, и там не все однозначно...)

Итак, **хорошо, что пишут почти все.**

Некоторые из этих произведений попадают ко мне в руки.

Среди них есть гениальные или, по крайней мере, талантливые.

Как ни странно, совсем НЕ талантливых не встретилось мне ни одного.

И вот вопреки тому, что я только что доказывал, что хорошего редактировать – только портить (а плохого, вроде бы, не надо и редактировать), я все же СТАРАЮСЬ, я в поте лица отрабатываю свой долг.

Хотя два досадных случая меня огорчают.

У одного автора запятыми было окаймлено слово ВДРУГ, и я кайму убрал, автор огорчился и подал на меня в суд.

У другого я посмел убрать некоторые буквы из неприличных слов, и автор меня даже обругал (этими самыми словами, включающими ВСЕ буквы).

Я не сумел найти к ним подхода, я оказался плохим педагогом, а они были самолюбивы как подростки. Жаль мне своих неудач, потому что эти авторы и вправду талантливы (как и другие, с которыми меня столкнула судьба), и мне до сих пор кажется, что их вещи стали бы лучше после меня – я ведь не более чем хотел обрезать нитки, торчащие из швов, стереть капельки грязи, приставшие к лицу от проехавшего шарабана.

Ну, ладно...

Так, значит, все же редактированию следует вскричать Аллилуйю?!

5.

Итак, повторяю, прежде всего, необходимо, чтобы свои тексты правил (редактировал) сам автор. Хотя бы СЕМЬ раз! Ибо сказано, что семь раз отмерь, один отрежь. Так что прежде чем отрезать от себя и выставить в интернет, семь раз надо отмерить (то есть поправить – отредактировать).

А после этого передать рукопись профессиональному ... кому как повезет... Но все равно надо передавать, и так как последнее слово за автором, то пусть автор решает, что ему делать с редактором – повиноваться, внимать, слушаться или убить...

История дает примеры поразительные.

Ну, во-первых, вопреки заповеди «не убий» благодарные народы убивали самых исключительных, начиная с живого Бога (Иисуса Христа), и продолжая пророками, героями, вождями, царями, спасителями, поэтами и учеными: Жанной Д*Арк, Аввакумом, Гипатией, апостолом Павлом, Гумилевым, Кромвелем, Николаем Вторым, Колчаком, Пушкиным, Лермонтовым, Есениным... Список этот можно продолжить до Млечного пути, и я остановлюсь.

Что уж удивляться тому, что и "редактированию" подвергались ВСЕ?!

Сталин отредактировал письма и фотографии Ленина, Ленин редактировал Маха и других философов, которых не понимал, советские издатели редактировали даже Пушкина, которого редактировали и император и Филарет, ну а современников редактировали так, что авторы не всегда узнавали свои сочинения.

Многих поэтов и писателей советского времени редактировали безграмотные следователи, а после них часто точку ставил «товарищ Маузер», к которому не зря обратился талантливейший поэт советской эпохи (по определению Сталина) с призывом: А теперь ваше слово, товарищ...

Кого надо и кого можно редактировать, и насколько, это вопрос, не имеющий окончательного ответа. Как и Мережковский, я считаю, что Пушкина и Толстого редактировать нельзя, но не потому, что они знамениты, а потому, что их редактором является Сам Господь. Все, что создано в состоянии вдохновения, не подлежит земному суду. Если же речь Толстого временами корява, значит, так надо. У сосны и дуба кора тоже корява, но и дуб и сосна безупречны, разве кто-то посмеет делать их кору глаже?

Но, однако, не все так просто.

И я приведу противоположное мнение, с которым я совершенно не согласен, хотя и почитаю того, кто его высказал.

Итак, вот что говорит Т.А. Шумовский, столетний юбилей которого мы будем отмечать через несколько дней (те, кто его знает и любит. Ибо народная власть сделала все возможное, чтобы этот человек – как и многие другие талантливейшие люди) канул в вечность забвения!

«Как-то в беседе с автором книги "Слово о словах" Львом Успенским я пожалел о том, что единственную стихотворную строку в некоем памятнике египетской народной поэзии Пушкин превратил в русское стихотворение из... четырнадцати отрок: От меня вечер Лейла ...» и так далее, исказив к тому же имя героини. Между тем единственную строку египетского /арабского/ подлинника можно полностью передать по-русски, без ущерба для смысла:

Встала. Я ей: "Сядь". Она: "Седина твоя видна".

"Вы перевели прекрасно, – сказал Успенский. – Но ведь это Пушкин!"

И добавил:

– Однажды, в Париже, общаясь в кругу русских эмигрантов, Бунин заявил, что он готов творчески поработать над сокращением "Войны и мира."

На это спутники по пребыванию в Париже ответили ему: "Да, но ведь это Толстой!"

– Лев Васильевич, – сказал я, – далеко ли мы уедем, безропотно, покорно преклоняясь перед знаменитостями?»

Но необходимо разделить тексты, на которые жадным взглядом смотрит редактор, хотя бы надвое. Одни из них не устоялись, не стали еще собою, не определились, не завершился процесс кристаллизации, возможно, не определился даже пол, вид и род. Этногенез нам показывает, что у всего живого это так, ничто не является определенным и законченным, пока идет процесс становления.

Другие же словно бы даны изначально, по крайней мере для нас. Таковы горы, реки, озера, материка, моря и океаны. Читатель получил их в готовом виде, и если он дерзает их редактировать, то он их уродует, как рукотворными морями изуродовали мы русские реки, навсегда залив водой города, стоящие по их берегам.

Невозможно редактировать химические вещества, они уже закончены (хотя мы и можем создавать новые); убирая даже один только атом в молекуле воды, мы ее убиваем.

Следовательно, есть вид текстов, существующих как законченные, и их изменять нельзя. Прежде всего, это стихи. Но где проходит граница поэзии? Что такое «Жития» пророка Аввакума, не имеющие привычных поэтических признаков, размера и рифмы? Что такое «проза» Андрея Платонова? Без сомнения, это ПОЭЗИЯ!

Но корявая проза Толстого – это же не поэзия?! Нет! Но и к ней применима формула Теодора де Банвиля: «Поэзия есть то, что *создано* и, следовательно, не нуждается в переделке».

[Кстати, иногда полагают, что отличительной особенностью Поэтического являются некие замысловатости в выражениях или даже бессмыслицы – но это не так, поэтому, чтобы читатель меня понял, мне придется сначала отредактировать эту бессмысленную формулу; ибо, думаю, автор имел в виду, что «Поэтическое произведение есть то, что *создано* как нечто окончательное и единственно возможное и не нуждается в переделке». С такой точки зрения произведения многих авторов, созданные в особом состоянии вдохновения, даже не относящиеся к поэзии, не только не нуждаются в переделке, но она им и во вред. Автор, уже нашедший свой голос, научившийся им владеть (вспомните, что о певце обычно говорят: у него *поставлен* голос!), прислушивается только к его звучанию. Если же он творит во вдохновении, то прислушивается к "небесам", они ему диктуют, они его редактируют.]

В творчестве следует различать две стороны: РЕМЕСЛО и ИСКУССТВО. Правила могут относиться только к ремеслу. Это же справедливо и по отношению к труду редактора.

Таким образом, читатель, я принужден тебя разочаровать. Ты ждал от меня продуктивных указаний на то, как ТВОРИТЬ и как ИСПРАВЛЯТЬ, я же тебя запутал, говоря, что не знаю ни того ни другого, да и никто этого знать не может.

Но немногие советы, все же, я даю (и самому себе тоже).

Необходим талант. Но в еще большей мере ЧУВСТВО МЕРЫ и СЛУХ.

Если же нет ни того, ни другого, надо запастись терпением, читать, страдать, жить, писать, топить печку рукописями, влюбляться, отчаиваться, оказываться на краю, спасаться, снова писать и снова топить печку. *Всё великое приходит через великую боль.* Наконец, через тридцать лет, когда уже вбит крюк в стену и припасена веревка, *голос прорезается!*

Правда, к тому времени уже состарилась или умерла Наина...

Но тогда ты уже будешь готов ПОЙТИ дальше...

Немногим дано, как Тютчеву или Моцарту, владение формой в пятилетнем возрасте. Но кто претендует на большее, должен «выстрадать свое богатство, и уж зато не будет расточать его беспечно как Моцарт...»

Впрочем, есть ли у искусства правила, можно ли «алгеброй гармонию поверить», Пушкин рассказал изящнее, чем я, повторяющий его вдохновенные строки корявой прозой, поэтому, читатель-писатель, закрой пока мои листки и перечитай вдохновенного поэта, а уж потом, если будет охота, продолжишь читать и меня.

6.

Формула Кольриджа гласит: «Поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке». Не исправляю перевод, надеюсь, что он безупречен, но я сам процитировал его слова в своих стихах безотчетно иначе, и только когда Муза вдруг шуточно заметила: *Ну, ладно, хватит с тебя!* – и повернулась уйти, я перечитал и понял, что это не совсем я, но отчасти и Кольридж.

Итак, приведу те строки, которые остались после того, как Муза ушла.

ЧТО ТАКОЕ СТИХИ?

*Соединение слов в наилучшем порядке,
Ночь под дождём в одноместной палатке,
Рядом – горячая. Жар от костра.
Муза играет то в жмурки, то в прятки,
Рифмы, метафоры, образы, блядки...
Кто ты, Поэзия? Подруга, сестра?*

*Соединение слов наилучших по смыслу и звуку,
Страстно сжимаю твою непокорную руку,
Ночь пожирая, смеется огонь.
Всё он сумеет, вобрав в себя жажду и муку,
Даже грядущую утром разлуку.
Кто ты? Откройся! Открой мне ладонь!*

*Строки стиха уклоняются справа налево.
Звездное небо, Пегас, златокрылая дева,
Алые угли, заботливый жар...
Рядом под боком шумящее озеро Нево,
В пене рождаются Муза и Ева...
...Нет, не порядок, не выбор, а дар!*

Итак, безусловно слова как и звуки подчиняются дирижеру, но возможна ли дискриминация? Надо ли отбраковывать одни слова и впускать в прихожую к поэту слова только избранные? Нет!!! Всякое слово уместно, но все зависит от окружения, от контекста. Как и движение, выражение лица и осанка. На заседаниях «Государственной дуРы» уместно зевать, на свидании – вздыхать и краснеть. На экзамене – выгладеть умным, на допросе – подчас прикидываться дурачком, на эшафоте... еще пока Бог миловал, но попытаюсь глядеть с презрением.

В стихотворении о любви, разумеется, слова необходимо располагать «в наилучшем порядке», но выбор слов почти безграничен, почти нет худших и лучших.

В стихи не все вместить возможно! –
Ботинки, веник у двери,
Обрывки сна, следы пирожных,
Твою улыбку, свет зари,
Сугробы, улицу, забор...
Я не застал тебя в квартире –
И тускло стало в целом мире,
И тесен этот узкий двор.
Так грустно вновь на жизнь смотрю!
Но вижу шарф твой, ранец школьный –
И от смущенья в стих невольный
Мешаю веник и зарю.
Не уходи, моя любовь!
Я буду всех нежней на свете!
Тебе, единственной – морковь,
Два яблока – и строки эти!

Кроме того, по определению Потебни, поэзия есть явление языка или особая форма речи. Она также – создание обширного значения посредством единичного словесного образа. Основное условие существования поэзии – индикаторность в широком смысле.

Этому определению соответствуют и протопоп Аввакум и Андрей Платонов.

7.

Статьи Гумилева и Мандельштама о Поэзии я прочитал пятьдесят лет назад и, разумеется, забыл, о чем в них говорилось, пока не перечитал на днях. Но то прошлое впечатление я помню до сих пор. Высокая литература (как и высокое искусство) воодушевляет, одухотворяет, вдохновляет. Быть может, именно в этом ее назначение.

Увы, разбойник не раскаивается, грешница не уходит в монастырь, скупой не раздает милостыни, богатый не отказывается от богатств и властитель не становится милосерднее.

Тогда зачем мы пишем и редактируем?

Впрочем, зачем я редактирую, я знаю.

Я много лет преподавал математику, я учил и талантливых и бесталанных. Однажды я понял, что математике можно научить любого (пока еще человек пластичен), что в каждом из нас скрыт гений. Это же справедливо по отношению к литературе. Продолжайте писать, но *прислушайтесь к тому, как звучит слово*. Я не скажу, как его выбирать, это вы сделаете сами, я – только *камертон*, по которому вы настраиваете язык.

Но, возможно, моя задача шире, и об этом мы еще поговорим.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЯЗЫК, КУЛЬТУРА и НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

1.

Суббота, 9 февраля 2013, полночь.

Обращаясь к христианам, апостол Павел сказал: «*Отныне несть ни еллина, ни иудея, но все мы братья и сестры...*»

Его надежда не сбылась, есть и те и другие, и тысячи языков и народов, в одной только России их более чем двенадцать, и этот разноплеменный хор, не отмененный не только христианством, но и исламом и буддизмом, продолжается и будет продолжаться еще долго. Хорошо ли это или плохо, не буду теперь обсуждать, ибо меня интересует в рамках данных записок преимущественно литература, а в приложении к ней та почва, на которой она произрастает. И эта почва, очевидно, национальная, и Пушкин – *русский* поэт, и Лермонтов, и Мандельштам... И писатели Толстой, Достоевский и Куприн – *русские* писатели.

В связи с этим уместно спросить, что значит быть русским, что им делает, только ли рождение, гражданство, проживание, есть ли что-то наиболее существенное, что в национальной принадлежности играет главную роль?

Да, есть, отвечают многие (вместе со мной) – это ЯЗЫК.

Для кого родной язык русский, тот русский, для кого родной цыганский, тот цыган, хотя множество примеров эту точку зрения если не опровергают, то делают ее зыбкой, и я даже знаю удивительный пример, когда некоторый человек был русским антисемитом, просидел за это при счастливом советском прошлом много лет, освободился, стал сионистом, просидел за это при счастливом советском прошлом еще больше лет, освободился, уехал в Израиль, говорит на иврите, хотя издает газету на русском языке, и является, очевидно, евреем. Так что я понимаю, что не все так просто, и даже становясь христианами, мы не перестаем быть еллинами или иудеями.

Но есть, есть нечто даже более удивительное, чем ВЕРА, это ПОЭЗИЯ (в частности, и литература вообще, но поэзия в особенности).

Принадлежащий к поэзии является поэтом, то есть приобретает новое качество, почти отменяющее почти все человеческое, в том числе пол и национальность. НО – поэт существует лишь на почве языка, и ЯЗЫК для поэта и становится национальностью. Кем бы он ни был до того, как начал писать стихи, «тунгус или калмык», начиная писать стихи по-русски, он становится русским поэтом, все же остальное (даже пол) становится несущественным.

Но если ПОЛ налагает на человека множество обязательств, и от мужчины мы требуем выдержки и мужества, а от женщины такта, меры, вкуса, обаяния, нежности, изящества, сострадания, милости, аккуратности в одежде и прическе, тонкости в разговоре, то тем более суровые обязательства налагает на человека принадлежность к «щеху поэтов». Быть русским поэтом значит быть РУССКИМ в наибольшей степени, быть образцом русскости!!! Да

разве и быть русским писателем не то же самое? Если, вступая в брак, мы даем **обязательство не бегать «налево»**, то вступая на литературное поприще, мы принимаем на себя обязательства еще более неотъемлемые и ненарушимые, мы превращаем себя в символ, в образ, в меру! На поэта и писателя (а в меньшей степени на ученого, историка и воина) смотрит россиянин, спрашивая, что значит быть национально определенным, что значит быть русским. Но в чем мы эту принятую нами русскость можем нарушить, в чем подтвердить? Только в ЯЗЫКЕ! Поэтому язык наших сочинений должен быть... здесь я остановлюсь, ибо в двух-трех словах я не сформулирую, каким он должен быть, если даже в предшествующих пяти главах своих Записок еще не сформулировал.

Иногда мне кажется, что писатель имеет право писать как ему вздумается, и редактора можно упразднить за ненужностью, но потом я опомниваюсь, и думаю, что даже если автор сам себе редактор, судья, цензор, ценитель, критик и читатель, то все равно редактор – отдельно от литератора или вместе с ним – необходим.

Язык должен быть отредактирован в литературном произведении НЕ МЕНЬШЕ, чем одежда у девушки, идущей на свидание. Ведь вертитесь вы перед зеркалом, примеряя, приглаживая, одергивая, поправляя то и другое – так отчего же пытаетесь писать абы как? Нет, голубушки, идя на свидание к читателю, хотя бы семь раз примерьте, чтобы редактор отрезал только раз, а не являйтесь без примерки, чтобы не пришлось резать и резать!..

Впрочем, эта глава посвящена не только редактированию, она посвящена в значительной части человеку, много размышлявшему и писавшему о языке, да к тому же ученому, да к тому же прекрасному поэту, и хотя она уместна среди записок, но отчасти из их тона выбивается, поэтому дальнейшее изложение я назову, как в музыкальном сочинении,

2. INTERMEZZO

С чем можно сравнить жизнь отдельного человека? С клубком ниток, в котором нитки перепутаны и порваны в нескольких местах. Я держу в руке несколько концов, и чтобы представить свою жизнь как целое, как развитие определенного сюжета, мне нужно их связать воедино, так, чтобы отдельные части нити, отдельные сюжеты соединялись в одну нить, в один сюжет. Или, по крайней мере, надо найти одну общую идею, тему, мелодию, в которую бы вливались частные идеи, темы и мелодии.

Может быть, этой общей идеей является Любовь?

Или слепая покорность обстоятельствам, обществу, государству, НЕЗНАЕМОЙ воле Господней, Судьбе?

Или ПРОТИВОСТОЯНИЕ?

Почти уже год прошел, как умер выдающийся человек прошедшего столетия, захвативший и нынешнее, сам являющийся столетием, Теодор (Тадеуш) Адамович Шумовский. Прожил он 99 лет, начал сотый год, и вдруг сорвался.

В интернете развернулась дискуссия о нем, все соглашались, что его жизнь – подвиг, но разноречивы были в том, как назвать этот подвиг, что считать его центральной идеей, осью. Не осью даже жизни, творчества (ибо его жизнь и была преимущественно творчеством), а осью жизни был подвиг – но что являлось осью самого подвига, в чем был его важнейший смысл? Подвиги ведь тоже бывают разные, есть подвиг самопожертвования, как у матерей, почти у всех, есть военный, подвиг героизма, храбрости; мужества, страсти и атаки; есть подвиг самой жизни – подвиг терпения, особенно в жизни не яркой, не выдающейся, связанной заботой о близких (или даже дальних), который, не замеченный окружающими, наполняет поступки и личность многих рядом с нами, много говорят о научном подвиге, особенно когда ученого преследуют за его взгляды и труды, как при засилии христианства и коммунистического тоталитаризма; есть даже в любви и дружбе яркий или тихий подвиг, без которого они, как растения без полива, быстро бы засохли... Двое ведь всегда неодинаковы, и если бы одна из сторон не заботилась постоянно о сохранении связывающего их чувства, оно бы быстро заросло репьями, особенно в семейной жизни. Так что это подвиг преимущественно наших долготерпеливых и праведных жен!!!

О Шумовском все сошлись в мнении, что в центре его жизни был спор с судьбою.

Почти двадцать лет тюрем и лагерей, первый арест в 1938-м году, еще до окончания университета – какая карьера ученого-арабиста выдержала бы такие удары, главным из которых являлся отрыв от научного окружения и библиотек?!

После освобождения в 1948-м году Шумовского отправляют в ссылку в Боровичи Новгородской области, вопреки обстоятельствам он защищает университетский диплом, работает над кандидатской диссертацией – и тут следует (в 48-м году) второй арест и второе заключение, из которого он освободился в 1956-м году.

Будучи полиглотом, выдающимся специалистом по арабскому миру, любимым учеником академика Крачковского, который о нем заботился и усиленно ему помогал, Шумовский, тем не менее, не находит поддержки в близкой научной среде, если не сказать, находит противодействие своим взглядам, и докторскую диссертацию защищает на историческом, а не Восточном факультете. Надо сказать, даже на его похороны из Восточного института никто не пришел.

Откликнулась «младонаучная общественность», даже очень горячо, много сердец откликнулось на его смерть, как еще раньше было немало тех, кто с ним сблизился и ему помогал, когда он, в последние годы своей жизни, тяжело болел.

Но Российские государственные лица промолчали. Российская наука молчала также. Власти Петербурга смерть Шумовского не заметили, как не заметили его жизни.

Некоторые из молодых людей обратили внимание прежде всего на

долгую жизнь ученого, умер он на сотом году жизни, меньше года не дожив до столетия. Спор с судьбой, *противостояние судьбе* – так писали его восторженные почитатели.

Но кто же в результате оказался победителем, Судьба ли победила, или герой, бросивший ей вызов? Словно бы спор состоял лишь в том, удастся ли дожить до ста лет – нет, заключали иные, *не добежал...*

Спор с судьбой состоялся воистину, и даже столетие было в этом споре существенно, и сегодня я вспоминаю и те прошлогодние разговоры, вспоминая Теодора Адамовича.

Жизнь его безусловно состоялась, он достиг вершин в своей научной работе, и даже карьера его вызывает почтение: доктор наук, автор нескольких изданных как научных книг, так и книг воспоминаний «У моря арабистики» (1975), «Воспоминания арабиста» (1978) и «Свет с Востока» (2006), блестящий поэт, счастливый отец и верный друг, он продолжал работать буквально до последнего дня жизни.

В восемьдесят лет, прикованный к постели, ученый размышлял: «Возраст относителен, внешние обстоятельства, возможно, являются жестокими, но необходимыми условиями дальнейшего развития личности. Я должен не проклинать судьбу, а пытаться увидеть, что она хочет мне сказать, к каким неосознанным истинам и шагам она меня подводит. Неужели останется незавершенным дело всей моей жизни – перевод на русский язык стихами величайшего литературного и религиозного памятника – Корана? А ведь только теперь я созрел для этой работы!»

И научный подвиг он совершил безусловно – *преодолев болезнь*, Теодор Адамович создал единственное в мире адекватное стихотворное переложение священной книги мусульман, и этот труд был НАПЕЧАТАН, выдержав за последние пятнадцать лет шесть изданий.

Судьба продолжала строить козни, первое издание Корана было запрещено к распространению, и где его экземпляры, теперь одному Аллаху известно. Но хотя нет пророка в своем отечестве (особенно в нашем), нашлись достойные люди из татарской общины Петербурга, Коран вышел вторым изданием и получил разрешение к распространению Духовного управления мусульман, а затем начались и его переиздания, в том числе художественно изысканные.

Меньше повезло стихам, одно собрание было подготовлено наспех, содержало много стихов вторичных, снижающих впечатление от поэтического мастерства Т. А., над вторым собранием работа еще продолжается и пока в свет вышло восемь его экземпляров – в частности, в день 99-летия Теодор Адамович уже держал его в руках, хотя сам прочитать не мог – Судьба продолжала строить козни и поэт уже почти не видел.

В последней книге Воспоминаний «Свет с Востока» есть удивительные строчки, в которых поэт-мемуарист отходит от привычной формы рассказа о минувшем – одна из глав книги начинается так:

«Милый Василий Иванович, сколько добра и света на ваших вечерах... Мы приходим обычно по воскресениям, к шести вечера. ...»

Открывается дверь, на пороге сам хозяин дома, радушиная улыбка тонет в его густой, слегка тронутой сединой бороде: Проходите, проходите, заждались вас, уже почти все в сборе. ...»

Нас соединяли более тридцати лет дружбы, последняя наша встреча состоялась в больнице, за два дня до смерти Т. А.

Он умер в конце февраля, похороны состоялись на Литераторских мостках Волкова кладбища, рядом с храмом и могилой его учителя, академика Крачковского – этого добилась татарская община в сотрудничестве с другими мусульманскими общинами города. В конце октября, в последний разрешенный день – на могиле ученого был воздвигнут памятник.

В прошедшую субботу, второго февраля, общественность города торжественно отметила СТОЛЕТИЕ со дня рождения выдающегося ученого, замечательного поэта, великого человека – гонимого судьбой, властями страны, конвоирами и начальниками лагерей, сибирскими морозами, непосильным трудом на лесосеке, болезнями, немощами, разочарованиями, обидами, предательством – но – НЕПОБЕЖДЕННОГО!

Через три недели родные и друзья почтят память Т. А. в годовщину его смерти.

И удивительная мысль посещает меня: словно небесный Ангел рассчитал времена и сроки и поторопил смерть на несколько недель, чтобы сбылось ВСЕ.

Хотя и научный труд и поэзия содержат награду в самих себе, но все же, в назидание современникам и потомкам, дана нам, живущим рядом с гениями, возможность САМООПРАВДАНИЯ: этот странный год между девяностодевятилетием и столетием был годом необходимого ТРИУМФА. Правда и Истина восторжествовали, к ученому пришло ПРИЗНАНИЕ.

Удивительна и символична его жизнь.

Теодор (Гадеуш) Адамович родился на Украине в польской семье. Азербайджан стал его второй родиной, там он провел детство и юность и неоднократно бывал позже. Петербург и Сибирь стали его третьей родиной. Урожденным языком его был польский, но жизнь соединила с Россией и русским языком, научное призвание – с арабским. Но и еще десятки языков и культур стали для него родными. Родившись в католической семье, жил он среди мусульман и православных, и молитвы мог творить на языках многих. Не было для него иноверцев, но все были единовещы.

Воистину, он мог бы сказать о себе словами апостола Павла: «Если кто смеет хвалиться чем-либо, то ... смею и я. ... Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. ... много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лебратями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в нагоде. ... Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?»

Так кто же победил в споре Теодора Адамовича и судьбы, предстательной жестокой античеловеческой властью, несправедливыми судьями и злыми конвоирами, двумя Мировыми войнами и одной Гражданской, завистью «друзей» и клеветой врагов?

Несомненно, что это Теодор Адамович победил Судьбу, победил равнодушие невежественных людей и злобу злых, хотя и несомненно также, что Ангел с небес помог ему победить судьбу и посрамить ее козни.!

Нам, живущим, великий урок в его противостоянии.

Как часто я сам падаю духом – и ныне говорю себе: Нет, не изнемогай, не отчаивайся, бери пример с великих. Если же дано мало, старайся достигнуть большего, пока жив! И это может и должен сказать себе всякий. Нет никого, кому не дано было бы ВСЕГО, но мы теряем и расточаем нам данное.

И последнее, что мне кажется необходимым сказать, мне, который, повторяя апостола Павла, говорит о себе: я, русский из русских... (хотя и негодую я на низости и язы моего народа больше других).

Кто же Теодор Адамович? Гражданин мира? Он, заикавшийся почти на всех мировых языках? Он, построивший воистину мост между Востоком и Западом?

В книге его стихов поставил я на титульном листе: *«Неизвестные русские поэты двадцатого столетия»*

У поэта, где бы он ни родился, его подлинной родиной является его поэтический язык. И в этом отношении, да простят меня поляки, да простят меня арабы, Теодор Адамович Шумовский – русский поэт, русский гражданин, русский. Как и Владимир Даль, матушка Екатерина, Пушкин и Набоков, Пастернак и Гумилев. Именно поэтому в заключение моих кратких заметок о выдающемся ученом и великом поэте привожу его стихи:

Язык российский, трудный и певучий,
Тебе, поэту, наполняет грудь
Огнем и силой звуков и созвучий.
Но с яркой речью осторожен будь,
Люби ее и выслушай советы:
Глаза и сердце широко раскрой,
Перебирай слова, как самоцветы,
Любуясь их изысканной игрой.
Возьми частицы речи, ту и эту,
Негорючливо замыслом свяжи,
К одних камней таинственному свету
Других свеченье точно приложи.
И, может быть, за мудрое терпенье,
Служенье речи, уваженье к ней
Получишь дар сложить стихотворенье
Из драгоценных огненных камней.

3.

Среда, 13 февраля 2013, полдень.

Прошло несколько дней, были разнообразные встречи, я читал и редактировал сочинения начинающих «мастеров слова» и уже уверенных в себе авторов, читал кое-что из «вечного», чувствовал и рассуждал.

И увидел огрехи в своих заметках, а на иные мне указали собеседники. Но еще важнее, что я увидел, что очень мало сказал я о самом важном, а сказанное необедительно.

Но не буду переделывать, а просто свои Записки дополню.

Возможно, потому, что я сам занимаюсь литературой, и мир и душа человеческая предстают мне в форме художественного произведения или, по крайней мере, философского рассуждения. Плотью мира, разумеется, является Слово, расположение слов, язык. Душою – мысль и чувство и образ, которые посредством языка становятся нам видимы.

Человек в рамках литературы и описывается и действует только через язык, язык является его полом, характером и национальностью.

Что в национальной принадлежности играет главную роль? – задал я себе вопрос, и ответил так, что этот мой ответ будет понятен и близок только тем, кто близок мне или родом занятий, а именно литературой; или любовью к слову – скажем, он увлеченный читатель книг или школьный учитель; или мировоззрением, в котором духовные основания жизни играют главную роль. Но таких людей не много. Подавляющее большинство счастливо в требовании «хлеба и зрелищ» и обладании ими, удовлетворяется литературой на заборе и набором самых эффективных слов. То, что в основе нашей национальной принадлежности лежит язык, что именно через него мы становимся ПО-НАСТОЯЩЕМУ русскими, французами, немцами и чукчами, не будет понятно большинству моих единоплеменников, не согласятся со мною, вероятно, евреи и православные, американцы, граждане мира, христиане и мусульмане.

Те, кто меня никогда не будут читать, со мною не согласятся заведомо (почему, станет понятно чуть позже). Но, как оказалось, со мною не согласились и те, кто ЧИТАЕТ, даже и те, кто ЧИТАЕТ МЕНЯ.

Я был на заседании Философского общества, прочитал им предыдущую часть этой главы, и был почти ошарашан.

Но многие упреки в мой адрес оправданы, поэтому надо хотя бы отчасти оправдаться.

4.

Как ни странно, надо начать с пресловутого «основного вопроса философии», по поводу которого я раньше ругался немало, то есть с того, дух или плоть («материя») главенствуют в вещах и событиях, в идеях и чувствах, в рождении и смерти... дух или плоть определяют СОДЕРЖАНИЕ жизни... а значит и всего того, что относится к жизни как ее часть, качество, свойство и тому подобное.

Дух или плоть определяют человека?

Тут, кажется, споры поутихли, все согласны, что когда плоть рушится, человек умирает и что потом с ним, не до конца ясно даже тем, кто верит в вечную душу и загробную жизнь, но зато, с другой стороны, уже и оголтелые материалисты не отрицают того, что есть душа, и монистов среди них практически нет, все признают (почти все), что человек состоит из духа и плоти «фифти-фифти».

Нынче и физиологи и анатомы не утверждают, что печень производит чувства и мысль, или совокупность телесных органов, или только мозг или мозжечок, хотя, с появлением компьютеров... но да ладно, дело к ночи, и о компьютерах не буду.

А обычные материалисты-атеисты уже даже ходят в церковь и ставят свечки и верят в Бога... так все смешалось в доме Облонских... то бишь, в России.

Образованные люди читали «Пол и характер» гениального юноши Вейнингера, убедительно показавшего, что и пол и характер не определяются только анатомическими особенностями, и что если под полом понимать в том числе и поведение, чувствование, особенности мышления, волю и стремления, то в каждом человеке есть и то и другое. Ну а разращение общества показало справедливость моей мысли и наглядно, особенно на государственном телевидении, а кто сидел в тюрьме (а в России в тюрьме уже сидел каждый второй), тот знает, что там немало Ань и Тонь, которые превратились в них из бывших мужчин без всяких хирургических манипуляций.

Ну так если даже самое важное в человеке, то есть его ПОЛ, лежащий в основании существования человека, и тот нечто не до конца определенное и текучее, и не абсолютно определяется генетически, рождением, то не то же ли верно и по отношению к национальности? Ибо прежде всего важно определить, что входит в национальное как в форму бытия человеческого, определяется ли она только анатомически и физиологически, пресловутой «кровью».

Что даже самый женственный мужчина не вызывает у меня тех эмоций, которые вызывает хотя бы и входящая в горящую избу женщина, несомненно. И это наверное потому, что я и сам как личность человек не до конца определенный, текучий и не устоявшийся, я и идеалист и в значительной степени материалист, и христианин и пантеист, и писатель и читатель, и творец и редактор. Да, каюсь, в отношении к полу не освободился я до конца, повинюсь заветам христианских апостолов, от вульгарнейшего материализма, все еще влияют на меня анатомия с физиологией, и даже психология... и даже мода и даже та самая явственная материя, которая скрывает подчас (в форме одежды) не только пол человека, но и его характер.

Но справедливо ли и по отношению к национальности быть материалистом? Тем более, что если человек рождается уже либо мужчиной, либо женщиной, а не формируется таковым в детсаде или школе, то рождается ли человек, а тем более народ уже сразу как русский или римский

или еврейский? Даже в немцах на «четверть наш народ», то есть славяне, и римляне сплавились из латинян и этрусков, «а далее везде», и современный русский народ включает в свой состав не только славян, но и финские племена и тюрков...

Но я задаю вопрос совершенно определенно: принадлежность определенного человека определенному народу определяется ли преимущественно происхождением или только происхождением? И надо ли говорить, что Пушкин, наша гордость и слава, который «есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это *русский* человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез **двести лет**», по определению Гоголя, да еще и не появился, – на одну восьмую абиссинец, на одну четверть немец (а о немецких предках вообще, почему-то, почти все молчат), а Герцен наполовину (по матери) француз?

Слава богу, я не только русский, но еще и математик, и не забыл удивительное математическое правило: свойства функции определяются прежде всего в **ОСОБЫХ** точках (точках разрыва и экстремума и иже с ними). Если национальность – это важнейшая функция человека, то и ее надо проверить через предельные формы ее существования, и только после этого продолжить правильно философствовать. Строгой алгеброй надо поверить и проверить «чувственный сумбур», который лежит в основании мировоззрения как «пламенных» патриотов, так и не менее пламенных интернационалистов.

Начну с одной крайности: большую часть русского народа, так называемую чернь (излюбленное словцо Александра Сергеевича), я вообще ни к какой национальности не отношу. И критерий здесь прост, например тот, которым пользуются в Эстонии при решении вопроса, кого «натурализовать» из иностранцев, то есть кого признать эстонцем. Для этого устраивается экзамен, и кто по эстонски говорит плохо, тех называют «негражданами», или плохими эстонцами.

Ну так почему же не подойти с таким критерием и к «так называемым русским», то есть тем, кто кичится своей принадлежностью к великому народу, часто, бия себя в грудь кулаком, кричит, что **МЫ**, де, "Войну и Мир" написали, а сам ни того ни другого не писал (а то и **НЕ ЧИТАЛ**), да даже по-русски писать не умеет?!

И тогда одна из теорем Нового русского национализма будет гласить: можно иметь обоих русских родителей, и быть совершенно не русским человеком, а или космополитом безродным (ибо с этой моей новой точки зрения Родиной человека является его Культура), или вообще никем.

Ну а примеры выдающихся русских, Фонвизина, Даля, матушки Екатерины, Баркляя де Толли, Николая Первого и Александра Второго, Трезини, Растрелли, Эйлера, Герцена, Петипа и Шумовского... родители которых оба или по крайней мере один принадлежали к иным национальностям, известны всем.

Но никто не усомнится, что Николай Первый – *русский* царь (попробовал бы он усомниться), а Даль – собиратель *языка русского*, Петипа создал русский балет, Трезини заложил Российскую столицу (ну,

вместе с Петром, хотя ведь архитектурные решения принадлежали Трезини, а это не важнее ли, чем собрать строителей и ПОВЕЛЕТЬ строить, что конечно, сделал Петр?)

И я свидетельствую, что Шумовский – выдающийся русский поэт!

И тогда справедлива другая теорема нового русского национализма: не одно происхождение определяет человеку его Родину, но всякое слово, исходящее из уст народа.

Впрочем, чернь иногда в своих пристрастиях тоже переходит границы материализма, и совсем недавно, определяя «имя России», присвоила его человеку, имеющему специфическое отношение к Российской культуре, отношение палача, родившемуся среди нерусских гор, по-русски разговаривавшему плохо, а писавшему на примитивном языке, вот уж точно для того народа, который Толстого с Достоевским, с их вычурной дворянской речью, осилить не мог.

5.

Вернусь к литературе. Итак, все же я не материалист. В значительной степени не материалист. Поэтому в рамках культуры, а тем более литературы, я прихожу к окончательному выводу: национальность литератора (писателя, поэта, философа) – это его язык. Поэтому и Сенковский – русский литератор, и Пастернак – русский поэт.

Но кто кому принадлежит: язык принадлежит писателю или писатель принадлежит языку? А это определить мне важнее всего, ибо я не только русский, не только писатель, но еще и редактор (отчасти и учитель), и мои взаимоотношения с моими строптивыми подчас учениками коренным образом зависят от ответа на этот вопрос.

Литература и формирует язык и содержится в нем. Всякий говорящий производит на язык давление, как дети на родителей, но может ли писатель воскликнуть: что хочу, то и ворочу, язык мой, как мне нравится, так я на нем и буду говорить и писать!?

Или редактор, словно строгий учитель, имеет право примерять правила русской речи к каждому пишущему, и определять, кто пишет ПРАВИЛЬНО, а кто НЕПРАВИЛЬНО? Своеволен ли автор или его надо обуздывать? Надо ли слушаться редактора или стоит призвать его к суду за то, что он убрал лишний союз и не разрешил запятыми ограничить наречие "вдруг"?

Нет, отношения писателя и редактора значительно отличаются от отношений учителя и ученика, они учат друг друга и учатся друг у друга, поэтому редактор оценивает текст (или часть текста, фразу) не с точки зрения "правильно-неправильно", а – хорошо или плохо, уместно или нет, точно или неопределенно?

Грамматические критерии отступают на второй план, а на первом: эстетические критерии, логические, этические. Соответствие формы и содержания. Законченность, оправданность, ясность мысли и намерения, точность выражения. И так далее.

Сначала творец диктует твари, но затем тварь начинает диктовать творцу.

Кто влюблялся, знает, что вначале предмет наших устремлений словно бы вполне в нашей власти, и мы уже торжествуем победу, как вдруг, непонятно для себя, оказываемся в рабстве и валяемся в ногах, вымаливая встречу.

Диктует языку свою безграничную волю лишь тот, кто его не любит.

А любящий стремится к совершенству и потому зависим.

Редактор не оценку ставит, не определяет соответствие правилу, а пытается помочь автору в его стремлении достигнуть совершенства.

И потому я безмерно мягок, разрешая почти все.

И потому я безгранично суров, ЗАЩИЩАЯ язык от небрежного обращения.

Писатель должен чувствовать свою ответственность не перед читателем, а перед ЯЗЫКОМ, ибо язык – его национальность, его кровь, его культура, в языке содержатся уже все написанные произведения и чуть ли не все ненаписанные. Мы только выбираем слова из данного нам Богом языка и располагаем их в наилучшем порядке.

Конечно, это относится преимущественно к поэзии, но ведь и прозу часто пишут поэты и они меня поймут.

Закончу стихотворением Т. А. Шумовского:

Язык безбрежен. В нем немало слов,
В стихе не собиравшихся для встречи,
Блаженных не изведавших оков
Скупой и точной стихотворной речи,
Таящих жар, как винные меха.
О, сколько не нанизанных жемчужин
Бегут, пока их блеск не обнаружен,
От золотого обруча стиха!

Но потому и нужен труд поэта –
Чтоб жили все слова, чтоб каждое из них
В живом уме сверкало искрой света
И, вечности ища, переливалось в стих.

Я думал, что основное о языке коротко выскажу и буду еще о чем-нибудь писать... Но нет, здесь еще надо остановиться. Надо еще поговорить о поэзии, как я и обещал, о Гумилеве и Мандельштаме и моем незабвенном друге Саше Михайлове – ибо не одними классиками жив читатель!

И, конечно, продолжу разговор о языке. Тожждествен ли язык литературе и точно ли язык и есть народ? И является ли народ народом? И зачем появляются безумные замыслы создания нового народа, как у апостола Павла, Маркса и Ленина? (Да и Аз грешный успокоил ли свой мятежный дух, сын крестьянки и потомка Ермаковского атамана?)

А потом буду много говорить о том драматическом романе, который выпал на мою долю, о романе, связывающем меня, редактора, и моих подопечных. В нем согласие перекликается с противодействием, понимание с отторжением, любовь с ненавистью.

6.

Вторник, 19 февраля, полночь.

"Язык есть средство понимать самого себя", – говорит *Потебня*. Соглашаясь с его словами, добавлю, что через язык мы понимаем и другого, и свой народ. Да, разумеется, не ВСЁ вмещено в язык, в нем не содержатся физика и математика и не вполне окружающий мир, но душа народа и личности в значительной степени содержатся в языке.

В нем уже почти содержится ЛИТЕРАТУРА.

Но ведь не содержится в кирпиче и камне то знание, которое будет из них сложено! – воскликнут многие, и они правы. Да, конечно. Но язык – это не множество строительных *элементов*, и отдельное слово – не простой *элемент*. Как в отдельном человеке содержится *всеобщее*: пол, характер, национальность, образование, культура, так и в отдельном слове содержится всеобщее: слово связано тысячами нитей с множеством других: добро – и благо и богатство, соизволение и согласие; благо отсылает нас к благодати и блаженству; смирение к покорности; женщина к жене и женственности; долг к необходимости и обязанности...

Невозможно ограничиться одним определенным значением слова в художественном произведении, где метафора и образ, воображение и представление играют такую важную роль. Но даже буква не ограничивается определенным звуком, и русская Азбука принадлежит именно русскому слову, как латинская – латинскому. (Например, буква Е в словах ель и мель означают разные звуки).

Загляните в словарь! Разве, когда вы мыслите и записываете, вы в рядку фразы сажаете только отдельные растения, у каждого из которых один корешок? Нет, целые гроздья и кусты с множеством корней, прорастающих в соседние кусты и переплетающихся с ними. Слова НЕ безродны, у них родственники, друзья и приятели, у них не один определенный смысл, а множество смыслов. Вот социал-демократы разделились, по какому-то случайному, казалось бы, поводу, и одна их часть назвалась затем большевиками, а другая – меньшевиками. Кто из них прав, кто из них лучше, вернее, благодатнее, разве зависело от названия? Но в народном восприятии, как ни удивительно, именно это ничтожное обстоятельство сыграло судьбоносную роль. Большинство чаще всего неправо, лучше и культурнее и милосерднее чаще всего немногие, толпа глупа и агрессивна – но большевики выиграли в народном сознании. Их название – *БОЛЬШЕВИКИ* – уже намекало на ПРЕВОСХОДСТВО, на то, что они СИЛЬНЕЕ, за ними большинство, за ними право, правда и ИСТИНА (хотя она была за ними в МЕНЬШЕЙ степени, чем за их противниками, *меньшевиками*).

Язык всегда растет и расширяется, происходит диффузия языков, взаимопроникновение их и взаимообогащение, как и взаимопроникновение народов, НО в эпоху ломки, упадка, гибели возникает чувство, что вдруг прорвало шлюзы и началось наводнение, смывающее собственный

культурный слой. Если один народ неудержимо хлынет на земли другого, то это справедливо называется ОККУПАЦИЕЙ (а в быту даже благонамеренный не сдерживаясь, ворчит: *Понаехали тут!*), но если неудержимо хлынул чужой язык, то это БОЛЕЗНЬ.

Чужое слово лишено нашей национальной культуры, оно еще должно обрусеть, поэтому естественно, чтобы писатель его пусть не в абсолютной степени, но в ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ – сторонился. У него нет обертонов, нет корней, нет множества смыслов (как у родного слова), оно только ЗНАК, имя, но не ОБРАЗ и не МЕТАФОРА, что характерно для всех слов родного языка, в том числе и прежде пришедших из языка чужого. Да, пекарь не сторонится соли и специй, выпекая хлеб, но он соблюдает МЕРУ. Писатель, не чувствующий СВОЕГО языка, испекает хлеб несъедобный.

7.

Но язык – это не только словарь, но и многое другое, что не опишу вполне, а вкратце (мы же все учились в школе, и кое-что, возможно, из нее должны помнить, повторять уроки русского языка неуместно).

Во-первых, слово *изменяемо* и подчиняется ПРАВИЛАМ изменчивости, оно соединяется с предлогами, приставками, суффиксами и окончаниями, и их необходимо или знать или интуитивно чувствовать, чтобы не уподобиться иностранцу, говорящему по-русски «карош дэвачка дай-дай!» Правило писано для всех, как и требование не переходить улицу на красный свет, и правило, в случае необходимости, можно нарушать, бросаться даже наперерез мчащемуся автомобилю – только необходимостью ли вызвано нарушение, или незнанием и невладением родным языком? А русский язык для русского писателя должен быть языком родным или, по крайней мере, как у Сенковского, УРОДНЕННЫМ. Известно, что Набоков в конце концов стал писать свои романы по-английски. И как вы думаете, чувствовал ли английский читатель, что он пишет на чужом языке? Более того, писатель должен говорить и писать по-русски (или по-французски) ЛУЧШЕ своего читателя, писатель ведь почти то же, что учитель, врач, инженер, пророк, друг и возлюбленный в одном лице, а не бродячий фокусник на ярмарке, развлекающий праздных зевак. И тем более не наперсточник, вымогающий «бабки» у «лохов».

Во-вторых, слово подчиняется многомерным связям в предложении, оно спрягается и склоняется в соединении группы слов по падежам, видам и родам, и лучше НЕ знать правил (как мы не знаем, по каким правилам бьется наше сердце), но ГОВОРИТЬ и писать правильно (позволяя отклонения ОПРАВДАНО, по необходимости, а не по неряшливости или НЕЛЮБВИ). И сердце не стучит всегда ровно, то учащенно, то замедленно, то темп его меняется, но когда это происходит, например, в состоянии покоя, то есть без должных причин, человек хватается за лекарство, а когда у писателя зазря слова начинают прыгать как черти на сковородке, редактор может схватиться за нож (чтобы резать рукопись) или за розгу, чтобы наказать

нерадивого ученика (а ученики мы все, и даже Я, и даже у вас, милые мои, которых я готов учить розгами, учусь также. Писал уже я, кажется, что напустился однажды на словечко УЛЫБНУЛА, а оказалось, что зря, и теперь оно и у меня любимое, как и у ангела, на нем настоящего). Так что не скажу, что я законодатель, или злой мент, подстерегающий вас с железом – нет, я – ваш ЧИТАТЕЛЬ в первую очередь, а потом уже критик. Если вы чувствуете свою ответственность за слово, за язык, за литературу, если вы их ЛЮБИТЕ, то почувствует вашу любовь и читатель и вернет ее вам сторицей.

8.

Правильное употребление слов в предложении – это то же, что со вкусом подобранная одежда. Я, правда, и сам часто НЕБРЕЖЕН, даже в ведении урока математики не всегда подчинялся регламенту, но все же я не пугал знаки минус и плюс и правильно расставлял скобки. Существенно ли это было? Да! Один неверный знак или неверное действие приводили к НЕВЕРНОМУ результату. И это же справедливо для речи писателя. Одна моя подопечная замучила меня, переставляя некоторую запятую с одного места на другое, но она была права в своем стремлении наиболее ТОЧНО выразить свою мысль. (Правда, оговорюсь, я сам расставляю знаки препинания в том, что пишу, повинуюсь чувству речи, ее интонационным свойствам, а не вспоминая правило, выделять ли «тем не менее» или «однако» запятыми или нет, но тем более, значит, важно, чтобы язык был для нас РОДИНОЙ, даже если учителем нашим оказался «негр преклонных годов», который «без унынья и лени» взялся нас учить. Тем более, значит, важно, чтобы к языку мы относились так же бережно и осторожно, как к младенцу, которого укладываем спать, или к мине, которую разряжаем.)

Предлог не должен попадать внутрь слова или за него, нехорошо говорить «твоих В интересах», хотя и можно и «УЖЕ скоро стемнеет и «скоро УЖЕ стемнеет», неправильно «бить НА морду», хотя можно дать и в морду и по морде... И пишу я эти, казалось бы, глупости, потому что В последние годы прямо таки эпидемия распространяется среди нашей письменной речи – вопиюще НЕПРАВИЛЬНОЕ употребление приставок. Большинство из них уже имеют строго определенный смысл, уже указывают на ХАРАКТЕР действия, «В» значит совсем не то, что «ЗА» или «НА», и приставка «РАЗ» даже сама по себе русскому человеку намекает на характер последующего слова. Можно **Обернуть** бумагой, **Отвернуть** край бумаги, **Завернуть** в бумагу, **Повернуть** бумагу другой стороной, **Развернуть** бумагу – и каждый раз это РАЗНЫЕ действия. Точно также и повернуться, обернуться, отвернуться, увернуться, извернуться, свернуть, привернуть – самые обиходные, ежедневные, ИСКОНИ совершаемые, столетиями совершаемые действия, которые невозможно спутать с другими. Разворачивается нечто **ПРОТЯЖЕННОЕ**: бумага, обертка, колонна, автомобиль, корабль, **ПЛЕЧИ** (развернул шире плечи). Человек же, услышав возглас сзади, **ПОВОРАЧИВАЕТСЯ** на него, или оборачивается (то есть поворачивает

голову), девушка ОТворачивается от кавалера, сказавшего гадость, в крайнем случае, РАЗвернется и даст пощечину (изо всех сил, для чего и РАЗворачивается корпусом, а не только заносит руку для удара.

Но сколько авторов пишут: «РАЗвернулся и вышел!»! А надо ли вообще писать, что перед тем как выйти, он произвел некие манипуляции со своим телом, если только он НЕ ПОПЯТИЛСЯ и вышел?

Но, впрочем, это, казалось бы, совсем не важно – отдельные случаи сомнительного употребления приставок, если бы это не было признаком особого общественного явления.

Речь изменилась у писателей не случайно – она изменилась в обществе. Происходит перемешивание народов, социальных и культурных слоев, жителей различных краев и областей. На Украине говорят по «малороссийски» или «южнорусски», у вологодских и архангельских и рязанских жителей множество областных слов, у сибиряков свои излюбленные словечки (например, пристрастие к частице «ну», к которой и я пристрастен), в Нижнем Новгороде акают а в Вологде окают. И нельзя требовать неукоснительно, чтобы происхождение вовсе не сказывалось в речи автора или героев, не придавало ей местный колорит. И все же...

Лермонтов был офицером, но у него русский язык (и самый совершенный среди русских поэтов и писателей), а не язык военных команд; Распутин и Белов – русские писатели, а не сибирский и вологодский. Более того, хотя у Есенина немало рязанских областных диалектных слов, но он РУССКИЙ поэт, а не рязанский. И русские писатели-эмигранты остались русскими классиками, и Набоков, и Шмелев, и Бунин, и Ремизов, а не начали писать по русско-французски. Язык един, русский он или французский (не буду говорить о языках искусственных, обойдемся без такого разговора), и хотя, как и в суп, уместны приправы, и в речи тоже, но невежественный повар, злоупотребляя перцем и корицей, варит нам суп невкусный или совсем несъедобный.

В двадцатом столетии заговорили о национальной и расовой чистоте, о «крови», о смешении (в Европе и Америке еще в девятнадцатом). И говорить о «чистокровности» народа, разумеется, глупо (чего я позже коснусь). Но у писателя особая роль, призвание, положение, состояние, он представляет собою нечто исключительное. О его национальной чистоте и «чистокровности» говорить уместно, только в его душе и теле течет ведь не простая кровь, а протекает поток слов, течет язык! И это понятие «чистокровный русский!» приложимо к писателю только в зависимости от того, чист ли ЯЗЫК, протекающий в нем, все ли красные кровяные тельца (слова) содержатся в нем, не страдает ли он малокровием (как большинство). Определяется ли языком национальность обывателя, пока не скажу, но что языком определяется национальность писателя – несомненно!

Но тогда, возражат мне, нелепо выражение «англоязычный писатель», «русскоязычный»? Или, все же, они не случайны и оправданы? Тем более что несомненно, что английские писатели и американские, хотя и пишут по-английски, составляют две разные литературы?

9.

Что такое поэзия? – спрашивает себя поэт и отвечает «Расположение слов в наилучшем порядке!»

Но это, конечно, гипербола, важны и сами слова, подбор их, а не только наилучшее их расположение.

Я уже сказал, что ЯЗЫК не исчерпывается словарем, необходима *интуиция речи*, оправдывающая СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЕ, пользование словами, принадлежащими разным временам, областям, профессиям, разным «особенным» языкам внутри общего, таким как диалекты, профессиональные языки, сленг и новояз (который я выношу за скобки сленга, то есть языка субкультуры, а отношу к примерам болезней). Ну, например, *канцелярский язык* и канцеляризмы – это не феня коробейников и ушкуйников, а выговор современных чиновников; *новояз* с чрезмерным обилием англицизмов (даже вместо тех ИНОСТРАННЫХ слов, которые вошли в русский язык еще в 19-м веке) – это язык современной полуинтеллигенции. В «Очерках бурсы» Помяловского присутствует колорит бурсаков, но написан роман по-русски. «В лесах» и «На горах» Мельникова-Печерского дух и запах раскола несомненны, и все же язык там всеобщерусский. И даже роман "Война и мир", герои которого владели французским языком даже лучше, чем русским – это русский роман (а вкрапления французской речи написанного по-русски текста не портили).

Но так как ЯЗЫК не исчерпывается словарем, то и словоупотребление его не определяет. Язык метафоричен, образен, чаще всего слово уже значит в речи вовсе не то, что значит в словаре.

«Я ему говорю: ты меня *утомляешь!* – нет, он не *догоняет!*» – жалуется девушка подруге на непонятливость кавалера. «Мы это сегодня *перетрем!*» – обещает один бандит другому... Впрочем, судя по языку, современный полуинтеллигент уже почти ничем не отличается от бандита, если не так же поступает, то чувствует и говорит точно так же. И я уже вынужден вводить для обозначения нового слоя полуобразованных людей термин «полуинтеллигент», имея в виду, что читать и писать он умеет, работает на компьютере и с ним же часто и «спит», ходит в офис и в супермаркет, болтает по мобильнику и в сети... ну, во всяком случае, не является крестьянином или рабочим (не умеет держать в руках лопату и молоток). Так как этот слой не читает книг и не пишет, то не к ним обращены мои Записки, а к тем несчастным, которые вдруг стали или возомнили себя писателями. Эти продолжают традиции русского интеллигентского подвижничества, они думают не только о себе и удовольствиях, но хотя бы о своих героях – а сочувствие к чему-либо ВНЕ и является главным признаком человека; а способность самостоятельно мыслить к тому же – условием интеллигентности. Следовательно, вся наша обширная армия пишущих (из потребности или тщеславия, не важно) – это и есть современное сословие интеллигентных людей.

Они УЖЕ пишут (хотя многие из них еще не читают). Ничего, говорю я себе, писание – это страдание, это ЮДОЛЬ, это крест, это Голгофа, это

испытание. Страдающий *человек* непременно научится и читать, а там, может быть, и писать бросит (шучу, дорогие мои!)

Но не исключено, что он (хотя бы каждый десятый из них, а так как в сети уже два миллиона, то и десятая уже целая армия!) возьмется читать мои Записки, в надежде, что я что-то путное скажу о том, как НАУЧИТЬСЯ ПИСАТЬ.

Однако, не кончил я еще рассуждать о языке.

Итак, язык – не только Словарь и Словоупотребление, но и отношение к слову, культурная, историческая патина, преобразующая многие из них в движении языка. Слово образно и метафорично, и в речи не только *сообщает* (то есть не только информационно), но и воздействует, будит воображение, пробуждает, воспитывает эстетически. «Язык – средство общения» – смотрю я на мириады праздно говорящих, часами не отлепляющихся от наушников и мобил и вижу противоположное: *Устный язык – средство РАЗобщения!*

Поэтому пишущий впервые встает в ИНЫЕ отношения к языку, когда начинает ПИСАТЬ. Он учится размышлять и мыслить, формулировать мысль, облекать ее в слова, он озабочивается точностью выражения своей мысли, глубиной ее выражения, изящностью (то есть и логикой и эстетикой), выразительностью, силой эмоционального воздействия, следовательно язык приобретает волю и намерение.

И здесь впервые возникает потребность у пишущего, чтобы шестикрылый серафим «вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрыя змеи в уста замерших мои вложил десницею кровавой!»

Но и вслед за этим мы будем говорить на нашем языке, а не на птичьем или змеином, только внимательнее всмотримся в него.

Что же в языке содержится, кроме слов?

Откройте Словарь хотя бы Даля, и вы увидите, что объясняются слова с помощью цитат из произведений русских писателей или через поговорки и поговорки; в последних же в наибольшей степени содержится душа народа. Много ли мы их знаем? Много ли мы их применяем в своей письменной речи? Открываю наугад и читаю: Каково аукнешь, таково и откликнется!

Да это же про нас!

Неприменно, чуть погода, когда мои собственные мысли иссякнут, приведу в моих Записках дюжины три пословиц и поговорок, чтобы мы вместе посмотрели, какова же она, душа народа, к которому мы и сами принадлежим (через ЯЗЫК, а значит, наиболее СУЩЕСТВЕННО!)

10.

Но все же отвлекся я от *«расположения слов в наилучшем порядке»*, то есть от интонации и стиля, а они даже не важнее ли, чем сами слова?

Ибо язык – не только словарь, но и образцы мысли и отношения к миру, которые неотделимы от него, как стропила от дома.

Следовательно, необходимый выбор слов и правильное их употребление – во-первых, *соединение* (расположение) их в наилучшем порядке – во-вторых, но в-третьих, наконец, и соединение – когда это нужно – отдельных *простых предложений* (высказываний) в *сложные предложения и периоды*.

Что до последнего, то приходится с сожалением отметить, что язык письменный упростился, а через это упростилась мысль, описание, упростилась содержание поступков и человека. Можно, разумеется, возразить мне, что это жизнь и все мы упростились, а потому упрощается литературный язык, и я не буду доказывать обратное, ибо «ничего доказать нельзя», как говорит старец Зосима, но можно проверить; а проверка, то есть взаимодействие с случайными прохожими и проезжими и с пишущими о них авторами показывает, что, вероятно, усилилось расслоение общества, и невежественных стало больше, и глубина невежества увеличилась, но остались и умные, и образованные и культурные, и среди пишущих и сегодня талантливых писателей не меньше, чем в золотом веке русской литературы. Возможно, не меньше и гениев! Так что неправда, что это жизнь и все мы упростились, а скорее всего, наоборот – жизнь усложнилась, и даже мы усложнились, но не поспевает наше усложнение за усложнением жизни.

Прежде чем продолжить свою речь, снова замечу, что я не Пособие пишу о том, как НАДО писать или как НАДО редактировать, и замечания долженствования в моих Записках являются примерами; цель их в другом – поговорить с людьми, все еще любящими литературу, о том, что она такое, как мы говорим и пишем... и о том, как и почему и зачем мы живем – тоже. Интересных людей среди авторов, с которыми я уже встретился, подавляющее число, уверен, что и не известные мне не менее интересны (как, очевидно, не меньше красавиц среди тех девушек, с которыми я не сталкивался, чем среди столкнувшихся со мною хотя бы в переходе метро).

Я уже знаю, что некоторые мои из прежних замечаний оказались полезны, возможно, что-то будет полезно и среди теперешних замечаний. Но если мой читатель просто остановится и поразмыслит о тех особенностях языка, связи его с нашей жизнью и литературой и литературы нашей с жизнью, о которых я пишу, то и это меня с лихвой вознаградит. Он может со мной не согласиться. Он может не почерпнуть в моих рассуждениях ничего для себя полезного. Но он будет внимательнее и не так опрометчиво писать. Так и прохожий, воскликнувший – Осторожнее! – ничего почти мне не сообщил, но – предостерег. Если и я предостерегу – достаточно.

11.

Некоторые неправильности придадут речи колорит, как приправы улучшают вкус кушанья. Правда, питаемся мы не горчицей, поэтому нельзя приправой заменить основное в языке. И, кажется, достаточно написать «поговорим ЗА жизнь» и «ну, ты меня утомляешь!», чтобы охарактеризовать происхождение и характер героя, но часто автор продолжает настойчиво стучать в эти же ворота, давно уже открытые.

Облекается его настойчивость в новую философию языка: «Да, я признаю, – утверждает автор, – что классики писали и говорили иначе, но сегодня говорят именно ТАК (неправильно), да к тому же ТАК (то есть неправильно) говорили всегда, это разговорный язык, язык улицы, молодежи, провинции, устной речи, пуган, подворотен, воров и киллеров, а именно из них и состоит

народ, поэтому классики упустили правду жизни, а я ее хочу вернуть, и Пушкин и Тургенев писали неправильно, потому что народ говорил иначе, на их языке говорили только дворяне и снобы, и вы, В.И., пытаетесь нас поучать, сдвигая к дню давно ушедшему... и так далее...

И действительно, у Лермонтова и Толстого дворяне и крестьяне, Кузузов и Наполеон, Печорин и Наташа Ростова говорят на языке общем, ОБЩЕРУССКОМ, красивом, выразительном, глубоком и богатом, выражающемся в бездонном количестве самобытных слов и речений, в метафорах и эпитетах, синонимах и антонимах и метонимиях, и у Пушкина злодей Швабрин, благонамеренный Гринев и разбойник и супостат Пугачев принадлежат своим языком к ЕДИНУМУ народу, а не к разным народам.

Некоторые особенности словоупотребления героев видны и в классической литературе, и все же классики не противопоставляли сословия друг другу так, словно они на поле брани и говорят на разных языках. Пьер Безухов говорит грамотно, но у Пушкина и Арина Родионовна говорит ГРАМОТНО! А если я скажу нечто совсем парадоксальное, что ведь с точки зрения иных редакторов (скажем, Бунина) и Лев Толстой писал часто неграмотно, и редакторы правы, так оно и есть?! И авторы наши, отстаивающие право на то, чтобы их герои говорили по-уличному, по-простонародному, так, как в подворотне или в застолье... авторы, отстаивающие право писать так, как говорят, то есть право ПИСЬМЕННУЮ речь копировать с УСТНОЙ – отдают ли себе отчет в том, что копировать устную речь почти никому не удастся и никто не пытается это делать? Да запишите несколько собственных разговорных фраз, и вы увидите, что вы сами пишете совсем не так, как ГОВОРИТЕ! Так что не наговаривайте напраслины на своих героев, будто у вас в тексте нечто неудобопонятное (как сказал апостол Петр про апостола Павла) только потому, что это ваши герои так говорят, а вы стремитесь передать правду жизни и сохраняете их оригинальный выговор!

Язык художественного произведения УСЛОВЕН. Правда жизни не состоит в том, что мужик вдруг начинает говорить «чаво» или «неверситет», – а в характере речи и в поступках. Речь не должна производить впечатление искусственной, нарочитой... Более того, в провинции и в деревне и раньше и теперь говорили и говорят не хуже, чем в городе, а лучше. Более того, я и сам веду речь не о том, чтобы язык современной литературы стал более ПРАВИЛЬНЫМ – разве мы в школе пишем диктант? Язык должен быть ТОЧНЫМ, выразительным, сочным, богатым, не худосочным, метафоричным, образным, убедительным! Если надо, чтобы он был неправильным (как у Андрея Платонова) пусть он будет неправильным, если надо, чтобы на одной странице одно слово повторялось двадцать восемь раз (как Льва Толстого), пусть повторяется...

А что же тогда должен исправлять редактор и корректор у писателя? Или ничего не исправлять, как уверяет теперь Борис О---н, прекрасный редактор, у которого и я учился редактированию? Или иногда полностью ПЕРЕПИСЫВАТЬ авторский текст в соответствии с сборником правил уличного движения, как уверяют меня редакторы, более уверенные в себе?

Забывая о том, что авторский текст – это не полигон для редакторского своеволия, что не всегда надо исправлять даже корявые и шершавые особенности авторского языка, что не всегда, ПРИГЛАЖИВАЯ текст, мы делаем его ЛУЧШЕ.

ПРАВИЛЬНО еще не значит хорошо.

Вот я читал, редактируя, «Бутик и окрестности» Сергея Роледера и хохотал, а потом уже спохватился, а не пропустил ли я что-то НЕПравильное? Но раз я хохотал (или плакал), значит надо ОСТОРОЖНО исправлять даже то, что надо, а то можно и смех и слезы исправить тоже. Да и надо ли исправлять, если повествование вызвало столько эмоций?

Возможно, если мои рассуждения кто-то прочитает, мы вместе придем к некому оправданному выводу по поводу границ, в которых уместно вмешательство одного человека в судьбу другого. Одной крайностью является убеждение в том, что надо все предоставить на волю божью, и больных не лечить, безграмотных не учить, преступных не исправлять! А другая крайность состоит в самоуверенном убеждении всех исправлять по собственному разумению и уж так, чтобы в исправляемом ничего самобытного не осталось, а стал он как диктант, написанный учителем чистописания!

Я и сам начинал с этой крайности. Потом перешел на другую сторону. А теперь заблудился между этих бескрайних границ и уже ни в чем не уверен.

12.

Взявшись писать о редактировании, я теперь словно отрабатываю урок, время от времени пытаюсь вставить что-то умное и полезное для писателя, хотя рассуждаю, вообще говоря, не столько о редактировании, сколько о взаимоотношениях нас, пишущих и читающих, с языком и культурой. Мы словно пахари, пришедшие на поле культуры, собираемся и пытаемся пахать и сеять, но в свободное время смотрим на небо и даже о чем-то размышляем. И вот эти-то размышления поучительны и для нас самих и для собеседников, даже, возможно, иногда еще поучительнее, чем беллетристика, в связи с существованием которой появилась профессия редактора.

В чем же дело, почему я не излагаю полезных правил о том, как надо писать, выделять ли запятыми "однако" и, наконец, начинать ли с кульминации или ею заканчивать, учиться ли у классиков или «сбросить их с корабля современности»?

И вот, наконец, я стал понимать, почему. Многие виды нашей деятельности содержат в себе ремесло и искусство. Ремеслу можно научить. Искусству – нет.

Начинал я с благою целью. А продолжаю... с благой ли, уже не уверен. Нет, правил чистописания и *правильнописания* я не преподаю. Теперь я только хочу поговорить с умными собеседниками, пусть даже и не рассуждающими о редактировании, но пишущими книги – о любви и ненависти, очаровании и разочаровании, правде и лжи. Их книги – тоже книги редакторов или учителей, а не шоуменов, смехачей и трепачей. И, возможно, отвлеченные вопросы, о которых мы заговорили, в частности, о соотношении

языка и литературы, национального в человеке и языка (и культуры) если не помогут в совершенствовании литературного ремесла, то помогут в одухотворении.

Чтобы писать совершенно, надо ЛЮБИТЬ. Авторское самолюбие, тщеславие, гордыня, самомнение, стремление к богатству или славе не помогут писателю взобраться на Олимп. А что же поможет?

Надо стать народным (национальным) писателем, надо прирасти, вросли в ту почву, которая питает наше творчество. А это значит, что надо вросли в язык, раствориться в нем, полюбить его как самого себя... да ведь кроме языка и культуры, которую он выражает, ничего более существенного у писателя и нет. Может быть, писатель – это та дудка, на которой играет свои песни русский язык?

Надо *стать* национальным, говорю я. Но разве здесь возможно должествование? Разве не определяется наша национальность (как и пол) происхождением? И разве не достаточно родиться в деревне у русских родителей, чтобы быть русским? А если при этом есть поэтический талант, то быть русским поэтом?

И все же надо отрешиться от известных стереотипов, ибо смысл творчества, философия культуры, претензии писателя, поэта и редактора определяются в наибольшей степени именно ПОЧВОЙ, а ею являются *язык и культура*. Они же определяют национальность и народность не только литератора, но и читателя, всех тех, кто по-русски говорит, пишет, мыслит и страдает. Народность наша укоренена в языке, в способе воспринимать и мыслить. Именно этот способ и есть наше Я. Куцый, скудный язык, язык упадка и растреления, тем более в наше время, определяет то, что большинство населения – это Иваны не помнящие родства, даже если они ходят с патриотическими лозунгами и под российскими или православными знаменами устраивают погромы масонов и рок-музыкантов, отлучают от церкви Толстого, отправляют на каторгу Солженицына и Варлама Шаламова или вашего редактора. Что у нас есть, чего нет у них? У них нет *языка и культуры!* Ах, воскликнете вы, у нас талант, жизненный опыт, сюжеты и фантазии – у них это все тоже есть, а какие сюжеты бродят в головах пятнадцатилетних подростков, нам уже перестало сниться!!!

Разве пятнадцатилетний Лермонтов, написавший гениальную поэму «САШКА», поднимался жизненным опытом? Или его слишком много у Анны Бартовой, в восемнадцать лет написавшей «Рыжую Мери», над которой я и смеялся, и негодовал, и проливал слезы, и, наконец воскликнул: Да наша Анна КРУЧЕ Стивенсона? Впрочем, кто-то воскликнул, что язык ее ужасен, и текст надо переписывать... Слава богу, что книга оказалась у меня... Или я гениальный редактор и что-то у нее переделал, исправил, поправил, выправил и переправил? Да почти ничего! И два моих поступка искупают мои редакторские грехи и ошибки, мое редакторское самомнение, которого много: то, что я в повести «Бугик и окрестности» название последней главки оставил в виде «ПОДСКРИПТУМ», а не исправил на *правильно*, и то, что у Анны в Рыжей Мэри оставил сверхъестественное выражение: «солнце у же

КЛАНЯЛОСЬ закату...» Их у нее еще много, и я их *не приговорил* к исправительным работам.

Долго сидел я над выражением в одной из последних работ: «Я же, сколько себя помню, – ты все время все забывал» – а автор велел ничего не трогать, этой фразой он дорожил. И наконец меня осенило, что речь идет о том, что сколько я себя помню, ты все время... – и что достаточно только поправить знаки препинания, не трогая фразу, в итоге получилось: «Я же сколько себя помню, ты все время все забывал» и автор, кажется, согласился с моей правкой (да, братцы и сестрицы, и мне приходится плыть между Сциллой корректорской правильности и Харибдой редакторского всесия, а впереди еще огнедыдышащий Дракон писательского самолюбия!)

13.

Да этот редактор умеет только языком трепать! – воскликнул в сердцах один из авторов, и был прав. А ведь и вы, уважаемые, только это и умеете – если умеете! А если еще не умеете, то давайте продолжим вместе с вами мучиться, потому что если вы любите литературу, когда-нибудь оседлаете и летающего Пегаса!

Как надо правильно писать, я вас НЕ научу, это была задача учительницы русского языка и литературы. Я вас даже не научу писать хорошо, ибо это не в моих силах. Я только спорю с вами, когда вы пишете **плохо**, и указываю на это, и готов повторяться почти даже яростно, и если вы пишете «у него не получилось ее поцеловать» вместо «он не смог, не сумел, ему не удавалось», я радуюсь за НЕЁ, надеюсь, она влепила ему по физиономии, когда у него НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ, потому что это НЕ неправильно, а вульгарно, пошло и НЕ по-русски. Пойте хоть фальцетом, хоть дискантом, но пойте *по-русски!* – вот чего я у вас требую. Потому что кроме нашего русского языка ничто не страдает над рукописью, именно ОН только настоящий соавтор наших творений. А прежде всего потому, что ОН автор и нашего собственного Я, нашей народности, чувствования, вкуса, такта, обаятельности, привычек, походки, интонации и выражения лица (вы разве не знаете, что китаец и улыбается иначе, чем европеец, и что до двадцатого столетия у них было не принято даже целоваться – не потому, что «не получалось», а даже девушки не давали, потому что им это было «не по ндраву»).

Язык – наше всё! (Потому-то о Пушкине это и воскликнул Аполлон Григорьев, что Пушкин и русский язык было неотделимо!)

Начну с того, что сегодня является камнем преткновения и для «революционеров» языка и для его охранителей – хлынули в язык *дурные* слова и речения, почти так же, как когда-то вместе с конкистадорами хлынули в Южную Америку «дурные» болезни, но прогрессисты, КРЕАТИВНЫХ дел мастера, вопят: а разве не всегда сие было, а разве не на четверть (а то и три четверти) в русском «бывший наш нерусский народ»? И аршин, и алаверды, и Альма Матер, и армяк, и алтын, и ангорские даже кошки? И мне нечем крыть...

Ибо ни один великий язык не состоит «сам из себя», как и ни один великий народ не состоит только из единоплеменников, ибо из единоплеменников состоит только племя, род и клан, но не народ; состоит только племя, еще не поднявшееся в историческом развитии *до уровня народа*. И потому даже у немцев, кичливых больше поляков (а кичится, как правило, только ЧЕРНЬ, ей, видно, больше нечем кичиться, культуры же у нее нет!) и Гете имеет французские корни и Бетховен фламандские, и Коперник и Ницше славянские... Список продолжить?

А из чего состоит ржаной хлеб? На четверть это ржаная мука (когда-то, когда определяющими в быте были крестьяне, в хлебе муки было три четверти!), наполовину вода (припек), на осьмую добавки: масло, соль, корица, сахар и прочее; еще на осьмую так называемые «наполнители», доля которых у воровских хлебопексов доходит и до двух четвертей: кукуруза, картошка, горох, МЕЛ, БУМАГА, минералы неестественного происхождения... Теперь вы поняли, почему хлеб бывает невкусный? А не потому, что печь не умеют. Пекут хорошо, но ведь БЛОКАДА... *И самим не хватает...*

Так же и французский и английский язык состоят на большую часть из латыни, а мы сегодня у них заимствуем то, что уже тысячу лет к нам падало из античной культуры дождем и снегом и семенами, и растворялось, прорастало, УКОРЕНЯЛОСЬ, становилось своим. Так что не прав ли некто, воскликнувший: *За мерченайзера и креативный надо расстреливать?!*

(А в скобках замечу, что в восемнадцатом веке случалось нам заимствовать у французов и то, что когда-то они заимствовали у нас. Еще по святам памятный адмирал Шишков – «притча во языцех», защищающий язык "словен" до того, что призывал вместо галош одевать мокроступы, справедливо однако же указывал, что *гардероб* – это исконное наше слово, как и гардемарин не совсем не наше, и гарде – ибо произошли они от огораживать, изгородь, огород, град, город, а гарде и означало городить, перефранцузженное французами).

Да, не из одних славянских слов состоит русский язык, и не из одних славян русские, как и Волга состоит еще из Камы и Оки и тысячи тысяч других рек, но скрепляет все это многообразие ДУХ и СТРОЙ языка, как и тело наше скрепляется позвоночным хребтом.

И каждый из нас, и Азь грешный, состоит не из тюрков и славян и веси и мери, но из СЛОВ и их РАСПОЛОЖЕНИЯ, в них наша плоть и наша душа.

14.

Закончу же эту главу обширными выдержками из сочинения *Потебни «Слово и миф»*, ибо меня удручает не только воля поклонников нормативного отношения к языку, обуздывающего его железными «правильными» правилами и нормами, но в еще большей степени воля своего рода анархистов или хулиганов, которые искренне полагают, что язык – это пластилин в их руках, и из него они могут лепить что угодно, и как угодно, и правила писаны не про них.

В главе «Намеренное изобретение (или) божественное создание языка» *Потебня* пишет:

Вопрос об отношении мысли к слову ставит лицом к лицу с другим вопросом – о происхождении языка, и наоборот, попытка уяснить начало человеческой речи, неизбежная при всяком усилии возвыситься над массою частных данных языкознания, предполагает известный взгляд на значение слова для мысли и степень его связи с душевною жизнью вообще.

Имея в виду изложить некоторые черты той теории языка, основателем коей может считаться В. Гумбольдт ... мы по свойству самого предмета должны вместе говорить и о происхождении слова. Начнем с указания на некоторые прежние взгляды, которые должны быть разрушены, чтобы дать место новым.

Прежде всего должны быть устранены взаимно противоположные мнения о сознательном изобретении слова людьми и о непосредственном создании его Богом. Оба эти мнения очень стары, но возобновлялись и в недалекие от нас времена и всегда, несмотря на различие в частности, сходились в основных положениях, заключающих в себе внутренние противоречия.

Теория сознательно-намеренного изобретения языка предполагает, что природа и формы человеческой жизни податливо-готовы принять все виды, какие заблагорассудит им дать произвол человека; она построена на вере во всемогущество разума и воли, на что бы они ни были направлены: на преобразование государства, литературы или языка. Последователи этой теории придавали особенный вес произвольности некоторых правил литературного языка и отсюда заключали о конститутивном влиянии грамматических работ на язык вообще. Цель грамматики, говорит Мерзляков, «оградить язык от чуждого влияния, то есть сохранить его чистоту и характер, определить каждого слова собственность, доставить каждому надлежащие границы значения, то есть *даровать* ему точность и определенность, несмотря на прихоти употребления, которое, хотя в вечной вражде с грамматикою, но совершенно уничтожено быть не может, как средство, придающее слогу иногда краткость, силу или по крайней мере живость и легкость».

«Язык отечественный, – по словам другого ученого того времени, Каченовского, – не может быть точным, постоянным, совершенно вразумительным в самых малейших оттенках понятий, если грамматика не предпишет ему твердых правил».

«Каждый язык, доколе не имеет своих собственных правил, известных, извлеченных из его внутренней природы, доколе подвержен бывает частым изменениям от влияния на него других собственных или даже отдаленных языков». Здесь некоторая примесь чуждой этому направлению мысли о самостоятельности и народности языка, но всегда затем опять переход к любимой теме – неограниченной власти человека: «Когда же появляются сии благодетельные законодатели, отечественному языку своему назначающие круг его действия и пределы его движения? Без сомнения, в то время, когда язык сделался уже богатым, ... когда в народе явились уже превосходные писатели, одним словом, когда просвещение пустило уже глубоко свои корни»...

Таким образом, законодательство, сообщающее языку все требуемые превосходные качества, возможно только тогда, когда язык сам приобрел их и не нуждается в законодательстве. Употребление, враждующее с грамматикой и не осуждаемое на смерть только ради некоторой приносимой им пользы, оказывается единственно законодательной властью; но так как оно прихотливо и непостоянно, то можно думать, что в языке вовсе нет законов. Все в нем как-то случайно, так что, например, разделение его на наречия не есть следствие в нем самом сокрытых условий жизни, а дело внешних обстоятельств, вроде татарского погрома: «...исполинскими шагами текли россы к обогащению своего языка, как вдруг гроза, которую честолюбие князей давно готовило, обрушилась над нашим отечеством и истребила толь быстро возраставшие успехи нашего просвещения... Северо-западная часть России заняла много слов, а еще более окончаний (?!), собственных языку литовцев», оттуда белорусское наречие; язык Южной Руси, «потеряв сродство с славяно-русским, совершенно приблизился к польскому» ... «все же государство... перенимало множество речений татарских».

«...Дар слова есть дар общий, *естественный, необходимый*; напротив того, язык, употребление сего дара, есть нечто *искусственное, произвольное, зависящее от людей...*»; он есть изобретение, следствие «*договора, заключенного членами общества для сохранения общего единогласия*» – Орнатовский И.

«Тот язык, – говорит К. Аксаков, – которым Адам в раю назвал весь мир, был один *настоящий* для человека; но человек не сохранил первоначального блаженного единства, первоначальной чистоты, для того необходимой. Падшее человечество, утратив первобытное и стремясь к новому *высшему* единству, пошло блуждать разными путями; сознание, одно и общее, облеклось *различными* призматическими туманами, различно преломляющими его светлые лучи, и стало различно проявляться». В этих замечательных словах собраны все несообразности, которыми страдает теория откровения языка.

Приведя отрывки из сочинения Потебни, я не ставил целью объяснить происхождение языка или высказаться в пользу либо произвола в его применении, либо рабски осторожного копирования только уже окаменелых форм. Я лишь хотел показать читателю (нет, писателю!), что однозначно определенное отношение к языку может привести к ущербу. Человек – и божество, формирующее посредством языка свой особенный мир, и – «тварь дрожащая», воющая от сознания ничтожности собственных усилий по преображению мира.

А в следующей главе я напишу о Поэзии, отстою «русскую» кровь Мандельштама (напоминаю, что у поэта в жилах струится язык) и Пастернака и Шумовского, и продолжу разбор достоинств Новой литературы, представленной, в частности, именами Натальи Ефремовой, Натальи Троицкой и Елены Лобановой – глубоких и почвенных в самом высшем, духовно-историческом смысле этого слова!

А читатель пока отдохнет...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЯЗЫК, НАРОД и КУЛЬТУРА

Суббота, 2 марта 2013, утро. И вот, только дойдя, возможно, до середины своих Записок, я наконец понял, чему они посвящены, зачем я их пишу, какую тему ставлю я в центр своих размышлений. Ну, к ней мы еще будем идти долго, быть может только в самом конце я воскликну: Так в чем же...? – и неуверен, что сумею ответить на восклицание, но хотя бы обозначу смысл и цель *поисков*.

1.

Начинал я писать с определенной, вполне практической целью, движим я был своими редакторскими заботами, накопилось у меня множество замечаний и комментариев к тем сочинениям, которые приходилось редактировать в последние три года (хотя я и раньше, и в девяностые годы несколько подвизался на редакторской ниве, и даже более обширной, для иных книг я был и финансистом, и издателем, и главным редактором, и литературным редактором, и художественным, и даже продавцом, а то временами и грузчиком).

Итак, собирался я высказать несколько практических указаний начинающим писателям, соединив прежние разрозненные замечания, но затем увидел, что их слишком много, не всем они годятся, да и принесут ли пользу в своем целом? – скорее, что нет. Это все равно что писать Пособие о том, как влюбить и влюбиться. Пособий таких должно бы быть столько же, сколько девушек, да и кто же из девушек или кавалеров начнет с Пособия? Шел по улице, поскользнулся, упал, очнулся – ЗАГС!

Если какую пользу Редактор и может принести Автору, то только в их личных взаимных отношениях, в их двойственном романе, то есть в романе Редактора с Книгой автора. Взаимоотношения эти индивидуальны и разнятся в двух противоположных пределах.

Один предел – переписать авторский текст так, как считает необходимым Редактор, так чтобы стало ХОРОШО (и не только это касается начинающих авторов, так Бунин собирался переписать "Войну и Мир" Толстого, чтобы сократить ее в полтора раза).

Второй предел – не только НЕ переписывать, но и ничего НЕ править, упразднить редактора, а, возможно, и корректора, в крайнем случае дав автору несколько необязательных советов, а то и их не давая. Ибо если текст плох, то печатать не надо и нечего и править, а если хорош, то хорошего учить только портить!

О редакторах я, надеюсь, еще напишу, сам теперь читаю их Записки, и столько поучительного для себя нахожу, что уже засомневался, не сжечь ли мне собственную рукопись, умные люди уже обо всем думали и все написали, и даже лучше меня...

Так вот, писатель пишет между бездарным и гениальным, между

изобилующим ошибками и несуразностями и совершенным. Оценка того, как пишет писатель, может быть ошибочной, сплошь и рядом гении оцениваются низко и редакторы порываются их исправлять и совершенствовать, хотя в некоторых случаях даже самый вызывающий редактор пасует перед текстом и признается, что «даже он» переписать ничего не сумеет – так пасует редактор перед прозой Андрея Платонова в его необычных книгах «Чевенгур» и «Котлован», так пасовал и я не единожды перед прозой и стихами некоторых авторов, когда только в растерянности и мог произнести «Мáтерь Божия!»

В тех же случаях, когда текст был «обычным», я читал его, сообразуясь с грамматическими правилами и переставляя запятые, проверяя согласование падежей и наклонений, и сообразуясь с собственным чувством русского языка и интуицией, моим личным вкусом, ощущением легкости или затрудненности прочтения и понимания предложных конструкций. Но ведь есть еще герои, сюжет, смысл и цель и многое другое, как и в каменном строении не все определяется «выбором и расстановкой» камней.

Об остальном я пока не писал, я застрял на «каменьях».

Могу ли я собрать «типовые ошибки» и дать «типовые» указания?

Нет.

В иных случаях писателя надо бы отправить снова в школу, мои указания уже запоздали, в других – все грамотно, все правильно, но...

Так что Книга под названием «Учебник для писателя» не состоялась и состояться не может, а мне лучше не смешить мышей и писать ее не пытаться. Ибо даже в том крайнем случае, когда известный мне автор и сведший меня уже с ума ставит запятые даже в середине слова и не всегда отдает себе отчет в том, где у него эта середина а где конец, лучше, кажется, его не учить, а молча сдуть пылинки, перетаскивать запятые, да потом еще и корректор продолжит мою работу, и читатель не узнает, что автор, возможно, и не учился в школе, что вакханалия творческого порыва часто забывает про правила, мысль и образы летят и взмывают, не успеваешь записать слова, до запятых ли туг? И здесь я намекаю на автора, которому уже предан, надеюсь, он в меня не швырнет чернильницей или компьютером, если прочитает мои пассажи и узнает в них себя. Впрочем, я еще не знаю, читает ли автор чужие книги, да и до них ли ему, пока бушует творческое пламя?!

Следовательно, это не Пособие автору или редактору, а праздный разговор с читателем (возможно, кто-то из моих подопечных, устав от писания, прочтет и меня), или, в крайнем случае, разговор с самим собой.

2.

Плохо удастся мне возражать чужим или противоречить, но себе возражаю я с легкостью.

В творчестве есть две составляющие (как и в любом почти деле): Ремесло и Искусство. Искусству научить невозможно, хотя (о том позже)... а ремеслу учат сплошь и рядом. Возможно составить и систематизировать некий набор основных правил, с помощью которых все то, что в Книге определяется

ремеслом, будет даваться легче и с меньшим числом ошибок, так что на искусство больше останется времени... Но принесет ли это пользу? И знал ли я сам эти правила, когда «пускаться на дебют»?

Вот, например, «типовая» ошибка еще необученного писателя – повторы слов. Как уже я упоминал, Толстой, по подсчетам Мережковского, на одной странице повторил 28 раз слово «который». Изгонял отчасти и я чрезмерно повторяющиеся слова у авторов, но – так ли уж это надо? Сильнее задевают повторы в строении фразы с причастными и деепричастными оборотами, типа, «заметив пулю, он уклонился, не рассчитав уклона, споткнулся, споткнувшись, сел, севши, задумался...» – хотя, кажется, не всегда и это плохо.

Так что я отмечаю повторы и однообразие у авторов, а там уж их дело, искать ли разнообразие.

Правда, есть кое что, что и меня сильно задевает и злит – это вторжение в литературную речь областнических вульгарных оборотов и уличного сленга, да еще хлынувший вдруг поток «мерченайзеров» и «охренизеров» из газетной публицистики и канцелярско-экономической переписки, но я уже авторам на сие указывал, и не буду повторяться..

Следовательно, ремеслу я учить не буду.

Но буду ли учить искусству, и возможно ли это?

Конечно, нет.

Я буду продолжать учить самого себя, размышляя над книгами новых авторов, и иногда вступая с авторами в переписку. Авторы меня научили гораздо большему, чем я их. Или даже, не в том дело, что научили... они меня поддерживают и **ВДОХНОВЛЯЮТ!** Часто бывает, что правильная книга приносит с собою ощущение удущья, а другая, возможно и не открывающая новых формул, вдруг вносит в воздух дуновение весеннего ветра и запах черемухи. Если возможно чем-то помочь писателю, мне самому или другому, так это воодушевить его! Для этого я продолжу свои записки, надеясь, что читатель хотя и ничего не узнает нового, но не разохотится писать, хотя бы чтобы мне возразить. Искусству не учат, но если нам интересно друг с другом разговаривать, то и это на пользу искусству!

3.

В девятнадцатом столетии существовало два языка: один письменный, литературный, преимущественно дворянский, и другой язык народный, преимущественно крестьянский, устный. Конечно, и дворяне не только писали, но и разговаривали, но, как мне кажется, их разговорная речь определялась письменною, а не наоборот, и даже после того, как дворян искоренили, **у образованных людей письменная речь задавала стиль и форму речи разговорной, а не наоборот**, как сегодня (как говорят на улице, так и норовит писать иной писатель). Это утверждение очевидно истинно, я десять лет учился в школе, учительницы литературы (их было много) говорили «как по писаному», и другие учителя тоже, даже математики, потом точно то же самое я замечал в университете, и, наконец, как-то в споре с друзьями включили магнитофон и я говорил длиннейшими периодами,

состоящими из многих сложных предложений, и друзья вынуждены были признать, что я говорю как обычно, но при этом в полном соответствии с моей собственной стилистикой моей литературной речи и даже более правильно, чем пишу. Следовательно, мой устный язык первичен, а письменный вторичен (как и в классической русской языковой практике). Сей пассаж я привожу только в посрамление наиболее активных сторонников тезиса, будто бы подлинной, живой, исходной стихией языка является язык устный, а письменный представляет из себя его искусственную обработку. Нет, мои дорогие лентяи, не потому у вас в сочинении много уличного мусора, что вы, дескать, стремитесь воссоздавать правду жизни, а вы просто ленитесь, придя с улицы, почистить ботинки и вымыть пол хотя бы в прихожей.

Письменный язык консервативнее, УСТОЙЧИВБЕЕ разговорного, поэтому-то читаем мы Пушкина и Лермонтова как своих современников. Письменный язык является образцом, эталоном для повседневного языка, поэтому мы и говорим сегодня так же, как они писали вчера. Письменный язык и есть подлинный, действительный язык, есть основной ИСТОЧНИК языка, а говоры и диалекты – его отклонения, модификации, а феня и арго и язык «профессиональных ушкунников» или современных «воров в законе» и «новых русских», олигархов, политиков и обслуживающего их медиа-персонала – его заболевания (или дурачества).

Но если существовали два языка: один письменный, дворянский, и другой крестьянский, устный, то где память о крестьянском языке, на чем основано мое утверждение, что он существовал? Да на том, что он тоже записан, почти полностью сохранен в письменных памятниках, и всегда жил, и ныне живет. Есть два пласта воды: одна вода сосредоточена в земной коре, а другая в реках и океанах, озерах, морях и болотах; и подземной и внутриземной воды больше, чем той, что на земле и в атмосфере, как это ни странно, и вторая вода обязана своим рождением первой. И первая вода чище, здоровее, вкуснее!

Но где же она, эта первая вода, где этот крестьянский (в узком смысле), народный (в широком) язык?

Это язык былин, преданий, сказок и обрядов, заговоров, примет, народных празднеств (сопровождавшихся языковой стихией), который передавался из поколения в поколение сначала изустно (но БЕЗ ОТКЛОНЕНИЙ, слово в слово, заучивался наизусть и воспроизводился через тысячелетие в той же первозданности, что и при рождении), и этот язык *записан* в 18-19-м веках, а я слышал в своей глухой дикой деревне от сказителей, местных и бродящих. Пока он не был записан, он тоже был неизменным источником, образцом, эталоном, поэтому язык применения, повседневности, устный русский народный язык «не растекался слезной лужею», а был устойчив так же, как и в письменных памятниках. Итак, письменный язык – источник, родник, а устный – один из способов его существования.

Какой же из двух языков, литературный дворянский, язык Пушкина и Толстого, или безымянный, крестьянский, язык Арины Родионовны, мой

бабушки, сказочницы Дужихи и деда Зеленка – богаче, полнее, всеохватнее? Конечно, крестьянский! Не говоря уж о наших народных песнях (и малороссийских в том числе) – всемирного значения, не говоря уж о сказках и былинах, приметах и плачах и обрядах, есть еще грандиознейший языковый пласт, обнимающий собою и ВЕСЬ язык и всю душу народную: ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ и ЗАГАДКИ.

Иногда публицисты приводят то или иное народное речение, чтобы порицать народ, а мы еще подчас и верим им... А загляните хотя бы в три тома Далевого собрания! Он пишет в предисловии к своему собранию:

«Вообще же из книг или печати взято мною едва ли более шести тысяч, или около пятой доли моего сборника. Остальные взяты из частных записок, и собраны по наслуху, в устной беседе.»

Что-нибудь подобное пословицам созиждено ли писателями? Нет. Вот что пишет Даль:

«Что за пословицами и поговорками надо идти в народ, в этом никто спорить не станет; в образованном и просвещенном обществе пословицы нет; попадаютя слабые, искаленные отголоски их, переложенные на наши нравы или испошленные нерусским языком, да плохие переводы с чужих языков. Готовых пословиц высшее общество не принимает, потому что это картины чуждого ему быта, да и не его язык; а своих не слагает, может быть из вежливости и светского приличия: пословица колет не в бровь, а прямо в глаз. И кто же станет поминать в хорошем обществе борону, соху, ступу, лапти, а тем паче рубаху и подоплеку?»

... Можно ли складнее, ярче и короче выразить глубокую мысль, чем в пословице «На смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь?»

Но мы не только сами не сочиним ни одной замечательной пословицы, а мы даже, как оказывается, плоховато понимаем готовые.»

«... пословица – коротенькая притча... Это суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чеканом народности. ... она не сочиняется, а вынуждается силою обстоятельств, как крик или возглас, невольное сорвавшийся с души; это целые изречения, сбитые в один ком, в одно междометье. Сборник же пословиц – свод народной опытной премудрости и суетумудрия, это стоны и вздохи, плач и рыдания, радость и веселие, горе и утешение в лицах; это цвет народного ума, самобытной стати.

Пословицу обжаловать нельзя.

На нее, что на дурака, и суда нет.

И на нашу спесь пословица есть!»

Я приведу хотя бы семь пословиц (из Даля), наугад.

Хорошо пахать на печи, да заворачивать круто.

Сытое брюхо к ученью глухо.

Семеро топоров вместе лежат, а две прялки врозь.

Не по хорошу мил, а по милу хорош.

Иная вода стоит крови.

Искусство – половина святости. Уменье – половина спасенья.

Но, разумеется, два языка не разделены пропастью, они, к счастью, живут и обогащают друг друга, даже незаметно для нас. Нам же следует только ЛЮБИТЬ язык, говорить и писать так, чтобы помнить, что не он у нас в гостях, а мы у него, и если мы пишем плохо, или неуклюже, или пошло, то не улица виновата (а если даже она виновата, то неча на кривую улицу ходить ворон считать), а виноваты мы сами. И я тоже не свод правил и не судебник. Я только не забываю, что я русский. И что самое русское во мне – это ЯЗЫК.

4.

Итак, язык – это не только словарь, это и вся та почва, на которой он произрос. Если не знать ее как почвовед, то хотя бы чувствовать ее – наш долг, коли мы дерзнули учить (или развлекать) других.

И свод пословиц и поговорок, загадок и поучений – продолжение словаря, без них он мертв.

Осмелюсь цитировать себя самого из сочинения «Слово и Душа»:

«Существуют традиционные "Правила Добра" и поведения, словно походка и голос пронизывающие наше существо и неотделимые от нас – и главное из этих правил состоит в том, что жить надо так, чтобы не стыдно было перед ближними своими, ибо оглядывается человек не на Бога, а на соседей, родных, друзей.

Многое же выражено в строе и содержании языка, в пословицах и поговорках, метафорах и эпитетах.

Береги платье снову, а честь смолоду; очи держи долу, а душу горé; на Бога надейся, но и сам не плошай; двум смертям не бывать, а одной не миновать; у страха глаза велики; мертвые сраму не имут...

Даже отдельные слова поучают и пестуют душу – Отечество, отчина, Родина, народ; родной (милый, близкий), природа, родники (рождающие воду, а метафорически – источники жизни) – по духу и по рождению соединяют в одно целое тех, с кем мы живём, среди коих родились, семью, родную землю и череду родителей и пращуров, населявших ее. *Отчиной* и *Родиной* не назовешь место, куда забрасывает "по воле рока на ловлю счастья и чинов", куда бежишь за "длинным рублем", за сладкой и обеспеченной жизнью, ибо пронзительное слово *Отчина* сильнее всех проповедей противостоит низкому суждению, что родина – там, где хорошо, и даже высокому, что Родина там, где Бог. Но да может ли быть хорошо на *чужбине*, если дома даже "дым отечества сладок и приятен"? И может ли вполне согласиться с утверждением апостола Павла, что "отныне несть ни эллина ни иудея" – еще живой писатель, пишущий и думающий на *родном* языке? Еще живой актер и художник? Даже странник по родной земле, в восторге благодатного слияния с природой восклицающий: "Благословляю вас, леса! Долины, воды... И посох мой благословляю! и всю *Природу!*"? Идея Рода и Отечества лежит в основании языка и противостоит безнациональной *всеобщности* способом говорить и думать.

Но как вмещены в человека время и вечность?

Время – это то, что имеет зримое начало, что вспоминается как *собственное*, вечность – существующее всегда, искони, изначально.

Что же содержится в слове и понятии "сроду" – временное или вечное? Только ли то, что от "моего рождения"? Мы ведь еще говорим "такого *сроду* в нашей семье не водилось", или "мы *сроду* были доброжелательны и гостеприимны" – это ли уже не вечность?

Время привязано к роду и рождению – а тогда в каком времени живет *изгой*, человек "без роду и племени", без народных корней и народной памяти – есть ли у него не только вечность, но даже широкое течение времени, помимо каждодневного? К чему привязывает он то, что было до его рождения, к чему привяжет он то, что наступит после его смерти?

Всемирность вырывает человека из времени, поскольку человек в действительности не живет ни в космическом времени вселенной, ни в геологическом времени Земли; живое время его бытия – это время *исторического*, время бытия культуры, даже еще *уже* – это время *рода*, имеющего *общий язык*.

Существование вне своей *семьи*, вне своей *среды*, вне своего *народа* – трагический разрыв, проходящий не между внутренним и внешним, не между человеком и миром, но внутри самого человека. Душа содержит не только Я, но и происхождение, то есть семью, род, племя, народ, государство, "*культурно-исторический тип бытия*". Отдельное Я – то же, что женщина, потерявшая свою семью. Как бы ни хорохорился "гражданин мира", один, сам по себе, он – несчастлив.»

«В каких же словах и звуках выразил язык русский сильные чувства?

Страсть! Слово энергичное и упругое – нет, не место ему в тишине и покое молитвенного созерцания! Означает оно сильные чувства, а христианство озабочено одним – как заглушить, уничтожить *пагубные страсти* в человеке (ибо не пагубных оно не предполагает... да и право, ибо все страсти пагубны, даже собиранье спичечных этикеток!)

Есть у этого слова еще значение – *ужасы, испытания*; и *страсти Христовы* – это именно мученические *испытания* Его.

О прекрасной музыке, выразительных стихах, чудесной живописи, красоте природы говорим мы – *чарующие* звуки, очей *очарование*, *волшебная* сила искусства, *магическое* впечатление, *очарованы*, *околдованы*, *восхищены*... Боже, Боже, какой ужас, какая *страсть!*

.....

И *чары*, и *колдовство*, и *волшебство*, и *магия* – прокляты церковью, ибо они относятся к той области чудесного, где человек пытается получить необычную силу и помощь какого-то иного свойства, иной природы, нежели дается в молитве. (Да и обычное светское искусство ... именно *чарующее*, *волшебное*, оно умножает жизнь, а смысл и цель жизни для христианина – за нею, за ее гранью!)

.....

Слово и реченье.

Материал, идущий на постройку, как будто нейтрален по отношению к замыслу архитектора. Кирпич не имеет собственного лица, не утверждает и не отрицает, и из одних и тех же кирпичей можно построить храм и тюрьму. Выразительностью, смыслом, содержанием обладает строение, оно разговаривает с нами, но в речи строения уже не слышен лепет строительного материала, даже если бы он и умел лепетать.

В литературе *строением* является законченное произведение, рассказ, роман, ода или драма; минимальная деталь, обладающая смыслом, это *фраза*, иногда усеченная до одного слова, что является ее крайним состоянием; но отдельно взятое слово не говорит ничего, из одних и тех же слов, как из кирпичей, автор строит тюрьму или храм, открывает истину, открывает калитку в душистый сад, – или убивает надежду.

Искони бе слово! – так начинается Евангелие от Иоанна. Удивительная истина сообщается в этой короткой фразе всего из трех слов, но каждое отдельное из них не сообщает не только трети от этой истины, но даже и четверти, и даже самой маленькой малости.

Только *сочетание слов* передает нам мысли и чувства, в сложном их узоре заключается и драма безответной любви, и драма истории – история ли любви Тристана и Изольды, или Крестовых походов.

В отдельно взятое слово история не вмещается, слово не содержит истории, и слово лес, или слово *бор*, которое мы можем встретить в тексте, ничего не скажут нам о том, к какому времени или к какой эпохе относится этот текст.

Но удивительное состоит в том, что именно в слове, освобожденном от внешних связей, – *вопреки сказанному!* – история, смысл, мировоззрение заключены в гораздо большей степени, чем в сочетаниях слов.

Слово содержит в себе почти всё, оно всеобще. Реченье же индивидуально, оно принадлежит тому, кто его высказал, и хотя бывает часто так, что забывается автор текста, или выражения, и они уже как будто принадлежат всем, принадлежат народу – но почти никогда отдельное высказывание не является всеобщим, кто-то в нем видит и свое мнение, а другие, быть может, не согласны.

Кто не работает, тот не ест! – сильно сказано, но не для всех; *по одежке протягивай ножки!* – иногда приходится, да не хочется... Ну, согласитесь же, что какое бы выражение ни привести в пример, даже почти бесспорное, вроде того, что *лошадей не меняют на переправе*, не все согласятся и с бесспорным. Но можно ли найти человека, возражающего *слову*? Пытающегося его заменить или опровергнуть? Даже если у слова есть двойники, аналоги и синонимы, этим оно не опровергается, таково свойство языка, он *избыточен*, он не ограничивается одним знаком для обозначения некоторого понятия, а предлагает, как правило, сразу целый их набор – и все принимаются, все утверждены и одобрены, и используются в разговоре.

Итак, сочетание слов – часто частное мнение, отдельно взятое слово – абсолютная истина, аксиома.

Но, скажете вы, слово не сообщает истин, не утверждает и не возражает, но лишь используется в сообщениях. Слово не открывает нам историю, не рассказывает о событиях в жизни Раскольникова или Анны Карениной, не сообщает ничего об отношении к миру какого бы то ни было человека.

Да.

Что же тогда сообщает слово, какая история в нем содержится?

В слове содержится история языка, следовательно история народа, его подлинные верования, его подлинные воззрения и надежды, его чувства и заветы!

Речение затемняет всеобщее, разбивает его на частности, слово – выше частных, оно повествует о том, что принадлежит всем.

История содержится в слове двояко.

Во-первых, слово подвержено изменениям с внешней стороны, меняется его произношение и написание, например, стекло, *скло* (откуда *склянки*) – и *стекло* – и эти изменения немало говорят о сменяющихся эпохах.

Но гораздо важнее те изменения, которые связаны с значениями слова, с его внутренней жизнью – в них то и содержится подлинная история народа и его отношение к миру.

Хотя знания мои о русском языке неглубоки и не-достаточны; однако, именно это позволяет не погрязнуть в частностях, и потому я не следую общепринятому взгляду на то или иное явление языка, и значит, я объективнее; а во-вторых, я исхожу из собственных интуитивных воззрений – и значит, я субъективен и предвзят, но именно предвзятость, как тропинка, помогает мне не заблудиться в лесу многообразных исторических сведений.

Внутренняя история слова выражается в том, что в течение своей исторической и культурной жизни оно взрослеет, как и человек, разрастается, как растение, пускает побеги, обрастает разнообразными смыслами, приобретает не только новые значения, но и новые оттенки прежде принадлежащих ему значений.

Не всегда можно эти изменения выстроить в хронологическом порядке, но часто это не важно.

.....

Говорят, что душа – христианка....

Может быть, душа и христианка, но *язык русский – язычник!*

5.

Неожиданно написал мне старый товарищ, в ответ, кажется, на мои Записки, вычитанные им «на заборе». Я ему ответил тоже, он возразил, я попытался себя пояснить, но он уже меня, кажется, не слушал – и вот перечитываю и понимаю, что часто даже между близкими людьми – разговор глухонемых.

Поскольку многие вольно обращаются с письмами друзей, и Гоголь когда-то для полемики «выбрал (необходимые ему) места из переписки с друзьями», я решил поступить так же, тем более что наш разговор с товарищем продолжает именно то, что я пишу о Словах и о Гениальности.

Гениальность от Бога, природы или усилий духа?

Борис О. 29 февр. 0-42... твоими бы устами да мёд пить (и медь лить); впрочем, не одинок ты, не одинок в своих усилиях по перестройке общепринятого лексикона: когда-то Кручёных, наскучив словом ЛИЛИЯ, заменил его на ЕУЫ, а Сартр сочинил некогда ловкое мотто, что евреем-де не рождаются, а становятся (его неверная жена де-Бовуар отрихтовала его фразу до ходовой: *женщиной не рождаются, а становятся*), всякий, естественно, хотел бы, чтобы мир вокруг него был таким вот сверхподатливым и сверхпластичным; наконец, Николай Фёдоров (и независимо от него Клаузевиц) мечтал вообще обойтись БЕЗ гения, вроде сомнительного Наполеона, подменив гения один – "трудовыми отрядами", второй – "генеральным штабом"...

Что-то похоже и у тебя (*гением не рождаются, а становятся*), но при этом бездумно вывернута наизнанку рубаха слов: ЛИЛИЯ стала ЕУЫ, а ГЕНИЙ (ДУХ, даймон, отсюда "Дух христианства" Шатобриана), неподвластный никому из людей, а разве что перепадающий кое-кому из них (ДАР, особая одаренность, музыкальный слух, например) – простой доской и трудовым рубанком в руках, допустим, плотника-Петра.

В. И. 29 февр. 1-42... Чтобы себя объяснить и объясниться с тобою, начну с оснований, на которых я живу и размышляю.

1. НЕТОЖДЕСТВЕННОСТЬ ТОЖДЕСТВА. А не есть (не равно) А, ибо «все течет – изменяется», следовательно во всякое мгновение А уже не есть А. Ибо БЫТИЕ бытует во времени, и мира вещей (неизменных, застывших) нет.

2. НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ЗАКОНА ИСКЛЮЧЕННОГО ТРЕТЬЕГО (отчасти по первой причине), то есть всё если и истинно, то не до конца. Или, как сказал Вейнинггер, даже святая женщина хоть немножко да б..дь (а я переименовал его, что *даже и б..дь – святая!*)

Обычно человек смотрит на мир в узких рамках предвзятой центральной идеи, и уость сознания почти не дает с ним спорить, почему в спорах я ВСЕГДА проигрываю.

Итак, условно разделим людей на *экстремистов* (то есть сторонников КРАЙНИХ воззрений) и эволюционистов.

К экстремистам относятся почти все *верующие*.

Мир де в руке Божией, если хочешь его изменить, то *молись*, по молитве Бог, быть может, что-то в нем и изменит (но надо ли еще этого и хотеть? Хотение уже подозрительно! ибо мир создан совершенным, в нем человеку ничего менять нельзя. Надо только меняться самому – спасти душу!).

Затем и *революционеры*, строящие баррикады и посылающие послушников на Куликово поле (да христианин ли Сергей Радонежский? Русская церковь как-то по ошибке не сожгла его). Или Дева, одевающая латы и препоясывающаяся мечем, чтобы идти на Орлеан (католики ее сожгли, формально, ТОЛЬКО за то, что она одела штаны, а по существу за ее желание собственными силами изменять мир).

Впрочем, мир МЕНЯЕТСЯ, даже Земля стала круглой и завращалась вокруг солнца, сколько бы не жгли супостатов-ученых!

А впрочем, сами христиане постоянно в БОРЕНИИ (перечти апостола Павла), и он не только (и не столько) молился, сколько УБЕЖДАЛ читателей гениальными посланиями. И я пытаюсь делать то же самое, то есть сочиняю послания и раздаю их девушкам, хотя каким-то образом и ты одно из них прочитал.

Но я принадлежу к *эволюционистам*, заключенным между верующими и революционерами, то есть между теми, которые молятся сложа руки и теми, которые все ломают, взрывают, расстреливают. Эти создают живопись, скульптуру, даже храмы (не дождавшись, пока Христос в три дня воздвигнет Свой храм).

Так как я был учителем, то я и «по жизни» принадлежал к эволюционистам, пытаюсь детей учить и менять.

Какова же Природа гениальности?

Есть ДУХ.

Есть и личный гений (даймон Сократа) и личная гениальность как *одухотворенность* («одержимость духом») – отдельно от способностей и таланта...

Мое понимание «природы» гениальности определяется видением моего собственного пути. По матери женская линия во мне была исключительна, и бабушка и мать были исключительны, и тетки, и сестры поднимаются над средним уровнем. Исключителен был и мой отец, хотя в его роду он был и сам исключением.

Итак, исключительность, способности, как будто бы и гениальность – от природы!?

Но в шесть лет ко мне являлись ангелы и один из них сказал, что мне предстоит великое будущее и даже спасение России. Потом, в семнадцать лет, ВДРУГ произошло падение литературного дара, и до сорока лет я ничего не мог написать (а в детстве писал и печатал рассказы). Но я жил, учился, пил водку, бегал за девицами и пытался писать, хотя и совсем плохо.

И точно знал, что если «шестикрылый серафим не вырвет грешный мой язык и вместо него жало мудрой змеи не водвигнет в уста мои», то «по большому счету» ничего путного из меня не получится. Вот отчего я с Богом ругаюсь. Ты ведь обещал мне, вопию я, так исполни! А он уже и смеется, ничего, дескать, я тебе не обещал.

Так, значит, гениальность все же от Бога?

Не совсем так.

Я же приготовлен и собственными усилиями и своей в меру «правильной» жизнью к принятию ДАРА, я и учился, читал, чувствовал, писал, сжигал, переписывал, *редактировал* – я достоин, готов, выделался или выделал из себя сосуд для последнего дара!

Я как бы и гений и не гений вместе, я бенгальский огонь, который должен (и может) вспыхнуть. (Речь-то, впрочем, здесь не обо мне, это ведь я о человеке хлопочу, о тех авторах, которых я редактирую!)

Поелику я был учителем, я помимо всего прочего пытался что-то изменить в Ученицах. Однажды «запал» даже на некрасивую, стал ей ставить пятерки. Она шмыгала носом и дважды два у нее было пять и – ВДРУГ... Приходит в класс... Брови подведены углем, щеки нарумянены свёклой... Но перед этим я видел, как она чистит картошку и подает на стол – она ее чистила гениальнее, чем даже Пушкин писал стихи!

Чудо и Гений уже заключены в человеке, как огонь в камне, не хватает удара, чтобы высечь искру!

Ну, вот, от Бога, природы или человека? Потенция даже на «простой» вопрос о том, кем дан язык, Богом, природой или человеком, не ответил, так что о гениальности я не отвечу тоже. Но если важнейшие понятия: преображение, чудо, спасение души, истина, дух... мы будем выводить ТОЛЬКО из христианства (или из марксизма, позитивизма, фрейдизма, материализма...), то нам будет трудно понять друг друга. Кроме фабричной водки (часто ужасной) есть еще и самогонка. Если же ее очистить, да добавить меду, то получается прелестный напиток. Я – производитель самогонки. Вот почему иногда с невежественными говорится легче (а уж с ДЕТЬМИ – тем более), чем с *преподавателями* Маркса, Канта, Фрейда, Христа... Нет, я не от культуры отделяюсь, а отделяю культуру от идеологии, Пушкина от архимандрита Фотия, и даже гениального Страхова от его же самого, сюсюкающего в паломничестве по Афону.

Борис О. 29 февр. 3-42... Нет, не одинок ты в своих усилиях по перестройке общепринятого лексикона, ибо лексикон – это ведь не только СЛОВА-новоделы, как ЕУЫ вместо ЛИЛИИ у Крученых, но и сдвиг общепринятых СМЫСЛОВ, в т.ч. гегелевский "диалектический" сдвиг (у тебя "Нетождественность тождества" позволяет любое устойчивое понятие заклеймить "метафизическим" и требовать рассматривать его "с другой стороны" или "в движении".)

Результат – ТИТАНИЧЕСКИЙ, то есть отказ Богу в главном (а именно в том, что гений даруется Богом, а человек разве что реализует его) и поставление себя на место Бога: я сам, своими усилиями, включаю в себе мотор гениальности. В принципе возможна и такая "модель", более того, она даже по-своему христианская: у христиан – все люди наделены бессмертной душой, а здесь – у всех есть гениальность, только вот не все способны ее ВКЛЮЧИТЬ, не все знают, где этот ключ лежит, и куда его воткнуть, чтобы твою гениальность заработала, но общепринятый смысл свидетельствует о ПРЕДЗАДАННОСТИ гениальности (срв. *совершенный* музыкальный *слух*) и даже, пожалуй, о предзаданности ее течения: у романтиков, например, она включается рано, а старость они бездарно доживают; есть плато на всю жизнь и есть два взлета, в юные годы и в старости; такую дарованную (Богом, природой, генетикой) гениальность можно разве что реализовать/обтесать, а для этого прежде всего ее надо иметь (хотя бы в зародыше, в обещании), а не вытаскивать себя, как титан-Мюнхгаузен, из болота за косичку...

... У меня внезапно бутылка водки объявилась, начальство подарило на 23-е, неужли на работе удобнее пить будет?

В. И. 29 февр. 9-42. Заболел ангиной, почему не пришел пить водку, ночью совсем плохо, а с утра расхаживаюсь немного...

Пеку сырники и начну пить чай, пишу коротко, но после продолжим.

Не вывожу я гениальность *только* из самого человека, а словно бы *И из человека И от Бога*. Но "с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий". В высшем смысле, когда вместо языка "жало мудрая змеи", я не могу обойтись без Бога, но я **ТРЕБУЮ** у Него помощи!!!

Спор апостола Петра с апостолом Павлом: Что спасает? Вера и дела (добродетели) или только вера? Да еще Лютер с Кальвиным, мол и вера ни при чем, и уже назначено, кому спастись. Да ты не протестант ли?

.... Сырники подгорели, чай остыл...

Вдогонку. Откровение уже вложено в человека при рождении, но чтобы оно проросло, СТАЛЮ, необходимо новое состояние, ПРОБУЖДЕНИЕ (как удар молнии в апостола Павла по дороге в Дамаск).

Отношения человека и мира, и Бога – это не ожидание, что Бог придет и нальет молока в блюдце и даже мордой ткнет, или что молекулы там вертятся и сами собой складываются в "Войну и мир". Посему я и говорю, что мое Евангелие – это Культура, вся в целом, со своими странностями, глупостями, прозрениями, интуицией и трудом, любовью и ненавистью, и грубостью и СВЕРХъестественностью, а ОТКРОВЕНИЕ если уже есть в Евангелии, да ведь что вы из него вычитываете, спрошу я?! Я из Лермонтова вычитываю и апостола Павла и апостола Петра, а иной из апостола Павла только Савонаролу, а из последнего только пьяного мужика, который гоняется за Пусси Райот с криком: ведьму ловлю! Да с тем же криком и за Жанной Д*Арк он гонялся! Для понимания смысла мы нуждаемся во вдохновении, и нуждаемся в понимании понимания. Нам и ДАЕТСЯ и мы ОТКРЫВАЕМ. *Я и сам поднимаюсь по лестнице и Бог меня туда тащит*. Я и сам сочиняю Евангелие и Бог мне его нашептывает! Я стремился стоять на фундаменте Культуры, ПРИНИМАЯ (с оговорками, критикой, противостоянием) – и апостола Павла, и Маркса, но не их воплощений в жизнь. ...

Б. О. 29 февраля, 11-37. «...я не могу обойтись без Бога, но я **ТРЕБУЮ** у Него!!!» – ровно то, что я писал о ТИТАНИЗМЕ (в языческом его изводе), это когда язычники наказывали своего идола, а то и сжигали за то, что плохо исполняет их требования: на хрен, мол, ты нам такой нужен! – здесь генезис науки, которая во многом происходит из магии, здесь же очень типичный европейский герой св. Христофор, который МЕНЯЛ себе господ, переходя от сильного к более сильному (царь – дьявол – Христос), очень сомнительный для моего (надеюсь, православного) сознания, скажу так: ницшеанский герой, только Ницше, вслед за Штирнером, после Христа нашел "еще более могучего" героя – самого себя. Про "веру И дела" – очень в такт разговора, именно об этом "гениальность И реализация", разные уровни: гениальность – это "эйдос", СЕМЯ, а реализация – воплощение, выросший из семени РОСТОК. Но, повторяю, надо, чтобы это семя у тебя УЖЕ было, иначе всё сведется к характерной для русской интеллигенции (во многом для тебя, полагаю) мечтательности, примериванию, "жениховству"...

6.

Странные, конечно, тезисы я отстаиваю, во-первых, что в языке уже *все содержится*, не надо, кажется, и стихи и романы писать, а во-вторых, что и в человеке уже все содержится, и надо только, чтобы это в нем ПРОЯВИЛОСЬ. Но мне зато – благодать! Вместо того, чтобы кропотливо работать над чужим текстом, я думаю, как из него (автора) высечь искру, чтобы он вспыхнул, занялся пламенем, ПОЧУВСТВОВАЛ народный язык, который тождествен и автору и литературе, и СТАЛ самим собою, то есть стал *гением*. А тогда зачем мне его редактировать? Сам он справится с этой задачей лучше меня!

Но и, как ни странно, пусть даже с оговорками, это все же справедливо, и подтверждается опытом, который, как известно, критерий истины и у святого Фомы (вкладывающего персты в язвы Христа) и у физиков, взрывающих «ядренные бомбы» и даже у меня, не то романтика, не то скептика, даже собственными стихами надоедающего слушательницам, поелику сам не могу решить, из теоретических оснований, сжигать ли их уже или еще погодить.

А опыт общения с авторами неожиданно оказался мне на руку.

Вот, например, редактирую я Сборник стихов и рассказов нового нашего автора, дамы К., пытаюсь, как обычно, переставить местами две запятые – куда там, не дается! А рассказ целый вдруг вознамерилась куда-то отправить. А рассказ-то прелестный, Томочка называется, не только героиня прелестна, но и герой, подлинное продолжение традиций классической литературы, и "Капитанской дочки", и "Шинели", и "Бедных людей", и даже иных рассказов Чехова. Я и остановил разговор на том, что у нее хорошо, не стала она этот рассказ убирать в корзину, духом воспряла, и без всякой моей помощи разметала все запятые куда надо!

Следовательно, не надо автора пером и стиральной резинкой портить, надо только помочь ему дружеским словом и незамыленным взглядом.

К тому же, входит ныне в литературу новый слой авторов, умных, талантливых, убедительных. Если я чем и могу им помочь, то серьезным разговором о том, что такое литература, есть ли в ней смысл, каковы ее задачи, в чем смысл творчества, национальна ли литература, опирается ли она прежде всего на язык, а затем уже на всякое прочее, и СВОБОДНО ли творчество, в том смысле, что куда хочу, туда и ворочу, или оно бесконечно тяжело и упрямо, вынужденно, подчиняется тысячам ДՕЛՂՈՎ, таково, что и «поэта требует к священной жертве Аполлон» (Пушкин) и «строчки с кровью: убивают. Нахлынут горлом и убьют!» (Пастернак).

7.

Да, вопреки самому себе, я принужден выйти за рамки только языка (хотя он и существеннее всего), рассмотреть и содержание и задачи литературы, а они шире, чем только язык, хотя язык и диктует – тому, кто ЧЕСТНО относится к литературе, кто слушает и слушается, а не становится в позу, считая, что никто ему, «талантливому автору» не указ, и что он КАК ХОЧЕТ, так и пишет, и что в этом суть творчества – в свободе – а не в самообуздании (саморедактировании) и подчинении – средствам (языку), цели, традициям.

Язык национален, язык и есть национальность! – говорю я в запальчивости. Но в действительности нужно мне поправить самого себя: национальна культура в целом, и именно она тождественна национальному, то есть вместе с языком, исторической памятью, религией и государством. Но отдельное слово может выпадать из языка, быть ему чуждым, точно так же может выпадать из национальной культуры отдельное творение художника: архитектора, скульптора, композитора, писателя. Разумеется, можно и в России говорить "по-олбански" или на эсперанто, или писать буддийско-японский роман, и они могут входить в культуру как таковую, но ... На меня они, вместе с дискурсом и мерченайзером, производят такое же впечатление, как цыганский табор на Берлинских газонах летом девяносто первого года, когда в Германии с одной стороны все разваливалось, с другой – соединялось. Табор не становился частью берлинского ландшафта и частью Германии. Так же не становится частью *русской* литературы «литература» последних двух десятилетий, представленная именами, например, Пелевина и Акунина.

Литература обширна, границы ее туманны, что из пограничного к ней относится, определить не всегда возможно.

Действие романа «Рыжая Мэри» происходит в Англии, герои ее преимущественно англичане, многие из них чопорны и сухи как англичане или, по крайней мере, так же как англичане не симпатичны. Но главная героиня отчаянна и бьется за правду, и хочется видеть в ней русскую. Роман Натальи Ефремовой «Осколки памяти» повествует о любовной драме, происходящей в маленьком американском городке, но место действия и имена героев в нем условны (как Ассоль и Зурбаган у Александра Грина), читатель и не сомневается, что речь идет о русских влюбленных. Что их делает русскими? Что делает русской «Рыжую Мэри»? И что отличает русскую литературу от родственных ей европейских литератур? Только ли язык? Но ведь мы читаем романы Гюго и Стендаля, близкие русскому читателю психологически, и не сомневаемся в их французскости, хотя и читаем их в русском переводе.

Один из отличительных признаков русской литературы, классической девятнадцатого столетия, или продолжающей ее традиции, я смогу сформулировать: это *любовь или сострадание автора к героям, выражающим его собственное переживание мира и человека, его собственное душевное устройство*. Симпатия к читателю, по крайней мере к читателю своему. Второй важнейший признак, почти тот же, что и первый: *отожествление автора с важнейшими своими героями*. Русский роман автор пишет о самом себе. Во всяком случае в этом признавался Достоевский, который говорил, что и Раскольников и Свидригайлов и даже Ставрогин – это он сам.

Третий признак русскости – цель, которую автор перед собою ставит: *поиски Бога (правды и справедливости) и переустройство мира*.

О прочем я смогу написать, вернувшись к Поэзии.

И остальное обещанное так же придется мне отложить.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
**ИСТОКИ И СМЫСЛ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1.

Вторник, 5 марта 2013, утро.

Один из отличительных признаков *русской* литературы, классической девятнадцатого столетия, или продолжающей ее традиции, сформулировать я смогу так: это *любовь или сострадание автора к героям, выражающим его собственное переживание мира и человека*, его собственное душевное устройство. *Сострадание* к несчастным, хотя бы и оступившимся, хотя бы и преступным, даже к злодеям, если они страдают и раскаиваются в своем прошлом. Симпатия и доверие к читателю, по крайней мере к читателю своему. "Записки из Мертвого дома" Достоевского – самый выразительный пример такой позиции автора.

Второй важнейший признак, почти тот же, что и первый: *отожествление автора с важнейшими своими героями*. Русский роман автор пишет о самом себе. Во всяком случае, в этом признавался Достоевский, который говорил, что и Раскольников и Свидригайлов и даже Ставрогин – это он сам. Удивительно признать, что и герои Мертвых душ не противостоят художнику, он о них пишет почти с любовью, он даже Чичикова пытается вернуть на праведный путь, в том своем втором томе, который в порыве сомнения потом сжег.

Третий признак *русскости* – цель, которую автор перед собою ставит, вольно или невольно: *поиски Бога, правды и справедливости и поиски путей переустройства мира*.

Итак, следовательно, отличительные признаки русской литературы суть:

- 1. любовь или сострадание автора к героям;**
- 2. отожествление его с ними;**
- 3. поиски Бога и переустройства мира.**

2.

Ленинград-Петербург шестидесятых годов, гранитные набережные, Невский проспект, Исаакиевский собор, Большой проспект, линии Васильевского острова.... Как же судьба была ко мне благосклонна, позволив жить в этом лучшем из всех городов мира! Он был похож на увядающую женщину, красота которой еще не исчезла, но стала печальной, подернулась патинной, как изысканное столовое серебро покрывается временем.

И тогда город уничтожался варварами (а скорее всего, захватчиками, чернью, ненавистниками родины), но еще эти уроны были не так заметны, как и мелкие морщины на все еще прекрасном лице. У нас, в студенческой среде, велись ожесточенные споры о необходимости сохранять наше культурное наследие, наше духовное Я, защитников большевистского «разрушения

старого мира до основания» было немного, большинство соглашалось с необходимостью сохранять и охранять «памятники» культуры, но меня, увы, защитника *целого*, даже они понимать не хотели.

А что же тогда относится к памятникам на лице? Может быть, только глаза? И давайте отрежем нос, уши, построим на щеках «Новый Арбат», как в Москве, зашьем рот?

Прошло *всего только пятьдесят лет*, интеллигентный обыватель уже употребляет выражение «архитектурный ансамбль», уже соглашается с необходимостью сохранять *всю* территорию Петропавловской крепости, Театральной площади, улицы Росси, но ломает отдельные здания даже на Владимирской площади, на Невском проспекте, застраивает высотками дворы, втискивает «золотые» зубы на Мильонную, на Екатерингофский канал, даже на Исаакиевскую площадь, и даже ВСЮДУ!!!

И всюду выкорчевывает то, что ему мешает! И что я могу сделать? Я даже не могу победить ангину, которая меня мучает уже вторую неделю. Как же мне победить ЧУМУ, мучающую мой город, мою страну? Как мне убедить якобы образованных и якобы интеллигентных обывателей в необходимости охранять ВСЮ историческую застройку великого города, как охраняем мы все тело близкого нам человека от раковой опухоли, а не только сердце и печень?

Да ладно, кто-то меня пытается успокоить, ну пройдет еще пятьдесят лет, наконец-то и чернь поймет (ну, хотя бы интеллигентная чернь!), что этот необыкновенный город является памятником истории и культуры во всей своей целостности, а места для стройки в России хватает, вот еще не построена железная дорога Магадан-Воркута, удаль молодецкую ненавистников русской культуры не поздно туда еще направить?!

Но сохранится ли мой город еще пятьдесят лет? А не разделит участь сначала Москвы, потом Томска, а «далее везде»?

Нелепо будет выглядеть и Исаакиевский собор среди высоток, как уже нелепо выглядит Мариинский театр на фоне осинового капшука, пристроенного к нему сзади. Как нелепо бы выглядели даже наши величайшие гении на островах Гулаговского архипелага, как нелепо выглядел Народный театр, заполненный матросами, перепоясанными пулеметными лентами и лужающими семечки.

Гармония не создается отдельными пронзительными звуками, она в «наилучшем порядке всех звуков», ее составляющих, от самых тихих, до самых громких, от сладкоголосных до сбивающихся на дискант и фальцет.

2.

Но почему я заговорил о городе и архитектуре, когда речь идет о литературе и ее языке, о национальном существе литературы, о том, безлична ли она, всемирна ли и неразделима на части, или, все же, национальна, и даже ее язык, ее сущность и производят эту самую национальность, а не наоборот?

Возьмем отдельное стихотворение, отдельный рассказ – определит ли

хоть и опытный читатель их происхождение, оригинальны они или переводны, так ли уж и русская физиономия непременно заключена в отдельном произведении, и так ли уж не только самое существенное, но хоть что-то существенное в нем непременно национально?

Да ведь даже в родном Петербурге, бродя по нему, в тысячах мест я затруднялся сказать, что это места Петербургские! Тысячи зданий могли бы находиться где угодно, хоть в Екатеринбурге, хоть в Гельсингфорсе, ничего в них существенно Петербургского нет! И даже в самых замечательных нет ни подписи ни клейма ни родовой или роковой черты, как есть они в Людовике семнадцатом, похожем на своего пращура, как есть они в красавицах маме и дочке, сидящих в метро напротив.

Не Исаакий создает Петербург, и не Петропавловская крепость, но Петербург их создает и воодушевляет, или, точнее, он их создает так же, как и они его созидают. Поэтому-то ни в каком отдельном стихотворении, рассказе и даже повести нет ничего специфически национального, нет его и в целом собрании творений крупного автора, как и вся литература в ее значительнейших образцах еще не синоним русскости, но все же справедливо говорить о французской литературе, об эллинской или античной культуре, о немецкой музыке... справедливо говорить о русской культуре и уже на фоне этого грандиозного понятия, если оно воистину существует, можно говорить о таком явлении, как русская литература в целом, и русская классическая литература в частности.

Исаакий и Казанский собор могли быть построены и в других городах, но вот они уже построены именно здесь... И я мог бы писать свои заметки в Москве, но вот я их пишу именно в Петербурге, городе русско-европейском, городе национальном и всемирном вместе, и содержание моих заметок непостижимо для меня изменяется, изменяется непостижимым образом и понятие национального, и мы начинаем видеть, что в нем духовное преобладает, в нем форма обтесывает камень, а не камень крушит форму, в нем именно дух первичен, а косная материя вторична, но не умерщвляется, как христианская плоть, так что уже и духа не остается, а преобразается, дополняя дух и делая его по-земному живым!!!

Даже во мне самом я затруднюсь определить, что мое, а что всеобщее, почти все всеобщее, не только телесное из той же материи, что и у других, но и духовное: и образование, и язык, и культура. И все же несомненно, что я не Петровани, и даже не Иванов, хотя бы и был по паспорту Ивановым.

Вот так и в культуре, а в частности в литературе, все в ней всеобщее, но даже и частное не носит определенных отметок, и иногда не сразу узнается, как и вора мы не всегда опознаем в толпе, и воровскую культуру, хлынувшую в наши умы и сердца в последние двадцать лет... да ведь и вирусов, из-за которых не только я, но и мои ближние мучаются ангиной, не отличили мы и не убереглись. Но не значит это, что нет воровской культуры и нет вирусов и нет чумы, и нет Дьявола. Есть, увы, и то и другое и третье. Поэтому так же, как есть чума, существует в каждом народе, в каждой культуре не только ей органически присущее, но и чуждое, что ее подтачивает, обессиливает и

изгибает в сторону. И Пушкин не создатель русского языка и русской культуры, но он ее камертон, ее *отвес*, ее *условие равновесия* (эту великую идею я заимствую в романах Натальи Троицкой), и через это условие он стал и ее фундаментом, растворив в себе и эллинские влияния, и общеантические (с Горацием во главе), и европейски-французские, и российских предшественников, от протопопы Аввакума до Державина и Жуковского.

3.

Прежде чем продолжать свои рассуждения, должен оговориться, что я ничего не собираюсь и не пытаюсь доказывать. Может быть и впрямь, как сказал старец Зосима, ничего нельзя доказать, а согласится только тот, кто уже изначально думает как и я.

У меня был случай, когда я разбойникам пытался объяснить, что грабить и убивать не хорошо, и главарь их воскликнул: «Да ведь мы же тебя не убиваем, а только грабим! И ты нас ТОЖЕ пойми...» – и они меня продолжили грабить, не убивая... Удивительно хотя бы то, что между нами состоялся диалог, в предыдущих двух случаях мне пришлось ограничиться ролью статиста...

Национальные черты надо искать в Романах и в Поэзии, в их важнейших образцах, многое приобретает черты по заимствованию. Так ведь и в ржаном хлебе соль и вода не ржаны, но все же они входят в его состав.

В большинстве дворов и переулков Петербурга, в большинстве его строений нет ничего специфически Петербургского, но они, все же, в него ВХОДЯТ, и их уничтожать тоже нельзя. Да и на Исаакии не лежит Петербургская печать, и порывались и его взорвать, как храм Христа Спасителя, да война помешала (как помешала она взорвать храм Василия Блаженного).

Да уж не то же ли самое надо сказать обо всем русском языке? Как теперь выясняют лингвисты, больше половины его слов иноземного происхождения, заимствованы у арабов, тюрков, греков, латинян, немцев, французов, а теперь вот и у английских лавочников. А имена по большей части у финно-угров и иудеев: у первых названия рек, у вторых – человек (родительный падеж, сравни «и гад морских», где слово «гад» тоже в родительном падеже).

И все же, хотя почти все в языке, как оказывается, нерусское, но сам он почему-то – русский! (Вот лишний довод в защиту того, что не только происхождение определяет принадлежность. Я вот и о себе не сомневаюсь, что потомок ермаковского казака, и фамилия моя совпадает с фамилией предка – но ведь в этой череде рождений сколь бесчисленны были жены, растворившиеся в мужьях?! Их-то разве не надо бы принимать во внимание?) Принимают – лингвисты. Архивисты. Иногда историки. Но даже я, справедливейший из всех, не всегда принимаю. И произнося «Товарищ, верь!» забываю уже, что слово это однокоренное с «товар», а то – с *тропою*, *торжищем*, *торговлей*.

Так вот и всегда определяющим является нечто истоковое, почвенное, стержневое, центральное, как и мы, мужчины, выводим свой род из мужеска семени и имени, забывая о матерях и женах, и всякое значительное явление определяем по немногим выдающимся чертам, хотя и не по всем.

Стержни русской литературы – Роман и поэтический стих. Все остальное далее растворяется в ней. Но надо, все таки, смотреть широко, видеть целостное явление, как в грозе и гром, и молнии, и ливень, и потоки воды по дорогам, и взбухший ручей, и предгрозовая духота, и пронзительно свежий и мокрый воздух в окончании ее. Все в этом целом относится к грозе.

И вся русская культура неотделима от литературы, слово пронизывает и лежит в основе не только письменности, но и музыки. Во-первых, в русской песне, затем в романсе – как их отделить от литературы, поэзии, музыки? А опера, сильнейшими образцами которой являются Князь Игорь, Евгений Онегин, Борис Годунов, Русалка, Демон, Хованщина?

Если о строении мы говорим: каменный дом, хотя бы и перекрытия, и лестницы, и полы и двери и оконные проемы были деревянные, то несомненно, что определяющее не обязано быть всеобъемлющим. Оно что-то важное задает и определяет... Ну и ладно...

Рассмотрим, следовательно, наиболее характерное, "Капитанскую дочку" и "Евгения Онегина" Пушкина, "Героя нашего времени" Лермонтова, "Мертвые души" Гоголя, "Войну и мир" Толстого, "Записки из Мертвого дома" и "Братьев Карамазовых" Достоевского.

Что-то их роднит? У них есть общие истоки, общие корни?

Несомненно! И литературу русскую выводят (не один только я) почти все исследователи и сами писатели из "Слова о Полку Игореве" и из "Жития" протопопа Аввакума; а я еще добавляю к ним (о чем в 19-м веке говорить было затруднительно) и "Путешествие из Петербурга в Москву" Радищева.

Ярославна рано плачет в Путивле на забрале, аркучи: "О, ветре, ветрило! Чему, господине, насильно вееши! Чему мычещи хиновьскыя стрелкы на своєю нетрудной крипцю на моя ляды вои? Мало ли ти бяшет горе под облакы вьети, лелеючи корабли на сине море! Чему, господине, мое веселие по ковылию развея?"

Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека производят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Уже ли, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящаго невинно, сокрыла истинну на веки? Уже ли сия грозная мачиха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сего мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом. ...

По благословиению отца моего старца Епифания писано моею рукою грешною протопопа Аввакума, и аще что реченно просто, и вы, господа ради, чтущии и слышашии, не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес красных бог слушает, но дел наших хочет. И Павел пишет: "аще языки человеческими глаголю и ангельскими, любви же не имам, – ничто же есмь". Вот что много рассуждать: не латинским языком, ни греческим, ни еврейским, ниже иным коим ищет от нас говоры господь, но любви с прочими добродетельми хочет; того ради я и не

брегу о красноречии и не унижаю своего языка русского, но простите же меня, грешного, а вас всех, рабов Христовых, бог простит и благословит. Аминь. ...

... Опечалаясь, сидя, рассуждаю: что сотворю? проповедаю ли слово божие или скроюсь где? Понеже жена и дети связали меня. ... Она же мне говорит: "господи помилуй! что ты, Петрович, говоришь? Слыхала я, – ты же читал, – апостольскую речь: "привязался еси жене, не ищи разрешения; егда отретишися, тогда не ищи жены". Аз ты и с детьми благословляю: дерзай проповедати слово божие попрежнему, а о нас не тужи; дондеже бог изволит, живем вместе; а егда разлучат, тогда нас в молитвах своих не забывай; силен Христос и нас не покинуть!

Итак, четвертый признак национального в литературе – *истоки и преемственность*. У каждой национально ориентированной литературы свои истоки и своя преемственность, очевиднее всего они выражены в литературе античной, начало которой положено Гомером. Русская литература отчасти в своем развитии напоминает античную.

Не правда ли, в приведенных отрывках, обнимающих собою семьсот лет, предшествующих классическому веку, совпадают интонация, замысел, чувства, соединяющие автора с его близкими? И они прорастают в Толстом и Достоевском, наиболее эпических русских писателях. Звучат в стихах Тютчева, в Розе мира Даниила Андреева, у Солженицына и Варлама Шаламова. Но эти же чувства вдохновляют и современных авторов, народных по истокам творчества, по чувству, оживляющему их произведения. Казалось бы, «Фамильные ценности» Елены Лобановой посвящены частной судьбе растерявшейся перед жизнью учительницы музыки? Нет, роман посвящен нескладной судьбе ее поколения, нескладной судьбе России. Преодоление всего нескладного, нелепого, низкого и неудавшегося герои находят только в соединенности личной судьбы и судьбы семьи и рода, в воссоединении прошлого и настоящего, в Оправдании и Возвращении прошлого.

Распалась связь времен! – восклицал Гамлет. Воссоединение распавшихся связей – семейных, исторических, духовных – единственный источник Возрождения и Преображения нас с вами, читатель!

Кто-то, может быть, возразит, что разве писатель помнит своих предшественников, когда пишет свое, разве им подражает, разве учится и сравнивает? Нет, разумеется. И дочь не старается наряжаться и накраситься, чтобы походить на свою мать, но даже если и накрасится, чтобы не походить, все будет видимо сходство. Проявляется прошлое, истоки и преемственность – генетически, по рождению. Но НЕ через анатомию и физиологию, а через язык и стихию культуры.

У каждого крупного писателя есть предшественники, есть пророки, предтечи, учителя. Но великий писатель наименее свободен. Как это ни странно звучит, свободны писатели вторичные, второстепенные. Чем менее писатель значителен, чем менее выразителен, чем менее отягощен своей почвой, своей культурой, тем более он свободен и – бессодержателен. Гений несет тяжкий груз: на его плечах не только настоящее, но прошлое и будущее. В его музыке слышны и народные плачи, и дворянские романсы, былины и песни, мудрость языка, сосредоточенная в подборе слов, в их

сочетаниях, в пословицах, окаменевших уже как песчинки в теле моллюска, или в случайных выражениях автора и героя. (И плодотворнее других в прибавлении языка гений Грибоедова, у которого чуть ли не каждая строка просится в Словарь.)

Не менее удивительно, что у значительного писателя, как у Победы, много отцов, а бездарный, как и поражение, рос в безотцовщине, он открывает новый виток литературы с чистого листа. Можно добавить, что недаровитые писатели рождаются словно в колбах, зачатие их было непорочным.

Не этим ли объясняются упреки дотошных исследователей в отношении Пушкина, укорявших его в заимствованиях? Даже Песни западных славян Пушкин перевел у Мериме, Памятник – отчасти заимствовал у Горация и Державина, Пророк – переложил из строф Библии и Корана... и тому подобное.

И все верно, и тем более это возвышает Пушкина. Если русский язык впитал в себя и Запад и Восток, отчего же не следовать такой отзывчивости языка и русскому национальному поэту?

Не бойтесь повторять умных, сказал бы я, бойтесь повторять глупых!

В юности мне многое из моих собственных выражений казалось оригинальным, и я спешил собой восхититься. Позже, чем больше я узнавал, тем с большей грустью видел, что *«Всё сказано, все было до меня: и слезы, и отчаянно глядела, и взгляд поник, и никому нет дела, отчаянье стучалось, взор склонялся, сентябрь поник, глаголов толчея – как липкий дождь. Моя душа промокла, унылый ветер барабанит в стекла, и ты с другим, ты больше не моя!»* – и только теперь я начинаю радоваться тому, что живу среди глубоких и талантливых, страдающих и сочувствующих, и все важное они тоже видели, и моя вторичность означает, что и я не поверхностен, и вижу то же, что видели они. А глупцы самобытны, в анналах поэзии их сентенции еще не сокрыты.

4.

И все таки разве только язык? Помимо характеров и судеб (образов и сюжетов в повествовании) есть еще что-то, что и принадлежит языку и не принадлежит ему, как в романсе музыка отчасти определяется текстом, но в значительной степени дополняет его. Интонация, стиль, способ говорить, не только расположение слов, но и выбор их и подбор, предпочтения и неприязнь, повторение одних и пренебрежение другими (а в языке слов миллионы, как и звезд на небе, но смотрим мы на излюбленные а иных не замечаем до поры до времени), употребление предлогов и приставок, союзов и окончаний, вводных слов и оборотов, частиц и междометий, все эти *ах* и *ну, не* и *ни, но* и *а* – все то, что ученые называют строем языка а я называю его музыкой, что вырастает из языка но дополняет его и по форме и по содержанию, то есть и по внешности и по существу – и что в определенной форме частных произведений создает новое здание, вырастающее из языка, пользующееся им как строительным материалом, но живущее затем самостоятельной жизнью – рождающееся из языка, принадлежащее ему и уже отдельное от него, *доворшающее* язык – и что назову я в широком смысле Поэзией.

Тут надо сделать одно важное замечание. Новое понятие, входя в язык, как правило не имеет четких границ. Позже оно сужается, будто бы эти границы приобретает, становится привычнее, понятнее, но многое теряет неправомерно. Сегодня читатель понимает под словом Поэзия собрание стихотворений и поэм и даже романов и эпосов, исполненных стихами. В отдельных случаях он задумывается и колеблется, присоединять ли к поэзии то или иное произведение, но присоединяет за другими. Например,

*«Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды.
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя –
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...»*

– безусловно, принадлежит к поэзии, здесь есть и рифма и размер; а *«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»* к поэзии мы причисляем лишь следуя за авторитетом школы.

Но относятся ли к поэзии пословицы и поговорки? Прибаутки, присловья, загадки? Или они только в языке, его несамостоятельная часть?

«Не все коту Масленица, будет и Великий пост!»; «Остер топор, да и сук зубаст!»; «Быть бы ненастью, да дождь помешал»; «Было бы болото, а черти будут»...

Без долгих уговоров, по наитию, говорю вам: Язык неотделим от говоренья и письма, неотделим от прозы и поэзии, но *от поэзии язык неотделим ничье всего.*

Все существенное, необходимое выражается в особом складе слов: пословицы и поговорки – это стихи, неотделимые от языка, как кожа от костей.

И если справедливо, что в языке исток народности и национальной принадлежности личности, то правы и те, кои уверяют, что одного языка не достаточно, необходимо и кое-что другое – но только не анатомия и физиология в первую очередь, а Поэзия. Потому-то Игорь Святославич и русский, а Кончаковна половчанка: по происхождению они сродни, но разные песни поют! А какие песни кто поет, там и душа его! Вот отчего в теперешних, не знающих и не поющих русских песен, но сросшихся с иноземными, не вижу я русского человека. А Юл Бриннер (Крис из Великолепной семерки и полковник Бунин из Анастасии, только родившийся в Приморье, но всю жизнь проживший в Америке), для меня русский из русских, потому что пел и чувствовал он душу русского романса.

И все же, прежде чем заговорить о поэзии и в непосредственном смысле, как о части литературы, как о форме и жанре ее, сделаю одно важное замечание о прозе. Мы уже видим, что поэзия присуща самому языку – через пословицы и поговорки. Однако обыденно говорим мы разве не прозой, не

выдерживая определенный ритм в соединении слов? Обыденно разве язык выражается не через прозу?

И все же это не совсем так. Устная речь, как правило, суха и прозаична, она и нескладна, и косноязычна, Серега в моей деревне, особенно в подпитии, из десяти слов хотя бы одно произнесет так, что я его отчасти понимаю, но смысл речи и в этом понятном слове невнятен. А Оксана Дмитриевна, покойная, ругалась подчас на своих коз так, что я заслушивался. И ругалась она ... именно *ругалась*, и в мать и в отца, и в проезжего молодца, и в шкуру и в овчину и в охальную причину – а все было как музыка! (Так что не в словах срам, а в сочетании их! В необходимости или в зрящности. В оправданности или ненужности. В выразительности или в неряшливости и незнании никаких других кроме этих).

Так вот, содержит ли проза в себе поэзию?

И я стал перелистывать страницы старых и новых сочинений, Тургенева и Пришвина, Андрея Платонова и самого себя, Наталью Ефремову, Наталью Троицкую, Рыжью Мэри и Салтыкова Щедрина (казалось бы, далекого от лирики). РИТМ не только пронизывает текст, но и формирует его. А *ритм* – позвоночник поэтических творений.

Конечно, читатель чувствует некоторый перехлест в моих восклицаниях, конечно, не только ЯЗЫК рождает народ и человека, не только ЯЗЫК порождает народы (то есть *языки* – а слово язык ведь в древнерусском и означало народ!) – но и культура в целом, и литература (и два великих народа порождены преимущественно литературой – эллины и русские) и часто в наибольшей даже степени РЕЛИГИЯ.

Один из примеров у всех перед глазами: я не берусь судить, создали ли древние евреи иудаизм, или иудаизм их создал, но что СОХРАНЯЛ их идентичность в Одновременное существование в течение тысячелетий – несомненно.

Вот также очевидно, что болгары принадлежат к славянам, хотя этнически это *болгары*, пришедшие с берегов Волги (и Казанское царство тоже было создано ими, то есть булгарами, а вовсе не «монголо-татарами», коих и среди болгар и среди русских было ничтожно мало) – так что видите, что именно язык лежит в основании нации! Хотя у болгар существенное значение имело и православие.

Но в исламском мире, кажется, именно религия, а не язык, преобладает в формировании национального характера или, по крайней мере, существенна.

Поправлю себя: нация создается *языком*, культурой, религией. И эллины погибли не потому, что были истреблены завоевателями – нет, они продолжали и пахать и сеять и рождать, – но погибли потому, что античная культура была погребена под копытами варваров или под углями христианских костров.

Однако, какой именно язык порождает нацию? Тот ли язык, который, по слову марксистов, является «средством общения»? Как у меня с Серегой в деревне или с дворником-таджиком в городе?

Разумеется, нет. Но тот язык, который порождает способ говорить и мыслить, который формирует даже сам характер мышления, характер отношения к миру, характер человека.

Интересны замечания моей собеседницы, преподавательницы французского языка, она привела частный пример различия языков: употребление предлогов. Мы говорим: иду НА службу, В метро, возвращаюсь домой – используя разные предлоги, а то и вовсе без предлога, у французов же во всех трех случаях предлог один. Не в языке ли корень души и характера, спросила она себя? Почему мы именно такие, то без царя в голове, то коленопреклоненны без меры, то пьем и *закусываем* то вовсе пьем *без закуски* (когда французы *запивают* еду)? «*Впаад и невпаад, Я пил вполне по-русски: Во-первых, все подряд, а часто без закуски*», говорил и ваш благонамеренный *Filosof*, сочетание приставок и предлогов прозевший в стакане.

5.

Нет, еще не все, что следует сказать о связи языка и национальности, я сказал. И прежде чем говорить о русском поэте Мандельштаме, родившемся от еврейских родителей, скажу несколько слов об апостоле Павле, «еврее из евреев», так же несомненно родившемся от еврейских родителей, как я от русских.

Вот что говорит он о себе.

«...я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения [христиан], связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин...»

«...После сего тысяченачальник приказал бичевать его ... Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: разве вам позволено бичевать Римского гражданина, да и без суда?»

«Тысяченачальник, подошед к нему, сказал: ...я за большие деньги приобрел это гражданство. [По-видимому, он был иудей, как и Павел.] Павел же сказал: а я и родился в нем.»

[Взяточничество и коррупция процветали и в Риме, хотя, разумеется, в значительно меньших размерах, чем в России. Нынешней осенью Российские власти даже возбудили уголовные дела против тех, кто иммигрантам из бывших "братских республик" давал незаконно *гражданство за деньги* – как удивительно пересекаются с современностью дела двухтысячелетней давности!]

Итак, рожденный в еврейской семье, *фарисей, сын фарисея* и Римский гражданин, примкнувший к христианской секте иудаизма и увещевавший *со-племенников* примкнуть к ней также, ибо, как он писал в посланиях, именно к *ним* пришел Сын Божий, со временем изменивший свои взгляды, и проповедовавший, что Христос пришел прежде к язычникам, а затем и вовсе воскликнувший: Отныне несть ни эллина ни иудея! – кто он?

Чемберлен, сам из англичанина сделавшийся немцем, имевший когда-то родным языком английский, а затем писавший свои сочинения по-немецки

(и по-немецки мысливший) тщится доказать, что апостол Павел хотя бы наполовину эллин – по рождению.

Я же утверждаю, что этот бывший иудей, ставший христианином, написавший все свои послания по древне-гречески (и моя приятельница, говорящая на сем языке лучше чем на иврите и на русском, свидетельствует, что язык его превосходит сверх меры, а я даже и по русскому переводу смею о том же свидетельствовать) – не кто иной как *эллинский* философ, не менее чем Дионисий Ареопагит (с которым они познакомились в Афинах), а следовательно эллин по языку, а следовательно *эллин*, а христианин только по вере, а следовательно... Но здесь я поставлю многоточие и перейду наконец к поэзии.

6.

Мандельштам тоже родился в еврейской семье, но говорил и писал и мыслил по-русски. Но и русский мир окружал его, и русские страсти раздирали его душу.

Кто знает! Может быть, не хватит мне свечи –
И среди бела дня останусь я в ночи;
И, зернами дыша рассыпанного мака,
На голову мою надену митру мрака:
Как поздний патриарх в разрушенной Москве,
Неосвященный мир неся на голове –
Чреватый слепотой и муками раздора;
Как Тихон, ставленник последнего собора...
1917

Тянется лесом дороженька пыльная,
Тихо и пусто вокруг.
Родина, выплавав слезы обильные,
Спит, и во сне, как рабыня бессильная,
Ждет неизведанных мук.

.....
Скоро столкнется с звериными силами
Дело великой любви!
Скоро покроется поле могилами,
Синие пики обнимутся с вилами
И обогрятся в крови!

Приведу абзац из статьи Мандельштама о поэзии: «Утро акмеизма».

«При огромном эмоциональном волнении, связанном с произведениями искусства, желательно, чтобы разговоры об искусстве отличались величайшей сдержанностью. Для огромного большинства произведение искусства соблазнительно лишь поскольку в нем просвечивает мироощущение художника. Между тем, мироощущение для художника орудие и средство, как молоток в руках каменщика, и единственно реальное – это само произведение.

Существовать – высшее самолюбие художника. Он не хочет другого рая,

кроме бытия, и когда ему говорят о действительности, он только горько усмехается, потому что знает бесконечно более убедительную действительность искусства. Зрелище математика, не задумываясь возводящего в квадрат какое-нибудь десятизначное число, наполняет нас некоторым удивлением. Но слишком часто мы упускаем из виду, что поэт возводит явление в десятизначную степень, и скромная внешность произведения искусства нередко обманывает нас относительно чудовищно уплотненной реальности, которой оно обладает.

Эта реальность в поэзии – *слово как таковое*. Сейчас, например, излагая свою мысль по возможности в точной, но отнюдь не в поэтической форме, я говорю, в сущности, сознанием, а не словом. Глухонемые отлично понимают друг друга, и железнодорожные семафоры выполняют весьма сложное назначение, не прибегая к помощи слова. Таким образом, если смысл считать содержанием, все остальное, что есть в слове, приходится считать простым механическим привеском, только затрудняющим быструю передачу мысли. Медленно рождалось «слово, как таковое». Постепенно, один за другим, все элементы слова втггивались в понятие формы, только сознательный смысл, Логос, до сих пор ошибочно и произвольно почитается содержанием. От этого ненужного почета Логос только проигрывает; Логос требует только равноправия с другими элементами слова. Футурист, не справившись с сознательным смыслом, как с материалом творчества, легкомысленно выбросил его за борт и, по существу, повторил грубую ошибку своих предшественников.

Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов.

И, если у футуристов слово, как таковое, еще ползает на четвереньках, в акмеизме оно впервые принимает более достойное вертикальное положение и вступает в каменный век своего существования.

... Сознание своей правоты нам дороже всего в поэзии, и, с презрением отбрасывая бирюльки футуристов, для которых нет высшего наслаждения, как зацепить вязальной спицей трудное слово, мы вводим готику в отношения слов, подобно тому, как Себастьян Бах утвердил ее в музыке.

... Но камень Тютчева, что «с горы скатившись, лег в долине, сорвавшись сам собой иль был низвергнут мыслящей рукой», – есть слово. Голос материи в этом неожиданном падении звучит как членораздельная речь. На этот вызов можно ответить только архитектурой. Акмеисты с благоговением поднимают таинственный тютчевский камень и кладут его в основу своего здания.

Камень как бы возжаждал иного бытия. Он сам обнаружил скрытую в нем потенциально способность динамики – как бы попросился в «крестовый свод» – участвовать в радостном взаимодействии себе подобных.

... Будем же доказывать свою правоту так, чтобы в ответ нам содрогалась вся цепь причин и следствий от альфы до омеги, научимся носить «легче и вольнее подвижные оковы бытия».

Похоже ли это на немецкую педантичность? Французское остроумие? Иудейскую назидательность? Нет, источник сказанного – вдохновение.

А значит несомненно, что автор – русский!

7.

У русских все не как у людей, источник философии у нас литература, а источник литературы – язык.

От трудов праведных не наживешь палат каменных, вздыхал русский народ в девятнадцатом столетии, но он же восхвалял труд и смеялся над ленью, нерадивостью и праздностью, говоря: Хлеб за брюхом не ходит; Не бравшись за топор избы не срубишь; Делать как-нибудь так никак и не будет; Трудовая денежка всегда крепка; У ленивой пряжи и про себя нет рубахи.

А что же сочинил народ в двадцатом столетии, когда стал «сам себе господин»?

От работы кони дохнут; Ешь потей, работай – мерзни; Работа не волк, в лес не убежит.

А какие заветы на жизнь были тогда и теперь?

Не ищи правды в других, коли в тебе ее нет; Лучше самому терпеть, чем других обижать: Бойся жить, а умирать не бойся; Жизнь дана на добрые дела.

Что же я слышал при «народной власти»?

Не гони волну! Хочешь жить, умей вертеться! Не высовывайся! Не верь, не бойся, не проси!

Но народ ли виноват в наступившем лихолетье, или он жертва истории? Анна Ахматова пыталась его оправдывать:

«Я тогда была с моим народом, там, где мой народ к несчастью был» – писала она.

Он мучился, но не он ли и мучил, лучших? И то, что ныне еще пуще взбеленился в любви к давно сгнившему кровавому тирану, ни оправдать ни понять невозможно. Вот почему, родившийся на дне народа, не среди сливок его, а среди навоза и пахоты, от любви и восхищения как часто я возвышался до сжигающей меня ненависти!

И вдруг мелькнули строки Маяковского, как удар молнии:

Что ни шаг – враг.
– *Вздрьг* фонарь,
враги – фонари.
Мне темно,
так никто не гори.

Я мучился одной горькой мыслью: что же такое мой русский народ, пропивший ныне и труд, и честь, и родину? Только ли *чернь*, которую надо презирать и ненавидеть? И вот вижу и чувствую: Идет Ванька, пьяный, и вопит: *Мне темно, так никто не гори!*

Кто же этого Ваньку захочет понять и пожалеть, пока он в злобе своей НЕУДАВШЕЙСЯ жизни не уничтожит ВСЁ праведное в России?

Два народа в моем народе, два непримиримых врага, в Гражданскую войну они сошлись в кровавой битве, одни – за свои привилегии, образование, культуру, долг, Родину, честь, романсы и литературу, звезды в тех небесах, где «торжественно и чудно», а другие, пропахшие навозом и пороховой

гарью, машинным маслом и окалиной, за глухую и непонятную им мечту о новой жизни, где они, последние, станут первыми, на барских перинах лежать и барских дочерей на сеновал волочить...

Получили они за свою мечту и свою жестокою ненависть рабский труд и свободу безмолвия.

Но вот же внуки их и в школе потом учились, и арифметика была, и Родная речь, и учителя праведные, да на дурной вопрос «Имя Россия» выбрали они не арифметику и Родную речь, не Вернадского и Менделеева и Ломоносова, не Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, не Варлама Шаламова, не Мусоргского, Шаляпина, Скрябина, Шостаковича, не Сергия Радонежского, не Минина и Пожарского, не Кутузова и Суворова – нет, выбрали они сначала Грозного татарского хана, а потом восточного тирана, по-русски плохо говорящего и от русской крови промокшего как море.

Что для меня русская литература, если не ответит она мне на мои несчастные вопросы, если не объяснит мне она и апостола Павла и упрямого Аввакума, страсти по Матфею и страсти жаждающей плоти, верность и измену, добро и зло? А главное: что в истоке, душа или плоть? Или и то и другое, но душа больше?

Не для поучения авторов, с которыми меня столкнула судьба, рассуждаю я о языке и литературе, но для вразумления себя самого, а с ними я разговариваю не как с учениками, но как и с учениками и учителями вместе. Затянулся разговор, но мне он интересен, надеюсь, и вы, мои терпеливые читатели и читательницы, что-то полезное для себя почерпнете если не в моих словах, то в словах *великих*, которых я привожу себе во свидетельство.

Потерпите еще, теперь уже я точно перейду, в следующей главе, к исследованию особенностей современной русской литературы.

8.

Блистательные статьи пишет о литературе Пушкин, но он прежде всего поэт. Не из воззрений его на поэзию проистекают его стихи, а стихами определяется его взгляд на поэзию. Блистательные статьи о литературе пишет Аполлон Григорьев, вводит в нее существеннейшие понятия *типического* (на примере драм Островского) – но и он сначала поэт, а потом уже литературный критик и философ.

Блистательные статьи о литературе пишут Гумилев и Мандельштам, Бальмонт, Вячеслав Ив́анов, Максимилиан Волошин, Владислав Ходасевич – но и они сначала поэты, и к их блистательным статьям обращаемся мы со вниманием потому, что еще раньше обратились к их стихам. Блистательную ли статью пишу я сам, «не знаю. Бог знает», но и я тоже поэт, хороший или плохой, судить читателю, а что не руководствуюсь я своими рассуждениями, когда пишу стихи или прозу, знаю я сам.

Не значит ли это, что важнее не *что*, а *как*? Что содержание вторично, а первична форма (а что из них материя, а что – дух, уже я и сам запутался)? Что важнее не то, что *она* говорит, а как смотрит и как вздыхает, во что нарядилась и чем накрасилась и подвела брови?

Если бы я был только учителем – но я и ученик! Если бы я был только математиком – но я и литератор! Если бы я был только праведником – но я и грешник! Иногда я думаю (как «кошунницы»), что я «все во всем», и то сам корчусь, как «улица безъязыкая», то строю баррикады, то с хоругвями иду, то кресты с куполов сбиваю. Если не вешу ВСЕХ, не смею поучать.

Я ли не бледнел и не замирал, когда *она* только молчала, а мы оба даже переставали дышать? И что я думал о ее душе и думал ли, но что плоть ее просачивалась сквозь все «материи» бытия, было несомненно, и вопреки всей своей культуре и всей своей «духовной жажде»... Вот почему только поэзия и «слово» ответят мне на мои собственные вопросы тяжбы духа и плоти – но да ведь должны они для этого взлететь в занебесье, и туда же поднять всю землю, а не в подземелье опустить небо!

Слово, слово...

Иные говорят, что нужно только *дело*, а *слово*, дескать, тлен...

В толстенном томе воспоминаний о матмеховцах одна прежде «бессловесная» пишет:

«Встретив в коридоре общежития меня, наивную первокурсницу, начал он сразу ко мне «клеиться», но начал издалека, сначала о сущности и будущности математики, а потом заговорил о религии – но не на ту напал, я тоже кое-что читала, потому и не только хлопала глазами.

Поняв тещу приставаний, со вздохом он заключил: Незамутненная вода!

Что это значит, я не поняла, но мне понравилось.

Потом я потеряла его из виду, говорили, что спасается он в скитах на Валааме.»

Прочитал с восхищением, ничего не понял, но все понравилось. И ведь через пятьдесят лет вспомнила, с какими словами «приставал» почти такой же как все, так что плоть ли в основании, или **«Вначале было слово»?**

Не так ли и литература, а тем более Поэзия – наш лучший и высший способ *приставания*?

«Охмурить» бессодержательную можно и прикосновением, но обольстить Донну Анну, Эльзу и Изольду – для этого призываем мы Аполлона и Евтерпу.

9.

«На заре туманной юности», восхитившись в очередной раз магией поэтов, воскликнул я (и это восклицание, как оказалось, явилось моим собственным, для меня, литературным манифестом): *Идем в СЛОВО! В слово – понятие, в слово – образ!*

Позже, через много лет, я написал даже целое сочинение «Слово и Душа», в котором попытался пояснить, что слово гораздо больше, чем *знак* и *символ*, а сочетание слов – гораздо больше, чем передача смысла, чем сообщение, коммуникация, «средство общения». Не буду повторяться, кто-нибудь прочтет, а иные и так знают.

Чтобы общаться в путешествии по миру, достаточно ста пятидесяти слов английского языка, и он предпочтительнее других, ибо проще. Для общения с читателем можно было бы пойти по этому же пути, тем более что часто автор настаивает на том, что язык ему принадлежит как носовой платок, и он имеет

право поступать с ним как угодно. Но иные мужчины и с женами поступают как угодно, так что я ничему не удивляюсь.

Все же, такая точка зрения не преобладает, да и то, кажется, автор в конце концов образумливается, совесть и в нем пробуждается как в Кудеяре-Разбойнике, и появляется потребность в искуплении вины.

Что делать? – вопрошает он ко мне или к Богу – но Бог молчит, а я не знаю, что делать. Правда, можно ответить самым общим (и в то же время правильным, и даже достаточным): Надо полюбить – слово, язык, литературу, поэзию, народ (хотя бы его культурную часть), дух, плоть, свой собственный труд (а полюбив свой труд, уже не будешь писать абы как, но будешь стремиться к совершенству).

Я не разделяю писателей на гениальных и бездарных. Одни из них гениальны. Другим же это еще предстоит. Уж если человек всерьез обратился к литературе, то он, рано или поздно, вознамерится стать гением, а вознамерившись, рано или поздно дойдет. Это как любовь к женщине. Некоторые отвечают взаимностью с первого взгляда. Другие топают ногами и требуют от них отстать. Не отчаивайтесь. Возможно, вы еще мало любите. Любите сильнее. Потом изо всех сил. Потом до безумия. Потом до смерти. Ибо «крепка как смерть любовь», по слову апостола Павла, не желавшего обольщать женщин, но обольстившего полмира.

А кстати, чем же он обольщал, и мужчин и женщин? Только словом, которое у него было совершенно! Правда, выразительно и возвышенно писал и Иоанн. И Матфей. И другие.

Не менее выразительно писал (или говорил) и Сакья-Муни, ставший Буддой, и Лао-Цзы, и Конфуций, и они тоже обольстили многих.

Словом силен и Маркс. И убедителен.

Владел словом и пролетарский вождь, но Иванов-Разумник гораздо совершеннее. Однако «масса» пошла за Ильичем.

Но ведь и мужчины стремятся к разному, и женщины тоже. Большинство имеет простую цель – переспать, и в преследовании ее бывают гораздо убедительнее, чем даже Христос в преподавании царствия Божия на небе или даже чем я в преподавании царства истины и справедливости на земле. За Христом в семнадцатом году тоже перестали идти, хотя Блок и уверял, что «в белом венчике из роз впереди Исус Христос!» Не пошли и за Ивановым-Разумником.

Не убедителен и примитивен в слове Сталин – для меня и Иванова-Разумника. Для большинства, для тех, для кого язык лишь средство общения, он понятнее Пушкина. Он как наскальная живопись, мамонт в ней узнаваем, и копы в руке охотника тоже, прочее же – от лукавого, как говорят православные догматики, часто тоже в Евангелии вычитывающие только наскальную живопись.

Так к чему же стремится автор, бросающий в мир свое послание? Если он зовет на ночь, то я ему не учитель, и даже не собеседник, он может предложить употребить как ему вздумается, и лучше даже вовсе не слушать меня, ибо я иногда поражал сам себя: даже когда я звал на ночь, она говорила, что согласна только на целую жизнь, а на ночь не соглашалась.

10.

Но вернемся к слову.

Оно и *понятие* и *образ*. В словах Мандельштама говорится то же самое, но он говорит как поэт, я же теперь пытаюсь быть математиком.

И слово не только рассказывает, сообщает, описывает – оно убеждает, воодушевляет, вдохновляет. В нем не один только *Логос*, но и *Эйдос*.

Как и в женщине.

Вот почему женщину мы часто не понимаем, она двойка как слово, а мы требуем от нее чистого содержания. Но ведь и слово двойственно, а значит и вся речь, а значит и вся литература, а в особенности поэзия – и, может быть, именно поэтому поэзия обращена к женщине, подобное тянется к подобному, рассудку (логосу) в поэзии спать неудобно, ничто не греет.

[Небольшое отвлечение. Я от авторов требую точности и определенности в изложении, ясности в мысли и в описании, а они часто расплывчаты и туманны. Так не воскликнут ли они теперь, что они женственны, что они поэтичны, а поэзия и должна, мол, «не договаривать»? Но слово, самое точное, само и понятие и образ, не нужно еще его «затуманивать», тумана достаточно и в том что есть в своей абсолютной ясности, нужно додумать мысль и образ до совершенной выразительности и облечь их в наиболее точную одежду из слов – вот только тогда они будут подлинно двусмысленны, а если повезет, то и многосмысленны, или бесконечно-смысленны как творения гения.]

Итак, литература – это не только сообщение, но и не только изображение, но и то и другое.

11.

А если литература – *изображение*, то следует обратить взор к живописи. Как мы оцениваем творение художника? Да, часто мы говорим: какой выразительный, какой сочный мазок, какой насыщенный цвет, какие богатые краски, какая плотность изображения! Оно должно быть ИЗБЫТОЧНО, чтобы жить, чтобы изображение было не слепком действительности, а самой действительностью... нет, вру, оно должно над нею подняться, преодолеть ее, вместить, соединить с нею не только то, что есть в данное мгновение, но и то что было и что будет. В наличном еще нет судьбы. Она должна появиться под кистью и пером художника. Вот мы видим смеющуюся девушку. Но в великом произведении зритель увидит и ее слезы, которых еще нет.

Избыточность – символ и сущность живого. У великих фламандцев не только пышная одежда и характерные лица, у них есть характер, социальное положение, семейное, привычки, надежды и страхи. У них есть и душа и тело. Маньяк, поднявший нож на Данаю, был уверен, что после удара ножа из раны потечет кровь. Возможно, именно это и произошло, иначе почему же хирургур-реставратору не удалось спасти великое творение художника?

В портрете не только внешнее, но и внутреннее, если видна жилочка на лице, то по ней непременно течет кровь, пока это лицо живет. Вот чем отличается живопись прошлого от современной, изображающей лишь то, что видимо глазу.

Точно то же самое и в литературе.

В романах Натальи Троицкой «Обнаров» и «Сиверсия» избыточны характеристики всех героев, от самых главных до самых второстепенных, а значит, они все живые. Но это характеристики не анкетные, не протокольные, а данные художественными средствами, – и через описание, и через диалог, и через поступки.

Вот, например, председатель леспромхоза Василий Кузьмич. Он появился в середине дня и в конце его исчез. А я уже чуть было не собрался поехать в эту вымирающую деревушку и с ним выпить – так он мне понравился. Я все про него уже знаю, даже все то, о чем не было речи. Я привезу и выпивку и закуску, мы истопим баню и славно посидим, отходя от парной. Так зачем же ты ко мне приехал? – спросит он. Посмотреть на живого русского человека, отвечу я.

Следовательно, герои художественного произведения не только укоренены в жизни, они больше нее, они ее вмещают в себя, как атом вмещает в себя материю, как слово – речь.

Существует дух языка, не всегда он дух народа, но в России русскость определяется не через плоть, а через дух. В допетровской России национальность была равна религии. Выходец из Орды, крестьясь, становился русским. Если уж быть совсем точным, то были и религия и подданство. Бежали на Русь и из Орды и из Литвы, переходили на службу Московскому князю и «обрусевали». В девятнадцатом веке к православию и самодержавию добавилась *народность* в знаменитой триаде графа Уварова. Что же было народностью – племенное происхождение? Или нечто другое? Для Даля несомненно, что народность – это язык. Несомненно это для всякого русского писателя, переживающего себя как русского.

Следовательно, вот он, пятый признак национального в литературе – **язык как основное избирательное средство и основной признак народности (национальности)**.

В России немало поэтов и писателей, пишущих по-русски, но принадлежащих к иной культурной традиции, так что нельзя сказать, что если произведение на русском языке, то оно явление русской литературы. Мы знаем нивхские сказки, писателей-чукчей, пишут по-русски карелы и алтайцы, и язык не мешает им оставаться карелами и алтайцами. Даже в Израиле выходят русские журналы, и уж их-то авторы остаются иудеями и евреями несмотря на русский язык. Более того, в Воронежской области в девятнадцатом веке возникла секта иудеев среди русских крестьян, и когда они вознамерились переехать в Израиль, даже израильское правительство, парламент и синедрон встали в тупик и целый год совещались... Дивны дела твои, Господи! Моя любимая актриса выходит замуж за свою подругу, прекрасный русский поэт, антисемит по происхождению, узнает вдруг, что он, напротив, семит, русские из русских отказались от Родины и хлынули туда, где больше платят, а русский поэт еврейского происхождения даже в США остается русским – да, не все просто и с языком, и с религией и с этносом, поэтому мои Записки о Русской литературе еще рано заканчивать. Мы еще не выяснили, есть ли Бог, и кто Он.

12.

Да, разумеется, и язык – не единственное условие народности, и не зря я говорю о «Духе Языка», как можно бы сказать и о «Духе Народа», хотя это во многом одно и то же.

Но если отталкиваться только от этноса, то многие гигантские противопоставления, разделения на Иуду и Христа, на Яна Гуса и «святую простоту», на Жанну Д*Арк и Парижскую чернь и даже на Жанну Д*Арк и папский суд Инквизиции объяснить невозможно. Это словно бы одна часть воды тушила бы огонь, а другая разжигала.

Вот и в Сиверсии сталкиваются постоянно разные пласты бытия и разные пласты народа, так противостоящие, что понимаешь их не только нетождественность, но и неслиянность.

Приходит к Хабарову поселковый работяга, сидят они, выпивают, разговаривают.

– Я тут покумекал, – заерзал на стуле Лёха, – может, примем по маленькой за то, чтобы Вовка-то поскорее поправился? Уважь.

Хабаров перевел медленный тяжелый взгляд на мужика и безразлично сказал:

– У меня пусто.

– А я принес. Предусмотрел, так сказать! – обрадовался Лёха и, извернувшись ужом, извлек откуда-то из-под пиджака поллитру и полпачки соли.

.....

Чокнулись. Лёха двумя пальцами зажал нос и профессионально кинул содержимое стакана в рот. Хабаров, не притронувшись, свой стакан отодвинул.

– Чего ты? Пей! – осипшим от крепости напитка голосом произнес гость и влез двумя пальцами, как клешней краба, в хабаровскую консервную банку. – Всё ж по науке. Метод адсорбции, кажись. Коли слово не перепутал.

.....

Чтобы проникнуть в суть, он выпил до доньшка очередной стакан, зажевал напиток картошкой и надолго затянул «Степь да степь кругом...» В том месте, где поется про замерзающего ямщика, Лёха едва не пустил слезу. Спев, он тупым мутным взглядом уставился на Хабарова.

– Слушай, – наконец сказал он, – смотрю я на тебя, бесполезный ты человек. Сброд! А его у нас в поселке и без тебя хватает. Чего тебе тут надо? Чего ты нам воду мутить приехал? А-а?!

Хабаров не ответил. Очень внимательно он следил, как тонкими извилистыми струйками дым от сигареты тянется к потолку.

– Молчишь, да? – Лёха сердито стукнул кулаком по столу. – Молчишь! Оно конечно. Мы же чего, рабочий класс! Быдло! Чего с нами-то?! Мы все стерпим! Прав был Вовка: все вы, москвичи – чмошники. Неработы! А вот Россия, она ведь на таких, как я, как братан мой, как наши мужики, на таких вот простых русских людях держится. Она, Россия-то, здесь! Да только тебе этого не понять. Мозги у тебя от московской колбасы жиром заплыли. А ты вкуси нашей жизни, прочувствуй! Нечищеную картошку жрешь... В Москве-то не стал бы. Вовка не любил тебя, суку. Не можешь ты, как все, по-простому.

Вот это слово – *по-простому* – кажется, самое существенное во всей философии, особенно в той, с помощью которой я сам пытаюсь проникнуть в суть вещей и показать ее другим. Не зря говорится в «моем» русском народе, что «иная простота хуже воровства», а я даже уверен, что *всякая простота хуже воровства!*

Так как я математик, то мне приходилось изучать и преподавать даже качественную теорию дифференциальных уравнений и аналитическую теорию функций, и я не скажу, что это так просто, что и о них можно бы сказать, что *все гениальное просто*. Нет, не все. Если не наоборот, что все гениальное сложно. Математика, а тем более Философия вообще не просты. Проста она у Ленина и у марксидов, захвативших на сто лет матушку Россию. У того философия бывала или поповской, или пролетарской, хотя он ни в той ни в другой не понимал ни бельмеса. Не было у него в мозгу тех извилин, с помощью которых философия воспринимается и понимается, а что его «единственно верное учение» покорило все прогрессивное человечество, объясняется как раз *просто*: у прогрессивного человечества этих извилин тоже нет.

Точно то же самое можно сказать о литературе.

Она не проста, и занятие ею не развлечение (как у киргиза, поющего, сидя на лошади, обо всем том, что он видит окрест), а тяжкий труд. Если даже не крест.

И язык в этом занятии, а в особенности *дух языка*, имеют первенствующее значение. Недостаточно сообщить читателю свою мысль и описать чувство, надо, чтобы они, и мысль и чувство, растворяли читателя и в логосе и в эйдосе, в этом двуедином гигантском противополжении двух сторон слова, двух его ипостасей.

Художник, в котором растворен русский язык (вот именно тот русский язык, в котором содержится *дух народа*), и сам народен. Если же язык лишь средство общения, то это то же самое, как если папуас разговаривает с бродячим торговцем на международном английском. Оба они НЕ англичане.

13.

А далее надо поговорить о литературе, имея в виду основную философскую триаду: логическое, этическое, эстетическое. Но для этого надо и мне «дух перевести».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

СПАСЕТ ЛИ МИР КРАСОТА?

1.

Среда, 20 марта 2013, утро. Любовь или сострадание автора к героям определяются тем, что автор и его герои хотя и неслиянны, но и нераздельны, и это началось со Слова о Полку Игоревом, а воочию продолжилось в Житии протопопа Аввакума: где кончается автор, упрямый и суровый ревнитель старой веры, проповедник и мифотворец, и где начинается романтический религиозный герой и пророк, создатель новой религии, где между ними черта, мы не скажем. Это романтическое направление русской литературы (а я понятие *русского романтизма* определяю через *героев-романтиков*, важнейшим качеством которых являются *поиски Бога и праведного мира*) проходит через нее всю, от Аввакума до наших дней, до той Новой литературы, которая зародилась и заявила о себе в последнее десятилетие.

Радищев, Державин, Карамзин, Жуковский, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Герцен, Толстой, Гончаров, Тургенев, Достоевский – вот далеко не полный список писателей, определяющих основные черты не только русской литературы, но и русского типа человека, в них всех вместе находятся *истоки и преемственность* – истоки новой русской культуры, мировоззрения, специфической нецерковной религиозности и вектор ее дальнейшего развития.

Русский тип человека – это тип литературного романтического героя и одновременно противостоящего ему, но и дополняющего его словно бы в инобытии брата, спутника, волшебного зеркала. У Аввакума это две русские героические женщины, определившие собою всю женскую русскую жертвенность – его супруга Анастасия и дочь духовная, Феодосия Прокопиевна, знаменитейшая боярыня Морозова.

2.

Говоря о литературе, я словно бы не выхожу за ее пределы, словно бы нахожусь в особом литературном пространстве, в зазеркалье Льюиса Кэрролла, в многомерном пространстве метафизического бытия Даниила Андреева, в арифметическом пространстве Декарта. Но соотносится ли эта литература с реальной, действительной жизнью?

Обратите внимание, что я не исследовал до сих пор отношений «литература и жизнь», «литература и действительность», отношений ПРООбраза и ОБРАЗА в литературе, не касался стэндалевского представления о литературе как о зеркале, в котором отражается жизнь – нет, я говорил только о *литературе как о единственной подлинной действительности*, и истоки литературы находил не в жизни, а в истории, языке, культуре в целом, религии, мировоззрении, личности, народе (языке). Я говорил об отношениях Редактора и Писателя, но не об отношении писателя к жизни.

Но если человек в своих поступках и в своем творчестве отталкивается в первую очередь не от внешнего, «объективного», а от внутреннего, субъективного, то это не значит, что внешнее совершенно не принимается в расчет: ведь и само внутреннее во многом отталкивается от внешнего или даже определяется им или даже содержит его в себе, ведь даже вид из окна одновременно и мое зрительное представление и все же то самое, что лежит за моим окном.

Отражает ли литература жизнь и внешний мир и должна ли их отражать? Конечно, даже в сказках и притчах и образах Бабы-Яги и Кашея Бессмертного мы находим черты окружающей нас жизни, и все же не из нее являются эти образы в сказки, не непосредственно в быту ими заимствуются. Между действительностью и литературой стоит Творчество, и оно является Преображением материи жизни в идеальную ткань литературы. Дневник обывателя, в котором фиксируются события его повседневной жизни, можно напечатать в виде книги, но это не значит, что они становятся Книгой после печати. Фантазии восторженной барышни также легко разместить в Прозе.Ру и они там легко размещаются, и это тоже не значит, что они после размещения превращаются в литературу. Но за последние сто семьдесят пять лет существования русской критики столько написано об отношениях жизни и религии, жизни и философии, жизни и литературы, что я не буду лить свою воду в море написанного, а просто буду излагать читателю свои собственные впечатления и от книг авторов, которые я читал, но не смел даже думать о том, чтобы их редактировать, и от книг авторов, которые я не только читал, но и поправлял и даже вступал с авторами в споры.

В них действуют герои, персонажи, существует и развивается сюжет, присутствует язык, стиль, манера, цель, намерение, и на них ли действует внешняя жизнь или, напротив, они ее формируют? – этот вопрос я пока оставляю без определенного ответа.

В литературе есть (или должно быть) то-то, то-то и то-то, а что есть или должно быть в жизни – это совсем другой вопрос, которого я касаюсь в своих горестных дневниках, которые никто не читает; что же до моих заметок о литературе, то две читательницы у них уже есть, а с ними и я Третий.

3.

Непосредственно или опосредованно, но в художественном произведении важнейшую роль играет *эстетическое*, гораздо более важную, чем в жизни. Конечно, и в повседневной жизни крестьянка пытается украсить наволочку и кофточку и полотенце вышивкой, интеллигент вешает на стену натюрморт с выпивкой, граф Строганов заказывает архитектору прекрасный дворец. Но наволочка ветшает, кофточка линяет, натюрморт выцветает, а старинные особняки и просто красивые здания в центре Петербурга современные владельцы денег и покупатели власти сносят к чертовой матери, невзирая на протесты эстетов, чтобы построить на их месте безобразные творения любителей игр в конструктор.

Из книг же пока никто не выдирает страницы, чтобы вклеить в них свои

собственные, никто не переписывает Толстого и Тургенева, хотя никто не читает.

Но уж если читатель берется за чтение, то после занимательности главное пожелание, явно или нет, состоит у него в *эстетическом*; читатель чувствует потребность в том, чтобы последовательность происшествий представляла собой *гармонию*, язык не производил впечатления случайной груды мусора, а представлял собою *«расположение наилучших слов в наилучшем порядке»*, портреты героев были *живописны*, и даже природа не соответствовала подлинной, изломанной и загаженной лесопромышленниками, а была бы словно списана с картин Левитана и Жуковского.

Эстетическое играло наивысшую роль в те годы, когда мы учились не у жизни, а за партами в классе и в аудитории, и даже на уроке математики преподаватели нам восторженно говорили: Вы посмотрите, как эта теорема изящно доказана, как эта задача красиво решена!

В отрочестве и юности мы читали Тургенева, чуть позже Блока, Куприна и Бунина, во все времена Александра Грина, бегали на свидания к «тургеневским» барышням, мечтали об идеальной любви, смотрели на звезды, вздыхали на скамейках... да, в отрочестве и юности большинство из нас еще не успели расчеловечиться и воспитывались не внешней жизнью, во дворе и подворотне, а на уроках литературы и математики, при чтении книг и решении сложных геометрических задач.

Потом наступила эпоха «застоя и застолья», не лишенная бытовой привлекательности и относительной общественной свободы, эпоха широкого распространения СамИздата, поэтических кружков и частных литературных и музыкальных вечеров.

Конец восьмидесятых, время надежд и упований, повторение Оттепели начала шестидесятых годов, возвращение многих забытых и полузабытых имен, возвращение Набокова, Гумилева, возвращение в Петербург ученицы Гумилева «Ирочки» Одоевцевой (так подписала она мне свою книгу Воспоминаний, *соблазненная* яблоками, которые приносил я на наши встречи-беседы), возвращение эмигрантской литературы и даже нашей собственной советской и полусоветской (Андрея Платонова, Василия Гроссмана и «Детей Арбата»), тысячелетие христианства и возвращение христианской эстетики.

А затем наступили девяностые и нулевые... Вернулся Солженицын. И Азь грешный начал печатать свои и чужие сочинения. Но меня унизили и обокрали. У меня украли мой народ и мою культуру. Украли логику, этику и эстетику. Украли надежду на любовь. Наступила *эпоха жуликов и воров*.

И язык прежде всего отозвался на разбой, усвоив словарь разбойников.

Поэтому с волнением и надеждой приступил я недавно к чтению произведений о любви авторов Нового времени: Натальи Ефремовой «Осколки памяти», «Случайная любовь» Рустема Юнусова, «Фамильные ценности» Елены Лобановой (хотя здесь, правда, любовь – не основная сюжетная канва). Любовь играет важную роль и в других книгах, с которыми я в последнее время работал, и их я позже коснусь, но в этих трех то чувство и та мысль, которые хочу я навязать читателю, объясняются точнее всего.

[Кстати, небольшое *замечание для авторов*, принимающих мои слова близко к сердцу. Я дописывал предыдущую фразу и споткнулся после слова объясняются... Оставалось указать: КАК? Совершенно, полно, отлично, замечательно, ясно, глубоко... можно было бы привести еще сто наречий, и стоило ли задумываться? А я задумался... И сидел в раздражении четверть часа!!! А потому надо ли спешить и вам ставить в предложение первое наобум случайное слово? «Нет, выстрадай сперва свое ... слово, а потом увидим, станет ли расточать его напрасно тот, кто его кровью приобрел! Не дорожит русским языком тот автор, который относится к нему как завоеватель к добыче а не как влюбленный к возлюбленной.]

Итак, рассказы о любви... и не только.

Маленькую повесть Юнусова я прочел на одном дыхании (а, может, и не дыша). Вспоминался Тургенев. Вспоминались собственные встречи с юными робкими барышнями, когда и сам я был робок. Все было узнаваемо в повести, и почти каждый читатель найдет в ее героях *себя* и *её*.

Это была повесть о расцветающей юности, очаровании, разгорающейся плоти, соблазне и соблазнении.

«Он не спускал с неё любящих глаз. Сердце билось тревожно и страстно, но она смотрела спокойно перед собой. Её черные изогнутые ресницы подрагивали. Сколько чистоты было тогда в них обоих, чистоты наивной, милой, влекущей.

Как безумно хотелось любви: озаренной, ласковой, чистой... Но её спокойные, ясные серые глаза мягко и с затаенной ласковостью говорили: Нет.»

Уже по этому отрывку можно почувствовать, что язык повести вполне русский, воспитанный классической русской литературой, ясный и чистый, как и те чувства, которые ему предстоит изображать.

«А он ... вдыхая аромат, исходящий от её тела, наклонился над ней и вдруг неожиданно для них обоих поцеловал её в плечо, поцеловал нежно, без какого-то ни было смысла, сексуального оттенка, как целуют маленьких детей.

Юля сняла с лица шляпку и с удивлением посмотрела на него. Сережа смутился. Сквозь загар его щек даже проступил легкий румянец. Нет, на него нельзя было обижаться.

— Вы пылкий? — словно делая для себя открытие, с огоньком в глазах, спросила она.»

... «Она была без шляпки. Солнце золотило её волосы, размягчило щеки, придавало чувственность очертаниям её тела.

Сереже казалось, что напоенная солнцем и теплом, она, подобно цветам, солнечным лучам и летнему воздуху, была соткана из света, движения и красоты. Её ясные блестящие глаза излучали все дурманящее тепло, скопившееся в этом уголке луга. Глядя на её личико, на её пальчики, на красные губы, белые как жемчуг зубы, на гибкий стан, стройные загорелые ножки, Сережа совсем потерял голову.»

События развивались так, как уже было задумано природой, именно природа начала подчинять их и властвовать над ними, яблоко с дерева упало, уже созрев, и они пали тоже.

Повесть закончилась и две слезы вдруг скатились у меня по щекам. Страсть победила робкие мечтанья, плоть победила дух, жизнь победила литературу.

Собирался ли я упрекать автора? Нет. У него все было безупречно, эстетическое не было нарушено ни в одной детали, ни в одном слове, ни в одном звуке. И замысел повести и ее исполнение соответствовали друг другу, но любовь и впрямь оказалась *случайной*. Герои ее не победили, а потерпели поражение.

Значит ли это, что потерпел поражение автор? Нет.

Но казалось, что его повесть не устояла перед грубостью жизни, что она тоже случайна, как и любовь (а задумывались ли вы, читатель, что именно ЛЮБОВЬ определяет и подчеркивает главное различие жизни и литературы? Исключая советский период производственного и революционного романа, вся остальная литература за две с половиной тысячи лет своего существования рассказывает преимущественно о любви, эротическая любовь является основной коллизией литературы – а что является коллизией жизни? В православной России крестьяне выдавали дочерей по своей воле, а не по их любви, так было и в остальном мире, европейском и азийском, вероятно и в африканском. И даже в наше время я слышал множество горестных рассказов от разочарованных и обманутых жизнью матерей семейств – немногим из них удалось достигнуть исполнения своих девичьих грез. Любовь – это только романтическая мечта! – говорили они).

И все же...

Слово окончательно проявляет себя в высказывании. Высказывание – в разговоре. Разговор – в действии. Смысл отдельного художественного произведения выясняется в контексте литературного бытия.

Я начал читать роман Ефремовой «Осколки памяти» – и увидел, что отдельно от других литературных событий он оказался бы не полон. В нем тоже речь идет о любви – трагической, иногда нелепой, непонятной, исполненной тех же противоречий, тех же мучительных вопросов, что и жизнь – и он объясняет нам очень многое в нас самих, что не умеет объяснить жизнь. Поражению любви в повести Рустема Юнусова противостоит ее победа – на грани поражения! – в романе Натальи Ефремовой, и снова пришлось мне тереть глаза... как видно, пыльно на улице и в открытое окно залетают соринки...

Но два произведения различаются не в эстетическом пространстве – оба они написаны превосходным языком! – а в этическом. Добро и зло, хорошо и плохо, устои и случайное, «как заповедано от родителей» и «как самому хочется», «береги платье снову, а честь смолоду» или «бери от жизни всё что хочется», целомудрие и чувственная жажда – вот что противостоит друг другу в душах героев (но в душах юных и трогательно впервые

открывающихся навстречу чувственному миру героев Случайной любви словно бы и не противостоит). Борьба романтической, возвышенной любви, отчасти христианской, но по большей части опирающейся на народные идеалы должного, праведного, чистого – и любви плотской, эротической, чувственной – вот что предстает нам в драме Ефремовой. В ней эрос возвышается до любви романтической и растворяется в ней так, что земное и небесное наконец-то сливаются.

Вероятно, в чувственной любви есть нечто греховное... не то, против чего две тысячи лет воюет монашеская страсть... но что-то есть, что и не знаю. Ах, как я надеялся, что Наталья Ефремова наконец-то объяснит нам раздвоенность женской души! Но в последнее мгновение она опомнилась, и женщина осталась тою же загадкой, что и всегда.

Рустем Юнусов называет описанную им любовь *случайной*. Если бы не было Тургенева, Фета, Бунина, Блока, Ефремовой, то была бы только такая любовь. *Случайный* ее характер обнаруживается лишь в контексте духовно-исторического, культурного бытия европейских народов, прежде всего поэзии и литературы. Если бы их не было, то случайными были бы «шопот, робкое дыхание, трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья...», а Юлино падение, так трогательно описанное автором, во-первых, совершилось бы за несколько лет до падения, а вторых, не было бы падением, а «стаканом воды за завтраком», как писала революционерка Коллонтай. Коммунистическая революция, провозгласившая еще со времен Платона общность имущества и жен, наконец-то довершилась в революции сексуальной. Имущество, правда, принадлежит немногим, но женщины зато общие.

Впрочем, хорошо это или плохо, не относится к вопросам, которые разрешает Редактор. Я ведь пишу не о том, как ЖИТЬ, а как писать повести и романы, на чем они держатся, что провозглашают, к чему стремятся. Возможно, литература себя изжила, она уже безжизненна, потому-то никому и не нужна, а нужна антилитература, вроде советов холостяку обзавестись хозяйкой за три четверти минуты (в одноименном романе)... В воображаемом, идеальном пространстве культуры все «не так как у людей», и вдоль стен стоят шкафы с книгами а не висят окорока и охотничьи ружья, на сцене люди объясняются между собою пением, и даже когда друг в друга стреляют – поют. У них и любовь другая. Поэтому нет грехопадения отдельного человека, есть только культурная традиция, та или иная, традиция жертвы за того кого любишь или традиция платить наемным убийцам, как теперь принято в Российском обществе и о чем теперь нравится писать и читать.

И это только в литературе язык является *основным изобразительным средством и признаком народности*, но не происхождение и обрезание или крещение. И это только в литературе слово и язык – средство эстетического, в обыденной жизни достаточно для общения нескольких выразительных слов, а для «передачи информации» набора из словаря туриста.

4.

Еще пытаюсь говорить об эстетическом, я, разумеется, не удержался в его рамках. Даже страстность, с которою я обличаю грехопадение антикоммунистической революции, укравшей у нас нами выстраданную мечту о свободе и обратившей ее в *распущенность* – распущенность *речи*, распущенность *быта*, распущенность *бытия* – показывает, что перехожу я и вольно и невольно в область *этических* оценок, суждений и чувств.

Но да это не должно удивлять.

Ничто в «норме», или в *свободной действительности* (то есть в той, которую, очевидно, и имел в виду Гегель, говоря, что *всё действительное разумно*) не очерчено границами так, как при тоталитарном мышлении и регламентированной жизни. Это только при господстве христианского и коммунистического учений явления и понятия разделены как огонь и вода, и грех и добродетель даже не соприкасаются, человек служит ИЛИ Богу ИЛИ Дьяволу и не может быть сам по себе, ибо «кто не со Мною, тот против меня!», сказал Христос, «кто не с нами, тот против нас», повторили за Ним сторонники нового, более верного (нет, «самого верного») учения.

Но в Философии и литературе, а особенно в поэзии, «любовь и ненависть близки», «от великого до смешного один шаг» и «противоположности составляют единство». Так, например, коммунистические боевики, злобно боровшиеся с христианством, с верой в Бога и личным достоинством, в большинстве своем и не подозревали, что проповедовали и утверждали огнем и мечом иногда те же идеалы, что и служители «слова Божьего» (если, конечно, не путать христианские идеалы с ветхозаветными Заповедями Моисея). Поэтому, как бы ни было ясно и точно и определено *понятие*, область его применения не всегда определена.

Любить или болеть – одно и то ж!

Лекарство нам – перо! Так на одре больничном

Спасает от страданья нож

Хирурга, к истязанию привычный...

Боль, как видите, спасает от боли!

Это только такой догматик как Кант полагал, что правду надо говорить всегда и везде, и даже разбойникам в ответ на их вопрос, куда побежал несчастный, за которым они гонятся, надо говорить правду. В литературе же коллизии всегда сложнее и тоньше, чем в прямолинейной проповеди, чем в Законе (вспомните ответ кроткого Алеши Карамазова на вопрос, надо ли убить того, кто истязал ребенка и рассуждения о том, стоит ли прогресс человечества одной его слезы). Впрочем, и в жизни Закон нарушался постоянно, даже в убийствах (в том числе Христа) во имя Закона.

Впрочем, далеко ушел я от красоты, и надо бы к ней вернуться.

Важнейшую, первостепенную роль играет *эстетическое* не во всякой литературе, но в русской классической – несомненно. Можно сказать, что эстетическое является и признаком национальной литературы, характеризует ту или иную литературу наиболее выразительно, а русскую – в наибольшей степени. Красота – отличительный признак именно РУССКОЙ литературы,

русские классики следили за формой, за языком, за словом тщательнее, чем за смыслом. Первостепенное значение красоты, вообще говоря, присуще литературе романтической, романтизму как исторической форме литературы – но да не будет неверным сказать, что русская литература – сплошь романтична, романтизм – это ее основная форма существования, от Жуковского и Пушкина (да и раньше) до Маяковского и Даниила Андреева. Посмотрим на девушек и женщин в толпе (не говоря о мужчинах), особенно в пять-семь часов вечера, у выхода из метро, когда «леди» возвращаются с работы. Какие усталые, стертые, серые лица! В кого из них можно влюбиться с первого взгляда?! Если не неправильность, то серость – основная характеристика современного городского населения. Но что мы видим в прозе? А тем паче в поэзии? Боярыня Морозова, Татьяна Ларина, Княжна Мэри, Наташа Ростова, Настасья Филипповна, Анна Каренина, Незнакомка, Анна Ахматова и Марина Цветаева (они и авторы и героини русской поэзии двадцатого столетия), Кристина из «Осколков памяти» Натальи Ефремовой, Тая из романа Натальи Троицкой «Обнаров» – они все прекрасны!

Но ведь красота неоднозначна, она характеризует не только внешнее, но и внутреннее, не зря ведь говорится о душевной красоте? – но и душевной красотой эти героини наделены сверх меры!

Если читатель уже прочитал «Обнарова» (надеюсь, он его еще не выпустил из рук), то он согласится с моими словами: Тая не просто красива, она нежна, изящна, очаровательна. Она талантлива! Не только в театральной игре, но и в быту. Талантливы ее поступки, ее отношение к людям, ее милосердие, ее жалость. Как красив ее язык! Такое чувство, что не автор создает образ своей героини, не автор придумывает для нее слова, но героиня создает автора и учит ее говорить!!!

Мы жаждем идеала в гнусной современности? Он существует! Это те, кто ей не подчинился, кто ей противостоит! Но *герой* не может не быть прекрасен! И он предстает нашему взору и слуху как античные статуи, как изваяния античных Муз.

Великая литература неотделима от великого языка, они слитны! Если велик и прекрасен язык, то прекрасно и художественное произведение, созданное с его помощью. Необходимо чутко и бережно относиться к слову, писатель – это музыкант, играющий на совершенном инструменте! Это крестьянка, высаживающая в почву нежные растения рассады, из которых вырастут прекрасные цветы! Это мать, баюкающая младенца и поющая ему колыбельную песню. Это путник, разжигающий костер под проливным дождем. Если вам приходилось это делать, то вы будете осторожно дышать, раздувая огонек, который зажигаете своим творением.

Но ведь внутренняя красота не всегда совпадает с внешней! – возразит мне недоверчивый читатель. Я сожалею, что не сумел написать рассказ о том, как домашняя забота преобразила лицо серенькой девочки-подростка, моей ученицы, как улыбка осветила ее лицо, как разгорелось на хмуром небе нашей жизни северное сияние обыденного труда: она не читала стихи, не стояла за мольбертом, не пела – она просто чистила картошку, чтобы накормить своего малолетнего брата и бродягу-учителя, заявившегося к ней в гости!

Но литература не прошла стороной и в десятках образцов ответила на этот вопрос, и именно так, как я это видел «на самом деле», как бывает, что мы идем по серому некрасивому хмурому осеннему лесу и вдруг выглядывает солнце, и все вокруг сверхъестественно преображается, так что даже слезы подчас льются из глаз. Вот только что жизнь и природа были НЕ-красивы – и вдруг они стали прекрасны! А с человеком это происходит еще лучше чем с природой, преображаются его лицо и тело, осанка и движения, и даже речь.

Какова природа самой красоты? На этот вопрос еще сложнее ответить. Влюбленные знают, что любовь чудесным образом преображает и их самих, и тех, в кого они влюбились. Преображает материнское чувство. Преображаются лица в момент опасности и жертвы.

А как преображает человека вдохновение!

Наверное, у большинства есть такой личный опыт, многие видели все то, о чем я теперь говорю, в жизни и на сцене. Современники писали о Комиссаржевской, что она, как будто невзрачная мышка в быту, на сцене блистала красотой. Поражает лицо Лидии Руслановой, типично крестьянское, широкоскулое, и вдруг оно становится утонченно вдохновенным и красивым, когда она поет. Я вижу все то же самое на концертах, которые судьба мне дарит так часто, что я уже стыжусь жаловаться на нее.

Да, внешняя красота и внутренняя не делимы, неразделимы!

В романе Ананиевой «Лекарство от Африки» обе героини-соперницы красивы, но одна из них служит добру, а другая злу. И почему-то с первой же страницы возникает симпатия к одной и антипатия к другой, одна из них *привлекательна*, другая – не *привлекательна*. Красота и эстетическое неотделимы от нравственного, этического. И язык знает эту особенность двух сторон бытия и содержит ее в себе. Оказывается, и красивый человек может быть непривлекательным, а иногда отталкивающим... но не оказывается ли он воистину некрасивым, а то, что мы сначала этого не заметили, было наваждением, мороком, маской? И напротив, то, что воспринималось нами как неправильность, посредственность, обыденность, серость, некрасота – вдруг предстает в своей противоположности, и мы даже удивляемся себе, как же мы этого раньше не видели, куда же и чем мы смотрели? Или слушали? – так случилось со мною, когда я вдруг услышал музыку Шостаковича, которую *не слышал* до этого, которая до этого казалась мне некрасивой.

А преображение девушки и женщины случается чаще всего, и я бывал не раз поражен таким преображением. Самым поразительным случаем был разговор в вагоне поезда, когда мы почти целый день разговаривали, и собеседница меня очаровала своим умом, тонкостью суждений, поэтичностью языка, добротой оценок! Я слушал и смотрел на нее с восторгом, я не мог от нее отвести взгляда, я в нее ВЛЮБИЛСЯ!!! В нее, до того некрасивую!

Оказывается, эстетическое неотделимо и от логического, интеллектуального! Да взгляните же на античную скульптуру, а не на гламурные обложки журналов мод! Муза поэзии красива – но разве она притом и не умна? (И я долго не мог понять вослициания Пушкина о том, что поэзия должна быть глуповата. Но об этом, отталкиваясь от статьи Владислава Ходасевича, мы еще позже поговорим, когда заговорим об *интеллектуальном*.)

Слишком отвлекаюсь. Вернемся же к красоте, к той, которая спасет мир!

Красота, нравственность и интеллект (ум, логос) неотделимы друг от друга, как ипостаси Троицы, почему именно в Красоте Достоевский увидел самое сильное воплощение их, объясняется, вероятно, тем, что он писатель, что он романтик, что изящное и соразмерное, привлекательное у него вначале, а правильное и должное потом, хотя и содержится в том же. Как и внутренняя красота содержится во внешней, а внешняя во внутренней.

И теперь я позволю привести пример не из знаменитых классиков, а из того, что родилось только что, только что набрано на печатном станке или появилось на экране монитора.

Читаю повести и стихи Анастасии Куницкой, читаю их по долгу службы, и это мешает непосредственному восприятию (и часто переживаю я только то, что называется «послевкусием», отказывая, как и дегустатор, себе в удовольствии непосредственно напиться как следует!)

Итак, читаю рассказ «Томочка».

«Томочка была такая душечка: миленькая, маленькая, с пухлыми ручками и щечками, белокуро-крашенными ангельскими кудельками, губками бантиком и вздернутым носиком. Ходила Томочка мелко-меленько, семенила ножками, подскакивала на коротеньких каблучках как птичка-синичка. Говорила много, очень быстро и очень звонко: чирикала. Все на ней было такое мягкое и розовенькое, пушистенькое и мохнатенькое.»

Ну, не красавица.

«Томочке было сорок пять, ягодкой она была и раньше, но никто ею не лакомился. Все женщины ее просто обожали: она была решительно неопасная.»

Женщины, как видно, считали так же.

«При виде мужчин Томочка млела. Глазки ее увлажнились, нижняя губка подергивалась, округлый подбородочек дрожал, пухлые пальчики плясали по стойке. Томочка начинала стрекотать как маленький пулемет, так что слова путались, слоги цеплялись один за другой:

– Манитюр-педитюр-стрика-крашка-кладка-солямий!

Мужчины смотрели на нее недоверчиво: с удивлением, сожалением, сочувствием. Заказывали услугу, отходили от стойки и никогда больше на Томочку не глядели. Даже не оборачивались. Просто забывали.»

Мужчины, видимо, с ними соглашались.

Далее в ее жизнь вторгается мужчина.

«– Я... это... ну... это... из ЖЭКа, значит, – прогрохотал бородач и неожиданно тоже смутился. Уши у него стали пунцовыми, борода заерзала. – Где у вас тут... ну... это... стояк?»

... Ну тк, дык... – пробормотал нечленораздельно бородач и, раскатисто сопя и кряхтя, полез к стояку.»

Пока трудно судить и о внутренней красоте героев и об их интеллектуальном уровне.

Хотя ничего плохого не приходит в голову даже редактору.

Далее бородач приходит к Томочке, чтобы помочь ей в сантехнике.

«Сантехник вошел и усталился на дымящийся окорок. Он резко отпрянул:

– И-ть, гости у вас... надо ж как!.. я уж лучше... – испуганно попятился он, вминая могучей спиной входную дверь и уже клацая засовом.

У Томочки на лице изобразился апокалипсический ужас.

– Да это ж вам! – выпалила она и от стыда закрыла глаза ладошками.

Бородач остолбенел и весь побагровел ото лба до шеи.

– А это ж вам! – глухо брякнул он и разжал ручищу.

Томочка отняла пальчики от лица. На протянутой к ней богатырской ладони лежал целлофановый кулек с давленными мятными карамелями.

– Хи-хи-хи-хи-хи! – вдруг тоненько засмеялась Томочка.

– Ха-ха-ха-ха-ха! – захохотал в ответ гость.»

Надеюсь, даже по этим отрывкам читатель начал переживать за героев и им сочувствовать.

И вот что удивительно: я так же почувствовал, что они не только милые, но и совсем не глупые, и очень даже *привлекательные* – а это в России ценится больше, чем красота.

Прав Чехов, что в человеке должно быть прекрасно всё! – герои русской литературы, как правило, красивые, умны, доброжелательны.

Русская литература – добрая. Она явилась в мир, чтобы помочь человеку, защитить его, даже от него самого.

И рассказ А. Куницкой эту мысль подтверждает.

Художественное произведение, как явление именно русской литературы, должно быть и красивым и добрым, ибо одно не существует без другого, красивое (а лучше сказать, привлекательное) одновременно является добрым, и доброе – привлекательным. Почти так же, как утверждал Гегель, что разумное действительно, а действительное разумно.

Может быть, именно это имел в виду Достоевский, говоря, что Красота спасет мир, представляя красоту в виде доброй прекрасной феи, которая всех поймет и всех утешит. А, возможно, и не только это...

Но, так или иначе, *единство этического и эстетического в художественном произведении* является своего рода категорическим императивом Канта и *шестым* признаком национального в литературе. Антиэстетизм и имморализм, проповедовавшиеся в советской литературе в 20-м столетии, были проповедью *национальной безличности*.

5.

Эстетизм часто относят к романтической и аристократической эпохам литературы, считают родовыми их свойствами и признаками, а большую или меньшую вульгарность и косноязычность – свойствами литературы реалистической. Толстой даже намеренно старался писать в своих романах хуже, обыденнее, вульгарнее, чем в письмах, в которых он обращался, как правило, только к читателю из своего круга, роман же его был обращен к «народу», по крайней мере к читающему.

И сие обстоятельство, поелику я уже его знаю, создает дополнительные трудности редактору.

«Вот вы стремитесь улучшить мой язык, пригладить его, заставить меня и моих героев говорить как *изнеженные интеллигенты*, – возражает резонно мне автор, плохо владеющий русским языком. – Но ведь на самом деле на улице и даже на кухне и на производстве говорят именно так, как я пишу, и даже хуже, и я просто стараюсь быть правдивым, передать в своих текстах *правду жизни*, а не сюсюканье снобов!» И это отчасти правда, на улице и в быту и даже в фойе театра, увы, говорят еще хуже, чем мой строптивый автор, подавляющее большинство общества не только плохо владеет русским языком, но оно вообще по-русски говорить не умеет, и язык сохранился пока еще только потому, что уроки языка и русской литературы существуют в школе.

Жизнь меняется, и язык меняется тоже! – возражает мне другой автор, воспитанный на революционных книгах. А я с удивлением думаю: Где это он увидел *изменение жизни*? Открыл вчера Салтыкова-Щедрина, читаю о **ненужности губернаторов**, да кто, думаю, успел вклеить в книгу статью из сегодняшней оппозиционной газеты? И так ровно обрезал, и бумага совпадает? А это, оказывается, жизнь так *изменилась*, что и «*Взглянул окрест себя и душа моя страданиями человеческими переполнена стала*» сегодня еще действеннее чем вчера! И песня про Кудеяра-атамана написана ДЛЯ НАС (за единственным исключением: никто из сегодняшних разбойников НЕ покается, вот разве ЛУЧШЕГО из них, Ходорковского, страдания переплавили, но он был не хуже и всех нас еще и тогда, когда грабил награбленное, то есть у воровского государства присваивал, а *по понятиям* ему недостаточно *отстегивал*.)

Нет, жизнь мы с помощью литературы изменить не можем, и как в математике царствуют идеальные кривые, которых даже искусный чертежник нарисовать не умеет, и в физике статика и динамика определяются идеальными законами, а воры и в думе и в правительстве и повсеместно в судах и государственных учреждениях стоят неизменно, и никак статика не переходит в динамику, то надо ли переклеивать последнее прибежище духа – аристократическую культуру? Какое отношение литература имеет к жизни, об этом мы еще недостаточно поговорили, но хотя бы интуиция должна подсказывать автору, что они не одно и то же. Русский модерн в музыке отличается от классики, и Второй концерт для фортепьяно с оркестром Прокофьева словно бы отменяет эстетику Чайковского (а я слушал их вчера вместе), но не отменяет КРАСОТУ, и она достигает у него своей окончательной трагичности (которая уже есть, смягченная надеждой, и у Чайковского и у Фета).

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ХАОС И КОСМОС. КРАСОТА и СПАСЕНИЕ

Пятница, 19 апреля 2013, около полуночи.

Николай Яковлевич Данилевский, автор выдающейся книги «Россия и Европа» (которую, кстати сказать, я первый издал полностью с предисловием Страхова в 1994 году, через сто лет после первого ее издания) сказал, возможно, самое важное, что было сказано о материи:

«Красота есть единственная духовная сторона материи – следовательно, красота есть единственная связь этих двух основных начал мира. ... И наоборот, требование красоты есть единственная потребность духа, которую может удовлетворить только материя».

1. Хаос и космос

Человек склонен и спрашивать и отвечать. Мы непосредственно наблюдаем, что чаще всего спрашивают дети, и на их вопросы раздраженно, походя или серьезно и убедительно отвечают взрослые (в том числе уже разучившиеся спрашивать), но очень часто они отвечают и на те вопросы, в которых не разбираются сами, и чем более взрослеют, тем более уверенно и несущественно или даже неверно отвечают.

А в детских вопросах подчас заключены ростки ответов.

Детство человечества (по крайней мере, европейского) – Античность.

Я – дитя.

И я задаю вопросы, даже те, ответы на которые словно бы еще совсем недавно знал... но забыл...

Ответы, разумеется, следует искать либо в нашем детстве, то есть в античности, либо у взрослых, коими являются ученые, писатели, поэты и философы, и самый совершенный из них – Пушкин.

Углубившись в «Историю античной эстетики» Лосева, я с ужасом увидел, что мне уже не хватит жизни, чтобы понять мир глубоко и исчерпывающе, поэтому остановился я на понимании «детском», которое мне всю жизнь было свойственно, впрочем, и каждому обычному человеку, не делающему ту или иную проблему *профессией* (что, впрочем, тоже важно для нас, дилетантов).

Я останавлиюсь на двух важнейших понятиях, имеющих непосредственное отношение к красоте и эстетическому, а именно, на понятиях ХАОСА и КОСМОСА, и призываю читателя к пониманию их интуитивному, то есть детскому. **Хаос** – *нечто* не имеющее порядка, бесформенное, изначальное (или, наоборот, конечное в действии разрушительных сил), дикое, не преобразованное творческой волей, хотя и способное к преобразованию (то есть не совпадающее с ничто). **Космос** – упорядоченная и гармоничная вселенная, содержащая в себе все то, что предстает нам в духе, к тому же, как говорил Демокрит, и сам человек – "малый космос" и весь космос – его родина (правда, он оговаривается, что это справедливо только для *хорошей* души).

Космос *прекрасен* (форма и упорядоченность суть отличительные признаки красоты), хаос *безобразен* (в буквальном смысле – не имеет *образа*).

Жизнь, которая сваливается на нас как некая лавина происшествий, мало зависящих от нашей воли – это хаос, его предельной, «идеальной» *формой* является жизнь в тюрьме и на войне.

Лавина происшествий предстает нам в двух видах: происшествий *случайных*, словно бы беспричинных, и происшествий *закономерных, детерминированных*. Но живая жизнь определяется и всем множеством исходных внешних обстоятельств – *закономерных и случайных*, и собственной волей, в которой случайность и закономерность преобразенны, и их синтезом – СУДЬБОЙ. (Как видите, я выношу судьбу за границы только ВНЕШНЕГО, она и ВНУТРИ НАС – как и Бог).

Хаос (др.-греч. χᾱος от χαίνω – раскрываюсь, **разверзаюсь**) – первичное состояние Вселенной, бесформенная совокупность материи и пространства (в противоположность порядку).

Хаос – это *беспорядок* и *зев*, изрыгающий беспорядок; в соответствии с поздними представлениями христианской космогонии его можно ассоциировать с *преисподней*.

Космос – (греч. Κόσμος) – порядок, украшение, вселенная.

Идея красоты не сводится только к упорядоченности (хотя я и повторяю о поэзии, что она – это *расположение слов в наилучшем порядке*), и все же порядок (понимаемый как *гармония*, то есть *наилучший порядок*) – это красота, во всяком случае в эллинском мире – категория эстетического.

Красивому мы противопоставляем *безобразное*, без-образное, не имеющее образа (формы).

Хаос – мир беспорядочный, *безобразный*, космос – мир упорядоченный, прекрасный.

Хаос – в начале (а о происхождении хаоса эллинская мысль особо не замудривалась), космос – в становлении, в результате – чего? Творческой работы, преобразования, возделывания, культуры.

Изначально в этом преобразении участвуют *боги, титаны, герои*. Затем поэты, философы, ученые. Но и государство – малый космос, а оно создается гражданами, то есть всеми свободными людьми. А так как создаются, преобразаются, *возделываются* (culture) и жилища и предметы обихода и пашня, то в преобразении хаоса в космос участвуют все, от Зевса до Прометея, Геракла, Одиссея, Гомера и крестьянина, и это преобразование составляет эллинскую и античную культуру.

Но... приходит буря, и она разрушает, превращает благоустроенный КОСМОС в беспорядочное нагромождение обломков, в ХАОС. В тот хаос, который не предстает становлению мира, а является его разрушением, «концом света», Аидом, царством мертвых.

К счастью, пашня не окончательно была погребена под песком пустыни, античные статуи, эти «идолы», как их назвал апостол Павел, были откопаны и послужили образцами для ваятелей, Гомер не был забыт, да и сами послания Павла были совершенными литературными творениями – не способны они были деятельно утверждать хаос.

2. Два видения мира

Итак, мы коротко обрисовали взгляд на мир, пронизывающий эллинизм и в целом античную культуру и жизнь. Его можно было бы назвать *эстетическим*.

Можно возразить, что красота не то же самое, что порядок, и я и сему возражать не буду: красота больше, шире, трагичнее, *всеобъемлющее*.

Но в некоторых отношениях более всеобъемлющ порядок. Определение понятия опирается на интуицию, а интуиция красоты и порядка общая, а посему не буду уточнять их границы, я ведь пишу записки не ученого-филолога, а читателя и отчасти критика и писателя, мои понятия в большей степени метафоричны (как и в языке в целом, и не так строго определены – как и в языке в целом). Приезжаю в конце апреля в деревню, прихожу на огород, сгребаю мусор в кучки, поправляю изгородь, поправляю дорожки и гряды, заменяю обветшавшие покровы теплиц, жерди и колья – и восклицаю: «Ну вот, теперь порядок!» А иногда добавляю: «И красота!»

Но, впрочем, надо еще гряды вспахать и засеять. И потом еще трудиться немало. Поливать, полоть, кормить и собирать урожай.

Присуще ли эллинскому миру этическое, нравственная идея? Разумеется! И даже слово ЭТИКА происходит из древнегреческого языка. У Аристотеля есть соответственно и Этика (и Эстетика, и Политика).

Разумеется, она отличается от христианской, в основе его этики находится понятие о **добродетели**, а не о смирении и искуплении первородного греха. Но главное отличие эллинской этики от христианской состоит в том, что и у Пифагора есть этика, и у Платона и у Диогена, и у других, и они весьма различны, как многообразно философское сознание в отличие от всеобщего «бессознательного», в котором шаг влево, шаг вправо – конвой стреляет без предупреждения (хотя, впрочем, я помню об осуждении Сократа, принявшего по приговору суда яд в кругу друзей. Но я и завидую такому осуждению. Ибо наши философы и поэты испивают смертную чашу среди миллионов безвинно убиенных в подвалах и на пустырях. Ну а кому повезет – на кострах инквизиции.)

И все же основной принцип эллинской культуры и жизни – преобразование хаоса в космос, в котором центральное место занял в конечном счете человек творчества.

Того, кто интересуется историей античной культуры, я отошлю к сочинениям Лосева или хотя бы Бертрана Рассела, я же всматриваюсь в нее лишь настолько, чтобы понять современную русскую литературу, ее положение, смысл и задачи. Я разговариваю **и** сам с собою (читая авторов, которых либо люблю, либо которых мне следует читать по долгу службы), разговариваю **и** с авторами, с теми из них, которым интересно мнение об их творчестве редактора и читателя. Они мне многое сказали своими произведениями, кое-что пытался и я написать для них на полях, но вот теперь завел я обстоятельный разговор, чтобы уяснить совместно то, зачем мы пишем и редактируем, правильно ли все это, нужно ли кому-нибудь кроме нас самих, или и этого тоже достаточно.

Хаос необходимо преобразить в космос, ибо хаос безобразен, неприятен, вызывает отвращение. Если кто-то скажет, что такое стремление является «основным инстинктом» творческого человека (более глубоким, чем инстинкт разрушения и инстинкт плотской любви), то не буду спорить. Я думаю, что наши побуждения не всё только инстинкты, или содержат в себе сверх них нечто более глубокое и высокое, чем инстинкты природного мира, но даже и инстинкт претворения хаоса в космос не вызывает во мне отторжения.

Понятие *Космоса* как упорядоченности и гармонии (как *расположения слов в наилучшем порядке*), как красоты всего мироздания и его отдельных частей, в том числе Природы и человека – своего рода эстетическая философия мира. Сравним с этим «Учение» о мире, созданном волею Сверхсущества, мире прекрасном уже в Акте творения, где человек хотя и Венец творения (неплохо!), но не только не сподвижник в творчестве, но злой и неуклюжий и неблагодарный ребенок, ЛОМАЮЩИЙ мир, разрушающий и испоганивающий Прекрасный райский сад, изгнанный за это с презрением и ожидающий в «помойке» мира (за счет крайнего самоуменьшения – уничтожения гордыни! – за счет распятия самости) – прощения и восстановления разрушенного им мира). «С грехом (человеческим) в мир пришли смерть и тление (коих изначально не было), и они будут преодолены через искупительную жертву».

Может быть человек (согрешивший) опомнится и исправится, станет *лучше*? И Бог, наконец, его за это простит? Нет, не нужны человеческие добродетели Богу, и даже святость его – тьфу! «Да мои добродетели смердят перед Богом!» – восклицает монах на «Острове» – и это общий рефрен христианства, сочинений о сем я мог бы привести множество, но надоело.

Может быть, человек, раскаявшись, сам начнет исправлять мир к лучшему? Насадит прекрасные деревья, разведет райских птиц, устроит фонтаны и каскады, построит дворцы и беседки? Но нет, на заре христианства даже иконы сжигали слишком ревностные верующие, одевались в рубище, тело изъязвляли язвами, главы свои посыпали пеплом.

Так, может быть, хотя бы книги совершенные должно было им или хотя бы дозволялось писать?

3. Литература как продолжение античности

Ну, что христиане сожгли Александрийскую библиотеку (а после мусульмане доггли и те книги, которые оставались в домах профессоров) – общеизвестно, и ставилось им в упрек, как и гонения на науку, крестовые походы детей, бесчинства пап и сожжение Жанны, и нисколько не остудило пыл верующих и влюбленных (как и ветренность вертихвостки не остужает ее любовников). Любим мы не за что-то, а часто вопреки, так же и веруем. Вот у Батяга нашлись поклонники, призывают сжечь хотя бы один русский город, есть поклонники у Сталина и у Гитлера, и что им Содом и Гоморра, Гулаг и Майданек, было б и вдесятеро, не остановило б их пыл.

Но и философы и математики, и даже писатели и поэты появились позже и среди христиан. Более того, хотя в Священном Писании нет даже слова Культура, говорим мы о культуре Европы как о *христианской культуре*.

Итак, христиане теперь пишут книги, хотя недавно их жгли. Коммунисты тоже избивали образованных и богатых, а потом пошли в университеты, а теперь покупают виллы и яхты, присвоив перед этим леса и доли, нефть и марганец и даже рыбу в морях.

Итак, можно ли стать писателем, будучи христианином, несомненно.

Но можно ли остаться христианином, став писателем?

Один из монахов Оптинской пустыни (не последний среди них) написал Историю Оптинской пустыни и подарил ее настоятелю, за что и был сослан на Соловки. «А тебе это кто-то поручил? А ты спросил благословения у начальствующих? А ты пришел сюда *спасаться* или книги писать?»

Смысл жизни в спасении. Спасаются же верой и молитвой, но отнюдь не делом.

Как спасти Россию, спрашиваю я у товарища, который из писательства перешел в православие. Молиться, отвечает он. И если Господь по нашей молитве сочтет необходимым ее спасти, то она и будет спасена.

И книги он уже не пишет, но молится.

Но писатели и поэты девятнадцатого и начала двадцатого века были крещены во младенчестве, воспитаны в православной традиции, знали Писание и молитвы, ходили в церковь, писали прекрасные стихи «Отцы пустынники и жены непорочны...» и «Я, мать Божия, ныне с молитвою...», или даже поэтические «Избранные места...», более того, были в общении с Богом, или, по крайней мере, кто-нибудь из них уверял, что «и шестикрылый серафим на перепутье мне явился»... второстепенные из них писали душеспасительные книги, комментируя Писание и восхваляя Бога – оставались ли они христианами? А ведь они не были богоборцами, даже Вольтер, богоборцами позже становились тоже только второстепенные писатели.

Пушкин и Лермонтов – великие русские поэты. Можно ли сказать о Пушкине, что он христианский поэт? Даже о Клюеве?

Бабушка Саша Михайлова выкинула в сени его книги (и Есенина в том числе), чтоб избу не паскудили.

Моя племянница, уверовав, выбросила на помойку стихи Даниила Андреева (не говоря уж о моих книгах). Да даже и знание Библии не поощряется среди православных! (Хотя, впрочем, в этом нет ничего удивительного. Не поощрялось же знание Капитала среди советских студентов, и мой кружок по его изучению был – нелегальным! И я был единственным студентом университета, прочитавшим Маркса, Энгельса, Ленина и даже Сталина ДО КОНЦА! И не от чтения антикоммунистов я стал отщепенцем, а от чтения основоположников. И против христианства кое-какие из инвектив я прочитал, уже отпав от него, а не раньше, и оставили они во мне разочарование, в том числе и Ницшевский Антихристианин – апостол Павел умнее и поэтичнее!)

Сомнение в духовном тождестве с христианством вызывают во мне научные воззрения и философские размышления наших великих ученых Павлова и Ухтомского, обогативших нас учениями об Условном рефлексе и Доминанте, казалось бы несомненных христиан. Но нет, приходят на ум Архимед и Евклид, или даже Коперник.

Ну, разумеется, несомненно, что и наука, и математика, и философия и литература восходят к античности и продолжают их.

Кто-нибудь продолжил апостола Павла?

Лютер.

Тщусь и *Азь почти безгрешный* если не в сущности, то хотя бы в безупречности формы продолжить его – но мало нас для утверждения литературной традиции.

(Оставляю в стороне Отцов церкви... о них – в других сочинениях).

Русская литература – начиная даже с "Жития" протопопа Аввакума – религиозная или атеистическая? Можно ли представить Пушкина в церковной лавке рядом с сочинениями богословов? Или кроткого Ремизова? Или хотя бы Иконостас Павла Флоренского? Или хотя бы отца Сергия Булгакова?

В девяностые годы издал я Житие Аввакума и понес его в лавку.

Бывшая комсомолка замахала на меня руками: Мне бы только *на ночь со слезой* Игнатия Брянчанинова почитать! ...а ты тут Протопопа притащил...

Кто хотя бы немножко учился в школе, вспомнит кое-что из истории европейской культуры, и про эпоху Возрождения, и про эпоху Просвещения... и не буду я докучать прописными истинами. Не буду цитировать стихи Пушкина, его из Овидия, Анакреона, Вергилия и других антиков, не буду напоминать «Апулея и Цицерона», которых читали его современники и герои, Гомера и Плутарха ...

Литература преодолела полуторатысячелетний разрыв и продолжилась в точке разрыва.

4. Роман как миф

Культура – это преобразование хаоса в космос. Литературе в этом преобразении принадлежит главенствующая роль.

Первая литературная форма – миф, за ним следует трагедия и, наконец, роман.

Но роман развивается, меняются его формы, жанры, способы исследования и объяснения мира...

В своем многообразии он предстает между двумя полюсами, двумя пределами.

Один из них – это повседневный Дневник человека, далекого от литературы, такой, как записи о погоде: с утра дождь, вечером снег. Сегодня отелилась корова. Луна светила тускло... И так далее...

Такой дневник максимально приближен к жизни, хотя и не совпадает с нею, и даже ее не отображает. Он – тоже не зеркало, о котором мечтал Флобер, надеясь, что литература должна быть таким зеркалом, с которым путник бредет по дороге жизни.

Жизнь – это длительное протекание времени и множество отдельных происшествий в нем. И еще то, что даже не оформлено в происшествия. А Дневник выхватывает отдельные мгновения. Или соединяет их в некое обобщение, например: «Вчера напился...» Но вчера сначала встретились, потом купили вина и закуски... и так далее... и уже потом я напился...

Итак, даже **простейший** Дневник не совпадает с жизнью, а является разделом литературы, хотя и простейшим.

И уж тем более не является жизнью Дневник писателя Достоевского или Наедине с собой Марка Аврелия или Коробы листьев Розанова или мой собственный чистосердечный «Дневник» – Жизнь на краю. Да какое совпадение, если я его переписывал семнадцать раз, иные страницы, то есть события, переставлял, убирал, придумывал, и уже сам не знаю, что было, а на чем успокоилось сердце?!

Три характернейших романа великого столетия: "Мертвые души", "Война и мир", "Братья Карамазовы" – не они ли наши Илиада, Одиссея, Энеида? Три великих эпических полотна, три МИФА *о России на взлете...*

Не мало было романов и в двадцатом столетии, но как они меркли в сравнении с эпосом: "Розой мира" Даниила Андреева, "Народной монархией" Солоневича, "Архипелагом Гулаг" Солженицына – тремя МИФАМИ *о России на излете!*..

Что есть истина? (или что есть правда?)

Задаст ли такой вопрос непосредственная жизнь, спрашивает ли об этом Наташа Ростова, спускающаяся по простыне на свидание, Анна Каренина и Вронский?

Тем более такого вопроса не задает Бог, и ни в священной книге иудеев, ни в мифологии эллинов он не задается.

Эти два народа были охвачены творческой энергией, энергией произрастания и становления, эта энергия и была их истиной.

Вопросы задают философия и литература или их единство, как в России.

Даже Христу этот вопрос задал иноземец, пришлец из античного мира.

Истина – это Я! – ответил Христос.

Но так ли это?

Только философия и литература вправе усомниться, повторить вопрос и искать ответы. Но для этого они должны сначала вырасти из мифа, а затем вернуться к нему и вновь СТАТЬ МИФОМ.

Ибо зеркало не отвечает. Облака отражаются в озерной воде, но в этих отражениях нет облаков.

«Психология народа не может быть понята по его литературе. Литература отражает только отдельные клочки национального быта – и, кроме того, клочки, резко окрашенные в цвет лорнета наблюдателя. ... Всякая литература живет противоречиями жизни, – а не ее нормальными явлениями. Всякая настоящая литература есть литература критическая. В тоталитарных режимах нет критики, но нет и литературы. Литература всегда является кривым зеркалом народной души.» – пишет Солоневич, создавая свой собственный миф «Народной монархии».

Ну разумеется, здание, построенное из кирпичей, содержит истину здания, кирпичи в нем уже не существуют, они – только материя. Если даже жизнь и питает литературу, если даже она и является для нее строительным материалом, то в законченном литературном произведении сырье жизни исчезает, исчезает повседневность, РОМАН становится МИФОМ.

5. «Мир как целое»

Философия стремится понять *мир как целое*, к этому стремились и эллины, так называется и главный философский труд Страхова, в котором название глубокомысленнее содержания.

Религия, политика и идеология стремятся к тому же, достигают они этого просто: в тирании и в тоталитарном мышлении. В тирании земля и небо, народ и правящее сословие упраздняются в личности тирана, ибо «несть власти еще не от Бога», и потому власть становится богом, в религии (которая тоталитарна уже априори) и идеологии господствующее учение подчиняет себе мышление и культуру, превращая их в наложниц своего единственного верного образа мыслей. В период Вселенских соборов, когда происходила выработка Символа веры, сжигали, колесовали, заключали в казематы за разность толкований одного единственного слова, тысячелетняя церковь распалась на две ветви, не согласившись в том, истекает ли Святой дух только из Отца или из Отца и Сына, и Реформация Лютера, подвергнув сомнению непогрешимость папы, привела к созданию принципиально другой Церкви (впрочем, и другой Веры).

Возможно ли это было бы в отношении несогласий о конических сечениях, гладких кривых и равномерной непрерывности?

По христианству мир был создан совершенным, баба же, наслушавшись Змия (посему и названа она «сосудом Дявола»), сорвала плод с Древа, вкусила сама, *дала* (mmm) Адаму, испортив мироздание онтологически, ибо вошли через сие в мир тлен и тление, и настолько глубоко, столь неодолимо, что только жертвуя Своим Сыном, Бог всего сущего мог преодолеть сию порчу. И все же преодолена она в возможности, а действительно – только при конце мира, через Страшный Суд над живыми и мёртвыми.

Мир расколот. Бог и ангелы Его. Дьявол и бесы. Человек.

Что осталось в удел человеку? Только умалить гордыню, смириться, покаяться, умерщвить в себе плоть и жизнь, спать во гробе, «жить аки умереть»... «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак покоритесь Богу... ***Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость – в печаль.*** Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.»

Мир пал, необходимо его исправить, «спасти», для того и продолжается Битва, «дьявол с Богом борются...»

А что же человек? Ему остается место в истории преображения мира?

Нет.

Правда, «но поле битвы – сердца людей!»

Итак, от человека «исправление» мира не зависит никак, и даже от молитвы, покаяния, подвига, святости... Исправится мир Богом в конце времен... говорит в праведном гневном апостол Петр: «тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, ***сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых ... Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.***»

(Но) «нет праведного ни одного; нет понимающего; никто не ищет Бога; все сошлись с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного...»

И это тоже Роман о мире, роман как миф, мало относящийся к действительной жизни, ибо сколько ни гнали Еву, сколь ни злословили, ни бичевали, все так же срывала она яблоко с древа и давала Адаму, и все так же он утешался ею, а праведный мних иступленно в пустыне отгонял дьявольское видение соблазняющих его обнаженных престелниц (святой Иероним).

Но литература в границах такого мира и мифа существовать не могла, ибо дух был подчинен видениям инобытия, пока не ослабел энтузиазм всеобщей (или государственной?) веры. И пока не заменился молитвенный подвиг бичевания плоти строительством светлого будущего, и не потянулись колонны инакомыслящих и просто мыслящих на светлые стройки. Но литература, в казематах на клочках бумаги (как у Даниила Андреева) или только в памяти (как у Шумовского) существовала, ибо при внешней дьявольской несвободе у отдельных сохранялась их внутренняя свобода духа.

Но существовал ли мир как целое?

6. Любовь к ближнему и спасение души

Толстой и Достоевский вознамерились найти идеал нравственного человека, разумеется, чрез евангельскую проповедь *любви к ближнему*.

Сонечка Мармеладова *жертвует* своим целомудрием и честью, чтобы сестры ее могли жить. Князь Мышкин становится идиотом, чтобы... стать равнодушным к деньгам и женщинам. Разумеется, он не отказывается от богатого наследства, даже от Настасьи Филипповны как будто бы не отказывается, только... не может... Странная святость...

Князь Нехлюдов встречает обольщенную им женщину на скамье подсудимых, раскаивается, читает Евангелие и начинает исправляться...

Только надо ли его исправление Богу? Богу нужны Вера, Любовь, самоотвержение, унижение гордыни, отказ от собственной воли.

Существует ли в Новом Завете стремление к тому, чтобы стать *добродетельным* человеком, есть ли в нем правила добра и зла или наставления к добру? Есть ли в нем этика, *учение о нравственном человеке*? Тот мой читатель, который читал Библию, читал Толстого и Достоевского, читал жития святых, на примерах которых мы могли бы учиться, как надо жить, знает, что ни воинский подвиг, ни ревностный труд на благо семьи и общества, ни любовь к Родине, ни гений поэта, ни гений ученого не входят в христианский образ праведного человека.

Великий ученый Ухтомский стоял перед выбором: монастырь или труд? Они были не совместимы (как он пишет об этом). И он избрал труд, был монахом в миру, прославил Россию на ниве науки и праведной жизни – найдем ли мы его в святцах? Или Суворова? Или Пушкина?

О Лермонтове я уж не говорю, гениальный исследователь поэзии, в угоду религиозным оценкам, объявил его поэтом посредственным.

В центре литературы (не говоря уж о поэзии) лежит любовь к женщине (даже у Сафо, даже у Марины Цветаевой – которая, впрочем, пишет и о любви к мужчине); в центре христианского подвига – «лучше мужчине не касаться женщины», ибо высшее состояние человека – *девственность*; брак и рождение детей – только *неизбежное зло*, ибо «лучше человеку быть в браке, нежели “распалаться”», говорит апостол Павел.

Так проповедь ли любви одухотворяет христианство?

Проповедь *другой* любви, любви «людей лунного света», по словам Розанова.

В чем смысл жизни, зачем живет человек, что такое добро и зло – каждый писатель, даже самый неумелый, озабочен этими вопросами – а что же это он не нашел ответов в Книге всех книг? Но он там читает, что смысл жизни в любви к Богу и в отвержении себя и жизни; он там читает, что добродетели даже святого смердят перед Богом, что человек – это гнусная тварь, настолько мерзкая и подлая, настолько насолившая Богу первородным грехом, что и двух тысяч лет покаяния и бичевания плоти и отказа от страстей не хватило еще для прощения.

А *этика* – это учение о том, каким надо быть человеком, как стать хорошим, добродетельным, достойным человеком, *как стать человеком*.

Христианство различает две жизни – жизнь зримую, здешнюю, вот «эту самую», имеющую смысл только как подготовка к жизни вечной, и вечную, подлинную.

Поскольку мы отказываемся от собственной воли, вверяем себя Богу, подчиняясь Ему, поскольку мы рабы Божьи, то и поиски смысла жизни и поиски свободы оказываются в общем-то бессодержательными. Если я добровольный раб, то зачем мне свобода? Если эта жизнь – только подготовка к той, подлинной, то зачем в ней искать что-то еще особенное, затемняющее основу? И, значит, *этика* не нужна, ибо она неотделима и от смысла жизни, и от целеполагания, и от оценок и ценностей. А, значит, не нужна и литература и культура, а ЧТО НУЖНО, исчерпывающе говорится в Новом Завете.

Таким образом, как не ищем мы в христианстве оснований математики или физики или биологии, не ищем астрономии и повествования о солнечной системе и о созвездиях, так не стоит искать в нем и *теории эстетики*.

Но, хотя и не столь очевидно, и повеление возлюбите Бога и стать Его рабом, отвергнуть непосредственную жизнь, временную, во имя грядущей, которая наступит ПОСЛЕ смерти, отринуть вместе с привязанностью к жизни и собственную личность, хотя наряду с этим возлюбите ближнего как самого себя (которого следует разлюбить) – слишком шаткое основание и для учения о нравственной жизни, то есть для этики.

Правда, эта жизнь, являющаяся только предисловием, не вполне бессмысленна, она готовит нас к жизни подлинной, целью ее является *спасение* (собственной) *души*. «Спаси свою душу, – говорит Серафим Саровский, – и тысячи вокруг тебя спасутся». Жертва – кратчайший путь к *спасению*, – но жертвовать собою следует для Бога». Труд на благо общества, забота о детях, защита отечества, *нравственное совершенствование* – о них христианское Учение не говорит.

И все же в конце времен не всем будет дарована жизнь вечная, но только праведникам, а большинство будет ввергнуто словно бы в печь – для мучений или для переплавки, не решаюсь судить окончательно.

Итак, христианство – это учение о первородном грехе и онтологическом повреждении мира, о покаянии и вере как пути к *спасению души*, о Последнем суде над живыми и мертвыми и переходе праведных к жизни вечной в *спасенном мире*.

Этот же мир тоже оказывается временным, падшим, нужна ли ему философия, представляющая его как *целое*, нужна ли ему математика, «внушенная бесами», по утверждению Оригена, нужна ли ему литература? Скорее всего что нет. И это тело – всего лишь временная одежда для души, и этот мир – всего лишь временное для них пристанище.

Доказать ничего нельзя, говорит старец Зосима в "Братьях Карамазовых", но можно проверить.

И опровергнуть нельзя ничего тоже, но можно отвергнуть.

В основе христианского мирочувствия и способа жить, отвергая жизнь, лежит любовь к Богу.

Так же из любви проистекает и наша жизнь, людей Культуры, христиан или коммунистов или буддистов или язычников, не существенно – ибо как ЯЗЫК является основанием для МЕТАнациональности, независимо от этнических различий, и все мы оказываемся людьми русской литературы, если пишем и мыслим и чувствуем на русском языке и его любим, так и творчество ПОДНИМАЕТ нас над идеологическими иллюзиями и мы оказываемся духом и плотью частью общего мира, хотя его и преобразуем.

7. Красота – и "Мир как целое"

Чем является обыденная *жизнь* сравнительно с *хаосом* и *космосом*, начальной и конечной точками истории мира? Она посередине. В норме она хаотична. Частичный порядок в нее вносят Судьба и Воля и Творческая энергия.

В жизни обыденного человека и то и другое и третье имеют значение малое, и он даже не может в горести воскликнуть «*Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум...*», ибо лишен творческой энергии – но, к счастью, это не вся правда и об обыденном человеке, и, возможно, справедливее даже самых малых из нас видит правду Гоголь в Шинели и Достоевский в Бедных людях.

Человек не может вполне выпасть из культуры и остаться наедине только с собой, своей малостью, как и культура не может вполне выпасть из мира и остаться только с собой и только для себя. Не могут они, к счастью, и раствориться окончательно в тотальной иллюзии, лишаящей их высочайшего героического смысла подлинной самости, самопознания и самоутверждения, духовного и нравственного возвышения и «полетов на небо».

Мир начинается как Хаос и становится Космосом. В Трудах и днях Гесиода, возделывающего свой крестьянский огород, благоустроивая его, я вижу это так же ясно, как и в собственном огороде, который освобождаю от мусора в апреле и который становится морем цветов в мае.

Кто освободил от мусора вселенский огород и заставил планеты вращаться по идеальным эллипсам, кто Землю сформировал как эллипсоид, приставил к ней Луну и небесный свод со звездами, единый ли Демиург или множество богов вместе с титанами – не столь важно. Важнее представление о творческой силе, которая преобразует мир от хаоса к космосу, от безобразия к порядку.

И эта «естественная история», в основании которой лежит эстетический принцип, приводит к поразительным результатам.

«Не удивительно, а вполне понятно и общее суждение ранней классики о первом принципе космического устройства. Это – и числа и атомы, и промысл и ум, но также и неразумная природа, и везде даже и судьба...» – говорит Лосев.

И только в таком представлении о вселенной, устройство которой происходит по эстетическому принципу, математика занимает необходимое место. «Числа правят миром», говорит Пифагор – ибо что, кроме *числа*, лежит в основании *порядка*, и что, кроме порядка, лежит в основании *гармонии*? И что, кроме гармонии, может лежать в основании *красоты*?

Вселенский Хаос преобразовали в Космос боги и их Верховный Бог, Демиург, человек не повелевает звездами. Но человеку предназначена важнейшая миссия – *создание вселенной в уме*, и в этой вселенной находится место и числам, и эклиптике, и знакам Зодиака, и коническим сечениям, то есть эллипсам, по которым вращаются планеты, параболам, по которым движется камень пращи, гиперболам, по которым движутся кометы. В этой вселенной числа созидают нотный ряд и звучит музыка хрустальных сфер, окружающих Землю, столпы Геракла подпирают небесный свод на краю Ойкумены, расположение звезд объясняется астрономией и повелевает судьбами человеков.

Гелиоцентрические системы мира были распространены у эллинов, система Птолемея была создана из потребностей более совершенного представления вселенной (то есть из эстетических потребностей) и навязывалась астрономии христианами, и Коперник создал свою систему, в которой в центре космоса поместил солнце, в развитие эллинской мысли, «стоя на плечах великих», как он писал.

Но необходимо было дополнить космос вселенной космосом человека, чтобы продолжить преобразование Хаоса в Космос и в плоти и в духе.

Учение Аристотеля о составе каждой вещи, когда эта последняя обладает *материей, формой, причиной и целью*, поясняет место Культуры во всеобщей истории мира, в которой дело богов уже перешло к человеку.

8. Преображение Хаоса в Космос как важнейшая цель творчества

На обитаемой Земле, Ойкумене, действуют и боги и герои, деятельность их бывает даже разрушительной, как взятие Трои, как разрушение Карфагена – но все же от Гомера до Октавиана Августа равнодействующая всех волей была направлена на преобразование Хаоса в Космос. Миф, трагедия, литература (в широком смысле этого слова, включая и науку и философию) были той наиболее плодотворной нивой, на которой подвизалась Культура.

Роман имеет множество весьма разнородных форм, и готический английский роман имеет мало общего с Красным и черным Стендаля, но все же ощущается даже в воздухе романного сюжета стремление к некому обобщению, к некой квинтэссенции бытия, к тому, что называют эпосом и можно назвать Мифом.

Преображение хаоса в космос – это цель культуры, и это цель романа. Но что именно делает роман романом? Что существеннее всего отличает его от хроники, дневника, докладной Записки, исследования?

Вот что пишет оригинальнейший философ нового времени Ортега-и-Гассет.

«Материал не спасает произведения, как золото, из которого отлита статуя, не придаст ей святости. Произведение искусства в большей степени живо своей формой, а не материалом. Именно структурой, внутренним строением обязано оно исходящему от него тайному очарованию. Это и есть подлинно художественное в произведении, и именно на него должна направить внимание эстетическая и литературная критика.

Кто обладает тонким эстетическим вкусом, всегда заподозрит некий оттенок филистерства в таком рассуждении о картине или литературном произведении, где все решает их "тема". Очевидно, без темы произведений искусства не существует, как нет и жизни без определенных химических процессов. Но как и жизнь не может быть сведена только к ним, а становится жизнью, когда добавляет к химическому процессу изначальную сложность иного порядка, так и произведение искусства заслуживает этого имени, поскольку обладает определенной формальной структурой, которой подчинены материал или тема.

Меня всегда поражало, что даже специалистам стоит огромных усилий признать подлинной сутью искусства форму – для неискушенного взгляда нечто абстрактное и надуманное.»

Тема, содержание, фабула, интрига, форма произведения – чем в этом перечне является ЯЗЫК? Он и подчинен форме, и сам ее творит. Язык Тургенева и Андрея Платонова даже больше, чем форма, он является содержанием. Но тогда почему бы не осмелиться сказать, что в отношении содержания, темы, цели – сама ФОРМА уже является содержанием? Вне ее – ничто, пустота. Простое разговорное сообщение НИЧЕГО не сообщает в романе, пересказать роман невозможно, как пересказать музыку.

К сказанному (а это является общим местом современной эстетической концепции романа, так что иногда хочется его освободить от слишком деспотической подчиненности *форме*), я должен добавить то, что заботит меня как редактора – мои страдания о языке, иссыхающем и засоряющемся как река, в которую сливают сточные воды. Простонародье говорит плохо. Но ведь и писатели ополчились на литературный язык, на язык русской классики, и писатели отстаивают право писать безобразно. Но разве не должны мы быть правдивы? – спрашивают они. Вот и пишем мы так, как говорят на улице и в подворотне, мы передаем "правду жизни".

Литература – это инобытие, это не мусор времени, пусть жизнью толпы и обочины занимаются социологи и продавцы ненужных товаров. Литература – это область духовного творчества, природа в ней преображена, роман стремится к эпосу и мифу. "Война и мир" – это идеальная Россия, какую она должна была быть, с которой себя должна сравнивать реальность, чтобы отыскать в временном вечное.

Какова та или иная замкнутая кривая? Она узнаёт себя, сравниваясь с эллипсом и параболой, вне этих идеальных образцов реальность реальных кривых бессодержательна.

Язык жизни и язык литературы не могут совпадать.

Запишите случайный разговор и сравните с письменной речью, хотя бы и современного писателя. Говорить абы как проще, призвание писателя страшно неудобно, оно требует большой работы.

Почему же нельзя писать так, как говоришь?

Но ведь в магазине вы покупаете обувь и одежду, в которых рукава одинаковой длины, нитки не торчат, швы ровные!

Некоторые авторы требуют ПРАВА писать абы как и сикось накось, возмущаются правилами грамматики. Но знаете ли вы, что, например, в Литве те, кто не сдал экзамен по государственному языку, не получают гражданства? А во многих странах мира есть законы о ЗАЩИТЕ языка. Ведь если есть Красная книга, защищающая животных и растения, то не должно ли общество защищать и свои УСТОИ? А язык – это основание культурного общества. Правда, сегодня в России АНАРХИЯ, подобная Смутному времени, когда на дорогах могли убить за копейку. Надеюсь, это лишь временно, и писатели осознают свою ответственность перед обществом.

9. INTERMEZZO

Несколько дней назад, водружая над дверью в прихожей книжную полку, я сверзился с обеденного стола и плечом попытался пробить пол. Руками упереться я не успел, и теперь управляю левой рукой при помощи правой, а к тому же четвертую ночь не сплю.

Зачем я разбился? – задаю я себе судьбоносный вопрос.

Очевидно, затем, чтобы не спать. В первую ночь ко мне явился апостол Павел, и мы продолжили наш давний спор: он уповал только на Бога и грядущую новую жизнь после смерти, нового человека, новую Землю и новые небеса; я уповал на мой союз с Богом, взаимопонимание и сотворчество в преображении *этого* мира и в явлении Инобытия внутри Бытия. Это звучит странно, но мне совершенно ясно: жизнь продолжается, но возникает *иное состояние духа*, например, человек *влюбился* ... Тогда все – иное, и это не объяснишь не испытывавшему сие, а кто испытал, тот знает.

В четвертую ночь ко мне пришел Гесиод, а перед ним были и Пифагор и Зенон Элейский, Архимед, Аристотель, смеялись музы и играли на лютне, Сократ разливал вино в чаши и приглашал всех к столу.

И я понял: чтобы обосновать смысл творчества и смысл жизни, чтобы исправлять ПУТИ И ДНИ и оправдать их *исправление*, я должен и свою жизнь представить в форме Мифа, и этот миф поставить в обоснование *исправления*.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ЖИЗНЬ КАК МИФ

Воскресенье, 21 апреля 2013, поздний вечер. Злополучная книжная полка, из-за которой я врезался плечом в земную твердь, водружена, книжные стеллажи в квартире установлены, стихи писать я уже перестал, то есть не занимаюсь «Расположением слов в наилучшем порядке!», а расставляю наконец в необходимом порядке книги.

Некоторые просматриваю, с ужасом понимаю, как я отстал в образовании, претендующий быть «учителем учителей».

Кажется, что я проспал полстолетия: пятьдесят лет назад отправился из университета в изгнание с котомкой, в которой лежали Аристотель, Фихте и романтические рассказы Александра Грина, и вот проснулся и переставляю на полках Греческую трагедию, Гераклита Эфесского, Историю античной эстетики Лосева, Античную лирику, Цицерона и Плутарха, Гомера и Гесиода... ах, как мало я знаю, как мало читал должно!

Так смогу ли я, проспавший жизнь, представить ее в форме Мифа?

1. Страсти по роману

«Анну Каренину» я прочитал в одиннадцать лет и, как ни удивительно, все в романе мне было понятно. Тогда же я в первый раз влюбился со страстью, вневещно я влюблялся за год до того, еще в деревне, но мы оба были бесплотные образы, духи, ангелы, и наша любовь была ангельской. А теперь я влюбился, как мне казалось, «по настоящему». Ей было *двенадцать лет*, она была идеально красива, я боялся к ней подойти и заговорить, и только смотрел и мечтал. Она знала, что я в нее влюблен, и при встрече загадочно на меня смотрела и томно улыбалась. Тогда я оценил прелесть любви как мечты, как воображения, как ночных бессонных образов, заменяющих сон.

В следующий раз, сверхчувственно, влюбился я уже когда возмужал, мне было четырнадцать лет, читал я Вешние воды Тургенева, академические издания Дефо и Свифта, но при том и Жюль-Верна, Вальтер-Скотта, Пришвина и Красное и черное Стендаля, сердце мое билось навзрыд. Влюблялся я за год до того и чувственно, когда бежал в Южную Америку, после того как меня изгнали из школы, она жила в таборе, но в табор меня не взяли и я вернулся. Моей любимой было *тринадцать лет*, она была идеально красива, я боялся к ней подойти и заговорить, и только смотрел и мечтал. Она поняла, что я влюблен, при встрече загадочно на меня посмотрела, томно улыбнулась и пошла вперед в вихре снежинок, временами оглядываясь.

Да, здесь необходимо сделать паузу и объясниться. Дело в том что то, что я пишу, не является чистосердечным признанием и даже не может квалифицироваться как показания свидетеля. *Да, ходит рядом со мною (или даже во мне), некто, и все записывает, но там, я уверен, ни слова правды.*

Признаюсь, что я женат. И ... да... это меняет дело... Еще следовательно в

70-м году передавал моей жене некие записки, но моя жена еще умнее меня, к тому же почти святая, иначе как бы она могла ужиться с поэтом и философом вместе, к тому же подчас математиком? Да еще и читать мои сочинения, в которых содержится черт его знает что! Вот Наталья Николаевна стихов своего мужа не читала, и ей жилось спокойнее. Впрочем, тогдашняя власть не сажала Александра Сергеевича трижды в острог, помогала печатать (а из меня не напечатала даже строчки, исключая Записки о духовной свободе тиражом в один экземпляр по ветхой рукописи для нужд следствия).

Да, необходимо объясниться и с ревнителями нравственности, не только веры. Дело в том, что я не был знаком с Набоковым, из книг его прочитал Защиту Лужина (но там все про шахматы), что-то еще по ночам с машинописных листов торопясь до утра, как и все то, что нынче свободно, включая Розу мира, но никто не читает, спасибо советской власти!). Да, так вот, безнравственную книгу его я не читал, даже не видел и в руках не держал, но вместе со всем православным народом... а что моя героиня еще молода, так и все мы тогда были молоды, не то что теперь.

О том, как я влюбился в свою ученицу, из-за чего она получила двойку по математике и ей пришлось бежать... нет, не в табор, всего лишь в другую школу, я писать не буду, и о том, что она набирала мои сочинения на компьютере... впрочем, она писала и рецензии на мои сочинения:

«Опять эту чепуху пишешь, я даже читать не стала...»

Высокопарно, звучит как: *слава! слава, слава мне!*

Длинно.

Напыщенно.

Некрасиво.

Это было, хватит!

Самовлюбленно.

Ужасно!

По детски...

За-му-чил!»

Но для инквизиции добавляю: хотя мы и гуляли по городу, но не целовались ни разу, и только один раз мама закрыла ее на замок, не отпуская со мной гулять...

Тогда я читал «Письма к Стелле» Джонатана Свифта, очаровательные письма Тургенева ирландской читательнице, Письма Цезаря из Галлии (ей было *двенадцать лет*, но он ни разу с нею не целовался, вопреки развращающимся тогдашним нравам).

2. Страсти по роману. Отбеливание льна

Пятьдесят лет назад я влюбился, *она* уже была совершеннолетня. Но – у меня начался *роман с христианством*, и я начал *бороться с страстями*. Они кипели, а я их заливал всем чем мог, иногда даже водкой.

В моду входили капроновые чулки и мини-юбки, *ей* я разрешал только плотные носки из ситца или не знаю из чего там еще, и юбки до пят.

Другим девушкам я тоже отравлял жизнь (а я встречался и с другими), запрещая целоваться не только с собой, но и с другими.

Разумеется, центральной идеей моего романа было *спасение души* (тогда я еще не пытался *спасти мир*); поскольку моя собственная душа была уже спасена (как я думал), то задача состояла в спасении *её* души.

Мы встречались, ссорились, мирились, НЕ целовались, я писал роман, дьявол пытался меня погубить, соблазнить, совратить, искривить мой путь. Тут вдруг напечатали Булгакова Мастера и Маргариту с купюрами, я удивился, что можно с религиозными исканиями совмещать любовь к женщине, с трудом удержался *на краю*, но *она* почувствовала мои колебания, хотя мы уже не встречались, и приехала ко мне домой: а я работал в школе... да, кстати, мои прекрасные и очаровательные писательницы, которых благосклонная судьба разрешила мне редактировать и для которых я и пишу сии Записки редактора! – знаете ли вы, что не только история, но и жизнь повторяется, и я счастлив второй раз в жизни?! Тогда я пытался своим ученикам (и ученицам!!!) объяснить смысл и назначение математики, её красоту и всеобщность, сегодня буду повествовать о *назначении романа* – в следующей главе – и счастлив и упоён! Вы полагаете, что предыдущие одиннадцать глав – это некое исследование, посвященное тому, как надо писать и редактировать? – НЕТ! Это предисловие к любви. Что она такое, я все еще не знаю, но если я признаюсь вам, что я ЛЮБЛЮ вас, всяких, и гениальных (впрочем, вы все гениальны) и скромных и не чрезмерно – поверьте мне! Даже если вы не будете изучать математику, я буду вас любить!

Итак, *она* приехала, я снимал квартиру, мы остались одни, темной осенней ночью. Мы пили вино, вспоминали наши встречи и разговоры (а бегали друг за другом мы уже три года), наконец опьянели.

Мы уже съели яблоко, и *были уже на краю гибели*, и только с неимоверным трудом удержался я *на краю*, повторяя как молитву Крейцерову сонату графа Толстого.

Но мой спор не закончен, ни с ним (а как он относился к женщинам – ужасно!!! – он рассказал сам, когда пилил в Хамовниках дрова с молодым Вернадским), ни с апостолом Павлом.

И здесь – пусть читатель меня простит, – я приведу обширную выдержку из своих «Записок на пальме» из той части, что об апостоле.

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.»

[Возвышенные дифирамбы, восхищающие читателя; кажется, лучше о любви уже не скажешь, и сказано о ней – всё. Однако, обратившись к собственному опыту, с изумлением убеждаемся, что большая часть того, что

знаем мы о любви, противоречит стихам поэмы. Все, кто испытал страсть, кто был отвергнут, оставлен, кто сомневался, надеялся, мечтал, жаждал, отчаивался и ненавидел (а разве в некоторых случаях ненависть – не любовь?)... а главное, все, кто был коварно обманут, не согласится с описанием любви, данным апостолом. Мы спрашиваем – да любил ли он когда-нибудь? – и ответ очевиден. Даже Джульетта любила иначе, и о ней нельзя сказать, что ее любовь "долготерпит"; а уж Отелло, Ставрогин, Настасья Филипповна и Анна Каренина – любили совсем по другому, чем о том пишет апостол Павел. В чудном романе Стендаля "Красное и черное" описана нежнейшая любовь – но даже она не похожа на поэтический вымысел идеолога христианства. Конечно, христиане скажут, что апостол описал *истинную любовь*, а в мировой культуре (как и в действительной жизни) представлена любовь *неистинная* – но я уже полвека слышу похожие заклинания защитников социализма, что вопреки тотальному большевистскому террору замысел Платона, Кампанеллы, Томаса Мора, Фурье и Маркса – "светлое будущее всего человечества", а большевистский террор – *неудачное воплощение* истинного замысла.

А другие возразят мне, что Павел говорит о духовной любви, а я привожу примеры любви эротической, связывающей (или разъединяющей) мужчину и женщину. Но где он встречал примеры этой духовной любви? Может быть, в любви отцовской или сыновней, уже и в его время известной по трагедиям о царе Эдипе, а в поздние времена известной нам по трагедиям Шекспира, например, по трагедии "Гамлет"? Или именно эта любовь заставляла правоверных христиан всех времен и народов выдавать замуж или женить влюбленных детей вопреки их воле, ибо *послушание* детей апостол поставил выше *любви*; заставляла несчастных жен и мужей мучиться в браке, не основанном на любви (ибо ни разу апостол за время своего проповедничества не сказал, что основанием брака должна быть *любовь*), но «соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены» или «а вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем.» Или путеводительно в любви мужчины и женщины (в браке или вне брака... впрочем, согласно апостолу, всё, что вне брака – блуд) наставление: «каждый из вас да любит свою жену как самого себя; а жена да *боится* своего мужа!»? Нет, эти слова – не о любви!

Или путеводительно в любви детей и родителей наставление: «дети, *повинуйтесь* своим родителям. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших?»

Итак, оглядываясь на свою жизнь, и на свой опыт – не худший, чем у ревностных учеников апостола Павла, избегающих *плотской* любви; испытав жалость, сострадание, симпатию, страсть, дружбу, влечение, нежность, верность и неверность, ревность, раскаянье, заботу, преданность долгу, утешение, радость и страдание – и это всё принадлежало любви – вижу, что любовь, которую я знаю, не известна апостолам, а любовь, о которой они пишут – бесплотна и иллюзорна. *А я лучше худших, даже лучшие многих; более того, я не намного хуже тех немногих, которые вне упреков.*

Или апостол имел в виду любовь человека к Богу? Но это не любовь, а

страх Божий, или сознание ничтожества перед Богом – но где одни почитают себя ничтожными, другие любви не знают.

Или апостол пишет о любви Бога к человеку? – так перечтите Книгу Иова, которого Бог лишил имущества, жены и детей, и самого одел в струпья, чтобы проверить его любовь – возможно ли, чтобы мать, дабы проверить любовь дочери, вовлекла ее в нищету, болезнь, одиночество? Нет, Бог человека не любит!]

8-10. «Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.

Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.»

11-13. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.»

[Одни из самых проникновенных слов апостола. И так как мы оба «видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно», то я продолжу свой спор с ним, и когда встанем «лицом к лицу», тогда мы узнаем, кто из нас прав.]

Отбеливание льна, роман о СПАСЕНИИ ДУШИ, был уже почти написан. В полном соответствии с его пафосом я удержался на краю соблазна, но святым стать мне не удалось. Не укорял я себя, не посыпал голову пеплом, не бичевал плоть, но несчастному роману досталось больше всех: Я ЕГО СЖЕГ! Даже и листка не осталось, даже и пепел пропал, *даже в самом дальнем, самом пыльном ящичке стола даже воспоминаний* о нем не осталось (как сказала позже одна из моих учениц о мне самом).

3. Страсти по роману. Метафизика любви

После сего новые страсти вскипали в моей душе, я писал стихи, бегал за красотками, пытался к ним «клеиться» (как о сем вспоминает в девятой главе одна из тех бывших), но души их я уже спасти не пытался, ибо и собственная моя душа *замутилась*.

«Роман моей жизни» я пытался продолжить, еще два писал и сжигал, оставалось от него только название, но идея его была уже иной: СПАСЕНИЕ МИРА.

С формулой-заклинанием Достоевского я не спорил, только полагал, что красоту на спасение мира надо подвигнуть, для того должны придти самоотверженные романтики, да и их тоже подвигать надо, а к этому призван я, ибо еще шестилетнему являлся мне Ангел и повелевал жить в ожидании великого призвания.

Но мои упования были цельны, мир, Россия, женщина, Бог во мне не разделялись, женщину я любил как богиню, Россию как женщину, а мир и Бог соединялись в единое целое в том Космосе, душой которого, как полагал Диоген, является Бог, а благоустроенная вселенная – Его телесной оболочкой.

Никто не спорит, что почти все имеет и душу и тело, то есть устроено как человек, а значит, существуют два вида знания и проявления: физическое и метафизическое. Точно так же и в любви. Есть любовь физическая (хотя иные полагают, что в такой любви – любви нет) и метафизическая. Ну а иногда пытаемся мы их соединить в одно.

По-видимому, апостол Павел и его последователи верили только в любовь метафизическую, сторонясь от физической как чуриковцы от вина, и даже женщину любили как ближнего, а родных сторонились больше чем учеников, ибо сказал Христос: кто мои родные? Это только мои ученики! – а я еще не дошел до края, хотя и написал о "Жизни на краю" целую книгу, посему судьёю быть не могу. В своей уже не короткой жизни, о которой я, правда, когда-то сказал: «и жизнь, короткая как всхлип» я стремился ко всякому, даже, не поверите, стремился к богатству и славе, так что ничто человеческое мне не чуждо, приставал и я к девушкам, но, вероятно, так робко, что они – как потом признавались сами – понять моих приставаний не смели тоже.

Но вне литературы я объяснить ничего не сумею, поэтому вернемся мы к ней.

Иным кажется, что писатель отталкивается от житейской действительности, отражая или преображая ее в романе. В особенности, когда жизнь обращается в прах, в плоть романа преображается она вернее. Но следует помнить (а позднее я об этом еще напомним), что роман отличается от жизни так же, как космос от хаоса, из которого он как будто бы происходит (если не помнить о руководящей идее такого преобразования, которая не находится в хаосе и не извлекается из него, как и идея романа не извлекается из действительной – точнее, протекающей в беспорядке – жизни).

Меньше задумываются о том, что гораздо точнее и **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЕЕ** жизнь копирует роман, и лишний человек появляется сначала в романе (у Пушкина и у Лермонтова), а затем в жизни, и Гаврош, и Козетта, и роковая и порочная, но почти святая женщина, и «честный вор».

Я об этом не только знал, но и проповедовал.

Вот почему и в теперешних Записках, вместо того чтобы совсем умолчать о самом себе, я создаю о себе МИФ.

Зачем?

Затем, чтобы совпали посылки и выводы, чтобы роман, как важнейшая форма литературного творчества, поднялся над необработанной сырой жизнью, стал для нее небом, чтобы и Редактор предстоял не в своем обыденном качестве обыденного человека, а находился среди богов, титанов и героев.

Но при этом был изваян не из бронзы, а из житейского мусора, был и он и я. И чтобы почти ничто из человеческого было и мне не чуждо, ибо иначе я не увижу и не пойму ВОСХОЖДЕНИЕ от мусора жизни к идеальным образам. Ибо литература – это не слепок с богов, а история восхождения.

Создание мифа тем проще, что я уже по этому пути шел не единожды, я постоянно пытался сначала писать роман о своей жизни, а затем старался жить как в романе.

Следует напомнить, что термин Метафизика введен не Аристотелем. Когда ученики Аристотеля приводили в порядок его сочинения, то 14 книг с рассуждениями о первых причинах, оставшиеся после учителя в недоработанном виде, были помещены после трактатов о физике и обозначены, как следующие за *физическими – метата физика*), их-то и обозначили как Метафизику. И затем употребляли термин как синоним слова философия.

Метафизика любви – то есть *Философия любви* – сочинения Шопенгауэра и Гильдебранда.

Метафизикой любви я назвал собрание своих сочинений, посвященных любви, придавая термину МЕТА смысл НАД, СВЕРХ, то есть имея в виду рассказы и стихи о любви, воспаряющей НАД житейской физической любовью, таким образом моя метафизика вовсе не философия, а «романтика» любви, и «философствую» я случайно, либо возражая вульгарным подростковым инвективам, сводящим любовь к физиологии, либо Фреиду, либо марксистским философам, либо апостолу Павлу.

Однако, меня ожидал и литературный и мистический провал. Стихи мои даже редкие мои читатели определяют как перепевы романтиков 19-го столетия, а любовную прозу – как слишком наивную, уместную для двенадцатилетних школьников. Тогда я попытался превратить письма, которые я писал девушкам, тем, с которыми дружил, и тем, в которых влюблялся, в третью книгу своей Метафизики, назвав ее «Побег из времени». Она меня измучила больше, чем все девушки, которые меня когда-либо мучили. И я их всех простил. Я простил математику, которая тоже меня мучила, еще почище девиц. Я простил следователей. Простил некоторых судей и прокуроров. Осталось теперь сжечь и эту книгу.

Но прежде, чем сжечь, попробовал я ее представить в сравнении с ее антиподом, *физикой любви*. Таких, конечно, текстов, которые подлинно относятся к физике, у меня, разумеется, нет, но работой по их изготовлению и собиранию (намекы, полунамекы, прикосновения, нескромные взгляды, затаенные помыслы и прикровенные вымыслы) я занялся.

Результат оказался плачевен. До озорных рассказов Бальзака не дано подняться никому, не поднялся, конечно, и я. Поэтому вчера я собрал листы, листочки, записки, дискетки, распечатки, добавил к ним бересты и поджег. Горела моя ФИЗИКА изумительно.

А завтра пойду сжигать Побег из времени. Хотя это и метафизика, но отчасти присутствует в ней реальность, и она портит книгу так, как злополучное яблоко испортило мир и райский сад.

4. Страсти по роману. Второе Отбеливание льна

Разочаровавшись в реальности, тем более доверился я воображению и поэтическому вымыслу, и то, о чем теперь буду писать, находится за кулисами театра. Спектакль идет на сцене. Действительность на улице и в зрительном зале. За кулисами – граница между вымыслом и реальностью. Такова же бывает граница сна и яви. Хлопают двери, проходят тени, слышны голоса. Или это продолжается жизнь, или уже наступил сон?

Казалось бы, не все ли равно, во сне или наяву разговариваю я с Гесиодом и музой Поэзии, друзья меня не отправят в «сиротский дом», службе Безопасности тоже пока не до них. Но ведь я связан семейными узами, и мои домашние иногда меня читают. Если красивые девушки шляются по ночам к неженатым поэтам, то это в порядке вещей. Но я ведь женат! Поэтому-то и прибегаю к фигурам неопределенности, как в квантовой физике: или известно положение распутного электрона, или куда намылился, но вместе сие не известно, и схватить его за руку невозможно.

Итак, наступили большие ночи конца апреля.

Когда мне уже стало невозможно, и даже разговоры о философии не могли утешить, я начал вспоминать... Вдруг скрипнула дверь. Я всмотрелся в темноту. Это была *она*, я догадался по еле уловимому дыханию и легкому аромату березовых почек.

– Ты уже начал писать роман обо мне?

– Да, мое солнышко, только не торопи, я хочу, чтобы это был совершенный роман, как и ты сама.

Познакомились мы в учреждении. Она заполняла на меня анкету. Других посетителей не было, нужно было меня измерить и взвесить, она вышла из-за стойки и приложила ко мне рулетку. Потом потащила к компьютеру, в его загадочном мерцании бежали числа, кажется, они должны были управлять если не миром, то мною.

Она почти прислонилась ко мне и я почувствовал, что потеряю сознание.

– Скажите мне, только честно: есть ли у меня хоть один шанс?

– Нету, ни одного.

– Точно?

– Абсолютно!

– Значит, это Вы! Я давно ищу девушку, в которую хочу влюбиться, но необходимо, чтобы моя любовь была безнадежна! Я утратил вкус к жизни, и подумал, не отправиться ли мне в абсолютно безнадежное предприятие, например, на покорение Джомолунгмы или пешком на Южный полюс? Но то или другое требует денег, а у меня их нет. Так Вы точно знаете, что у меня нет шансов?

Она взяла меня за руку и подвела к большому зеркалу. Даже рядом со мною ее красота не меркла.

– Да, это Вы! Я согласен, у меня шансов нет. Я не пойду на Южный полюс, я буду ухаживать за Вами, это так же безнадежно...

– ...и намного дешевле? – засмеялась она. Потом посмотрела на меня пристальнее. Моя решимость ее немного смутила.

– Знаете что? Я ошиблась. Это не я. Я Вам не подхожу. Я теперь увидела, что у Вас все же есть шансы меня покорить.

– Нет, коварная, решение уже принято. Я уже отправился в путь.

– И как же Вы надеетесь меня покорить?

– Я напишу о Вас роман.

– Но тогда надо, чтобы в героине все узнавали меня. Пусть даже и имя у нее будет мое.

Разумеется, я хитрил. Романы уже я больше не пишу, я их разучился писать и устал. Но у меня ведь есть мой бесконечный роман, который я трижды сжигал, Отбеливание льна? Изменяю имя героини и выдаю его за роман о моей новой «ВОЗЛЮБЛЕННОЙ».

И вот она пришла узнать, как подвигается дело с романом. А я вдруг с ужасом понял, что я забыл, как ее зовут. Тогда я стал припоминать имя героини романа, но оказалось, что я забыл и его.

Снова скрипнула дверь, в комнате никого не было.

Я осторожно встал и включил компьютер. Вот папка «Отбеливание льна», в ней две папки «новый вариант» и «старые варианты». Открыв нужный файл, я увидел, что кроме названия в нем ничего нет. Тогда я открыл папку с старыми вариантами – увы, в ней не было ни одного файла. И даже имя героини я позабыл! Роман мой безвозвратно пропал.

5. Подпольщик

В деревушке, где я родился, крестьяне читать почти не умели, да им было и некогда. Читать умел наш учитель, но он тоже был занят, он учил школьников читать, но почти безуспешно. А я читать умел, я выучился чтению самостоятельно, перелистывая букварь. Дело было в марте, сверкало ярко солнце, был полдень, на чтение букваря у меня ушло не более часа. Тогда я взялся за старые газеты и начал вслух читать их.

А по воскресеньям в правлении колхоза собирали народ на политическую информацию, кто-то должен был читать вслух газеты и их комментировать. Вот так и случилось, что пришлось заниматься этим мне, за что мне начисляли трудодень. После газет я взялся читать сочинения усатого вождя всех народов (других книг почти не было), и они мне понравились, написаны были просто и доходчиво, семилетний мальчишка их легко понимал.

Потом вождь умер, все ждали потрясений, в воображении я представлял, как собираю партизанские отряды и с несметной ратью иду на Москву. Скорее всего, во мне прорастал образ бывшего Самозванца. Но знакомые девочки боялись войти в образ Марины Мнишек, и Москву я не взял.

В двенадцать лет я болел (впрочем, я болел всегда), лежал в больнице и читал сочинения другого вождя, «первого сокола» (а в школе я пел песню о двух соколах ясных).

Странно, но и теперь помню, что я согласился и с Развитием капитализма в России и с необходимостью пролетарской революции, но за крестьян, которые представляли в изображении вождя какими-то слишком реакционными (а они и слова такого не знали), я обиделся. Они прекрасно пели, а пролетарии (с которыми потом я столкнулся в городе) пели плохо.

Капитал Маркса начал изучать я на первом курсе, для этого мы создали подпольный кружок, собирались в полночь, закрывались в фотокомнате и шепотом спорили. Энгельс на меня произвел удручающее впечатление, его этюды о происхождении семьи были газетными заметками, которые он писал по поводу прогремевшей тогда книги Моргана «Древнее общество». Эту книгу я купил и прочитал, и она была гораздо умнее.

Правда, все известные дикие общества (или, как говорят, первобытные, *до-государственные*) представляли собою остатки каких либо цивилизаций и государств, и этнографы это показали на примере самых диких африканских племен. Вглядываясь вглубь времени, мы находим там нечто более загадочное и развитое, чем в настоящем, и миф об Атлантиде (была она или нет) превосходная тому иллюстрация. То же и в жизни личности. Детство оказывается таинственнее и непостижимее зрелости. И богаче идеями.

После Маркса настало время Библии. Я ходил по общежитию, останавливал красивых девочек и пугал концом света. Впрочем, утешал я их, если они будут слушаться меня, то конец света мы встретим вместе.

Однажды я приподнялся, мне нужно было постирать рубашку, и ночью я спустился в подвальное помещение, где располагалась прачечная. Я включил свет и из бочки поднялся Диоген двадцатого столетия. Он оказал на меня затем большое влияние, но Истину найти мне не удалось и через него.

Потом меня изгнали из университета (но вскоре простили. Преподаватели меня почему-то любили и всегда тайно защищали, как позже защищал следователь.) Через несколько лет посадили в тюрьму, я написал маленькую брошюру о Духовном освобождении. Правда, если бы тогда не посадили большевики, сегодня посадили бы государственные клерикалы. Правда, жизнь еще не окончилась.

Но я не хочу сказать, что мои невзгоды были СЛЕДСТВИЕМ разнообразных причин, заключенных во мне или в том мире, которого имманентной частью был я. Они были не ИЗ-ЗА, а ДЛЯ.

Из школы меня исключали трижды: разве я уже тогда был подпольщиком? Нет, это каждый раз требовалось каким-то таинственным замыслом моей судьбы, хотя я еще и не знаю, каким. Перед выпускными экзаменами я был «репрессирован» вообще не за политику, я целовался с студенткой-практиканткой, присланной на практику в нашу школу. И в университете я учился какими-то клочками, странно, что окончил и даже был на хорошем счету, и даже почти написал диссертацию. Но необходимо было прервать ровный ход жизни, и вмешались необходимые силы, которые служили не только государству.

Вот так же, размышляя о Русской революции, я задаю вопрос не только о том, почему она случилась, но гораздо чаще: ЗАЧЕМ?

Этот разгром России, эта сатанинская ночь после таких вершин духа, как в девятнадцатом веке, эти пытки и казни, уничтожение книг и их авторов, СНИЖЕНИЕ интеллекта, духа, нравственности и красоты – неужели все это бесцельно?

6. Подполье

Марксистский взгляд на жизнь человечества как на *хозяйственную* жизнь, из которой уже вытекает все остальное, даже брак (мужчине нужна бесплатная рабочая сила, говорит Маркс), соблазнил умы не только простотой мировоззрения (а это тоже важно, обывателю необходимо иметь взгляд на мир, который ему понятно все объясняет), но и... там многое, за этим И, кое о чем я писал, а многое мне так и осталось непонятно.

Да, в отличие от создателей философских и религиозных систем, УЛОВЛЯЮЩИХ мироздание и бытие в свои сети, я не только не создал собственной системы, но не ответил на большинство вопросов, которые себе задавал в течение жизни. С этим связано и мое невежество, кажется, непростительное для человека, претендующего учить и исправлять: а я учил и пытался исправить и школьников, когда был учителем, и теперь писателей, когда стал редактором, и всегда пытался исправить я МИР, ибо всегда я был «революционером-подпольщиком». Я не строил баррикады, но я ушел от мира в свое подполье, очень похожее на подполье Достоевского, только тот рисует подпольщика как человека почти злобного, эгоистичного (Достоевский нахлебался своей революционности и теперь ему все революционеры казались бесами, он стал соглашателем и защитником реакции), я же, мне кажется, всегда был человеком мягким. Правительство я считал оккупационным, и то и это, поэтому был отщепенцем и сидел в подполье. Но я писал книги, а что их не печатают и не читают, не моя вина.

Так *зачем* я не стал образованным филологом, историком, философом?

Я догадываюсь, *зачем*.

Великие мыслители увлекают и подчиняют, очень легко подпасть под обаяние и убедительность их мировоззренческой системы, и очень трудно от нее освободиться. Ими поглощаешься как женщиной, наступает некое затмение, НАВАЖДЕНИЕ (у Всеволода Соловьева), то, что Есенин отделил в поэтической формуле: Кто сгорел, того не подожжешь.

Или я горел не в полную силу? Нет, кажется, загорался я всегда до безумия, до всесожжения... но вот пожар стихал, из пепла опять показывались обугленные душа и тело, и покрывались кожей, и пускали побеги и листочки, и готовили силы для нового пожара.

Духовная свобода – вот был лейтмотив моей жизни – и он противоречил тоталитарным учениям, ибо те стремятся поработить человека, как и верхивостки, и верных и любящих погубить, а неверным отдался. Благоденствовали же только прохвосты при большевиках и при папах.

Я же пришел (если я в самом деле пришел) и к отстающему школьнику и к выдающемуся, и к крестьянину и к интеллигенту, и к забуддыге в деревенской канаве и к профессору математики. Вот для этого я должен быть образованным невеждой, невежественным умником.

Только Карла и Павла я изучил глубоко, только марксизм и христианство вошли в мою плоть и кровь, эти две секты одной национальной религии, но зато и отдирали я их вместе с кожей, да и не отодрали до конца.

Других же я изучал поверхностно.

Изучив Канта, я стал бы кантианцем, Гегеля – гегельянцем, сейчас охмурил бы студентов в университете.

Но всеобщий упрек мне – в легкомысленности, даже в безнравственности: о чем бы я ни писал, мимо верхивостки не прохожу. К счастью, могу я сослаться на авторитет известного философа Сартра, на заседании Национального Собрания заявившего: Да что за пустые речи! Все о финансах да о политике, и ни слова о том, что всего важнее – ни слова о бабах!

Сегодня во многом переломное время, меняются взгляды и пристрастия, и не только легализуются разбой и самопродажа, но опадают и ветхие пути с умов и душ, меняются взгляды на культуру и, в частности, на литературу.

Зачем нужно болото (не почему оно образуется, а – ЗАЧЕМ нужно?) После сильного пожара, когда выгорает тайга на сотни верст, прогорает земля, семена и корневища, и, кажется, на тысячу лет будет все только гарь и дым, на краю болота и на островках посреди него поднимаются молодые елочки и сосенки, ветер разносит их семена в обгоревшую тайгу, и вдруг через пятьдесят лет, приезжая в родные края, с удивлением видишь могучий бор на месте пустыни.

Вот так из земли раскопали античные статуи, в арабских переводах отыскали Гераклита и Диогена, а в России, где две области духа представляли собою самый унылый пустырь скудоумия: философия и литературоведение, на обочинах официальной мысли отыскались подпольщики и отщепенцы, и выяснилось, что и литература жива, и жива философия литературы. Значит, не зря и я и другие мои «собутыльники», вместо того, чтобы развивать единственно верное учение, пили вино и бегали за вертихвостками, в болоте и в подполье сохраняя способность мыслить. Впрочем, *новому поколению не понять, под какой тяжелой могильной плитой мы лежали.*

7. Учебник математики

Итак, *жизнь как преобразование хаоса в космос*, взывающая к эстетическому принципу вместо экономического, логического и этического, предоставляет новые возможности культуре. Она из «служанки» становится если не госпожой, то занимает равноправное положение в доме.

Человек будущего, пожелавший основать на этих принципах жизнь, будет стремиться не к прибыли и богатству, а начнет строить прекрасные дороги, очищать русские леса, восстанавливать города, возрождать театр, очистит поле и засеет его ячменем и рожью, гречихой и овсом, разрушит ненужные бетонные изгороди на реках и освободит реки и затопленные города, очистит воду и воздух... словом, *спасет мир*. В том ли смысле, в котором это понимал Достоевский и христианское учение, мы скоро увидим.

А я – скромный преподаватель математики, обратился к той области Космоса, в которой был отчасти сведущ, то есть к математике. В последние полстолетия преподавание ее в России было плохо, прилежание к ней из-за того иссякло, школьники и студенты стонали и клялись ее ненавидеть.

Но не математика была виною, а тот неряшливый язык, на котором были написаны ее учебники. Вот почему взялся я за создание собственной "Азбуки высшей математики", и открыл в математике для себя еще и неизвестные мне красоты, и научился говорить и мыслить, и увидел, что воистину числам принадлежит важная роль в управлении миром.

Писал я ее десять лет, время от времени печатал четыре экземпляра, сокрушался, переписывал, вставлял новые разделы – никто не покупал и не брал даже даром, чтобы читать. Но однажды случилось чудо. В университете, в старинном Петровском зале, проходили концерты Ансамбля старинных инструментов, на лютне и флейте, клавесине и скрипке играли красотки-

студенточки, и я обычно приносил и дарил им свои книги. И вдруг появляется их руководитель, К--чи, и спрашивает: А мне?

– Увы, уже все раздал, остался вот только учебник математики.

– Ну, тогда давай учебник!

Прошел год, снова был концерт, и я, подойдя к К--чи, спросил: Вы меня еще помните? Я Вам год назад давал учебник математики, а теперь вот принес стихи.

– Представьте себе, не только помню, но даже Ваш учебник стоит у меня весь год на столе, и я в него время от времени заглядываю. А удивительное состоит в том, что меня с уроков математики изгнали еще в девятом классе, и с тех пор математику я не изучал...

(А удивительное еще состоит и в том, что я потом подарил ему «Музыкальную Боззиану» и «Греческие музыкальные рукописи», изданные мною).

Надеюсь, уместно теперь привести стихотворение, посвященное концертам в Петровском зале, и соединяющее в единое целое музыку, любовь, гармонию.

Машеньке В.

Болящий дух врачует песнопенье

Купаюсь в звуках. О, как сладко
Пить вдохновенные аккорды!
И ждать в порядке беспорядка,
И взгляд ловить альтистки гордой.

Так что́ мне ближе? Звуки, взгляды,
Движенье рук ли, губ движенье?
Но даже сердце биться радо,
Так вдохновенно песнопенье!

Неужто вправду дух болящий
Врачуют чудные напевы?
Направо лютня, альт налево,
Кларнет, гобой – четыре девы,
И серафим, им предстоящий.

Зал внемлет звукам. Кто украдкой
Смахнет слезу, вздохнет чуть слышно.
Но взгляд твой – выше всех порядков,
И даже музыки – превыше!

8. Гордыня. Intermezzo

Вторник, 23 апреля, поздний вечер. Не спал почти до утра, болело плечо и все остальное. Великие греки не приходили, даже чтобы утешить, да и правы, утешить может только женщина – она и утешала, хотя только письменно (удивительно, но письмо из Эллады пришло так скоро), но если бы не она, я бы расплакался от боли, хотя и неприлично философу.

В физике явления связываются как причина и следствие, вопрос ЗАЧЕМ

не уместен, ибо одно явление порождает другое, и надо спрашивать ПОЧЕМУ, и только в метафизике – а ею оказывается всякая жизнь – связь явлений происходит иначе, философ прибывает полку, чтобы разбить себе плечо и задуматься о ничтожности и бренности своего существования. Прости меня, Господи, за самомнение, за гордыню, за дерзость познания мира, за то, что не ограничился я зажженным свечи и коленапреклонением в храме, а размышляю, читаю книги, в слезах и тоске созерцаю подлость и пошлость окружающей жизни, особенно среди тех, кого Ты вознес на вершины богатства и власти... и дерзко ищу пути ее исправления...

Вот видишь, я уже почти раскаялся, я уже готов отказаться от преображения мира, только бы ушла эта боль!

Но неужели Ты счастлив, Господи, смиряя меня и порицая мою философию этим единственным древним способом – страхом и болью? Особенно страхом смерти? Вот так же и Жанна готова была от себя отречься в пыточной камере, и все же взойшла на костер несломленной.

Мир – это великая книга, ибо и «в начале было слово», и в конце его творения тоже – и все таки, разве не нужен Редактор? Разве все запятые на месте? Или тире? И в том ли порядке слова?

Один автор обиделся на меня за то, что я убрал в слове «серебрянНый» лишнее «н», он собирался подать на меня в суд. Неужели, Господи, и Ты уподобишься этому смешному автору и подашь на меня в суд Инквизиции? Или уже идет следствие, и разбитое плечо – довод в нашем споре?

9. Жизнь как хаос и Преодоление

Человек путешествующий скорее согласится со мной, так как он временно поставлен сбоку от жизни и может ее правильнее разглядеть. В путешествии есть почти все, что есть и в художественном произведении: есть последовательность событий, объединенных некоторой общей идеей, *замыслом*. Есть завязка – вероятно, покупка билета, развязка – встреча на вокзале с друзьями, есть кульминация: например, наступило утро третьего дня, я уже мчу по холмам Красноярского края, вечером буду в Тайшете. Возможен и конфликт – с соседями, проводником, с чашкой горячего чая, выскальзывающей из рук. Идея путешествия может быть заключена в нем самом, а может его метафизически превосходить: я еду на поиски деревни, в которой родился, и которая не существует не только на карте, но и предметно.

Но целая жизнь – не путешествие. Если ее завязка – рождение, то развязка слишком трагична, чтобы о ней теперь стоило говорить, когда мне и без того плохо. К тому же, как правило, в целой жизни не может существовать конфликт, обнимающий ее в целом. И может ли существовать у целой жизни цель? И есть ли у нее, в таком случае, смысл?

Вот поэтому я и пытаюсь превратить свою жизнь в роман или в миф (что одно и то же), и мучаюсь с моим романом даже больше, чем с жизнью. Не в этом ли пафос писательского труда? Не тем ли заняты и мои собратья, пытающиеся убежать от хаоса жизни в космос романа, и вопреки современной европейской литературной традиции не превращающие творчество даже в игру – «Игру в бисер» Гессе?!

Непосредственная жизнь бесцельна и хаотична, игрой она бывает только в детстве... но она бывает и чем угодно в уклонении от самой себя, и даже в самом чудовищном уклонении она вдруг приобретает форму литературного произведения – не доказывает ли это, что в своей подлинности, непосредственности она чистый хаос?

Она может быть болезнью: Святые мощи Тургенева. Наркоманией: ненаписанный рассказ о «Джюльетте», дочери профессора, в которую я был влюблен, и встретил в Пулкове на остановке автобуса просящей подаяние. Игрой и манией: Пиковая дама, Игрок. Побегом из неволи: Три дня майора Пугачева Варлама Шаламова. Подвигом: Жизнь Жанны Д*Арк. Страстью: Ромео и Джульетта. Местью: Граф Монте-Кристо ...

Но из обыденной жизни человек выпадает и словно стремится к смерти или его туда тянет водоворот.

Он может погибнуть или вернуться в жизнь, когда закончится буря, но романом она является только во время бури, когда обыденное течение событий, обыденные житейские повседневные цели прекращаются или становятся незначительными: "Капитанская дочка", "Война и мир", "Преступление и наказание", "Идиот", "Собор Парижской богоматери", "Тристан и Изольда", "Дама с камелиями", "Сиверсия".

Можно ли говорить всерьез о соотносительности литературы и (нормальной) жизни, если в них различно главное: роман стягивает события в пружину, *изменяет время* (и об этом еще предстоит разговор), в центре событий ставит столкновение (конфликт) или взлет (кульминацию) и их течение подчиняет сюжету и цели. Но: *«Жизнь бессюжетна. В ней простое чередование ночей и дней, расцвета и увяданья.»* говорит поэт.

А великий поэт горестно добавляет: *«Цели нет передо мною...»*

Уж если у него нет цели, так нам ли, возможно, не великим, спешить суету мелких целей объявлять истинною целью жизни?!

Жизнь наполнена невзгодами, радостями, встречами и расставаниями, иногда влюбленностями (у самых неблагонамеренных, таких как я; у благонамеренных даже незаконных влюбленностей нет), болезнями, своими и детей и близких, может быть, карьерой, постоянной работой и, как правило, неблагодарностью общества, изгоняющего продуктивных ученых, чтобы освободить место (примерами полнится университетский мир).

Предполагается, что «литература описывает жизнь» – ЗАЧЕМ?

Непосредственная жизнь хаотична – этот горький диагноз справедлив для жизни последних поколений. Что-то случилось в начале того столетия, не сразу, но из жизни оказался вынут некий стержень, который, по-видимому, из бытия созидал инобытие. В конце столетия жизнь лишилась духовного основания, выветрились скрепляющие ее ценности. Хаос стал царствовать.

Разве я философствую? Нет, все это я вычитал из романа Елены Лобановой «Фамильные ценности», и хотя вокруг меня ничего не изменилось, надежда прорастает в сердце. Конечно, литература – это не жизнь, она – *преодоление хаоса*. Но и жизнь – не только хаос, ибо и литература, и философия, и баррикады и подполье, и вертихвостики даже – усилие преодоления.

10. Миссия и юдоль

Среда, 23 апреля, утро. Спал плохо, но плечо болело не так мучительно, «гордыня» во мне встрепенулась, и я продолжаю творение мифа.

Не всякая жизнь – хаос. Иною она предстает у пророка, поэта, выдающегося ученого и писателя. В них словно две жизни, одна – зримая, другая – незримая.

Если жизнь природы – это последовательность следствий, и единственный вопрос, который уместно о ней задавать: ПОЧЕМУ, то в жизни события чаще отвечают на вопрос: ЗАЧЕМ? Ибо события совершаются, повинувшись не только внешним причинам, но и нашей собственной воле. В особенности это справедливо для жизни поэта.

Даже смерть ему повинувается, и о смерти Пушкина, Лермонтова, Есенина и Маяковского справедливее спросить, *зачем* они умерли, словно и причина смерти повиновалась их воле.

Роман их жизни был дописан. Выстрел – восклицательный знак!

Пушкин и Лермонтов оставили нам недосказанное, боясь и не желая сказать слишком много. *Ну, хватит с тебя!* – словно бы сказала им муза, – оставь для других глоток вдохновения, которого я тебе налила слишком щедро.

У них – две жизни, внешняя жизнь менее существенна, все главное заключено в том, что внутри и что преобразилось в стихи и в прозу и даже в журнальные заметки. А произведения их творчества созидают законченный Космос и, возможно, отвечают на все вопросы, которые они задавали себе и Богу.

Мне музы наливали не так щедро, и все же я вижу, что сама последовательность моих сочинений определяет СЮЖЕТ, которому подчиняется в той или иной степени даже непосредственная жизнь.

"Отбеливание льна" я так и не написал, трижды сжег, наконец безвозвратно последний текст исчез из компьютера – и все таки я пытался свою жизнь *отбелить*, как моя бабушка ее отбелила своим трудом. Нет, не смердят ее добродетели перед Господом, а сияют, а христианские святые пусть отвечают лишь за себя. Возможно, у них было слишком много грехов, так что не хватило и жизни, чтобы от них очиститься.

Не так уж плох и я сам.

Во-первых, еще шестилетнему дед Зеленок предсказал мне «исполнение миссии», и так это в моей деревне и знали и верят еще до сих пор.

Во-вторых, уже когда я сам разуверился, явились мне знаки, что надо еще не терять веры в мое особое предназначение.

Позвонила женщина, которая последней родилась в той вскоре исчезнувшей деревне, и придя к моим друзьям и семейным, рассказала, что видела она меня один раз, когда ей было шесть лет, а мне семнадцать. Родители взяли ее с собою, идя со мною проститься: я уезжал из Сибири продолжить учение.

Придя в комнату, освещенную солнцем, рассказала она, я увидела юношу поразительной красоты, а вокруг головы у него был нимб.

И хотя другие нимба не видели, но что мне предстоит великое будущее – верили, и ныне два ее дяди читают мои книги и призывают не падать духом.

А та жестокая, которая восклицала «За-му-чил!», а далее «Пощади читателя, не надо столько прекраснотушия, сократи его до одной страницы», все же однажды написала «Ты – великий писатель, не опускай руки!»

У каждого писателя есть *миссия*, и каждому выпадает *юдоль*. Но миссию не осуществить, борясь поминутно с гордыней, писатель должен верить в свое предназначение. Другое дело, что могут пройти десятилетия, прежде чем «прорежется голос». Господи, если «изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды», то сколько же страданий и слез требует КНИГА! Но нет другого способа писать хорошо, кроме страдания.

А тут привередливый редактор. Строгий издатель.

И «враги человеку домашние его», как говорил Спаситель, и что Наталье Николаевне до стихов ее мужа, когда нужны наряды для бала! (Но все же я верю Лермонтову, который ее оправдал «в мненьях света».)

Кстати, памятья Краевского, писатель не должен слишком доверять редактору, себе он должен доверять больше.

11. Редактирование мира

В семь лет я прочел «Жизнь Коперника» и монографию об издателе и редакторе Николае Полевом, и решил стать астрономом и редактором. Сначала учился я на астронома, хотя им не стал, потом, в 90-е годы, стал редактором и издавал журнал МЭра, не учась. Потом и в нулевые годы издавал и редактировал два журнала и, наконец, словно вернулся в школу, но за партами сидят учителя.

Строгий ли я учитель? Перечитываю некоторые свои Заметки на полях рукописей и вижу, что временами я бываю даже жесток.

Учитель должен любить своих учеников – всех. Я редактируемых авторов люблю не всех. Но зато я умею читать и видеть, и я вижу, что ВСЕ пишущие выделяются из массы говорящих: у всех есть воображение и мысль. И все стремятся (за редкими исключениями) улучшить этот мир. Значит, все они – мои собратья, то есть тоже редакторы мира.

Но что же тогда важнее: Спасение души и ожидание Страшного суда, когда Бог откроет нам новую Землю и новое Небо, или уже теперь работа по преобразению хаоса в космос?

Писатель по характеру своего труда и творчества (как и крестьянин) не может быть до конца христианином: если мир был хорошо и правильно создан, то надо бы только собирать плоды, а не вспахивать землю; надо бы только петь псалмы и молиться, а не сочинять романы. Но раз уж мы сие совершаем, то не должны заслужить упрека Создателя, что делаем мы это плохо. И прежде всего, должен быть совершенным язык. Остальное, как ни странно, приложится.

И должна быть вера в свое высокое предназначение.

И тогда (быть может) мир спасет красота.

12. Путь к совершенству

Некий человек, искусный в стрельбе из лука, которого знающие его называли "*Несравненным среди стрелков, но ищущим и духовного возвышения*", встретил в скитаниях своих Будду.

– Совершенный! – обратился он к нему. – Прошу тебя дать мне совет – как достичь духовного возвышения?

– Ты видишь дерево на вершине горы?

– Да, учитель.

– На вершине дерева сидит коршун. Когда ты сможешь поразить его в глаз, ты достигнешь духовного возвышения.

Стрелок из лука натянул тетиву, стрела запела и упала у подножия горы.

– Ты идешь по правильному пути, – заметил Будда. – Продолжай совершенствоваться в стрельбе из лука, и через десять лет приходи ко мне снова.

По прошествии десяти лет они вновь встретились, и в этот раз стрела упала у подножия дерева.

– Успехи твои несомненны, мой ученик. Еще через десять лет ты будешь близок к цели.

По прошествии следующих десяти лет к воротам обителя, где остановился Будда, усталый и изможденный подошел пожилой лучник.

– Продолжал ли ты совершенствоваться в стрельбе, сын мой?

– О, да, Учитель, неустанно, с утра до полуночи. Но руки мои ослабели, и я уже не всегда могу натянуть тетиву!

– Но продолжал ли ты стрелять из лука хотя бы мысленно?

– О, да, Учитель, неустанно, с утра до полуночи. Мысль моя все так же решительна и упруга, и настигает коршуна, прежде чем успевает взлететь он с дерева.

Затем старый лучник распрямил свои некогда могучие плечи, вложил золотую стрелу в углубление и медленно начал натягивать тетиву. Глаза его видели уже плохо, и гора возвышалась перед ним неясными очертаниями. Где-то на вершине ее с трудом угадывалось дряхлое дерево, и на вершине его сидел, нахохлившись, старый коршун.

– Лети! – мысленно приказал лучник коршуну, и коршун сорвался с дерева, теряя высоту, но у самой земли взмахнул крылами, теплая струя воздуха его подхватила, и понесла к пролетающему над горою облаку.

Солнце стремительно падало за окаём, но в этот же миг и стрела запела, рассекая воздух золотым лучом.

– Прости меня, Совершенный, я плохо справился со своей задачей. Руки мои неповорны, и глаза видят плохо, поэтому только перо на хвосте у старого коршуна заденет моя стрела.

Спрятал улыбку Будда.

– Отдохни от трудов, сын мой! Завтра нас ждет еще иная дорога, а где завершенье ее, даже я сам не знаю.

13. Не слишком верьте и мне

«Кто прямо ходит, тот дома не ночует!» – часто говорила моя мама в ответ на прямолинейные поучения истин. И меня в них разуверяла жизнь постоянно. Потому-то осторожно примеряю я к себе чужие советы. Редко даю советы сам. Да и мало что могу посоветовать.

Если я знаю, как *надо* писать романы, почему же не напишу лучший роман? (Хотя, кажется, один роман я написал.) Если я знаю, как надо жить, почему ничего не достиг? Или есть нечто более важное, чем достижения?

Да, вот это единственное я знаю несомненно.

Смогу ли я чему-нибудь научить вас, мои доверчивые читатели, я не уверен, но по крайней мере я вас не испорчу, потому что не решаюсь с апломбом проповедовать ложные или поверхностные ответы на важнейшие вопросы истории и культуры. Я не думаю, что надо *любить* всех "*ближних*" или что их надо любить одинаково, иначе не было бы несравненного романа "Война и мир". Я не верю, что *блаженны нищие духом*, иначе не явился бы шестикрылый серафим к томимому духовной жаждой. И я сомневаюсь еще и в других несомненных истинах.

Писатель, без сомнения, должен быть образованным человеком, но не всегда полезно помнить все, что знаешь, знание тяготит не только знающего, но и его собеседника. Не это ли имел в виду умнейший Пушкин, когда говорил, что "поэзия должна быть глуповата"? Если вам показалось, что я знаю больше других, не верьте, умение кстати ссылаться на чужие мнения не признак образованности. К тому же я дружил с людьми подлинно знающими и выдавать себя за одного из них я постеснялся бы.

Правда, я, возможно, умнее Сократа. Он уверял, что знает, что ничего не знает, а я не уверен даже в этом.

Конечно, писатель подобен обольстителю, пытающемуся обольстить доверчивую слушательницу, и я не исключение – буду ли я искренен до конца? Я сознался только в том, что женат, большого взы от меня не дождетесь. Но это не значит, что я не правдив. Только если я стремлюсь превратить себя в миф, то и правда моя будет *мифологична*.

Литература не подчиняется рациональным законам, прочитав «Эстетику» Аристотеля или «Историю античной эстетики» Лосева, вы еще (или уже) не сумеете написать роман. Разве я вспоминаю, целуясь с девушкой, как надо целоваться? (А вот, кстати, прибавление к мифу обо мне самом: я еще, оказывается... да, возможно... но при необходимости я от этого откажусь.)

Я, как вода, умею еще принимать разнообразные формы. Поэтому моим собеседникам удобно и в три и в девяносто лет, хотя я не слишком общителен – писатель должен быть сосредоточен в себе (впрочем... не знаю...).

И хотя я стараюсь произвести впечатление на читателя, но никогда перед ним не буду заискивать. Заботиться о читателе, предусматривать его впечатление – худшее, что можно сделать. «Пишу для себя, а печатаю для денег», – говорил Пушкин. И далее: "Зависеть от царя, зависеть от народа – Не все ли нам равно?" Писатель – не актер, чтобы угождать зрителю.

Правда, эти Записки я бы уже не писал, если бы три верных их не читали.

Вот теперь миф обо мне полон.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ СМЫСЛ ЛИТЕРАТУРЫ

Отступление от правил.

Четверг, 25 апреля. Вы, мои писатели-читатели, возможно, думаете: вот баловень судьбы, читает наши талантливые произведения да еще получает за это деньги, да еще и мы принуждены читать его рассуждения и иногда глупости и на всякий случай их восхвалять.

И это отчасти правда, действительно, я увлечен и разговором с вами, и счастлив редкими отзывами, иногда даже чрезмерно горячими – и все же я тоже несчастлив. Те же проблемы, что и у вас: читатели единичны, широкого читателя нет, нет не то чтобы славы, нет признания, нет и литературных откликов (помимо частных, в переписке) – все, как у вас. Ну а вы сочувствуете ли другим авторам, особенно исследователям литературы, филологам, которых читатель романов даже не открывает, и которым вообще неизвестно на что надо надеяться? А я читаю теперь книгу В. Котельникова «Что есть истина», блестящего филолога, и страдаю, что ни у него, ни у Лосева, ни у античных философов уже не будет того признания, что в совершенном девятнадцатом столетии. Прочтите же кого-нибудь из них, вот сегодня, и, может быть, судьба смилостивится ко всем нам в благодарности за жертву.

Ну а читатели... Я думал об этом немало, возможно, я вас утешу, как и себя. Для этого надо понять, в чем *смысл литературы*, зачем мы пишем, и вы и я, оправдано ли наше творчество независимо от того, есть у нас читатели или их нет...

К чему человек стремится, что он заявляет, даже самому себе – и к чему его несет попутный или противоборствующий ветер судьбы – не обязательно совпадает, а часто и вовсе разнится. Так и в литературе. Зачем и что человек пытается написать и что в конечном счете ему удастся написать, тоже часто не совпадает. Многие хорошие книги написаны без всяких указаний литературных критиков и философов, но все же без культурной основы значительные явления литературы как правило не возникают, а может быть и вовсе не возникают.

Надо представлять из себя значительную личность, но надо и иметь образование и культурный багаж.

Впрочем, действительно ли важны рассуждения о литературе критиков, писателей, философов? Вот кто-то меня прочитает и начнет писать лучше? Нет, не думаю. Тогда зачем я пишу?

Возможно, я отвечу на этот вопрос, размышляя о том, зачем МЫ пишем. И, возможно, я пишу только сам для себя, для того, чтобы понять, так ли я живу, так ли я пишу... А будут ли меня читать и зачем? Надо ли об этом думать? Смысл литературы, смысл творчества, смысл жизни... Чувствую, что это краткое введение в главу, посвященную философии литературы, запутало и меня самого...

1. Нужна ли литературе философия?

Воскресенье, 28 апреля. А обязательно ли отвечать на всякий вопрос? Вот девушки умнее, их спрашиваешь: ты меня любишь? – улыбаются, краснеют, вздыхают, понимай как хочешь. Так для того ли задается вопрос, чтобы на него непременно ответить, а не для того ли, чаще всего, чтобы по его поводу поговорить? Ну, например, спрашиваешь сам себя, надо ли жить, и отвечаешь со вздохом, что, возможно, уже и давно не надо, но умирать – еще страшнее.

Необходимы ли птице крылья? Чтобы летать, разумеется, необходимы. А надо ли птице летать? Ммм, не знаю, что и ответить, вот курица не летает и ничего, неплохо живёт.

Нужна ли вообще философия? Нужна ли литература?

Многие убеждены, что не нужна и опера (так, в частности, думал Толстой), и симфоническая музыка, и многое другое, без чего мне жить еще хуже (а монахи уверены, что не нужны вертихвостки).

Немало сегодня тех, кому не нужна Россия (среди родившихся в ней) и русский язык или, по крайней мере, кто полагает, что не нужно о них заботиться, оберегать, стремиться к их совершенству, а пусть абы как, хоть в канаве с Ельциным пьяным в обнимку.

Вот так же когда-то размышлял я о том, нужно ли изучать математику, и тоже пришел к выводу, что доказать почти ничего нельзя за ее пределами, но всякое положение внутри математики можно доказать или опровергнуть, или доказать, что его доказать нельзя, или хотя бы еще надеяться, что когда-нибудь мы все же узнаем правду. Но никто не проповедует что угодно, и даже модная ныне теория о возникновении вселенной в результате изначального Взрыва, в начале которого не было даже Того, кто нажал на кнопку, к математике отношения не имеет, а только к римскому Папе.

Есть люди, занимающиеся исследованием математических проблем, они иногда обмениваются результатами, хвастаются успехами, и либо согласно и радостно кивают вдруг головами, либо разводят руками, найдя ошибку в представленных вычислениях, но никто не кричит, сам, мол, дурак, и никогда о верности и неверности не возникает *двух* мнений.

Даже для этого стоило выдумать математику, ибо во всех других областях человеческого познания, опыта, деятельности согласия практически не существует. Даже между женой и мужем. И только изредка наступает иногда такая минута, когда сердца бьются почти одинаково, когда наполняет восторг от того, что говорит или пишет *другой*. Может быть для этого и стоит писать, чтобы кто-то, пусть даже единственный, пусть даже сам автор, остановился вдруг в изумлении и воскликнул: *остановись, мгновение, ты прекрасно!*

Только в детстве в деревне я испытывал такое единение душ, когда одинаково бились сердца, например, при скирдовании сена, когда надвигалась от горизонта туча и нужно было успеть сухое сено сложить в большой плотный стог. А после этого собирались работники за столом и выпивали первую рюмку и дружно погружали деревянные ложки в миску с похлебкой. И потом пели народные песни, русские, малороссийские, белорусские...

Так что нужно ли то и другое и третье – такой вопрос задавать нелепо, если не все с ответом согласны, посему я ничего не буду доказывать, я только буду *подпевать* в обществе собеседников, которым нравится думать, читать, рассуждать и писать умные книги, и которые радуются, что их товарищам удалось высказать или написать нечто глубокое и прекрасное.

В широком смысле этого слова к литературе относятся и художественные произведения, и рассуждения в связи с их чтением, и похвалы в адрес авторов, и их жизнеописания, и всяческая философия тоже, и даже иногда математика, как ни покажется это странно.

Но я не говорю о том, как надо или не надо писать романы, надо ли учиться писать их. Скорее всего, только выдающиеся образцы классических произведений могут нас чему-либо научить. Если и не читал юный Лермонтов Эстетики Аристотеля, то он читал Гомера и Пушкина, и этого было достаточно.

Я бы уже перестал писать дальше, если бы не хотел уяснить, что такое литература, что такое философия, *как они соотносятся с жизнью*. Вот это важно именно мне, а почему важно, быть может, я сумею объяснить хотя бы к концу затянувшихся уже, кажется, Записок.

2. Литература и жизнь

Либо литература описывает жизнь, либо объясняет, либо ставит перед собою задачу просветить и воспитать народ, *пробудить в нем добрые чувства*, а через это повлиять и на жизнь.

Но, кажется, жизнь течет сама по себе, а литература – сама по себе, и если уж философ сомневается в том, что бесконечность стихийной жизни определяет собою литературу, то усомниться во влиянии литературных рек на океан народной жизни гораздо естественнее.

Мы до сих пор не можем понять, что и как влияет на погоду. Конечно, именно солнце светит и греет, и даже я не скажу, что это не так. Но одно и то же солнце висит над землею в иркутский полдень в середине февраля, когда трещат от мороза могучие лиственницы, расцветает миндаль в Пекине и изнывают от жары рикши на улицах Калькутты. Этот огонь греет всех весьма не одинаково, а теперь ученые говорят, что еще сильнее влияют на погоду солнечные пятна, а французы знают, что их благодатный климат обязан Гольфстриму.

И все же не Земля согревает солнце, а оно растапливает на ней снег и лед и разгоняет тучи, так не естественнее ли предполагать, что литература вырастает из жизни как растения из почвы?

И все же если отношение к жизни даже одного человека не всегда возможно определить, и один и тот же поэт по разному его оценивает, то как определить отношение к жизни столь неоднородного целого (и целого ли?) как литература, в которой тысячи литератур, тысячи стилей, эпох, народов, творцов?

Вот Александр I. Кто он?

«Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славою»

или:

«Он человек! им властвует мгновенье. Он раб молвы, сомнений и страстей; Простим ему неправое гоненье: Он взял Париж, он основал Лицей.»

Так что уж говорить о литературе?

Отражение в зеркале? Философия жизни? Единственный подлинный учитель? Вдохновенный ваятель, из сырой глины жизни вылепляющий высокие творения?

Дневник останавливает и *собирает* хаос жизни, роман его *переплавляет*. Хаос жизни почти бесконечен, никакой самый обширный Дневник не может представить даже ничтожную часть ее, и никогда по добросовестному дневнику мы не сможем судить о жизни в целом, поэтому без строгого пристрастного ОТБОРА дневник почти то же самое, что раскапываемые археологами кучи древнего мусора.

Помимо хаоса происшествий, которые и в единичной жизни составляют бесконечность, само множество людей не поддается описанию. Поэтому и возникла теория Типов и Типического, в которой конкретные личности представлялись как собирательные образы, теряя, правда, при этом свою индивидуальность.

Литература, таким образом, сближалась с философией и наукой, в которых тоже действуют не индивидуальные частные герои и явления, а *всеобщее* и абстрактное. С этой точки зрения и Наташа Ростова и князь Мышкин – не реальные люди, а обобщенные образы, своего рода среднестатистические не подлинно живые фигуры. Однако в романе только неповторимость, индивидуальность характера придает ему своеобразие, *тип* – ходулен и неинтересен.

Тождество в математике, например $a + b = b + a$ выражает всеобщее свойство (всегда и при всех обстоятельствах), *уравнение* – особенное, единичное происшествие.

Так что же представляет нам жизнь полнее и глубже – *всеобщее*, в котором «Сотри случайные черты – И ты увидишь: мир прекрасен», или индивидуальное, в котором, возможно, все ТОЛЬКО случайно?

Разрешить эту проблему в рамках привычных представлений, в которых субъект противостоит объекту, а литература (и культура в целом) противостоит жизни, так что они чуть ли не «два берега» и даже не у одной реки – невозможно.

Вот что пишет современный философ Н. П. Ильин о русском поэте и философе Аполлоне Григорьеве:

«Подлинная жизнь, как ее понимал Григорьев, достигает своей полноты только в связи с *человеческой* мыслью, рефлексией, философией. <...> Григорьев писал Погодину в марте 1858 г.: "... только во мне есть полнота какого-то особенного учения, которое вовсе не исключительно, как славянофильство, то есть *не теория*, не поставленная наперед тема, а философия и жизнь".

Философия и жизнь – сочетание этих понятий для Григорьева, естественно, не случайно; в определенном смысле можно сказать, что философия для него – особая "форма жизни", новая, более высокая ступень в развитии жизни. Ступень, на которой начинается познание и самопознание.»

Естественная жизнь, *жизнь сама по себе*, жизнь как последовательность случайных и неслучайных происшествий в физическом времени, хроносе, не является источником литературы, между ними не возникает коллизии учителя и ученика, матерьяла и творца.

Правда, в известном смысле почти физически чувствуешь, что *жизнь* – это глина, которую мнет рука скульптора, поле, которое пашет крестьянин, окно, через которое смотрят художник и философ в мир – но нет отдельно ни «вещи в себе» ни «вещи для нас», ни жизни как причины для размышления ни размышления как причины для жизни. Мысль, чувство, действие и составляют жизнь, входят в нее как ее органическая неотрывная часть.

Внешнее или внутреннее изображает художник и философ? И то и другое. Заимствует ли он у жизни ее сюжеты, ее характеры, ее положения? В той же степени, в которой и жизнь заимствует их у нее. Когда писателя упрекают в том, что изображенное им не существует в «действительности», он может возразить, что большая часть *действительного* не существует в литературе. Но как только глубокий образ входит в литературу, он становится фактом жизни, сколь бы странен он ни был, как Алиса у Кэрролла или Гулливер у Свифта, как Акакий Акакиевич у Гоголя и Идиот у Достоевского.

Описывает ли литература жизнь, *объясняет*, ставит перед собою задачу просветить и воспитать народ, *пробудить в нем добрые чувства*, а через это повлиять и на жизнь? – и то и другое и третье. Культура преобразует хаос в космос, но некая жестокая и злая сила противостоит культуре и разрушает благие результаты нашего творчества, преобразая космос в хаос. Жаль, что в иные эпохи мы терпим поражение – но тем большая ответственность за будущее языка и культуры лежит на нас.

И все таки сказанным не исчерпываются взаимоотношения литературы и жизни. Так ведь и семья – это и жена и муж, и дети и родители – все вместе, но все же они существуют и порознь. Литература – *неотделимая часть жизни*, как философия, как религия, как «война и мир» – и сама не меньше жизни, если подчас и не больше, поэтому мы и пишем, пока живем.

Может быть, потому возникла идея о двух противостоящих отделенных мирах, что она заимствована из взгляда натуралиста, наблюдающего за жизнью природы. Но философ и писатель созерцают все в целом, они созерцают самих себя даже больше, чем то, что вне. Таков же и крестьянин, он никогда не бывает только как субъект и индивидуум, он мыслит и чувствует, но его мышление заключено в языке, а чувствование определяется культурой: разве полинезийский дикарь и русский крестьянин чувствуют на неком общем уровне под-сознания, под-культуры? Да и все сколько-нибудь значительное в жизни индивидуума – часть общего, и рождение, и свадьба, и праздники, и приметы быта, и «война и мир». Песни на гулянках, молитва в церкви, исправление подковы в кузнице, способ пахать и сеять, пословицы и

поговорки, сны и их толкование. Правда, герои романа разнятся по тому, в какой степени входят в их личность язык и культура, в пределе герой бессловесен и почти вне литературы как Квазимодо или совпадает с личностью поэта, писателя, философа, так что его жизнью и является его поэзия как у Пушкина и у Лермонтова, так что и переписка, и встречи с друзьями, и вся «частная жизнь» – тоже часть их литературы.

Но теперь остается сделать последнее умозаключение: писатель пересоздает сырую жизнь, преображает ее. Если не в отдельных произведениях, то в своем творчестве в целом он занят созиданием вместо временной неверной случайной хаотичной бесцельной *непосредственной* жизни (существующей тоже только условно) жизни подлинной, духовной, подчиненной сюжету, цели, смыслу. Он не ищет смысл в протекающей независимо от его воли внешней жизни, он ВНОСИТ его в нее, он ОСМЫСЛЯЕТ жизнь (как и всякий писатель и нефилософ тоже, но в меньшей степени).

Но это не вся правда, ВСЮ ПРАВДУ я только предчувствую, до края ее я дойду на краю своего собственного творчества, когда уже будет поздно.

3. Математика как компас философии

Среди множества разнообразных кривых, предстоящих зрению, может быть только окружность узнаваема «непосредственно», без математики. Представление о других кривых мы получаем из математики. Мы их не находим среди разводов на морском прибрежном песке, в краях облаков, в фигурах птиц и деревьев. Что математика заимствует свое содержание из окружающей жизни, так же наивно, как представление о том, что Земля покоится на четырех китах. Уже образ конуса сформирован в уме. Затем математик рассекает его плоскостью, и в сечении образуются эллипс, парабола и гипербола. А затем, после глубоких рассуждений, эти кривые находятся в мире как идеальные, предельные образы существующих движений, в частности, стрела могла лететь по параболе, если бы ее полету не препятствовал воздух.

Мир подчиняется математическим отношениям только в своих идеальных образах, поэтому школьник изучает формулу «идеального» газа, уравнение падения в пустоте (а падаем мы всегда среди чего-нибудь более плотного), решает задачу «трех тел» в астрономии (и трех душ в любовных неурядицах), вычисляет площади и объемы идеальных геометрических фигур.

Но ничего житейского, подлинного в математику и не входит, тем не менее она создает для них предел и границу, образец, лекал, идеальную форму, которой жизнь принуждается следовать, если она хочет себя опознать. Так и написание букв у всех разное, но от индивидуальных почерков глаз отвлекается, фиксируя в них общее.

Литературные типы – это параболы и гиперболы геометрии или общее решение дифференциальных уравнений; индивидуальный характер, «лица необщее выражение» – это *особое решение* таких уравнений.

Особым решением среди безликой толпы, среди марксовых классов и народных «масс», среди массовой культуры и перемешивания языков,

этносов, рас, границ и производств оказывается самобытный писатель. Но математика поражает тем, что и она игнорирует всеобщее, сосредоточившись на исследовании предела, точки разрыва, перегиба, на экстремуме и изломе гладких кривых, на асимптоте и огибающей – и никто не смеет ей возразить. Таков и всякий глубокий ум и таков гениальный писатель (а задатки гения есть у всякого, самонадеянно взявшегося за перо, надо только не избегать страданий). Поэтому кто может указать ему, о чем и как надо писать? И для чего?

4. Истина. Жизнь и литература

Истину мы ищем либо в религии, либо в идеологии, философии, литературе. Или в самой жизни.

Истина религии как Откровения либо находится в ней самой непосредственно, либо привносится Богом через избранных, *духовенна*. Идеологическая истина хотя и не имеет божественного происхождения, но по своей несомненности, запрету критики почти неотличима от истины религиозной.

Истины философии и литературы более уязвимы, менее самоуверенны, никто из писателей не осмеливается сказать: *истина в моих творениях*, даже я.

Более того, в течение тысячелетий господствовал взгляд, что свою истинность литература почерпает у жизни, хотя и было очевидно, что даже великая математика только умозрительна, и уравнение эллипса не выводится из измерений кривых окружающей жизни, и теорема Пифагора не доказывается ссылками на действительные измерения действительных треугольников, хотя бы и близких к прямоугольным.

Художественный метод, исходящий из «жизни как она есть», принято называть *реализмом*, и мы воспитаны в пиэте к нему. Но приведу несколько цитат из прекрасной книги В. А. Котельникова «Что есть истина?»

«... мысль, ориентированная на действительность как на единственно сущее в бытии, толкует истинность литературного высказывания как «правду жизни» в ее реалистическом изложении...»

Но «строгий реалист может в совершенстве знать, судить, изображать жизнь "как она есть", но... не может *понимать* ее в полном смысловом объеме, не может определить, насколько она *истинна, добра, прекрасна* в абсолютном исчислении, если *понимание* разумеет как владение трансцендентными действительности смыслами и способность соотносить ее с ними.»

«Если акт художественного самопознания и самовыражения действительности – это акт реалистического творчества, то акт *понимания* действительности – акт творчества идеалистического.»

Литература обречена в своем творческом методе, в своем вспахивании бытия соединять и перепахивать религию, философию, жизнь, личность автора и его мечты и поступки, надежды и мысли. Она строит свой собственный мир, ОТДЕЛЬНО от жизни, и при строительстве по интуиции и разумению художника использует все методы и все матерьялы, которые

доступны строителю. Результатом строительства может быть только шалаш или скит, а может быть и целый мир, лучший, чем тот, который создан Творцом. Или мы представляем Творца только как самовлюбленного учителя, не мечтающего и не стремящегося к тому, чтобы ученик превзошел Его? Тогда я был учителем лучшим, меня с учениками связывали любовь и восхищение, и горестно сознавая свое поражение в борьбе с жизнью, которую я не сумел *исправить*, я надеюсь на то, что мои последователи (хотя бы в потребности исправления жизни от безобразия к красоте) мечты мои – осуществят.

5. «Реализм в высшем смысле». Идеализм

Я как-то сказал, что в конечном счете человек может сам избрать себе национальность, страну проживания и даже язык, на котором он предпочитает говорить и думать, хотя язык поменять гораздо труднее, чем страну и национальность. Гораздо легче изменить идеологию, партийную принадлежность, вероисповедание, что доказывается последними событиями, связанными с крушением марксизма в России. Многие вчерашние убежденные атеисты стали православными, интернационалисты – патриотами, комсомольцы – «новыми русскими» и бандитами.

Но часто бывает так, что то, что человек думает о себе, и кем он в действительности является – не совпадает. Не все из моих знакомых, ставших православными, удосужились прочитать Новый Завет, и иные из них скорее протестанты, а другие и вовсе исповедуют взгляды невесть какой секты...

Так же и писатели, даже называющие себя реалистами, могут весьма ошибаться на свой счет. Достоевский не напрасно, говоря о реализме, оговаривался, что его реализм – «реализм в высшем смысле», за что и был нелюбим «великим пролетарским писателем».

В противоположность *реализму* (и *критическому реализму*, что, как показывает Котельников, то же самое) со времен Канта в литературе и философии утвердилось понятие *критического идеализма*.

Но чтобы не утомить и не запутать себя и читателя, когда-то сдававших экзамены по диалектическому материализму и утомившихся до нелюбви к философии, оставляю я последний термин без пояснения, будем применять его интуитивно, как и совесть, добро и зло, красоту и сострадание.

Вот Толстой справедливо относил себя к реалистам, и всякого мыслителя, пытающегося хотя бы чуть-чуть выйти за границы непосредственно воспринимаемых явлений непосредственной действительности, называл даже мистиком, вот Чехов, вероятно, реалист тоже, как Куприн и Леонид Андреев – но как человек не совпадает с самоопределением, так и значение и смысл всякого серьезного явления литературы выходят за границы художественного метода. И именно с этой точки зрения я и буду рассматривать те произведения современных писателей, которые мне посчастливилось поправлять. То есть независимо от литературоведческих школ, – ибо я прежде всего математик, а во-вторых сочинитель, а в третьих хотя бы отчасти поэт.

Но читатель моего поколения, а тем более предшествующего, выросший в условиях тотальной лжи, когда в течение столетия «думали одно, говорили

другое, а делали третье», к философии и литературе предъявляет все таки прежде всего не эстетический критерий. Сначала он удостоверяется, что писатель не продался за тридцать сребренников, что он знает то, о чем пишет, что он ПРАВДИВ, а затем уже обращает внимание на язык, на художественные средства, на глубину мысли, на силу и убедительность образов. Впрочем, зритель телевизионных картинок, слушатель «смехачей и трепачей» предъявляет к литературе требования подростка, ничему не научившегося в школе – оставим в стороне такого читателя, оставим и такого писателя, который пишет для такого подростка.

Какие же тогда требования предъявляем мы к роману? Жизнь мы как будто в известной мере знаем, газеты вываливают на нас лавину неутешительных новостей, улица и подворотня внушают страх, тротуары грязны, дороги непроезжи, лес непроходим, даже хлеб несъедобен!.. Что же делать?

Да, вот именно, как и в России второй половины девятнадцатого века, мы и сегодня задаем себе те же самые вопросы: *Что делать* и *Кто виноват*?

И ждем ответа на них от литературы.

Возможно, массовый читатель исчез. Умер. Устал жить и читать. Но такие читатели, как я, еще остались, и их много, особенно в провинции. И сегодня такой читатель чувствует себя находящимся в центре тотальной лжи, в центре жизни, которая вчера еще казалась космосом, а стала хаосом.

«Честь безумцу, который нам скажет правду и ее объяснит!»

Правда, многие мне возразят: произведения разделяются иначе, одни из них скучны, маловыразительны, другие вдохновляют, приводят в восторг, зажигают сердца и исторгают слезы. Даже если Толстой не говорит нам, что делать, но дал бы Бог нам самим такие книги писать, ибо читать их все равно что пить березовый сок или душистый мед, смотреть на зарю вполнеба и слушать волшебную музыку! Да я и сам, читая "Войну и мир", шел по лесной дороге с открытой книгой в руках и не мог оторваться, и даже запах цветов и травы не мог меня от нее отвлечь. И Толстого мне было достаточно, как достаточно было Моцарта и Гайдна и чистой лирики.

7. Так что же спасет наш гибнущий мир?

Когда-то давно, издавая журнал МЪра, я перепечатывал в нем статью Флоровского «Затруднения историка-христианина». Затруднения эти состояли в том, что историк мог столкнуться с фактами, не-лестными для христианства, и спрашивалось, что же в таком случае надлежало делать? А фактов таких было много, мы знаем и о папах, один из которых даже был женщиной, что, впрочем, ничего плохого, я думаю, в себе не таит, и о кардиналах, имеющих внебрачных детей, становящихся потом в отместку революционерами, и о двух одновременных папах, прославившихся стяжательством, делающим честь даже нынешнему мировому.

Разумеется, затруднения свои «историк» разрешал в пользу христианства.

Чтобы понять до конца смысл и парадокс его затруднений, вообразим «Затруднения *математика-христианина*», тем более, что оснований для них должно бы быть еще больше, чем у историка, ибо, как известно (как учил

Ориген), математика внушена бесами. Однако, утаивать ли сведения об особых решениях или об их огибающих надлежало такому математику?

Но что такое математик-христианин? То же ли это самое, что математик? Или нечто другое? И точно так же, чем отличается просто историк от историка-христианина?

Но нас интересует литература. Те, кто жил в советское время, и кто читал про двадцатые годы двадцатого века, знает, что в первое десятилетие после революции кроме советских писателей были и так называемые писатели-«попутчики», Булгаков, Ремизов, Есенин, Клюев... Потом других писателей вовсе не стало, а остались только писатели-марксисты. Но как не бывает математика-марксиста, математика-христианина, так не бывает историка-христианина... или если и бывает, то лишь в таком смысле, в каком академик Глазенап в 37-м году потребовал буржуазную таблицу логарифмов заменить на социалистическую.

У нематематиков затруднения возникают по-видимому чаще, чем у математиков прежде всего в силу того, что терминологическая, понятийная неопределенность в математике невозможна. Нельзя исследовать точку разрыва, не строго понимая смысл непрерывности. Нельзя вычислять определенный интеграл, не отличая его от неопределенного, и вычислять несобственный интеграл, не зная, что такое сходимое.

И далее мне придется идти по минному полю, но бог математики меня охранит от (Большого) взрыва.

Европейскую культуру последних двух тысячелетий принято называть христианской, хотя основания математики, астрономии, медицины, географии, военного искусства... философия, ТЕАТР, драма, ваение и зодчество как искусство, литература, поэзия, право созданы в античное время, в древней Элладе и древнем Риме.

Творцы «формальной» логики Аристотель и Гегель – один из них еще не был христианином, другой уже не был (или, по крайней мере, его Наука логики не вдохновлялась Новым Заветом).

Христианство несомненно оказывало влияние на литературу и жизнь, особенно в России в 19-м столетии. Понятие СПАСЕНИЯ было одним из самых значительных понятий и в религии, и в жизни, и в литературе. В обыденном смысле о спасении говорилось, когда человек тяжело болел и надлежало его излечить, спасти от смерти. Спасали раненых на поле боя, целые армии, попавшие в опасность, Сонечка Мармеладова спасла Раскольникова. Но когда говорилось о «спасении души» и о спасении мира, имелось в виду нечто принципиально иное, ибо Христос сказал, что «кто погубит душу свою для Меня, тот спасет ее».

Спасались святые христианским подвигом отречения от жизни.

Святитель Феофан Затворник говорит: Спасение души – главное. Но спасает души Спаситель, а не мы. Мы только веру свою, свою Ему преданность свидетельствуем, а Он уже по мере нашего прилепления к Нему, подает нам все нужное ко спасению. Не думайте трудами что заслужить, заслуживайте вы верою, сокрушением и преданностью себя Богу.

Общее место христианской проповеди: сам человек не может исправить себя, и спасти, и стать достойным царствия Божия. Исправляет человека Господь Иисус Христос, для этого и пришедший на землю, но исправляет тех, кто верует во Христа и осознает свою греховность.

«... существуют два условия для *спасения*: вера в воскресение Иисуса Христа из мёртвых и покаяние перед Богом в своих грехах.

Кто будет веровать и креститься, спасён будет...

Слышавшие сие сказали: кто же может спастись? Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу... Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего... Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо *не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него.*»

Так христианский ли писатель Достоевский, верующий в то и проповедующий, что «**мир спасет красота**»?

Или в такой же степени христианский, как и Лев Толстой, за свое «христианство» даже подвергнутый анафеме?

Или они – русские писатели и принадлежат литературе, как и таблица логарифмов принадлежит математике, а не бывает ни буржуазной ни социалистической?!

8. Грешная любовь

Но продолжая идти по минному полю, мне не избежать разговора о христианстве, как и о марксизме, так как я собираюсь говорить о человеческой любви, в которой многое несовместимо с христианскими требованиями. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, *кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.*» (Матф.5:27-28).

Что же нам делать, не только грешникам, но и праведникам? Посыпать ли свою голову пеплом, побивать ли ближних наших камнями? Что нам делать не только со Стивой Облонским, заслуживающим порицания, но и с достойными сочувствия и симпатии Анной Карениной и Вронским? К счастью для нас, даже суровые проповедники непоследовательны. Толстой Крейцеровой сонаты и отца Сергия, хотя и осуждает Вронского, а Анну Каренину даже осуждает на мучительную ужасную безобразную смерть под поездом, сам не только не лучше их, но и гораздо хуже, и еще в 98-м году хвастается в частном разговоре своими победами над «бабами», да и некрасиво хвастается. И кто из русских писателей, властителей и «инженеров» наших душ, исполняет требование не смотреть на женщину с вожделением?

А особенно из «инженеров» серебряного века.

Но эта проблема – магнетическое притяжение мужчины к женщине, закладка всей истории и культуры европейских народов, не разрешена ни в религии, ни в философии, ни в литературе.

Как я был в юности потрясен, прочитав воспоминания Любови Менделеевой, жены вдохновенного Блока (рукописный полный вариант, более откровенный нежели тот, что был потом напечатан)!

Как я был потрясен, разочаровываясь в немонашеском поведении автора Алых парусов! Правда, я почему-то, по слову Спасителя, замечал соринки в чужом глазу, не замечая бревна в своем. Может быть, теперь стал терпимее к человеческому, что и мне самому не чуждо, и теперь всматриваюсь в жизнь и в литературу иначе, не для того, чтобы призывать к побиванию камнями, а чтобы ПОНЯТЬ. И к счастью, удастся понять мне очень важное различие литературы и философии. Философия не знает сочувствия и оправдания, она не ставит мыслителя на место объекта своих умозрений, а в художественном произведении автор УПОДОБЛЯЕТСЯ даже чуть не каждой былинке, изображенной им, и настолько глубоко изображает, насколько удастся сочувствовать. В философии пропасть субъекта и объекта непреодолима, в литературе они часть одного целого.

Но вернемся к любви.

Русская литература начала с ее осуждения, с того, что поставила между плотской любовью и прелюбодеянием знак равенства, уже в первом романе, истоке нашей литературы, в Житии протопопа Аввакума. Сколько же он виноват перед теми девицами, которым запрещал семейное счастье, принуждая быть верными Богу (или семья и плотская любовь или Бог!).

Затем, в советской литературе... но ее я пропускаю...

Русская литература, 19-го – начала 20-го столетий, продолжилась в начале нынешнего тысячелетия, словно бы и не было перерыва. Разумеется, она обновилась, и по содержанию и по форме, что-то утратила из своих достижений, но стала и шире, а потому даже значительнее.

Вновь в центре романа оказалась любовь, Татьяна Ларина, Наташа Ростова, Анна Каренина...

Но пространство страсти стало неизмеримо шире, после того как она была осуждена апостолом Павлом, затем в Крейцеровой сонате и, наконец, в безумном исследовании Вейнингера "Пол и характер", и словно уже была потушена окончательно, она вдруг прорвалась и запылала. Но ее героини – это уже не «самцы и самки» Толстого и не благонамеренные добродетельные верные жены, а эмансипированные, прошедшие четыре революции, читавшие Канта и Гегеля девушки и женщины, аналоги которых если и были в предшествующие тысячелетия, то это Клеопатра, Жанна д'Арк, Жорж Занд.

Приступая теперь к исследованию современной любви, я вдруг окончательно понял то, что смутно уже предчувствовал, читая Заветные мысли Менделеева, Иконостас Флоренского, Интуицию совести Ухтомского, труды Вернадского и Даниила Андреева. Философы прошлого всматривались в окружающий бесформенный мир – но что он мог им дать? Все существенное они получали в самопознании, в созерцании Я. Художник пересоздает жизнь, творит вторую реальность, ИНОБЫТИЕ, в котором, в отличие от подлинной реальности, события сцеплены идеальными связями, есть цель, сюжет,

коллизия и кульминация, конфликт, преодоление, развитие и преображение. Подлинная жизнь хаотична, она состоит из материи, связанной причинами и следствиями так, как случайные вещи в прото-галактике, где еще нет ни эллипсов ни парабол. Бытие романа ИДЕАЛЬНО – не в обиходном значении этого слова, не обязательно лучше, чаще трагичнее (да и трагедия существует только в романе, какая трагедия в случайном падении камня под случайным порывом ветра?!), идеално так, как в силлогизме, в необходимой соединении понятий, в тождестве, описывающем закономерность. Жизнь – бесконечное количество случайных соединений случайных чисел, в романе и числа и слова расположены *в наилучшем порядке*. Роман – это математика мира, это множество *математических* кривых в отличие от контуров, окаймляющих груды битого кирпича на строительной свалке. Вот почему так интересны размышления ученого и писателя и философа, когда предмет размышлений – культура, идеальное. Погружаясь в *идеальное*, Философ находит в нем *трансцендентное*.

Что такое любовь? Чистое умозрение философа уже поневоле только схоластично. Жизнь и культура столь поработали над ее плотью, что продуктивно можно всматриваться в результаты художественного творчества, хотя в них, возможно, не подлинная любовь, как она появляется в мире, а та, которая появляется в духе.

И даже «Случайная любовь» Рустема Юнусова, посвященная «до-бытию» любви, матерьяльному тяготению, безумию плоти, жажде полов к слиянию – высокое явление литературы. Духовное и нравственное в его любви отсутствует (как отсутствовало у Наташи Ростовой, когда она пыталась бежать к Анатолию Курагину, как отсутствовало у Анны Карениной, когда она бросилась в объятия Вронского), но пронизывает материю описанной им любви красота; и как Озорные рассказы Бальзака зачеркнули «естественное» Макиавелли, Боккаччо, Скаррона, так и его повесть зачеркивает слащавые романы о любви 90-х годов, пошлые писания .левина, гламурный бред телевизионной сладкой жизни. Литература 19-го века не умерла, но приобрела новое измерение, понял я. Она поднялась до трагедии быта, намеченной в Обломове и Грозе. И странное чувство, помимо горечи, вновь и вновь привлекает меня к этой повести – глубокое ощущение *метафизической тайны*. Маленькая Юля в этой повести – не распутная девица, а та же Наташа, которую не уберет ее ангел-хранитель.

Ибо любовь, которая столь возвышенно манифестируется в посланиях апостола Павла – совсем не любовь. И та, которая в заветах Спасителя. Она не случайно *самоотрицается* в средневековых гонениях на земную любовь, когда «ведьму» замуравывали в стену живьем вместе с плодом ее преступной любви, невинным младенцем – во имя любви человека к Богу, во имя любви Бога к человеку. Нужно было *отрицание отрицания*, вот почему произошла так называемая «сексуальная революция», освобождение женщины от семейного рабства, от рабства мужчине – и даже от ЛЮБВИ.

Но *тайна любви – метафизическая*, и разгадыванию этой тайны посвящен роман Натальи Ефремовой "Осколки памяти".

Школьники выпускного класса влюбились друг в друга, два возвышенных идеальных подростка. И так же летняя ночь, тяготение плоти, жажда и страсть. Но и таинственная душа, отбирающая у тела свободу... Страх перед падением, перед полетом. (Но полет или падение?) И особенная иная страсть, которая, как правило, наполняет духовную плоть почти всех правнучек Евы – страсть к мучительству, иррациональная жажда обмана, игры, подчинения... Нет, не «стакан воды», да я лучше взорву весь этот мир, чем просто так... а как? А что не так в жажде обладания и наслаждения? Почему "лучше человеку не касаться женщины", говорит Учитель?

Но *метафизическая* тайна неизвестна и женщине, и двое расстанутся, не испытав греха, но не испытав и счастья.

Но роман на этом не заканчивается, иррациональная воля выстраивает новый круг испытаний, автор переписывает подлинную жизнь заново, ИСПРАВЛЯЕТ ее – и я вдруг понимаю: жизнь кроме бессмысленных испытаний не может нам предоставить ничего утешительного, утешение – только в творчестве, РОМАН – не та жизнь, которая есть, а та, которая могла бы быть, должна быть! В подлинной жизни *даже и понимать нечего*, она и зарождается случайно, и прекращается чаще всего бесцельно, случайно. "*Жизнь – бесцельна. В ней простое чередованье*" не связанных между собой событий.

Романы Натальи Троицкой "Обнаров" и "Сиверсия" тоже посвящены любви. *Отрицание отрицания* завершилось, наступило время СИНТЕЗА.

Но неверно об этих романах сказать, что они чему-либо посвящены, они словно готические соборы возвышаются среди хаоса жизни, и было бы лучше для этой жизни, если бы она сама была посвящена такой литературе, если бы она в нее вступила, как вступаем мы в духовную жажду и в преодоление.

Любовь заключена между двумя пределами, как жизнь между рождением и смертью, но герои романов переходят и пределы... Но должно пройти еще немало времени, романы должны прорасти в читательской среде, они должны повлиять на читателя, на критика и философа, вызвать серьезные отклики, разносторонние, чтобы философия литературы всмотрелась в них, как Сократ всмотрелся в античную душу. Одно только не могу не добавить: женские идеалы 19-го века уже мы переросли. Татьяна Ларина и Анна Керн – наивные девочки, выросшие на грядках почти эдемского сада. Среди бурьяна и лопухов ныне вырастают иные цветы, непостижимые, стоящие выше объяснения и уловления в сеть рационального объяснения.

Героиня "Обнарова", юная Таисия Ковалева, студентка театрального института, гениальная актриса и сверхъестественная красавица, соединившая в своем очаровании широкость души, сострадание, народность, ум и чистоту не в христианском, а в подлинно народном духе, жертвенность, верность, женственность и возвышенность, хрупкость и устойчивость... – спасет ли такая красота мир? Нет, надежда Достоевского одностороння. И хотя прекрасная Тая погибла, но как Франция пятнадцатого столетия, лежащая в руинах, верила, что *Францию погубит женщина, но спасет Дева*, так и я, русский, в разгромленной и гибнущей стране, верю, что *Россию погубили мужчины, но прекрасная девушка спасет ее!*

9. «Сиверсия». Чудо

Зима, два мужественных человека, разбившиеся с вертолетом, вдали от жилья, почти умирая, ждут помощи. Позади страдания, предательство, смерть. И любовь.

«Лес был укутан инеем. Иней бриллиантовыми холодными брызгами слепил глаза, заставляя щуриться. Сугробы переливались на солнце мириадами крохотных радуг. Заблудившееся в бездонной сини солнце, задевая лучами кроны кедров, лениво ползло к горизонту. Мороз крепчал. Зимний день стоял во всем своем великолепии.

Хабаров зажмурил глаза, заледеневшими пальцами поскреб мешавшие смотреть заиндеветшие ресницы, непослушной рукой провел по лицу, стирая болезненную испарину. Рука чуть-чуть дрожала и плохо слушалась. Теперь все его тело было таким: слегка дрожащим и плохо слушающимся. Он продрог, промерз до самых костей, замерз, как бездомная псина. Это сравнение так и вертелось у него на языке. Он посмотрел вперед.

«Уже недалеко...»

..... Черные плотные кусты плакучей черемухи шли двумя извилистыми рядами на расстоянии метров трех друг от друга. Полоска между ними была чистой, ровной. Хабаров догадался, полоской была замерзшая река. Ближний берег был пологим и низким, а противоположный – высоким, обрывистым, изрезанным карманами замерзших заводей. У самого берега, из-под снежных шапок, то там, то здесь поднимался белесый пар. Пар был настолько плотным, что заволакивал непрозрачной пеленой часть противоположного берега.

«Видимо, теплые источники...» – подумал он.

..... Руками он разгреб снежную шапку, из-под которой струился пар, и обнаружил округлое, залпывшее ледяной крошкой отверстие во льду. Оно было маленькое, не больше двух ладоней. Он стащил перчатку, опустил руку в показавшуюся теплой воду, выгреб ледяную крошку и, зачерпывая воду пригоршнями, стал жадно пить. Никогда еще вода не казалась ему такой вкусной и сладкой.

Пар, шедший от воды ему прямо в лицо, был тоже вкусным, наполненным неуловимым свежим запахом цветущей черемухи.

Напившись вдоволь, Хабаров завалился набок. Остекленевшим взглядом он уперся в крутой берег и обомлел: под ледяным навесом, на проталине, у самой воды, в клубах выходящего из-под снега пара, цвели изумительной красоты голубые цветы Хрустальной Сиверсии. Их тонкие, хрупкие лепестки выглядели беззащитными среди снегов, льда и сорокоградусных морозов.

Хабаров приподнялся, встал на колени.

– Надо же! Ну надо же... – он тряхнул головой, будто не веря. – Я все-таки дошел... Я все-таки их нашел!

..... В пахнущем цветущей черемухой воздухе вдруг раздался непонятный звук, похожий на звук камертона, и мир вспыхнул вдруг красками и задрожал, взволнованно и зыбко.

Он протянул руку к цветам, рука дрогнула, на мгновение замерла.

Нет, последние сомнения тоже были отброшены!

Он собрал превосходный букет этих дивных голубых, с прозрачными бутонами, точно хрустальных цветов. Собрал для нее.

Ожиданием этого чуда, верой в него пронизан роман. Главный герой, сильный и мужественный Хабаров преодолевает страдания, предательство, несправедливость. Теперь ему надо преодолеть смерть. В который раз!

Он не святой. Он грешный. Он любит женщин, и женщины любят его. Он верен дружбе. Он талантлив и красив. Он не раз бросает вызов смерти, спасая других. Близких. Тех, кого он любит. И даже тех, кого он не любит.

Он сложный человек, страсти в нем кипят, и слабости его одолевают. Он рискует, часто для себя. Чаще для других.

Работает он спасателем, спасает погибающих. В полном смысле этого слова. Тех, кто на краю жизни, тех, у кого разбито тело и разбита душа.

С ним, не задумываясь, "пойдешь в разведку", и он не подведет.

Спасатель, он спасает жизни, и тело и душу.

Есть ли смысл в жизни?

Глядя на него, веришь, что есть. Он в любви, сострадании, помощи. В добре и в красоте.

Он любит человека и любит природу. И человек и природа любят его.

И его любит Бог. Тот Бог, который пронизывает сущее, который помогает надежде, который даже ЧУДО посылает на помощь отчаявшимся.

Но удивительно – это *чудо*, как и Бог философов и поэтов, существует на грани существования и несуществования, на границе естественного и сверхъестественного, оно возможно и в мире и вне мира, оно возможно внутри природы, не устраняя ее, но только ОСТРАНЯЯ, возвышая.

Религию такого чуда и такого Бога можно назвать *пантеизмом*, *антропотеизмом*, но всегда это сотрудничество, никогда не унижение. Бог протягивает человеку руку в предельно трудную минуту, по делам, по надежде, иногда просто так, по состраданию.

Жизнь, в центре которой ВОЗМОЖНОСТЬ такого чуда и такого Бога, не может окончательно быть только ЗДЕСЬ, по эту сторону обыденности, она вмещает в себя и ТАМ.

Без философии человек не полон. Но философия, в центре которой не силлогизм, а живой человек, полнее *философии рассуждения*, истинная философия должна отталкиваться от культуры, от литературы, опираться на них. И религия, как соединение земного и небесного, как путь от земли к небу, вырастает только из такой философии, которая включает в себя и художественное и научное видение, включает в себя и красоту, и надежду на чудо, и ясное чувство противостояния добра и зла, и ту плоть, которая является продолжением духа, без которой невозможна красота, по слову Данилевского. Духовный мир человека включает в себя и дух и мир.

Выход за пределы того мира, в котором мы *прозябаем*, находится внутри. Мы не переходим из этого мира в тот, но меняется *этот* мир, меняется время в нем, из Хроноса, пожирающего своих детей, оно становится Кайросом, временем благодати Божией.

Об этом уже пишут авторы новой русской классической литературы, озабоченные спасением наших душ, нашей России, культуры и языка.

На путях новой *метафизики* мы еще найдем *спасение*. Надеюсь, нам поможет и *наш* Бог.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ЛИТЕРАТУРА. СМЫСЛ и ЦЕЛЬ

Четверг, 9 мая. Удивительно, что на главные вопросы, которые я перед собою ставлю, я толком до сих пор не ответил. Да, может быть, я и не знаю на них ответов?

Ну да, в том смысле, в котором на вопросы отвечала еще совсем недавно христианская или марксистская философия, я и не смогу ответить. Той прямоты и ясности, той ПРОСТОТЫ (не знаю, святой или нет), у меня никогда не будет, я за ответами принужден "семь верст киселя хлебать" – впрочем, это не так уж плохо, если вспомнить народную мудрость, что "кто прямо ходит, тот дома не ночует" – а я и впрямь любитель ходить то вправо, то *налево*.

*...но поражен бывает мельком свет
ее лица необщим выраженьем...*

Евгений Баратынский

1. Частные рассуждения об общем

В советское время всеобщий взгляд на философию состоял в том, что это, де, "наука" ("наука наук") – строгое, без вымысла, исследование – о *наиболее общих* закономерностях мира (действительности), в то время как "частные науки", например, математика и физика, исследуют частные стороны действительности (но строго объективно). Ну а литература – это художественное, эмоциональное повествование о человеке и окружающем мире, – или, точнее, "отражение" в нем единичного, индивидуального, особенного, дополненное авторским воображением ... впрочем, в теории "типического" литература становилась уже "отражением" не всей полноты сущего, а наиболее характерного, *прогрессивного* ... а «реалистический художественный метод являлся высшим методом **обобщения и индивидуализации**»...

Одним из распространенных в настоящее время взглядов на философию является **антиинтеракционистская концепция**, в которой утверждается, что *не существует между наукой и философией никакой взаимосвязи и взаимодействия*, что они – два самостоятельных элемента культуры. Предметом философии является не мир и его законы, а человек и его отношения с окружающим миром, которые задаются *системой ценностей*.

Правда, во всех современных представлениях о философии и литературе преобладает мысль, что сущностью их является ВЗГЛЯД на человека и мир и их ПОЗНАНИЕ и (или только общее – или частное?) описание.

Я не создаю новой теории и не опровергаю старых. Я разговариваю со своими авторами, которых мне посчастливилось читать и редактировать. Я не ставлю перед собой задачи учить их ПИСАТЬ – ибо я скептически отношусь и к собственному уровню своего умения писать.

Но так как в процессе редактирования я высказываю свое отношение к их произведениям, к их грамматическим и стилистическим ошибкам, то мне захотелось соединить все самое характерное в тех мыслях и чувствах, которые возникают у меня при чтении их книг – иногда восхищения, иногда неприязни – и так появляются сии записки, своего рода переписка с моими авторами (а некоторые из них меня читают, а иные даже мне пишут).

Итак, разговор между людьми, занятыми часто похожим делом, думающими сходные мысли и имеющими похожие заботы.

2. Общие рассуждения о частном

Наука, философия, литература да и повседневное внимание словно бы заняты только одним: вперить взор в окружающий мир или в себя самого, непознаваемого, и пытаться в них что-то разглядеть, *понять* их в частностях и целом.

Но так ли это? Действительно ли мы преимущественно *всматриваемся*?

Оглядываюсь на себя.

В каком отношении я находился с миром, обществом, близкими, с собой?

За девушками я преимущественно "бегал", на свиданиях ими любовался, но еще больше говорил о том и сем, что приводило их часто в восхищение, изумление, но иногда и в раздражение. Но *понять* их, а тем более *познать* я даже не пытался.

Математику и физику я изучал, совершенно не *всматриваясь* в окружающий мир, а только в учебник; и когда сочинил несколько теорем, то и они явились не из *всматривания* ни в мир, ни в меня самого, а черт его знает откуда. Так же не *всматриваюсь* я в людей, окружающих меня по случайным поводам, в электричке, в магазине, в концертном зале – большей частью, они неинтересны. С удовольствием смотрю на юные лица, и даже детские, но вряд ли я из них черпаю свои познания о мире и вряд ли они существенны в моих "мениппеях" – а более я ничего не пишу.

Я рассуждаю. Возможно, я анализирую мир и жизнь. Очень часто я вспоминаю, особенно детство и юность. Вспоминаю своих друзей и родных, по большей части выделяющихся из общей "массы", а значит, выпадающих из объективного мира, не характерных для него. Ну а те герои, которых я пытаюсь представить в своих полухудожественных сочинениях, не имеют прообразов, не имеют даже родителей, рождаются они в моем воображении. Следовательно, я не являюсь ни зеркалом, ни *описателем* объективного мира. Но даже и субъективного, потому что большую часть правды о самом себе я – утаиваю. Пишу только то, что характеризует меня с лучшей стороны.

Впрочем, даже не совсем так. Я создаю *миф* о себе, если он не созданся независимо от меня, и вот в границах этого мифа я и пишу и о себе и о мире.

Литература, как и философия, не изучает, не познает и не описывает реальность, внешний мир, в котором мы живем, и даже внутренний, в котором мы живем еще более. Они соотносятся с действительностью, идеальным миром, возможно, вложенным в реальность так, как душа вложена в тело, как музыка в сочетания слов, как любовь ребенка вложена в его взгляд.

Литература в гораздо большей степени творит свой собственный мир, в значительной степени, если не в наибольшей, независимый от мира подлинного (хотя, какой из них воистину подлинный?), литература создает миф и сама мифологична.

Рождение и смерть Иисуса Христа в такой же степени достоверны и недостоверны, как рождение и смерть героев Гомера, как Лаура и Беатриче, как Евгений Онегин и Печорин, как Жан Вальжан и Козетта. Они все в пространстве мифа, но в то же время за ними высшая правда, они более подлинны, чем миллионы обычных людей, подлинно живших.

Поэтому, возможно, и я претворяю себя в миф, в литературного героя, неотделимого от автора (хотите знать обо мне? Читайте мои книги! – восклицал Достоевский), чтобы обрести жизнь подлинную, почти независимую от времени, и теперь не уверен, вправду ли ко мне приходил посланник Бога или Сам Бог, когда я еще только учился читать, и вправду ли я сам, без чужой помощи, научился читать, почти мгновенно, и вправду ли меня так любили, как я трезвою (родные меня любили несомненно, но вправду ли любили вертихвостки... и благонамеренные тоже)?

А я еще свой миф не закончил, и вы обо мне много узнаете нового.

3. Что есть Я и в чем смысл жизни?

Понедельник, 13 мая. Что составляет ребра многогранника, символизирующего наше Я? Возможно, их слишком много, и у каждого Я свои ребра. Это и любовь к Родине – но вот «Выжигин (Булгарин) родился в кулашкиной конуре», по уверению Пушкина – какое у него отечество? Это и любовь к женщине – но как много женоненавистников или равнодушных или нежелающих прикасаться к женщине по велению их Учителя! – по-видимому, они родились или не от женщины или без соответственного ребра. Любовь к культуре – которую разрушают даже клянущиеся ей в верности, от футуристов до чиновников, призванных культуру охранять, но продавших Петербург под застройку. Любовь к человеку – кто только не любил его? Разве не инквизиция, сжигавшая ведьм? Разве не большевики, разжигавшие пожар мировой революции от того же костра? Разве не "пролетарский писатель", ненавидевший Достоевского и Лосева?

Человек – это и общее, и частное, и индивидуальное. В нем и голос и гортань, и глаза и зрение, душа и тело. В нем протяженная во времени жизнь и время, в нее вмещенное, история всего мироздания – разве она заключена не в человеке? А где же еще? Способность мыслить и чувствовать, составлять единство в изменчивости. Существуют детство, юность, зрелость и старость, настолько отличающиеся друг от друга, что лучше сказать, что это четыре личности, попеременно сменяющие друг друга.

Я помню себя в семнадцать лет, за год прошло четыре времени года, но все они были бурным ликующим маем с грозами, ливнями, благоуханием цветов. Разговоры о смысле жизни были возможны, но как детские игры в «дочки-матери». Жизнь личности накатывалась на весь окружающий мир, поглощая его, и все смыслы в мире вмещались в это поглощение.

Я помню себя и в двадцать семь лет, когда духовная экспансия в мир приостановилась, когда подверглись ревизии и старые учения и старые оценки этих учений. Я относительно наполнилось хаосом воззрений, знаний и верований, их необходимо было привести в систему, выработать некий личный синтетический взгляд на мир и свое предназначение в мире.

Следовательно, поиски «смысла жизни» – это и кризис личности, кризис своего житейского пути, и созидательная работа по формированию личного всеобъемлющего мировоззрения.

Закончился период ученичества. Человек пытается стать творцом и учителем.

Что надо изменить или построить, чему научить?

Что есть благо, что есть истина, в чем цель существования, что такое добро и зло, что есть Бог и что есть человек?

Эти вопросы более конкретны, но они и входят в символическую формулу смысла жизни.

Но разве эти вопросы задает всякий человек? На них пытается ответить философия и литература, и, значит, задает и отвечает на них философ и писатель или ПОЭТ, в которого вмещено и то и другое.

Задает ли эти вопросы ребенок и крестьянин?

4. Единство личности

Не бессмысленно ли само понятие *человека*, если отношение между человеком и миром так существенно зависит от культуры, составляющей человеческий многогранник? Капли дождя тоже различны, но они органичны дождю. Органичны ли «человеку» разнообразные индивидуальности, общее в них больше ли различий?

Ребенок и взрослый – совместимы ли они?

Шестилетний восторженный мальчик, к которому ночью в июльскую грозу пришел Сам Устроитель и Вседержитель мира – и "*поэт на закате*", оставленный Богом, так много обещавшим, оставленный Гением, оставляемый жизнью?

Я часто вижу, что взрослые собеседники меня не понимают, настолько мы разделены, мои друзья и родные слушают меня небрежно и мимоходом, даже писатели, к которым я обращаюсь с поучениями, с правкой их текста, не дочитывают меня до конца (а Толстой даже злорадно подчеркивал, что человеку никто не интересен, кроме него самого, что он только жадно ждет, когда собеседник кончит говорить, чтобы высказаться самому) – так поймет ли меня ребенок и захочет ли слушать? Поймет ли девушка, которой надо забрасывать сеть и уловлять поклонников?

К счастью, и тождества не всегда тождественны, и неравенства часто равны.

В человеке (особенно в поэте – а в детстве и в юности почти все поэты, хотя бы на миг) одновременно присутствует всякий человек, и ребенок и взрослый. Посмотрите, как девочки играют с куклами – они и мамы и дочки и даже бабушки. Они и ученики и учителя одновременно.

Я пятикласснице велел вести уроки, она готовилась к ним в соответствии с заданными мною темами и проводила их лучше меня.

С двенадцатилетней рассуждал я о добре и зле, ее рассуждения были интереснее, чем рассуждения взрослых.

Но ведь и мы, убежденные сединами, тоже дети, "детское живет и в нас", поэтому-то и нет пропасти, которую роет время между поколениями.

"Почему Вы все время печальны? – спросила меня десятилетняя девочка. – Я помню Вас с трех лет, когда меня сюда *взяли* (из Детского дома), и вот я часто смеюсь, а вы всё грустите?"

Это она мне сказала, когда ей было три года: "Вам не тяжело? Давайте я Вам помогу?!"

А другая, услышав от мамы, что я приходил за молоком, закричала: мама-мама, скорее за ним бежим, пока он совсем не ушел!

(Вот и жалуйся на жизнь после этого, на отсутствие славы, на отсутствие читателей, отсутствие "народной тропы", на бедность, бесталанность, косноязычность!)

В ребенке говорит Дух, не потому ли апостол Павел призывал "Братия, будьте как дети!""?

И лучшего признания мне не найти! Правда, книги мои они еще не читают.. Но и это не совсем так. Зимой подарил я своей "подруге" и ее маме свой сборник стихов, оговорившись, что, к сожалению, стихи у меня не совсем для детей. Мама почитала и передала дочке, сказав, что на улице все равно хуже, чем у меня в стихах, и вреда от них не будет. Через три месяца я встретил дочку, она катила в коляске свою дремлющую двухлетнюю сестренку – тоже приемную, мы разговаривали шопотом.

– Я Ваши стихи читаю. Даже иногда до того дочитаюсь, что зубы начинают болеть! Пыталась и сестренке их читать, но она дура, ничего не понимает и слушать не хочет.

При этих словах "дура" проснулась, высунулась из коляски и уставилась в меня с изумлением: Так это его стихами меня травят!!!

Вы можете не верить, но это совершенно ясно читалось в ее осуждающем изумлении.

Итак, в личности существует независимое от времени единство, которое и является ее сущностью.

Более того, это единство переходит даже границы личности. В юности шел я по улице деревни, в которой родился и провел детство и отрочество мой отец. Вдруг с завалинки поднялся мужчина и обратился ко мне: "Паренек! Да ты не Ивана ли Ивановича сын?!" А не видел он моего отца двадцать пять лет, и внешне я мало на него был похож.

5. Единство человека

Учитель и ученик тоже не разделены пропастью, вот и теперь, хотя отчасти я изображаю из себя учителя в моих Записках редактора, но мои писатели в гораздо большей степени меня учат, чем я их. Во-первых, я, наконец, научился читать, я уже не спешу, я вдумываюсь, я формулирую, что меня в них восхищает, и что кажется неверным.

А поражен я тем, насколько они талантливы, насколько точно отвечают они предсмертному стону умирающей России!

Не все они пишут о трагедии, есть лирические "рассказы" о любви и дружбе, сожаления, воспоминания, предостережения, обвинения...

Читаю повесть Степанова "Оглянись, незнакомый прохожий!" и вдруг чувствую, что мне надо ехать к своему товарищу на край земли на День рождения, и я поехал, у него собрались друзья и родные, все меня знают и любят, "ну вот я и оглянулся", говорю я, и мы все чуть не заплакали от счастья...

Читаю повесть Никитиной "Распределение по зонам", и окончательно понимаю, что философию нельзя отделять от художественной литературы, надо их вместе читать и понимать во всеобщей литературе, средства выражения и формы которой различны, так что "Котлован" Андрея Платонова, "Государство" Платона, "Город солнца" Кампанеллы и даже "Капитал" Маркса – это романы об одном и том же – об общественном устройстве. И еще, увы, понимаю, что хуже, чем философам, жизнь общества не удастся устроить никому, даже тираны не так стесняют свободу человеческой личности.

Горше всего мне читать было "Страну падонкаф" Вадима Росса, почти медицинское заключение о смертельной болезни моего народа. Может ли лучше поставить диагноз стране и народу политик? Социолог? Юрист?

Нет, писатель видит яснее и истиннее, подлинная философия и "наука" о человеке и обществе – это художественная литература.

Но я, кажется, отвлекся...

Я спрашивал, не отделен ли *писатель* от *человека повседневности*, задает ли его вопросы ребенок и крестьянин?

Разумеется, нет... не в той форме.

Ребенок очень много понимает в мире, переживает за взрослых подчас больше, чем они сами; если он не спрашивает о "смысле жизни", то пытается нам его сообщить и внушить в той непосредственной форме, в которой он в него врожден.

А крестьянин задает те же вопросы, что и философ, но в более конкретной форме, и мир, предстоящий ему, требует от него больше ответственности: скотина, огород, семья, болезни, напасти, в числе последних – лютая власть. Я и сам вырос в деревне, и детство провел в ней, и теперь на огороде растут у меня кроме цветов и лук и картошка, морковка и огурцы... и почти все другое, что нужно. Крестьянские дома горят рядом со мной, и пьяные шатаются мимо моего дома, и дети их начинают курить с восьми лет а в пятнадцать делают аборт, и даже мне ничего изменить не удастся. Но ведь и у вас, друзья мои, "инженеры человеческих душ", ошибки исправлять мне не удастся тоже, и вы ерзаете у меня на уроке и ждете перемену и не дочитываете мои наставления, и только одна вдруг опомнилась и призналась, что правку мою до конца не дочитала, в комментарии не заглянула, но теперь готова ответить на мои вопросы и даже что надо исправить.

Ради нее, признавшейся, прощаю всех вас! (Вот так и вы простите читателей, которые нас не читают.)

Итак, учитель и ученики не разделены пропастью, не разделены пропастью и НЕчитатель с писателем, но они, как оживые, пока лежат под снегом и ждут, когда настанет время прорасти. Читатели спят "непробудным сном", прильнув к телевизору и бутылке, и не начиная еще жить – о каком смысле им думать? Писатели пока не уяснили до конца, в чем смысл литературы (а без этого голоса их слышен не будет.)

Существует ли единство человека? Во второстепенном его нет, в главном – есть. Вот так же и вся наша жизнь. Она состоит из бесчисленного множества эпизодов, есть ли у них у всех единство? Только у того, что составляет сюжет, судьбу – как и в романе. Мы входим в русскую литературу, нас объединяет русский язык и принадлежность к русской культуре, мы входим в народ и являемся его частью, но и народ (как и пол, образование, вера) – только часть нашей личности. Читатель должен быть уроднен с писателем языком и культурой и народной судьбой и судьбой человека, а в нее входят любовь, Бог, Россия. Пока не входят, человека еще нет – зачем нам такой читатель? Ребенок обретает судьбу при рождении, она у него долгое время есть, потом ветшает... Вот почему мне с жаром говорят что-то дети и я с жаром им отвечаю, а пьяный Серега косноязычно мычит и я НИЧЕГО понять не могу в его НРечи и ничего о нем написать не могу (как о замшелой коряге в лесу), и чтобы отвязаться, сую ему пятьдесят рублей опохмелиться.

(Кстати и вспомним споры о том, каким языком передавать речь персонажа. Живопись, музыка, литература, даже математика – УСЛОВНЫ. В реальной жизни нет теоремы Пифагора и даже *простых чисел*... и даже сложных... Они не летают как комары. Условно даже фотография, она – не слепок действительности. Речь персонажа не воспроизводится автором с магнитофонной записи. Как и сам персонаж не перенесен в роман "с натуры". Но я пытаюсь исправить у автора стилистические и грамматические ошибки, а в ответ слышу, что ТАК ГОВОРИТ народ.

Да ведь и писательская письменная речь в книге не такова, как он сам говорит обычно, старается ли он свою письменную речь подогнать к "правде жизни"? Каким языком говорят у Пушкина и Толстого, у Тургенева и Достоевского даже крестьяне? Прекрасным русским языком, даже если и говорят Ась и Чаво.

И на каком языке у Толстого говорит Холстомер?

Посмотрим на наш разговор на улице со стороны. Положим, собеседнику не хватает слов, он машет руками, щурится, смеется, кивает головой, показывает язык, бьет по плечу, чешет в затылке, сплевывает, отворачивается... А мы пишем: «ну, я, это... ммм... значит, так... в общем... вот!». Разве нам именно это сказали? Иногда можно кстати и такую речь привести (как у Куницкой в «Сонечке», и очень образно), но не всегда только такую, потому-то у Толстого Холстомер говорит по-русски, а мы, якобы для "правды жизни", учим читателя говорить хуже Холстомера.

В заключение этого отступления приведу отрывок из повести «Страна падонкаф» Вадима Росса. Язык здесь, разумеется, не тургеневский, современный язык дворовой шпаны, но он меня привел в восторг своей силой и образностью. Русский ли это язык? БЕЗУСЛОВНО. И превосходный.

Луцай полез за заточкой. Оптимизд! Леха с Димасом заслоняют партайгеноссе. Леха надевает на руку самодельный свинцовый кастет. Тяжелый, сволочь! Зато красиво. С рунами. А у Димаса голова еще хуже кастета. Ребята тоже жизненные. С кладбища.

— А в чем, собственно, проблема, камрады?

Уместный вопрос. Парни хотят понять смысл балета.

Видя, что Луцай замаялся, его пацанчики тоже тормознули. Начали закуривать. Остывать.

Луцай быстро прикинул соотношение сил. Не голова, а калькулятор! Студент, два нацика и здоровый кач рядом со студентом. Четверо против пяти. Стратегического превосходства нет. И инициатива упущена. Он, конечно, обещал наказать за Дашку. Обещать обещал, но не клялся же!

— К студенту есть базар.

Леха, как самый общительный фашист, вербальную коммуникацию берет на себя.

— О чем базар, братан?

Ни хера себе, братан! Шары на выкат, а рука опять тянется за заточкой. У Луцая, между прочим, прадед пропал без вести под Ржевом. Неудачно с маршалом Жуковым наступал.

Из этого отрывка, кстати, следует не только то, что автор мастерски владеет речью «улицы», но что он еще и прекрасно осведомлен в истории Отечественной войны и, в отличие от ура-патриотов, знает, что и сколько стоит.

6. Единство литературы

Но разве литература представляет из себя целое (как личность), то целое, у которого может быть общий смысл, цель и направление? Разве она не калейдоскоп жанров, направлений, намерений, уровней мастерства?

Так же как и личность и жизнь, которые представляют из себя хаос происшествий, а целым становятся лишь как Замысел и Судьба.

Романы, повести и рассказы, философские сочинения и критические статьи – это тоже хаос происшествий в литературной судьбе. Одни из них в нее входят, другие – нет. Но если не все составляют душу литературы, то в плоть ее входят все, даже самые второстепенные. Литература – тоже личность, много в ней вторичного, иногда глупого, бессмысленного. Но она, как река, течет в некое ей известное море. Посмотрите на движение воды. В речной воде много сору, грязь и нефтяные пятна, отдельные струи движутся даже против течения – но пока мусор не преобладает, это живая река, и у нее есть общее направление. У литературной реки, как и у личности, есть все то, что у человека. Есть внешний и внутренний мир. Есть тело и душа. Есть язык. Есть Родина. Происхождение. Друзья и родные. Истоки, судьба, онтология, логика и эсхатология. Есть собственная философия, собственные задачи, и общие задачи народа и культуры. Литература выступает не только от своего имени, но и от имени культуры в целом, она ее представляет и разъясняет.

Литература отчасти женщина, и она обязана быть красавицей и посему краситься и наряжаться, привлекать и нравиться. Но она отчасти и мужчина, поэтому убеждает, наступают, проявляет энергию и волю. Она андрогинна. Независимо от пола автора. Более женственна в произведениях Тургенева, Натальи Ефремовой, Елены Лобановой, Анны Бартовой; более мужественна в романах Толстого и Натальи Троицкой.

При всем разнообразии жанров и произведений у литературы не меньшая цельность, чем у театра.

Цель отдельного произведения отлична от тех задач, которые ставит перед собою автор. Так, вождь пролетариата тщился определять сущность философии, но расписался лишь (хотя безумным его поклонникам понадобилось три четверти века, чтобы разглядеть его подпись) лишь в собственном невежестве. Свифт поучал английское общество, а стал кумиром детей. Кэрролл надеялся развлечь маленькую Алису, а развлекает теперь кроме ее подруг еще и заумных философов и математиков. Воистину, *нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...*

Литература создает собственную действительность, отличную от реального мира, и ее *объясняет*. *Действительность* – мир идеальностей, идеальных образов и связей; *реальность* – мир происшествий. *Правильные* кривые, то есть выразимые в формуле или являющиеся результатом заданного движения (как сечение конуса плоскостью или движение фиксированной точки катящегося круга) – и бесконечное количество кривых, которые рисует вода и ветер на речном песке, не подчиняющихся закону.

Литературный мир – мир воображаемый, подчиняющийся закономерности, причине, истоку, замыслу и цели. Но он соотносится с миром происшествий, миром хаоса, который всматривается в свой идеальный образ, и только при сравнении этих двух миров мир хаоса получает характер, определенность, смысл, объяснение. Более того, мир хаоса стремится подчинить себя идеальному образу, для которого он служит прообразом. В таком смысле литература даже влияет на хаотическую реальность, упорядочивая ее.

7. Объяснение и преображение мира

Грустно признавать, но приходится: жизнь течет сама по себе, культура – сама по себе. Но *«В густой толпе я так же одинок, как в полутьме готического храма. Я слышу звук далекого там-тама – то сонный сторож или усталый Рок.»*

Я был "девичьим пастухом" (так меня дразнили в отрочестве), учителем в школе, преподавателем в институте, был поэтом, наконец стал редактором, то есть отчасти пастухом, отчасти учителем... Я проповедовал истину, заключенную в чужих книгах, потом стал издавать их сам, потом и собственные книги начал писать – а хотя уже с детства пытался писать стихи, но то, что я теперь собственного осмеливаюсь относить к литературе, начал я создавать немногим более десяти лет назад. Итак, пятьдесят лет я учился говорить и писать, и хотя слегка в этом искусстве преуспел (как Сальери), но все же не слишком ли поздно я вступил на сие поприще?

Может быть, я потерял уже больше, чем приобрел?

Правда, кое что ненужное и обременительное я потерял точно. Я потерял значительную долю тщеславия, самолюбия, "гордыни", высокомерия. Но ведь Пушкин и в тридцать пять лет, приступая к изданию «Современника», был невысокомерен и нетщеславен! Почему же так медленно освобождался я сам от упоения собою?

Да, медленно поднимаюсь я в гору, в которую обещал подняться еще в шесть лет.

Объяснить мир я не тщусь. Но никому и до меня это не удалось тоже.

Конечно, появляются время от времени учения, которые претендуют на то, что они «верны, потому что всеисильны» или «всеисильны, потому что верны», но справедливы они только в определенное время или в определенном месте. В другом месте верно другое учение – а так как математика во все времена и во всех местах не вызывает сомнения, то я заключаю, что абсолютны только математические истины, другие же все *относительны*.

Не тщусь я объяснить женщину, тайну ее непостоянства и ее бесконечной верности, благодаря которой мы, философы и поэты, пишем стихи. Не тщусь я объяснить ее любовь, которой мы недостойны. И какой памятник, рукотворный или нерукотворный, сравнится с тем, что переменчивая как время и неизменная как вечность, прекрасная как заря и чистая как родник женщина слушает нас на протяжении пяти десятилетий и все так же верит в нашу гениальность и великое будущее?

Иногда она устает его ждать и уходит жить. Ей тоже надо засеять луг цветами и собрать урожай. Но снова наступает таинственный май, зацветают сирень и черемуха, и вечная юность жаждет новых стихов.

Не знаю я, почему торжествует бездушная сила и тщетно знание.

Почему так ненавистна культура, и «идолы на улицах Афин», и «математика, внушенная бесами», почему так неодолимы «затруднения историка-христианина» и почему под дулом пистолета писатель обязан отвечать на вопрос «с кем вы мастера культуры»?

Писатель может и должен быть прежде всего с культурой, а она «первична», а все остальное вторично.

Но не буду спорить. Каждому свое.

Да, многое я не знаю, гораздо большее того, что мне отчасти известно. Ничего не изменил в мире, ничье отношение к миру изменить не сумел, хотя сам беспрестанно менялся – у меня были великие учителя. Но я все еще надеюсь.

Но возможно ли мир понять и объяснить, возможно ли его изменить к лучшему?

Кое-что меня наполняет надеждой.

Я приезжаю в апреле в деревню, калитка упала, сарай покосился, подгнили штакетины в заборе, на грядках пробивается чертополох. Руки опускаются, кажется временами, что хаос меня победил. Но глаза страшатся, а руки делают. И вот уже в последний приезд целый луг из нарциссов сияет

мне навстречу, у ручья подснежники и пролески, на взгорке удивительные «фрябчики», озимый лук выпустил стрелки, и даже крапива свежа и хороша для борща.

Философы как могли объясняли мир, а крестьянин ежегодно его изменял.

Я – крестьянин, сын и внук крестьянина, в отчаянии от разрухи мира бежавший в поэзию. Мне недостаточно понять и объяснить этот мир, да я и не уверен, что смогу объяснить тайну добра и зла. Но мне надо благоустроить мой огород, засеять его и дожидаться урожая.

Поможет ли мне литература, или она только может творить мир как миф, превратить в миф жизнь поэта, и стать самой мифом?

Я оглядываюсь на великие книги и вдруг вспоминаю, что *«Искони бе слово, и слово бе у Бога, и Бог бе слово»*.

8. Книга как мотыга крестьянина

Иисус Христос повелел Симону, рыбаку, что отныне он станет ловцом человеков, и имя ему будет Петр – камень, ибо на сем камне будет основана новая Церковь.

Читая и перечитывая Новый Завет, я убеждаюсь, что Учение церкви во всех его важнейших положениях создано апостолом Павлом, бывшим гонителем христиан, отступником от веры отцов. Правда, не только им. Но что с литературной точки зрения его Послания составляют выдающуюся книгу, которая уловила в свои сети европейское человечество, несомненно.

И эта удивительная книга хотя и не объяснила мир, а скорее запутала его в МИФе о грехопадении и искуплении и спасении души, но что сама стала Миром, тоже несомненно. После нее у мира две истории: история войн и борений, научных открытий и культурных свершений – и история Пришествия, Распятия и Воскрешения. Что с утверждением этого мифа пала античная культура и Римская империя, наступило тысячелетнее безвременье, но затем Язычество сквозь него проросло снова, несомненно тоже.

Истоки нового мифа – мифа о правильном расположении людей в человеческом улье как слов в стихотворении – заключены в Государстве Платона. В плоть и кровь облекся этот миф в коммунистическом мировоззрении Маркса и Ленина, и с утверждением его пала Российская империя.

Ныне царство еще более удивительного мифа о производстве стандартных товаров и богатств как единственном и основном смысле жизни. Пища, одежда и жилье – только товар. Развлечение – товар. Наслаждение – товар, а любовь – наслаждение.

Полнота жизни, то есть «познание и заблуждение», страдание и сострадание, грех и покаяние, поиски смысла жизни – все исчезает в жизни стандартного человеческого улья, еще более бессмысленного, чем казармы Платона и Кампанеллы. Но литература откликается на предсмертный крик народа, и появляется повесть Никитиной «Жизнь в зоне». Возможно, история человечества должна бы на этом завершиться. Но я еще надеюсь, что именно теперь собираются литературные силы в некий *магический кристалл*, и явится новая Книга, призванная спасти и преобразить мир.

К чему же она призвана?

Она призвана дать пути преображения нашего мира и спасения России – а только через спасение России и возможно спасение личности – в том культурно-историческом смысле, который, надеюсь, читатель уже уяснил из моих Записок и который состоит в стремлении к нравственному и духовному возвышению, культурному обогащению, широкому и глубокому образованию – для себя; и в заботе о семье, друзьях, Отечестве и культуре – для внешнего мира. Этот путь одинаков и для философа и для крестьянина, и для мужчины и для женщины. Это сегодня деревня превращена в культурное пепелище. Но даже я захватил ее значительность и достоинство, и все, что сегодня имею, в большей степени приобрел я в деревенском детстве, чем даже из литературы.

Итак, книга призвана стать тем же, чем мотыга является для крестьянина, с помощью ее мы возделаем и преобразим наш падший мир (не в грехо-падении Евы), заросший ольхой и кустарником, репейником и крапивой, свалками и заборами новых богатых, жестокостью власти и низостью подвластных, жестокостью и растлением господ и трусостью и рабством рабов.

Но ведь книги все разные, возразят мне, одни из них развлекают, другие смешат, третьи учат и исторгают слезы.

Но это все части некой пока воображаемой целостной книги. В человеке тоже много разного, и у плоти свои заботы (то боль, то болезнь, то увядание), а у души свои, то зависть, то негодование, то жажда добра, и стремлений, противоречащих друг другу, в человеке много, и жажда любви, и духовная жажда (и "я помню чудное мгновенье" и "духовной жаждою томим"), но не устаем же мы для этого множества искать единство и назначение?

Даже Библия (из двух Заветов), преобразившая христианский мир, – великое множество, собрание многих книг, тоже часто противоречащих друг другу и стремящихся к разному, и мифическая история космоса, и история царств, и законодательство, и этика, и откровение...

Поэтому пусть «Рыжая Мэри» нас увлекает, «Осколки памяти» учат сочувствию, «Страна падонкаф» – негодованию, «Фамильные ценности» воскрешают традиции, «Сиверсия» исторгает слезы, повесть о Туркунове смешит, «Лекарство от Африки» предостерегает, «Генерал Кутепов» напоминает – все вместе мы указываем цель и направление жизни.

9. Редактор: грешник и праведник. Воскрешение мифа

Но «чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился» – говорит апостол Павел.

Да и каждый из нас удручен, претерпевает, не только апостол; возможно, он более, но не буду я с ним меряться скорбями своими, только напомним, что и родился сначала бездыханным а потом сильно кричал, и болезнями во младенчестве и в детстве переболел всеми, какими возможно, и топили меня в пруду, уча плавать, и резали меня неоднократно, отрезая испорченное.

А в последние годы жало вонзается в меня все чаще, не знаю, что и подумать – неужто так уж превозношусь? Мне кажется, что напротив, я в себе не уверен – но вот, водружая над дверью в прихожей книжную полку, сверзился я с обеденного стола и плечом попытался пробить пол.

С тез пор каждую ночь я *умалюю гордыню*, в плаче и скрежете зубов кланусь исправиться.

Прошло две недели, жало притупилось и терзало не так сильно, но понадобилось мне разрушить обветшавший сарай. Я глядел на него, видя, как он накреняется вбок – и тут-то и бабахнула в меня четырехметровая стропила, словно мина разорвалась под ногами.

Дьявольская сила ее полетела прямо в меня, но чудесным образом какая-то иная сила меня от нее отшвырнула, я отлетел на два метра, меня развернуло спиной к mine и тем же большим плечом врезало в землю.

Что это? Предостережение? Тогда не было ли и предыдущее падение *предостережением*, а не наказанием за гордыню? Сомнительно, чтобы мой ангел-хранитель стал так вмешиваться в мой личный спор с христианским учением (это ведь не спор с Всевышним, а только спор с людьми, называющими себя Его учениками, хотя и претендующими на исключительные с Ним отношения). Нет, ангел-хранитель может вести себя как преданный, хотя и строгий друг, отчасти учитель или ментор, но не как цензор.

Или это знак Милости? Высшие силы не окончательно во мне разочаровались, еще возлагают на меня надежду и ношу, еще меня защищают, даже от смерти? И что же должен я?

Усмирять гордыню, усмиряться, посыпать голову пеплом, не претендовать более на соучастие в преображении мира? Обещать вести себя смиренно и кротко, потупив очи и не смея вымолвить слова?

Нет, это не для поэта, не для литератора, ответственного перед литературой. Долг у меня есть, я о нем временами забываю, временами подлинно впадаю в сомнение, самоупоение, а надо быть к себе критичнее, как и я к *исправляемым* мною авторам. Посему потупляю временно очи, пребываю в сокрушении душевном, всматриваюсь в себя и в свои падения и буду отныне писать старательнее и прилежнее и усерднее, как и должно провинившемуся ученику. Не буду впадать в сомнение.

Никто нас не читает, нет читателей? Не будем ругать отставших от чтения, НО будем стараться стать лучше и писать превосходнее.

Читатель не хочет понять, сделать усилие, откладывает книгу в сторону?

Не будем ругать отвыкших от чтения, но будем стараться стать лучше и писать превосходнее.

Книги мои не убеждают и не приводят в восторг даже прочитавших их?

Этих смельчаков уже и вовсе мне грех ругать. Значит, я пишу все еще плохо. Пусть даже и смерть надо мной начнет смеяться, но выход только один – становиться чище, возвышеннее, умнее, образованнее, талантливее, благороднее! И писать изо всех сил, рваться изо всех жил, даже изо всех сужилий!

... Но я еще не обо всем сказал. Два или три письма я еще напишу.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ТВОРЧЕСТВО И КУЛЬТУРА?**1. Введение**

Суббота, 18 мая. Читателя я, вероятно, запутал, да и сам запутался тоже. К тому же наступила вторая половина мая, плоть природы, спавшая зимою, вдруг пробудилась, цветет черемуха и распустились вишни, девушки уже начинают раздеваться и увлекают так, что даже стихи не пишутся, и если я еще и смогу побрести дальше в своей литературной философии, то побредет ли со мною читательница? К тому же, уже забывшая, с чего я начал и куда веду. Поэтому основное мне надо напомнить.

Итак, мы установили, что **правил для того, чтобы писать хорошо, не существует**: Толстой, Маяковский и Андрей Платонов писали плохо, но их еще и теперь читают, более того, я сам признаю их писателями превосходными. Я же пишу хорошо, но превосхожу ли я Сальери, я пока не уверен. Это как в лошадином беге: одна уже с рождения бежит превосходно, другую никак не выучить. Так что мои Записки – не практическое пособие для литератора, не свод правил и не анализ ошибок, а некоторые общие рассуждения, призванные помочь и мне самому и моим друзьям и подругам по «ремеслу и искусству» понять, чем мы занимаемся в своей литературной деятельности, О ЧЕМ пишем, КАК и ДЛЯ ЧЕГО.

Хорошая книга, как учил Аристотель, та, в которой сочинитель говорит то, что должно, не говорит того, что не должно, и говорит так, как должно.

Дело за малым: определить это *должное*. Только вот надо ли?

Кроме того, мы исходим из аксиомы, что МИР пал, нуждается в спасении, и рассуждаем преимущественно о путях и средствах.

Но тот мир, который предстает нам в литературном умозрении или зрении чувственном, тот якобы внешний, на который мы смотрим, и тот якобы внутренний, который находится в литературном пространстве – это миры разные. Мир внутри *романа* (рассматриваем именно эту форму литературного произведения как наиболее всеобъемлющую) и мир жизни, мир практической деятельности, мир, который я созерцаю и который я переживаю – не только не совпадают, но чуть ли не противоположны.

Пытаемся ли мы понять, *объяснить* или хотя бы *изобразить* и *описать* внешний мир (и внутренний) в помощь науке и философии; *создать* в процессе творчества собственный искусственный, так сказать «параллельный» мир, как модно нынче говорить; пытаемся ли мы внешний подлинный реальный мир *улучшить*, как крестьянин улучшает пашню; или же мы держаем его *преобразить*, как гусеница превращается в бабочку? Или и то и другое? Писатель кистью живописца воспроизводит реалистическую фотографию природы и человека; той же кистью с добавлением магии создает портрет, в котором проявляет невидимое, неслучайное, стирая случайность; иррациональным интеллектуальным усилием созидает многомерное или криволинейное пространство бытия, словно неевклидову геометрию вместо

евклидовой; или, наконец, как алхимик и маг, как волхв и кудесник, как жрец и бог *преображает* бытие?

Так что в руке автора? Зеркало? Весы и рулетка? Мотыга? Философский камень? И, следовательно, кто он: ученый землемер, иллюзионист, крестьянин и «инженер человеческих душ» или кудесник? Или все вместе и еще нечто неведомое?

Таким образом, *неясно, что считать задачей культуры* и, в частности, *литературы*, ибо творец может поставить перед собою одну из четырех задач, и тогда не уклоняется ли он от необходимого? Должен ли он прислушиваться к грозному окрику пролетарских волхвов «с кем вы, мастера культуры?», принимать близко к сердцу «затруднения историка-христианина», оправдываться от обвинений в том, что «народу это не понятно», оправдываться в очернительстве и лакировке, в погоне за «жареными фактами», во лжи и подтасовке (тем более что Оскар Уайльд прямо гордился тем, что *литература – искусство лганья*) или в слепом следовании за хаосом слепого быта? Должен ли он «дорожить любовью народной» и радоваться, что «долго будет тем любезен он народу, что чувства добрые он лирой пробуждал», тому народу, наследство которого «из рода в роды ярмо с гремучками да бич»?

Как видите, даже наш великий поэт противоречит сам себе, поэтому не удивляйтесь, что и я противоречив, и даже не стремлюсь противоречия устранить.

2. О единстве литературы

Что соединяет народ в целом, что придает ему личностную определенность, является определяющим в этой определенности: язык, культура, историческая память, этнос – об этом мы спорим, но спор наш имеет смысл, пока мы не отрицаем личность в народе, не смешиваем его с населением, с множеством независимых атомов и молекул. Точно так же, когда заходит речь о характере личности человека, о ее скрепах, мы можем совершенно расходиться во взглядах на сущность человека, на то, что важнее, телесное или душевное, дух или плоть, но соглашаемся в том, что такие противоположные сущности, как дух и плоть, тем не менее составляют в человеке единство. Иначе не имели бы смысла пол, семья, этнос.

Несомненно, что смысл жизни отталкивается от идеи направления жизни, ценности этического и эстетического, от сознания конечности жизни, от мировоззрения, веры, образования, культуры, национальности, социального положения – но и человеческое тело его определяет тоже, и не в меньшей степени. Возможно, что главным смыслом существования для женщины является рождение и воспитание детей, семья, преемственность поколений, поддержание бытия народа – но тогда именно ее ТЕЛЮ – тот инструмент, с помощью которого она играет свою величественную симфонию жизни.

Имея это в виду, приходится признать, что смысл жизни – органическое соединение множества целей, их синтез или их взаимное соответствие, взаимоподдержка – как в жизни растения корни питают его водой и минеральными солями, а листья – энергией, и вместе они способствуют его

произрастанию. Правда, в человеке все сложнее и удивительнее, одни стремятся к наслаждениям, стремятся пить вино жизни, другие проповедуют умерщвление плоти, трети, отдаваясь страстям, скользят по грани между жизнью и смертью и часто, рискуя жизнью, погибают в молодости.

Большинство живет жизнью менее цельной, преследуя множество целей, и трудно сказать, даже когда эти цели ясны и определены, которая из них является определяющей.

В литературе (культуре) все так же сложно и удивительно, как и в человеке и в мире. Что она многообразна, как и люди, и привести ее к общему знаменателю невозможно – это еще не все. Но часто уместно говорить о двух или трех культурах. Так, в советское время, начиная с семидесятых годов, стала развиваться полуподпольная «вторая культура», среди крестных которой был и я в числе других. В антисоветское время (то есть в нынешнее время воровства и разбоя) появилась и заполонила почти всё Антикультура, техническим средством и символом которой является телевизор. И потому говорить ли о Культуре, включая в ее состав и антикультуру, или их разграничивать, не соединяя?

Вот так же и человек. Среди множества формул, которые я предлагал в качестве целей и смыслов жизни, была и такая: *Стать человеком*. Значит, я исходил из того, что мы, совершенствуясь, еще получеловеки, *недочеловеки*; подлинный, настоящий человек – нравственный и духовный, – это тот идеал, к которому нам еще надо приблизиться.

Вот так же и народ. Относить ли к народу чернь (которую так ненавидел Пушкин), городское «быдло», о котором вкривь и вкось толкуют сегодня, причисляя к нему то поддерживающих правительство зрителей телевизора, то участников антиправительственных митингов, да и просто равнодушных ко всему, кроме себя и самого ближнего своего, обывателей? Проще всего разделить народ на две части, одну из них, *Малый народ*, в который входят творцы и мыслители и просто одухотворенные люди, и считать подлинно Народом, а другую, оставшуюся, *Большой народ*, к Народу не относить.

И все же, все же...

Итак, продолжим разговор о единстве литературы.

В ней множество жанров, пестрый калейдоскоп книг, в своих рассуждениях я ссылаюсь на Книги тех, кого я избрал в любимцы и любимицы – а остальные?

Нужен некоторый взгляд, примиряющий различия, возвышающий над ними.

В лице человека все значительно и все необходимо, в лице прекрасного человека прекрасно всё. Говоря о цели бытия, о ценностях его и смысле житейских замыслов, волнений и трудов, мы ставим в центр разговора человека как некую условность, абстракцию, неопределенность. Это и прежде всего тот человек, который «духовной жаждою томим», но и тот, который восклицает «цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум»... Это и князь Мышкин, и Раскольников, и Сонечка Мармеладова, и Скупой

рыцарь, и Гамлет, и даже Смердяков. Литературные явления не менее различны, чем их герои.

Недавно очень много было рассуждений о Дороге к храму. О чем шла речь? Храм – это и место, где человек молится Богу (хотя молиться Ему он может и в пустыне), где совершается во имя Бога священное действие (которое может совершаться и в келье отшельника и в тюремной камере), и Символ соединения человека с Богом.

Но храм – и строение, и тело Символа, и тело из Храма мы не выбрасываем, как и из человека. А тело состоит из множества разноречивых частей, есть и крыша, и основание, и стены, в храме есть Аналой, есть и приделы, и служебные помещения...

Если относить к литературе послания апостолов, то речь в них о *сокровенном*, и назначение их – сообщить человеку высшее знание. Но к литературе относятся и народные сказки, и сказки писателей, и комедии, и даже водевили, в которых, возможно, чуть ли не главная цель – развлечь и насмешить читателя.

В театре тоже ведь не все едино, хотя мы туда приходим *смотреть спектакль*, возможно, и развлечься, и отвлечься от тягот жизни, отдохнуть и получить наслаждение, и даже, сопереживая страданиям героев в трагедии, плакать. Не случайно говорит Пушкин в Элегии:

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь...

И не случайно эллины видели смысл и *назначение трагедии*, да и всякого высокого искусства вообще, в *катарсисе*, т. е. очищении истиной.

Следует ли за катарсисом перемена человека и мира – бог весть, возможно, он остается прежним, но несомненно, что без искусства, без трагедии (и без литературы) человек закоснел бы в грязи и зле ещеуще. Вот так же и христианство не изменило души людей (кто хоть немножко знает историю и умеет сравнивать века, согласится со мной) – хотя и являлось ли изменение душ целью учения, тоже бог весть – но если после литургии и молитвы человек делается лучше хотя бы на время, и то слава богу.

Литература (сознательно или бессознательно, через авторскую волю или согласно стихии творчества) стремится ко всему тому же, что и человек в порыве высоких или страстных стремлений: покорить, изменить, утешиться и насладиться.

Но что думает и говорит автор о своем творчестве?

Пушкин в письме Вяземскому:

Я пишу для себя, а печатаю для денег, а ничуть не для улыбки прекрасного пола.

А современный поэт прямо возражает:

*Стихи пишу затем,
Чтоб нравиться.*

Но для чего пишет (или думает, что пишет) поэт, какую кажущуюся цель назначает писатель роману – и что думается о нашей поэзии и литературе в вечности – часто почти противоположно.

Будем понимать под литературой и собрание книг, и Личность. Собрание книг, относясь к литературе, не является ею вполне, это уже иная, почти даже самостоятельная личность – Библиотека, которая отчасти входит в литературу, отчасти нет, как взрослые дети, выделяясь из большой деревенской семьи, сами создают новые семьи.

А есть еще литературные музеи, музеи знаменитых писателей и поэтов – отделения библиотек и литературные колонии, дети детей в деревенской семье.

Какой единой общей целью обнять это многообразие? И все же она есть, и есть скрытая формула литературы, растворенная в ее душе и теле, как есть Любовь и есть ее всеобщая цель, хотя, как утверждают поэты, нет ни формулы счастья, ни формулы любви, а что касается ее цели, то вся история любовных страстей свидетельствует о том, что у всех почти они разные, и даже у двух влюбленных. Какая цель у любви в повести «Случайная любовь»? Одинаковы ли цели Дон-Жуана и Донны-Анны?

«Минометному взводу, с целью ввести в заблуждение противника, была поставлена задача овладеть Безымянной высотой, тем временем Гвардейская дивизия должна была захватить стратегическое шоссе, а 32-я армия, развивая наступление, окружить противостоящую группировку противника. При этом капитан Северцев не терял надежду найти Надю.»

Казалось бы, сводимы ли все эти цели воедино? Так же, как органы человеческого тела и как вся его личность... И как литература, соединяющая несоединимо, – жанры, направления, романы и повести...

3. Действительность как миф

Что уж может быть духовнее, чем язык? Но он – плоть, материя литературы, почти как строительные материалы, ландшафт и окружающие ансамбли в зодчестве.

Язык диктует и определяет.

В романе «Страна падонкаф» характеры героев и их судьбы определяются не только происхождением, местом жительства, семьей, но и *языком*, на котором они говорят. Язык, на котором они говорят – производное от судьбы целого городского молодежного слоя. Но и сам язык становится для них судьбой, и тогда характеры героев романа и их судьбы определяются *только языком*, все остальное или вторично, или производно.

Задумал ли автор прославиться, заработать денег, привлечь внимание общества к трагедии России – ничего ему не удастся (пока). Но книга начинает жить, а у *книг*, говорили древние, *свои судьбы*. Не зависящие от нашей воли.

Литература создает свой собственный мир, именно его автор меняет, объясняет, привлекает к нему внимание. Эти два мира – внешний и литературный – сосуществуют и проникают друг в друга, и влияют друг на друга.

Реалистический критик утверждает, что автор верно "схватил" действительность и описал ее. Но в какой действительности живет человек?

Отделена ли от нее культура?

Что Пушкин и Дельвиг жили в мире дворянской культуры – и не только – но и в мире всей мировой культуры, и даже быт был ею пронизан, и Петербург, и "мертвые" языки, которые они изучали в лицее, и французский, на котором они заговорили раньше, чем на родном, и толща французской философии и литературы, и европейская литература в переводах на французский (включая Песни западных славян, которые Пушкин перевел из Мериме, а тот их просто ... сочинил, не ездя на Балканы), и театр, русский и французский (в Петербурге), и литературные салоны, балы в прекрасных дворцах... так в какой *внешний* мир могли всматриваться авторы Пушкинского времени? Их мир – в котором они жили, и в который они всматривались, и который они творили в своей поэзии – был миром литературной мистерии (а шире – культурной мистерии).

Но и крестьяне не жили в мире "вещей для себя", в некоей голой эмпирической реальности, но в мире крестьянской культуры. Принимая Лосевское определение мифологического сознания и мифа, можно утверждать, что человек живет в смешанном бытии, являющемся взаимопроникновением культурного мифа и условной житейской реальности. Культура сама является мифом. Сложным и всеобъемлющим мифом является идеология, в частности христианство и марксизм. Миф стремится подчинить мир и преобразовать его, как крестьянин культивирует поле. Новый миф вытесняет старый, воюя с ним ожесточенно, вытесняя его. Эллинский миф был эллинской культурой, христианство ее разрушило, сожжение Александрийской библиотеки было символическим выражением разрушения старой культуры.

Деятнадцатый век в России, век расцвета русской культуры, был веком Возрождения, христианство играло в нем вторичную роль.

4. Миф как действительность

Молодой марксизм, пришедший в России на смену дряхлеющему христианству, также стремился стать мифологической действительностью, и стал ею, но для этого он также должен был разрушить предшествующую культуру, и он ее действительно разрушал.

Один из самых известных вождей «новой культуры», Маяковский, писал: «Наша постоянная и главная ненависть обрушивается на романсово-критическую обывательщину. На тех, кто все величие старой поэзии видит в том, что и они любили.

Какие же данные необходимы для начала поэтической работы? Первое. Наличие задачи в обществе, разрешение которой мыслимо только поэтическим произведением. **Социальный заказ.** С моей точки зрения, лучшим поэтическим произведением будет то, которое написано по социальному заказу Коминтерна, имеющее целевую установку на победу пролетариата, переданное новыми словами, выразительными и понятными всем, сработанное на столе, оборудованном по НОТУ, и доставленное в редакцию на аэроплане.»

Но этого было мало для разрушения культуры, требование отмены ее автономии и Социального заказа необходимо было подтвердить требованием репрессий в отношении инакомыслящих, и большевики повторили слова Христа, заменив Я на мы: *Кто не с нами, тот против нас*.

Почему же через семьдесят лет они провалились? Потому что их вожди учились в гимназиях и семинариях, ходили в театры и хоть изредка слушали музыку. И я тоже учился в школе, в которой учили читать и любить Пушкина и Лермонтова, Толстого и Тургенева; и жил в обществе, которое смотрело драмы Островского и слушало Чайковского, Мусоргского, Скрябина и Рахманинова. Ленин изгнал философов, расстрелял Гумилева, Сталин расстрелял Есенина и Клюева, мучил Шаламова – а надо было сжечь ВСЕ книги и оставить единственную.

Сегодня государство и общество гораздо тотальнее разрушает образование и культуру, расчеловечивает человека.

Напоминаю читателю, что понятия *реальности* и *действительности* я понимаю не тождественно. Реальность – это словно дикое поле, к которому не приложено искусство человека, на таком поле не жил самый необразованный крестьянин. Действительность – это поле, обработанное европейской культурой. Разумеется, с марксистской точки зрения первична *реальность* как материя жизни, *действительность* вторична, это уже сознание, дух. Литература имеет дело с действительностью, в терминологии Лосева – с *мифом*, который и является подлинным бытием. Но она и сама творит собственное пространство бытия, свой собственный МИФ, который противостоит наличному бытию как таковому, как в кантовской философии **вещь для нас противостоит вещи в себе**.

Что такое современность, современная Россия? Это **реальность** упадка, падения, хаоса и разложения, утраты ценностей, нравственных, эстетических, утрата традиций, образования, культуры, падение науки, семьи, рождаемости, продолжительности и качества жизни. Эта реальность пропитана мифами христианства, язычества, коммунизма, но действительно и все разрушительнее пропитывается новым мифом бездуховной жизни, смысл которой в матерьяльном успехе, развлечениях и наслаждении. Бабки, сауна, телки – вот какая триада заступила место уваровской формулы «православия, самодержавия, народности».

Марксистский миф светлого будущего неотделим был и от эллинизма и от христианства, с которыми он яростно боролся, самыми варварскими и жестокими средствами, уничтожая миллионы лучших людей (как еще совсем недавно христианство) – но он сохранял поле культуры, и его поэты были еще отчасти гениальны.

«Отношение к строке должно быть равным отношению к женщине в гениальном четверостишии Пастернака:

В тот день [всю] тебя от гребенок до ног,
как трагик в провинции драму Шекспирову,
таскал за собой и знал назубок,
шатался по городу и репетировал.» – это писал Маяковский.

И он же написал в стихотворении хулиган:

«Обутые лодочкой
качает ноги водочкой.
Что ни шаг –
враг.
Вздрыг фонарь,
враги – фонари.
Мне темно,
так никто не гори.
Враг – дверь, враг – дом,
враг – всяк, живущий трудом.»

Это ли не трагический вопль черни, от которого не отмахнуться, который надо понять, сострадать и искать разрешение?!

Но он уже заглядывал в будущее, он писал и:

«Для лучшего выполнения социального заказа надо быть передовым своего класса, надо вместе с классом вести борьбу на всех фронтах. Надо, чтоб органы просвещения масс перетряхнули преподавание эстетического старья.»

Но разрушить культуру до конца трудно, оставаясь философом, как Маркс, или поэтом, как Маяковский. Вожди победившего пролетариата были глухи к философии, слишком духовно просты (*просты как правда*) или даже, по слову апостола Павла, были «блаженны нищие духом»... Современность – это не новый культурный миф, а нечто иное, это *антикультура*, АНТИМИФ.

Возможно, современность создаст, наконец, свой собственный мир, лишенный культуры, в этом мире сможет остаться и христианская церковь, но в этом мире не нужны будут ни философия, ни литература, ни опера, ни памятники архитектуры, ни Петербург, ни романс.

Та новая литература, которая заполняет прилавки, достойно продолжает мыльные сериалы и сказки политологов.

Она способствует превращению реальности в антиреальность, и новая антидействительность – синтез этой антиреальности и *антикультуры*. Что же остается? Забраться на крышу высотного дома в пятнадцать лет и:

– Я не хочу! – Лена вырвала свою ладонь из руки подруги. Совершенно белое лицо у одной, ни кровинки в лице у другой. Аня прожгла взглядом глаза Лены. Та не опустила. Слова уже не нужны. Аня отступила на шаг. Сорвалась на визг:

– Ну и оставайся, сучка! Пей, кури, рожай уродов!
Она повернулась спиной к подруге. Равнодушно. Встала на самый край. Раскинула руки.

– Прощайте все!

Это из романа Вадима Росса «Страна падонкаф».

А что нам, остальным? Или «пить, курить, рожать уродов», или повернуться лицом к правде.

5. Противостояние

В семидесятые годы, когда советская власть перестала уничтожать тех, кто был «не с нею», появилась полуподпольная «вторая культура». В музыке основным способом ее существования были домашние вечера, в литературе – САМЪИЗДАТ.

Надо, правда, сказать правду: и советская литература разложилась, перестала призывать к каннибализму, появились «Не хлебом единым» Дудинцева, «Доктор Живаго» Пастернака, Евтушенко, Вознесенский, Соснора, а затем Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Василий Белов.

И вот совокупная культура проросла сквозь коммунизм и его разрушила.

Удивительным образом мы переживаем сегодня сходные времена.

Литература не умерла, она взошла в Интернете (как после пожара сосны всходят на болоте), а в нашем Издательстве существует раздел Самъиздат.

Все как тогда.

Бог по-прежнему со мной в разладе, и не спешит исполнять обещанное, и «жало мудрая змеи в уста замершая мои» не вкладывает «десницею кровавой», несмотря на то, что на меня уже рухнул сарай и стропила пытались меня унести из этого мира.

Но все же Он даровал мне счастье, я читаю авторов нашего самъиздата, поправляю их (редактирую), даю советы (которые они не всегда выполняют), и вот даже вступил в переписку, и частную, и общую, в Записках редактора.

Но я не пишу о том, как надо писать и что должна литература, потому что она никому ничего не должна.

Литература создает свой собственный мир, и если она не мурлыкает на коленях у преступных политиков и проворовавших Россию бизнесменов, то она даже вопреки нашим замыслам и пожеланиям исполняет свою МИССИЮ.

Как эллинская культура была независима от христианства и уже этим ему ненавистна, так наша литература независима от общества, читателей, критиков, независима даже от меня, и только в силу своей независимости способна помочь нам всем.

Одни произведения высмеивают внешний мир, как «Бутик и все-все», другие его осуждают, как «Страна падонкаф», третьи рассказывают читателю сказки, как Антресолия и Торитель – но мир литературы, даже если он сказочный, даже если в нем принцессы улетают к звездам, а красотики во сне улетают к принцам (как у Айрин) – отстоит от помойки современного мира и уже только этим ему ПРОТИВОСТОИТ.

Есть ли у литературы общая цель, независимая от жанров, направлений, симпатий и антипатий автора? Да, есть.

Это – ПРОТИВОСТОЯНИЕ.

Кто когда-нибудь читал запоем, тот вспомнит, как мы погрузались в море, существующее независимо от наших пошлых будней, и носились по нему на парусниках, подгоняемые ветром мечты. И не только приключения и романтика, Айвенго, Остров сокровищ, Дети капитана Гранта, Отверженные и Последний из могикиан уносили нас в дальние страны, но и приключения Онегина и Печорина, Анны Карениной и Братьев Карамазовых.

6. Правда и Правда жизни

Я помню хорошо, что было вчера и на прошлой неделе, иногда помню и то, что происходило несколько лет назад. Но так как я веду дневник, то могу в него заглянуть, кое-что из протекающего я в него заношу. И там, по горячим следам, я описываю *всё как есть*, а значит, пишу правду.

Но – кажется, я уже об этом писал – так как в своих литературных сочинениях я использую кое-что из происходившего со мною, самый легкий способ – взять Дневник и его отредактировать. Я меняю слова и фразы, некоторые незначительные события изгоняю, а у меня есть файл, который назвал я *осыпью*, туда и изгоняю я и неудачные стихи и скучные происшествия.

Но то, что остается, я снова редактирую, как и стихи – некоторые из них я переписывал тридцать лет, потому что я, к сожалению, всего лишь Сальери. (Но о Моцарте и Сальери еще впереди).

Что-то, как мне кажется, умное приходит ко мне потом, и я добавляю умные словосочетания в свою правдивую книгу, а глупые сокращаю. Потом сокращаю все в целом, боясь, что никто до конца не дочитает.

Сравниваю текст, над которым я мучился, с осыпью – нет, в осыпи все хуже, не может быть, чтобы это был я. Но ведь и красotka, идущая на свидание, красится, отстригает торчащие локоны, другие завивает, примеряет туфли, юбку, иногда примеряет и то, что я уж точно никогда не увижу (хотя, как знать!) – когда она правдивее? Без доказательства, как аксиому, я заявляю: в отредактированном виде мы лучше, а значит, правдивее. Но ведь тогда и бессовестный писатель, ваксящий усы тирану и голенища его сапог, начнет оправдываться, что он сквозь «мусор слов и заветов» хотел открыть Истину? И я обращаюсь к цыганке.

Предстоит тебе, мил дружок, дальняя дорога, а на сердце у тебя с левой стороны две ведьмы, а с правой утешительница, а в уме несбыточное, но ты не отчаивайся, что-то и из несбыточного, быть может, сбудется.

Заглядываю в дневник и вижу, что ничего из гадательного там нет, но ведь магия не врет, она больше правда, чем трезвый и скучный взгляд? Так и стихи точнее и глубже и истиннее прозы, хотя мы и не говорим стихами.

Так что, скорее всего, права цыганка, а не мой скучный взгляд, хотя я не вижу и не описываю ни дальней дороги ни ведьм вблизи.

Действительного в реальном или нет совсем – и это абсолютное безвремье, о котором Гамлет сказал: *Распалась связь времен!* – или они разъединены, и все духовное, талантливое, достойное обречено быть ненужным, *лишним*, отвергнутым, ютиться в канаве и подворотне или в подполье.

Но даже в лучшем случае, когда они сосуществуют и взаимопроникновенны, как в российском девятнадцатом веке (а это лучший век русской культуры), участь философа и поэта достойна сожаления: и это о девятнадцатом столетии Николай Петрович Ильин написал свою "Трагедию русской философии", и это к этому веку относится восклицание Пушкина в маленьких трагедиях "Ужасный век, ужасные сердца!" Что уж говорить о других, когда, выходя из дому, не уверен, что не окажешься посаженным или убитым!

Если писатель вглядывается в повседневную реальность, как хроникер, то он не видит действительного. Сравним роман и газету: даже у Достоевского пространство романа почти не имеет общего с газетной хроникой или с полицейскими отчетами.

Но они не отделены стеною, литература проникает в жизнь и даже больше, чем жизнь проникает в литературу.

В особенности резко это проявляется при смене эпох. Время царствования императора Николая Первого, в которое писали и жили Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Баратынский, уже через пятьдесят лет стало *пушкинским временем*. А что осталось от тогдашних властителей? Не только ли то, что о них написали гении?

Математика еще более сурова к самодержцам и кардиналам – не потому ли они восклицали, что она внушена бесами?

Идеология и власть существовали в своем особом пространстве, поэту и художнику разрешалось быть слугами, писать кантаты к пасхальной мессе и менуэты к придворному балу, писать портреты царских особ и воевали для домашних спектаклей – но шло время, идеологическая почва становилась все тоньше, почва культуры все возрастала. В седьмом веке об афинских скульптурах, вероятно, знали умеющие читать потому, что о них написал апостол Павел, как об идолах, коими уставлены улицы Афин. В девятом веке иконоборцы сжигали иконы даже своих святых. Культура составляла некую часть идеологии, но ютилась у нее на задворках. Сегодня церковь благолепна храмами, звенит хорами, вельми украшена, Пушкин и Лермонтов, и даже Розанов посвящают религиозным чувствам восторженные и прекрасные страницы своих писаний, и их читатели сквозь призму культуры видят богослужение, храм и веру – но когда-нибудь монахи восхваляли поэтов? Или даже отпевали их на похоронах сквозь зубы?

Я не свожу счёты, не жалею, я только хочу объяснить, почему культура сама по себе и почему она чужда идеологии, – марксистской, большевистской, христианской, современной воровской и нацистской.

И в то же время История – это история культуры, науки, произрастания народов. Это история и великих личностей, среди которых цари помешаются крайне редко и с великим трудом. Мы помним Марка Аврелия, памятник которому на коне стоит на площади в Риме – он написал «Наедине с собой». Мы помним Цезаря – он написал «Письма из Галлии». Помним Юстиниана и Наполеона Бонапарта – они нам дали современный юридический Кодекс. Помним канцлера Томаса Мора. Помним Людовика Восемнадцатого – ему отрубили голову. Помним императора Павла – его задушили подушкой.

Оглядываясь назад, мы видим только **ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ**, но не реальное – почему же сегодня осмеливаемся утверждать, что литература описывает реальность?

Но придворная и холуйская советская литература лгала не потому, что она отворачивалась от реальности, что она *сочиняла* – сочинял и Булгаков, и Есенин, и Клюев – а потому, что она повествовала о костре, на котором сгорала Жанна д'Арк, только с точки зрения палачей и черни, собравшейся посмотреть на мученья святой.

Впрочем, это разговор не для одного Письма. Мы уже спорим три тысячи лет, и во все времена и эпохи и я и мои товарищи оказываемся в меньшинстве, а теперь мне еще труднее: вчера меня побивали Знанием и единственно верным Учением, и когда я женился (и даже венчался), жену мою чуть не изгнали из университета, а когда я вслух сказал: Верую в Бога и в русский народ, ее изгнали даже с работы. (Ну, а обо мне можно прочитать в судебных отчетах). Сегодня же меня побивают Верою и Откровением, но побивающие – все те же, вот что странно! Или, по крайней мере, их крестили в одной и той же партии, партии победившего холуята.

7. Хронос и Кайрос

Вторник, 21 мая. Иногда говорят: Я пишу *о времени и о себе* – но о каком же времени, *Хроносе или Кайросе*, о бездушном времени физического мира или о времени судьбы? И о каком *себе*, о том ли, о котором спорят у Ибсена: Будь собой или будь собою доволен, или о том, которого искали Сократ и Диоген?

Написать мне нужно еще о многом, хотя я не хочу, чтобы некто в сердцах воскликнул: «А кто тебе разрешил писать? Или ты считаешь себя самым умным?» – как гневно обличил настоятель Оптиной пύстыни ученого монаха, написавшего историю этой пύстыни.

Пространные рассуждения о реальном и действительном мире пока не совсем ясны. Отчасти их можно разъяснить метафорическим сравнением с телом и душой у человека, которые существуют и как единство и как противоположности. Ведь и тело у человека произрастает в течение жизни, сначала возрастая, потом приходя в зрелость и, наконец, клонясь к упадку.

А душа и дух тем более не даются сразу, хотя они и развиваются, как и тело, но иногда говорят о духовном рождении, которое наступает гораздо позже физического рождения. Условно можно бы сказать, что реальность – это тело мира, а действительность – душа мира, и тогда понятно, что наука занимается телом, а культура – душой. Более того, культура эту самую душу создает и культивирует.

Но в каком времени и в каком пространстве, в каком мире мы живем воистину? Не является ли действительный мир только метафорой?

Я пишу о том, что испытывал и переживал сам. Даже когда я спорил с апостолом Павлом, я ему говорил: Не только тебе были даны видения и голоса и явления небесного духа, но и – если не хвастаться собою – например, Клюеву и Даниилу Андрееву. Метафизический опыт дается не одному, как и Муза поэзии приходила не только к Овидию.

Итак, многие из нас, если почти не все, переживают оба эти мира, телесный и духовный, и крестьяне, внутри крестьянской культуры, живут одухотворенно-матерьяльной жизнью. Или жили... Хотя городской плебс лишен живого общения с культурой и природой, поэтому-то он так покорен всякой бездушной власти.

Но и жители городов иногда возносятся на небо, и к ним нисходит благодать Божия. Так случилось в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое мая, с субботы на воскресенье, когда в Петербурге была "Ночь открытых дверей" театров и музеев.

Уже почти начались Белые ночи, воздух уже был по летнему теплым и одновременно по весеннему свежим, расцвели черемухи и вишни, город почти весь вышел на улицы, почти вся молодежь, школьники, студенты и даже дети.

Толпа текла по Невскому как одна счастливая одухотворенная личность, работали кафе и магазины, звучала музыка, многие обнимались и целовались.

Наша компания состояла из четырех человек, мы передвигались на машине, передвижнице пить было нельзя, остальные трое отхлебнули по бокалу шампанского (на троих).

Сначала в филармонии слушали Прокофьева, и я уже вознесся на небо и хотел остаться там жить, хотя бы до утра, но пришлось подчиниться большинству и мы поехали в литературный музей (Достоевского).

Конечно, это был экскурсионный вал, работали девочки-студентки, барабанившие каждая в своем зале текст назубок, меня выхватывали из отстающих и тащили вперед, а я все «выпендривался», норвил «приставать» с вопросами, то хотел увидеть Сонечку-племянницу, с которой у Достоевского была горячая дружба в ее пятнадцать лет и даже много дельных советов, то Полину, его роковую женщину и «Игрока», позже погубившую Розанова (зато из-за своей несчастной женитьбы на ней он написал свою гениальную антихристианскую книгу «Люди лунного света»).

«Половодье лиц и глаз» было даже хорошо, все были в каком-то полусумасшествии, потому переносились в «Эпоху» и «Время».

Затем, поплутав по переулкам, выехали на Невский, Троицкий мост, Каменноостровский проспект и приехали к Ботаническому саду. Толпа текла как неуправляемая река, вспыхивая фейерверками.

Стояли в очереди за билетами долго, и я соседкам-студенткам рассказывал страшные истории о «всадниках без головы», они удивлялись, почему голов лишились они, а не я. В саду мы нашли укромное местечко, где было темно, и выпили вторую бутылку, а «передвижница» пила сок.

После сада девочки куда-то пропали и мы распили последнюю бутылку с их несчастными кавалерами, а затем поехали в Артиллерийский музей на средневековый турнир.

Эта ночь была нашим романом "Война и мир", разумеется, мы жили в романном мире.

Разумеется, время этой ночи и было Кайросом, но его можно пережить и передать лишь в романе. Восприятие литературного мифа легко или в детстве или при выпадении из времени обыденности. Требуя «правды жизни», надо попытаться понять, какую «правду» мы ждем. Литература не может пере-сказать «вещи в себе» внутри Хроноса, это удел науки. Если судьба – это движение от случайного к необходимому, то писатель открывает смятение и восторг и войну на пути становления или разрушения личности. Его правда жизни – духовная свобода, неподчиненность его творчества идеологическим, государственным, религиозным и партийным заданиям, *его истина – личное откровение, его время – Кайрос, его задача – Катарсис, его конечная цель – ... Ее он узнает в конце пути...*

8. Еще о правде

Коллизия лжи и правды, «очернительства», «лакировки», субъективности, необъективности возникает в двух случаях: или художник сам себе цензор, переживает «затруднения историка-христианина» (ах, слава богу, что не бывает «математика-христианина»!) и думает угодить своему богу (забывая, что истинный Бог не нуждается во лжи, фимиаме, угодничестве); или над художником висит властный топор (а он висел во все почти времена) и художник искривляет совесть и व्यю.

А потому, простите, приведу стихи нашего изумительного гения, которому я изумляюсь все больше. Да, к тому же, чтобы выискать подлинный текст, пришлось мне облазить всю интернетскую помойку, и только в 16-томном издании 1948-го года я его нашел (и задумался...)

(ИЗ ПИНДЕМОНТИ)

Не дорого ценю я громкие права,
 От коих не одна кружится голова.
 Я не ропщу о том, что отказали боги
 Мне в сладкой участи оспоривать налоги,
 Или мешать царям друг с другом воевать;
 И мало горя мне, свободно ли печать
 Морочит олухов, иль чуткая цензура
 В журнальных замыслах стесняет балагура.
 Всё это, видите ль, *слова, слова, слова*.^{*}
 Иные, лучшие мне дороги права;
 Иная, лучшая потребна мне свобода:
 Зависеть от властей, зависеть от народа –
 Не всё ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому
 Служить и угождать; для власти, для ливреи
 Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
 По прихоти своей скитаться здесь и там,
 Дивясь божественным природы красотам,
 И пред созданьями искусств и вдохновенья
 Трепеща радостно в восторгах умиленья.

– Вот счастье! вот права...

* Hamlet. (Примеч. А.С.Пушкина.)

1836

Мир литературы – это мир действительности. Он отстоит от реального мира, он и ему, а еще более идеологическому *мифу* даже *противостоит*, отчего и церковь и власть противостоят культуре (хотя в благословенном девятнадцатом веке для нее было *ослабление*, неизмеримо большее, чем в *Оттепель*), но он же и диффузирует, проникает собою бездуховные миры, в конечном счете их преобразая, как плуг крестьянина преобразяет поле.

Но образ единой Книги, в которой сосредоточена духовная Сила (и

отчасти духовное Знание) стоит перед глазами и художника и обывателя. Я пытался представить литературу как нечто целое, как такую именно, хотя и условную Книгу, в которой создан образ одухотворенного мира (тем более, что и те две Книги, которые исторически повлияли на Европу, тоже ведь достаточно условны – Библия состоит из собственно Библии, Ветхого Завета, и из Нового Завета, Капитал присоединяет к себе и второй и третий тома, незаконченные пророком, и писания его последователей, без коих он такой «Библией рабочего класса» не стал бы) – но есть и у обывателя, и у писателя, и у меня, разъяснителя основ, жажда по некоей единой Книге, старой ли, хотя бы и Велесовой, и Голубиной, или Библии, или Капитала... или еще несуществующей Новой. Эта именно Книга должна бы стать путеводителем по жизни и миру... Хорошо ли это, еще затрудняюсь сказать, но и я пытался ее создать, и Толстой написал «Войну и мир» и «Воскресение» и «Крейцерову сонату» и множество Поучений и даже оставил по себе кроме литературного собрания еще и «голостовство» не случайно.

Если значительный писатель стремится в своем творчестве дать Образ правды и правильного мира, это только возвышает его творчество.

9. Еще один миф о самом себе

Начну с оправданий. Чтобы христиане и марксисты не увидели во мне врага, заявляю, что и я не до конца нехристианин и немарксист. Христианство проросло и в жизнь, и в историю, и в культуру, как и социализм пророс в наш дух, начиная с Платона, и выкорчевывать их не только абсурдно но и плохо. Читаю «Антихристианин» Ницше – почти так же убого, как ленинский и советский атеизм. Читаю правоверного православного писателя Нилуса – так же тупо и отвратительно, как и славословия большевизму.

Прочтите Историю Вселенских соборов, историю Церкви (а особенно у Чемберлена) и вы ужаснетесь, как часто вчерашние враги церкви становились святыми и наоборот. Православные ли Никон и Аввакум? Оба ли православные? Православны ли девушки из Pussy Riot (Пусси Райот)? Несомненно! НЕ в меньшей степени, чем Лютер – христианин.

Вот и я не «антихристианин» и даже социализм из России не хочу выкорчевывать, хотя часто (особенно по пьянке) в своем кругу кричал: *Проклятый социализм!* Да потому что советская власть и советская жизнь были похабны, безнравственны, лицемерны, лживы, невежественны, жестоки, ненавидели все русское и все возвышенное! Но я не забываю, что меня учили в советской школе прекрасные учителя и в 48-м году был замечательно издан Пушкин. Да и отец мой и мать жили при советской власти и я ими горжусь, и Варлам Шаламов, и Солженицын, и Шульгин, и я сам, и Гумилев, и Шумовский, и даже некоторое время сам Государь император вместе с семьей. И сегодня проклятая жизнь, и чернь властвует. Но не все мы прокляты.

[Кстати, по поводу девушек из феминистской рок-группы не могу не отослать читателя (восторженно) к двум гениальным статьям: Авигодора Эскина «Взбесившийся Кураев и "пусси райот"» и «Pussy Riot и "Восстание приборов"» Александра Баунова.]

Один – иудей, защищающий иудаизм от сказано кого, а другой – русский филолог, защищающий филологию от взбесившихся обывателей.

Но вернусь к самому себе.

Писатель, тем более поэт не может быть счастливым в «реальном мире», он из него бежит или стремится бежать.

Пора, мой друг, пора! покоя сердца просит –
 Летят за днями дни, и каждый час уносит
 Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
 Предполагаем жить, и глядь – как раз – умрем.
 На свете счастья нет, но есть покой и воля.
 Давно завидная мечтается мне доля –
 Давно, усталый раб, замыслил я побег
 В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Но литературный мир не только идеальнее реальности, он отличается от нее содержанием. В литературном мире нет повседневного изматывающего труда, в реальном нет любви-страсти, вместо нее семейная жизнь, рождение детей, их воспитание, ЖЕРТВА.

Я всю жизнь стремился бежать, но так как у меня не было обители дальней, то я бежал в любовь, романтическую, часто воображаемую, но от этого не менее страстную. Жизнь моя – это непрерывный ПОБЕГ.

Читая «Осколки памяти» Натальи Ефремовой, я с восторгом увидел, что романистка передает подлинную метафизику любви и жизни, метафизику, в которой главное – именно побег из реальной жизни.

В реальной жизни *метафизическая любовь* невозможна... или только она и возможна, и когда потребует любовь все существо девушки, не только ее душу, но и *тело*, вдруг разверзается бездна... Почему? Что это за тайна?

Кристина любит Ника. И она его предает. Почему? Этого нам знать не дано, ни девушкам, ни поэтам, ни девушкам-поэтам.

«Наконец он заговорил:

– Хорошо. Похоже, причины твоего преда... превращения мне лучше не знать, если ты все равно так упорно отказываешься ее объяснить. Поэтому хватит.

Кристина выдохнула, надеясь, что он ее отпустит. Но не тут-то было. Ник еще не закончил.

– Но одно условие все равно остается, – он в упор посмотрел на нее, – иначе ты отсюда не уйдешь.

У Кристины дрогнули губы.

– И что ты со мной сделаешь?

– Ничего. Буду ждать.

– Долго?

– Пока ты не скажешь, что больше меня не любишь. Это и есть условие... твоей свободы. Ну?

– Что ты несешь? Ты сам-то себя слышишь? Это же бред!

– Пусть так. Сделай же мне одолжение – скажи.

– Я сказала.

– Нет.

– Сказала, черт бы тебя побрал!

Кристина смотрела на Ника со злобой и неприкрытой ненавистью, ни на секунду не допуская того, что он отступится, и все-таки продолжая упрямяться.

– Я этого не слышал.

Его жесткий голос полоснул ее прямо по сердцу. Правильно, он этого не слышал, потому что она этого и не говорила.

Почему же так тяжело, Господи? Невыносимо тяжело.

У нее потемнело в глазах, и к горлу подступила дурнота. Не стоило столько пить, совсем не стоило. Нужно, чтобы Ник ушел, немедленно ушел. А что, если ее сейчас стошнит прямо здесь? Только не это! Так хочется пить... Что он от нее хотел? Ах, да... Всего-то... Какая смешная цена за обретение покоя!

Только она никак не могла произнести вслух то, о чем он просил, действительно не могла.

Не могла и все. Иначе давно бы уже сказала, сразу, еще тогда, в беседе.»

Она предает и его и себя, она отрекается от любви – от единственной, безумной, на всю жизнь, той, к которой душа стремится, о которой мечтает.

Словно отрекается от жизни.

Она сбегает от любви.

Почему эта бездна разверзается в любви «единственной, безумной», но не в любви «случайной», как в повести Рустема Юнусова? Почему она разделяет Достоевского с его первой женой (как князя Мышкина с Настасьей Филипповной), но не разверзается перед Анной Сниткиной?

Как и Ник, стоял я перед своею «Кристиной», и она кричала мне «Ненавижу!» И она не объяснила мне, почему. Увы, если мы не узнали причину такой ненависти посреди любви, разрыва по живому внутри единства двух от Натальи Ефремовой, то нам этого уже не узнать. Повидимому, Тайна встроена в нашу жизнь, как встроена в нее смерть.

Слишком яростно наступление на культуру и на Россию. Россия, как и поля, заросла чертополохом. Необходимо Преображение.

Но оно невозможно в мифологическом сознании, отрицающем жизнь и умаляющем ее во имя «жизни будущего века».

Оно невозможно в мифологическом сознании, отрицающем настоящее во имя будущего.

Нам нужна новая книга, объясняющая что есть, что было, и на чем должно успокоиться сердце.

Но, быть может, такая Книга уже есть? Если Пушкина издать в виде одной книги, то и не будет ли она тем, что мы ищем и ждем?

Или это мы, писатели, «Пишущие пером», пишем ее вместе, и я с вами?

Но я еще не прощаюсь, еще не все я сказал.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ РАЗРУШЕНИЕ НЕСВОБОДЫ

1. Введение

Понедельник, 27 мая. Математика различает числа целые (среди них и натуральные, то есть 1, 2, 3... в том числе и 0, хотя не все с этим согласны) и связанные с ними *отношения целых чисел*, то есть дроби: $2/3$, $3/5$, $7/9$ и т.д. – и числа, не выражаемые ни целыми, ни натуральными, например, отношение стороны квадрата к его диагонали. Первые называются *рациональными* (лат. ratio – отношение, деление, дробь, а также разум, приём, метод), вторые – *иррациональными*.

Аналогично этому философские системы, искусство, мышление и деятельность человека, опирающиеся преимущественно или только на разум, называют **рационализмом** (от лат. ratio – разум), а отдающие важнейшее значение чувствам, традициям, личному опыту, интуиции, откровению называют **иррационализмом**. Впрочем, данное разделение достаточно условно, и необходимо для правильного понимания учитывать все пространство взаимоотношений, в котором обсуждаются те или иные идеи или совершается тот или иной поступок.

Следовательно, характер предыдущих пятнадцати глав моих Записок (или писем к авторам и самому себе) можно назвать системой рационального воззрения на литературу.

Закончили мы тем, что множество частных целей, которые сознательно или стихийно ставит перед собою писатель или литература в целом, распределяются по уровням (отчасти в соответствии с жанрами), группируясь относительно *развлечения, описания, воспитания человека, познания и объяснения мира, задания некоторого вектора личной жизни и истории*.

Опыт, общение, традиции, история ПОУЧИТЕЛЬНЫ.

Наука, объясняя многое в мире, например, что такое молекулы, в некоторой степени поучительна тоже; и все таки эта ее сторона не так значительна. Нельзя сказать, чтобы инженер-химик (даже и знающий формулу спирта) был непременно умнее, опытнее, рассудительнее (то есть больше сосредоточил в себе *поучительного*), чем сторож дядя Егор.

Литература поучительна в наивысшей степени – как и сама жизнь и как история народа и его культура.

Множество жанров располагаются в виде некоторой лестницы, высеченной в скале истории культуры, и ведут к эпосу и философскому роману; множество частных целей имеет некоторую точку сгущения, которую можно назвать Откровением.

Удивительно то, что *с эпоса и откровения литература начинается*.

К философскому роману и откровению она восходит.

Выдающиеся литературные произведения – словно отдельные главы величественной литературной Книги, Библии. Пушкин – и сам такая книга. (Ибо о нем можно сказать, как католики о Боге – *Он есть все во всем*).

2. INTERMEZZO

На этом *рациональную* попытку связать воедино все стороны литературы и ее направления и частные задачи можно было бы считать исчерпанной.

Я почти все сказал, что мог и знаю, и что можно сказать о литературе. Почти то же самое можно повторить о человеке. Народ – словно библиотека, а человек – отдельная книга. В ней никогда не будет всеобщее, никогда не будет все, а только часть, только частность.

Грустно. И тоскливо жить. А я то думал, что я и сам – весь мир, и во мне заключено всё, и все миры, и все книги, и все библиотеки мира, и все заблуждения и все истины, красивые и некрасивые женщины, глупые мужчины, старцы и дети, красота и ущербность, жизнь и смерть, и даже Бог заключен иногда во мне.

И вдруг – так быстро все сосчитал, расположил по полкам, можно закрыть дверь и опечатывать помещение.

К счастью, жизнь и дух иррациональны, а потому неисчислимы.

Вы не помните, некоторые выражения называются «двусмысленными»? А есть еще многосмысленные чувства и идеи. А бытие, вероятно, *бесконечно-смысленно*, как утренняя заря и прекрасная женщина. И жизнь и литература не умещаются в формулу, как и философия не облекается в философскую систему. Посему мы еще повоюем, и я вам еще расскажу кое-что интересное, а пока отклонимся немного в сторону, иначе мы все заснем, следуя за ходом правильной рациональной мысли.

Когда-то я был учителем. И если я видел, что ученики начинают возиться, я вдруг предлагал: может, кто-то расскажет интересное происшествие? Или даже сон?

И мы рассказывали друг другу много интересного, и просыпались. А математика от нас никуда не убегала, мы ее догоняли в следующий раз, когда было не так скучно.

Поэтому и теперь отвлекусь в сторону и расскажу, как я ходил в магазин стройтоваров.

А потом о литературе буду говорить иначе, не так поучительно, но зато не так плоско и скучно.

Итак, начну с того, что полтора месяца назад я прибывал к стене книжную полку, стоя на столе, он пошатнулся, я покачнулся и полетел вниз, и врезался левым плечом в пол. После этого плохо спал по ночам, разочаровывался в жизни, и даже стихи не помогали.

Тогда я сбежал из города в деревню, в мой старый деревенский дом, к которому был пристроен ветхий сарай, уже покачнувшийся и падающий, как наша страдающая Россия.

Чтобы он не упал вместе с домом, я решил обрушить с него крышу, так как стропила уже наклонились от дома. Залез наверх и начал подпиливать жерди. Последнюю жердину не допилил, слез вниз и сбоку стоял, ожидая, пока крыша совсем "поедет".

Но крыша прежде съехала у меня самого. Стропила начали падать не в ту сторону, в которую их наклоняла жизнь, а выскочили из сгнившего подпирающего бревна и понеслись прямо в меня.

Так как я не каскадер и не десантник, то просто стоял в ожидании смерти.

Но тут... Да, читатель, дальше произошло нечто, во что трудно поверить, так как нарушился закон причинно-следственных связей. Я не умер. Неожиданно я отлетел от падающего бревна на два шага назад, при этом перевернулся в воздухе и тем же левым плечом врезался в землю.

Было так больно, что я заплакал.

После городского падения я обдумывал случившееся со мною совсем не в научном свете, я не спрашивал, ПОЧЕМУ я упал, а – ЗАЧЕМ? Ибо причина падения в виде потери равновесия слишком банальна, чтобы о ней размышлять. Вот так же банальны те цели, которые литературоведение ставит перед литературой. Якобы литература должна объяснить, почему нам изменяют любимые, зачем мы пьем, почему остаемся непризнанными гениями и почему человек все так же упорствует в своих грехах.

Европейская литература представляет нам повесть о страстях человеческого. О стремлении к богатству и власти. О зависти. Тщеславии и честолюбии. Но в наибольшей степени о той порицаемой христианством страсти, которая связывает мужчину и женщину. О, какое здесь разнообразие чувств! Как многое в этой страсти противоречит нашим житейским ожиданиям! Как многое не похоже на тот образ любви, который вырабатывали для нас философия и апостол Павел! Если задавать по поводу ее вопрос «почему», то ответа на него мы не получим. Правда, иррациональная любовь представлена чаще не в главнейших произведениях наших классиков. Перечтите повести Достоевского «Хозяйка», «Село Степанчиково и его обитатели», «Игрок», «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина, «Отверженные» Гюго, да даже «Житие» протопопа Аввакума...

Представление о литературе как о Записках натуралиста, наблюдающего жизнь природы и представляющего нам объяснение ее хода, будет поколеблено. Литература не учит. Она скорее запутывает своего читателя в нелепостях жизни, чем их разъясняет.

Вот поэтому я не ищу причин тех или иных мыслей коллективного народного человека, тех или иных его поступков, я спрашиваю – ЗАЧЕМ? Но чаще всего на этот самый важный вопрос я не нахожу ответа. Я не знаю, ЗАЧЕМ была совершена бессмысленная коммунистическая революция, которая не принесла и не собиралась приносить ни свободы, ни равенства, ни братства.. Я даже уже перестал понимать, зачем пьет и сливается русский человек, от чего он УБЕГАЕТ с помощью своего пьянства.

Но зачем я дважды падал, я почти догадываюсь. Вероятно, мой личный Бог дал мне понять, что еще не все долги я заплатил, что самый главный мой долг не исполнен, я не исполнил своего призвания.

Правда, отчасти мои падения – предостережение мне и наказание. Ибо я

*«Неправедно живу, бесцельно, суетливо,
Вот сердце и болит, и не поднять пера...»*

Но злополучная полка висела криво, мое эстетическое чувство страдало, и я поехал в магазин стройтоваров за новыми ушками для нее, ибо на старых социалистических ушках повесить ее было сложно (увы, прав был академик

Глазенап, требовавший в 37-м году социалистических таблиц логарифмов и в предисловии к справочнику цитировавший вождя – потому и выжил! Если есть социалистические ушки для полок – на которые повесить ее почти невозможно – то почему бы не быть и социалистическим таблицам логарифмов?!

Встретив в магазине хорошенькую юную продавщицу, я спросил, где продаются нужные мне ушки, а потом еще спросил, не она ли та самая, в которую я влюбился год тому назад? Оказалось, это именно она.

А тогда мне понадобилось заменить шланг, из которого я поливал себя то холодной, то горячей водой. Этот шланг испортился, я его отвинтил, положил в сумку и приехал к ней (тогда еще не подозревая, что в нее влюблюсь).

Без помощи гаечного ключа своими нежными пальчиками она развинтила мой шланг, отрезала от него испорченную часть, снова свинтила и протянула мне: вот этим местом привинтите к тому, что у вас осталось дома, и снова поливайте себя, пока не испортится.

– А телевизор вы сможете починить? – спросил я ее восхищенно.

– Конечно! И даже стиральную машину!

Тут-то я и поведал ей свою житейскую философию, состоящую в том, что для достижения духовного совершенства и просветления человек может достигать совершенства на каком угодно поприще, не обязательно ему быть писателем или философом.

– Вам осталось совсем немного, чтобы достигнуть высшего совершенства – сказал я ей.

– Но я все же не буду спешить, я не умею чинить часы и не хочу этому научиться, пусть мои часы идут неправильно! – ответила она мне.

И вот я встретил ее снова и она меня узнала, и даже согласилась, чтобы я пошел в магазин и принес ей конфет.

Принеся конфеты, я понял окончательно, что не столь важно даже духовное совершенство, есть нечто более важное, о чем, в частности, рассказывает нам Александр Грин. Некоторые люди словно меняют окружающий мир, он становится легким и чистым, в нем легко дышится и возникает чувство полета и освобождения, наступает даже вдохновение. Так бывает и при чтении книг, одни помогают взлетать на небо, другие, казалось бы и поучительные, приземляют.

Я все это ей рассказал, она посмотрела на меня почти с любовью и на прощанье сказала: Приходите еще. Хотя я и не умею писать стихи, но чем-нибудь вам еще помогу. Только полку сами не вешайте, позвоните товарища.

3. Отношения Творца и Творения

Я собираюсь рассуждать об отношениях художественного произведения и его автора, и так как эти отношения достаточно своевольны и не детерминированы так, как движения ударяющихся предметов на плоскости, то оба термина я пишу с прописной буквы. Общим аналогом всех таких отношений являются отношения между Творцом и Адамом (и Евой, которую Он сотворил уже из Адама), но по их поводу согласия между обывателями нет. В крайности некоторые считают, что это то же самое, что отношения между горшечником и горшком, мастер волен разбить неудачный горшок,

выбросить на свалку или переплавить. Но даже ребенок, делающий себе куклу и баюкающий ее как ребенка, относится к ней справедливее и человечнее. А уж когда эту куклу, повзрослев, ребенок в муках рождает, должен он ее любить и лелеять и всячески о ней заботиться!

Однако не таковы отношения высшего Творца к человеку (по мнению тех верующих, в которых живет дух человеконенавистничества). Творец всемогущ и всеобъемлющ и потому «право имеет», а человек – «тварь дрожащая», и когда осмеливается «качать права», тут-то ему и тюрьма и всеобщее осуждение. Правда, человек постоянно *качает права*, совершает и убийства и всяческие подлости, как наш вождь, за то обожаемый, но в отношениях Творца и твари писателю требовалось доказать ничтожество и абсолютное бесправие твари. Хотя сознательно или бессознательно романист смешал две различные идеи: ограниченность или неограниченность и прелесть законного Права – и область, в которой поступки героя справедливы. Вот я восхищаюсь декабристами, вышедшими на площадь, чтобы убить царя и совершить государственный переворот, и повторяю за Пушкиным «и я бы мог», но в то же время «бить человека по лицу я с детства не могу». К убийству и насилию я органически не способен, и все же, как и Алеша Карамазов, при определенных обстоятельствах, я бы сказал им «да».

НЕ ЛЮБИТЬ свое творение, презирать его, желать ему страданий – отвратительно даже для Бога. Даже если Ева и послушалась своего создателя по молодости (а кто из нас не ослушивался?), то это не оправдание, чтобы детей своих выгнать из дома, всячески поносить и преследовать. Жесток Бог и не милосерд.

Мы ведь своих детей не изгоняем из дому, даже когда они приносят в подоле незаконное чадо; я, во всяком случае, не изгоню.

Но писатель – тоже **творец** (и потому творчество тысячелетиями было ненавистно слишком ревнивым жрецам и религиям, жаждущим ограничить его и сделать доступным только верховному Творцу), писатель тоже творит миры, пусть существующие лишь в пределах его романа.

Но насколько автор своеволен?

Далее буду цитировать Мережковского.

"истинно художественные произведения не изобретаются и не делаются, как машины, а растут и развиваются как живые... творческому акту невозможно и неразумно предписывать какие бы то ни было внешние, не от него зависящие законы и теоретические формулы, подобно тому как нельзя ... по произволу управлять биологическими процессами в животной или растительной ткани. В этом смысле художник так же не властен по произволу изменить в собственном произведении какую бы то ни было, даже самую ничтожную черту, как садовник, культивирующий растение, не властен прибавить или отнять у цветка ни один лепесток."

"..Шиллер ... определяет творческий акт как что-то произвольное, стихийное, над чем не властны никакие внешние предписания, теоретические формулы и рассудочные требования:

«Не мне управлять песнопевца душой, –
Певцу отвечает властитель. –

Он высшую силу признал над собой;
 Минута ему повелитель;
 Кто знает, откуда, куда он летит?
 Так песнь зарождает души глубина,
 И темное чувство, из дивного сна
 При звуках воспрянув, пылает».

Над творцом художественного произведения никто не властен, ни правила, ни законы, ни власть, ни народ, ни молва... но и он не властен над своим произведением, как мы не властны над нашими детьми и как Бог не властен над Евою и Адамом.

Раз уже сформировался образ творения, наметились облики его героев, то далее автор подчиняется некой силе, творящей его умом и руками, но словно бы НАД его личной волей. Не может повелеть Достоевский Раскольникову отказаться от своего безумного замысла, не может Дмитрий Карамазов разлюбить Грушеньку, а Иван Карамазов отойти от горячки надрывного философствования. Так и поэт, перечитывая свое стихотворение, словно бы прислушивается к нему и не по произволу меняет слова, а так, как ДОЛЖНО.

Пытаюсь ли и я навязать авторам, которых редактирую, свой собственный вкус? Нет. Я пытаюсь помочь им услышать музыку, звучащую в их творении, и поступать сообразно. Увы, часто нелепое упрямство, самолюбие мешают автору услышать голос извне (а ведь именно СЛУШАТЕЛЬ слышит часто точнее, чем сам мастер, в ушах которого звучат и посторонние отвлекающие звуки), и он отвергает советы редактора, тискивая сюжет, характеры, речь в ненадлежащие формы. С редактором нужно спорить. Но через РЕДАКТОРА говорит (хотя и не всегда) творческая стихия, судьба, высший замысел – поэтому возражать редактору следует с ясными и убедительными доводами, как в математике. **Редактор – не творец. Но он весы и мера.** С его помощью автор может взвесить и измерить, а собственный глазомер иногда подводит.

С прискорбием я отстаю от упрямого автора, даже не дочитавшего своих критиков, и не пожелавшего обрезать торчащее, надставить недостающее.

А смысл в редактировании потому и существует, что автор – не неограниченный владелец своего творения; он как *богатый* – не заносится в своем богатстве, разве оно дано только для того, чтобы наслаждаться и расточать? Оно часто искушение, а всегда – средство делать благое. Бог вручает это средство (потому и называется оно БОГатство) по непонятным причинам чаще недостойным, но в надежде на их духовное выздоровление (вот мне он вручил бедность, неудачи, преследования властей, невнимание публики... зато внимание некоторых замечательных мам и дочек и даже внучек, читательниц и писательниц – и это гораздо больше, чем миллиарды у богатых, несправедливо нажитые, через воровство и разбой).

Автор – любой автор, даже граф Хвостов, пишущий напыщенные стихи – баловень судьбы, Бог дал ему, избранному, способность писать, а далее многое зависит от пишущего, как и урожай от крестьянина.

4. Объективный мир и частное творчество

Продолжу цитировать Мережковского.

«Искусство выше жизни» – вот формула, которая является краеугольным камнем не только всего эстетического, но и философского мирозерцания Флобера. ...

... Тринадцатилетним мальчиком он пишет одному из своих школьных товарищей: «Будем всегда заниматься искусством, которое, будучи величественнее всех королей, корон и властителей, вечно царит над вселенной в своей божественной диадеме.» Спустя сорок лет, на краю могилы, Флобер провозглашает резко и смело тот же девиз: *«человек – ничто; произведение – всё!»*

... Он не согласен признать в поэзии ничего относительного, считая ее абсолютно самостоятельной, независимой от жизни, более реальной, чем действительность, он видит в искусстве «самодовлеющий принцип, который так же мало нуждается в какой бы то ни было поддержке, как звезда». ... В совокупности частей произведения, в каждой подробности, в гармонии целого Флоберу чувствуется «какая-то внутренняя сущность, что-то вроде божественной силы – такое же вечное, как принцип...» «Иначе почему же существует необходимое отношение между самым точным и самым музыкальным выражением мысли?»

Стихийное переживание литературы ее создателями глубоко и истинно, вопреки кажущейся зависимости ее от всеобщего, и я надеюсь хотя бы отчасти подтвердить их чувства и идеи. Основную мысль Флобера я повторю с небольшой поправкой, ибо именно так он чувствовал, лишь выразился неточно: *«Мир – ничто; художественное произведение, искусство и литература – всё!»*

Что воистину действительно, значительно, абсолютно, существенно? Что существует, а что происходит, а значит и проходит, и чаще всего почти без следа? Внешний ли, объективный, мир *воистину*, а математика, наука, поэзия, литература – только его слепок, отражение, отзвук, в лучшем случае бледная копия в уме? Такая же ли связь между миром и математикой, между миром и литературой, как между облаками на небе и облаками в озерной глади?

Внешний мир преимущественно матерьялен, математика и литература идеальны. Движения планет, вспышки на солнце, северное сияние – всего лишь ЯВЛЕНИЯ, они эфемерны, преходящи, но уравнение движения вневременно, вечно и абсолютно.

Ее капризы и наши ссоры уже забылись, но по-прежнему живы строки:

Ты победила, я сдаюсь!
Осаду пыльную снимаю,
Капризам милым не внимаю,
И встречаю редким не молюсь.

И так же бы забылись яблоки Евы, если бы не древняя Книга, и если бы не строки стихов многих поэтов, и в частности:

Раскаленные звезды, летящие в бесконечности, бесконечная смена времен года, даже восшествия на трон и на плаху царей и властителей – это все

кажущаяся действительность. *Частная жизнь* в границах романа, даже и обычная частная жизнь больше *всеобщей*, и история, и общественная жизнь появляются только через личность и являются ее способом быть, и даже *Мироздание* – не объективно существующее независимо от субъекта, а взгляд из Я вне. Мироздание в такой же степени находится внутри Я, в какой и математика и философия. Сказать, что я почерпнула их у других – не значит меня опровергнуть, ибо другие тоже из себя вывели свои теоремы, апории и романы, а не из мира вещей.

Частная жизнь – вся полнота мира, не всегда явно выраженная, но часто подразумеваемая, как «дифференциал и интеграл истории» содержится в "Войне и мире" (хотя автор о них говорит кратко), как Завоевание – в "Обнарове" и Примирение – в "Сиверсии" (романах Натальи Троицкой).

Но что такое *частная жизнь*? Прежде всего это жизнь личности, ее размышления, надежды, мечты, события, с ней происходящие, чувства и страсти, и самое сильное чувство, и самая сильная страсть – любовь.

В центре романа отдельная личность. Она и в центре романного мира. Споры о том, что вокруг чего вращается: Солнце ли вокруг Земли или Земля вокруг Солнца – смешны и бессмысленны, ибо и Земля и Солнце и весь космос вращаются вокруг **личности**. Мир не гелиоцентричен и не геоцентричен, он *антропоцентричен*.

Правда, дух наш томится жаждой. Начинает утомлять ограниченность личности и частной жизни и даже ее свобода. Личность стремится выйти за свои пределы и раствориться во всеобщем. Это всеобщее – семья, война, государство, тюрьма, «общее дело», путешествия, религия, монастырь...

Если личность растворяется во всеобщем, то именно всеобщее становится центром романа, его героем – и личность исчезает не только в пространстве литературы (культуры), но и в той действительности (или реальности), относительно которой неважно уже, соглашаемся ли мы, что она единственная подлинная, или она существует наряду с литературной действительностью, или она является синтезом реальности и культуры (исходной, «сырой» жизни и ее литературного и культурного преобразования).

Замечание: в «сырой», не вспаханной культурой реальности не живет даже дикарь, он тоже находится во власти мифов, традиций, верований, что вместе и составляет культуру его бытия.

Но если личность растворяется во всеобщем, то всеобщее становится и центром бытия – или, правильнее сказать, сначала из бытия исчезает личность и остается только всеобщее (в тоталитаризме) или оно остается вместе с единственной личностью диктатора, затем уже всеобщее подменяет личность в литературе. Личность исчезает из романа, из философии, из истории, действуют псевдоличности, некие бесформенные «народные массы», партии, классы. *Даже народ как национальное и культурное единство исчезает.*

5. Тотальная власть всеобщего

История предъявила миру и самой себе два способа, два пласта бытия, в которых *личность* и связанная с нею культура (литература, философия и наука) были тотально замещены *всеобщим*: христианство и коммунизм.

Когда христианство еще всходило, оно не тщилося порвать с историческим временем, оно еще не отменяло и частную личность и народ как личность, Христос еще заявлял самаритянке: Я пришел спасти *своей* народ!

Но уже апостол Павел, в произрастание христианства, отменил частные народы, ибо отныне «нести ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни не-обрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но *все и во всем Христос.*»

Теологи толкуют сие утверждение, как и предыдущие слова Иисуса Христа, всяк по разному, но не в отмену народов, хотя и в отмену частного; но мы, облеченные разумлением от первых философов, и от киников и перипатетиков, логиков и софистов, диалектиков и метафизиков, и прошедшие «курсы диалектического и исторического материализма» в Революцию и Гражданскую войну, в голодоморы и Гулаги, и в самые невинные исправительно-тюремные годы позднего социализма, изучавшие Гегеля по Марксу, Маркса по Ленину и Ленина по Сталину (не говоря уже о теперешних иезуитах от диалектики), не боимся рассуждать по своему и читать тексты так, как *написано пером.*

Ибо иначе лучше просто согласно молчать.

Вот ведь «отныне несть ни француза, ни русского, ни рабочего ни крестьянина, но новая историческая общность советский народ и «пролетарии всех стран соединяйтесь», и сколько бы ни комментировали советские теологи марксизм-ленинизм, но роман советского социализма писался на крови и костях народов в соответствии и с духом и буквой учения, сколько бы ни противоречили друг другу *буква и дух.*

Так ведь и в начале христианской эпохи говорилось, что надо возлюбить ближнего, но ведь и Жанну сожгли и Джордано, вероятно, во имя любви. И пролетарский писатель заявлял, что «человек – это звучит гордо!», но мне еще в школе разъяснили, что речь шла о человеке с Большой буквы, а с маленькой он звучит уже совсем не гордо.

Есть что-то незыблемое, как это увидел еще Кант, то есть звездное небо над головой (хотя звезды и движутся) и математика внутри нас. Есть дух человека, проникающий Историю и непосредственную жизнь и пытающийся их постигнуть через размышление, через собственные страдания, через творчество. Литература – великий способ ПОНЯТЬ бытие и историю, ибо литература соединяет и повседневную жизнь (реальность), и преображенную жизнь (действительность) и ее метафизику, она представляет БЫТИЕ (вещь в себе) и ИНОБЫТИЕ (вещь для нас)... метафорически выражаясь.

Она сотворяет мир действительности, самостоятельно существующий, но не являющийся отображением, изображением, копией и слепком мира реальности, как и эллипсы и параболы не являются изображениями случайных линий, созданных ветром и водою.

Погружаясь в литературу, мы снова начинаем здраво рассуждать и чувствовать (а мне уже, тонувшему в комментариях к Марксу и апостолу Павлу, казалось, что я совсем утонул).

У европейского мира есть судьба. Есть судьба и некий замысел «высших сил» и у русского народа. Есть судьба и у всякого частного человека (хотя всякий ли поднимается до собственной даже судьбы?)

Есть судьба и у меня, и даже некий замысел «высших сил», если уж даже и дьявольская стропила меня не вбила в землю навечно.

Я мучаюсь, ищу смысл жизни, читаю книги, бегаю за вертихвостками, пишу стихи и письма, даже Записки редактора, получаю и сам чудные письма от гениальных писательниц, пью вино (хотя уже стараюсь пить умеренно) – есть, есть смысл во всем этом! Литература показывает, что существует и существенна не только МЕТАИСТОРИЯ и грядущая отмена исторического времени, конец его, вечность – но и наша собственная жизнь. В строительстве коммунизма отдельный человек обесмысливался, в грядущем царствии Божиим обесмысливается даже отдельный народ.

Что значу я сам, что значим мы все, если подлинно действительны только сотворение мира и ветхого человека (Адама), грехопадение, воплощение Божие, наступление Нового времени, в котором и Адам и грехопадение уже ничтожны.

Если Я только капля воды, то как тяжело мне в океане!

Если моя жизнь и все, что мне дорого (и мой народ, и культура, и философия, и прекрасные женщины, и чудная природа) несущественны в рамках христианской метафизики бытия, то как тяжело мне в истории!

Если литература – только иллюзия, то как трагично мое будущее!

Но поэзия приходит мне на помощь.

Сначала горестные строки Пушкина:

Свободы сеятель пустынный...

Разве здесь речь идет о политической свободе? Нет, речь идет о духовной свободе, в которой происходит восстановление самостояния личности.

Потом Лермонтов:

Выхожу один я на дорогу...

Здесь ведь важно не сообщение, не представление, а сочувствие личности и мира. Личность равна миру – и в этом стихотворении, и в других стихах Лермонтова, даже самых печальных.

Ощущение своего существования – это ощущение бытия, вмещающего ВСЁ. Если не актуально, то потенциально. Если не действенно, то в возможности. Ощущение себя как подчиненной части – это ощущение бытия, лишенного ценности.

Сознанием каждый из нас понимает, что... Но вот далее и наступает абсолютный смысл литературы и литературного мифа – именно литература (не философия и не религия) превращают ЧАСТЬ в ЦЕЛОЕ, относительное – в абсолютное. Разрушение надежд и иллюзий, страх смерти – только литература смеет и может предложить страдающему человеку путь преодоления.

Литература восстанавливает утраченную всеобщность и значительность личности и равенство ее миру. Прежде всего – героя: Ахилла, Одиссея, Жанны Д'Арк... Но затем и самого малого: униженного Акакия Акакиевича, презренного Головлева, опущенной на дно жизни Сонечки Мармеладовой.

Советское литературоведение еще более было похоже на теологию, чем истмат и диамат, внедряемые в души советских людей. Его пафосом было изгнание из литературы личности. И в этом оно преуспело. Несмотря на

индивидуальную талантливость многих советских писателей, ни железный поток, ни цемент, ни даже закаленная сталь не стали героями романа, *советский* роман не состоялся, несмотря на попытки его создания.

Внутри христианского мифа роман не состоялся тоже, но, видимо, потому, что, во-первых, христианский миф противостоял культуре и истории, во-вторых, личность Христа отменяла возможную другую личность как центр христианского романа. В центре его могла быть Жанна – но для этого надо было преобразование самого христианства.

Можно ли считать романы «Идиот» и «Мастер и Маргарита» христианскими? В такой же степени, как двенадцать разбойников в поэме Блока апостолами.

Может быть, только роман Дудинцева «Не хлебом единым» (и отчасти второй его роман «Белые одежды») подходят к церковной ограде – но все же они существуют прежде всего как явления русской литературы.

Я было приуныл, вспоминая... А вглядываюсь в страницы родных мне книг – и как они спасали меня и в юности, так спасают они меня и теперь, даже и по воспоминанию.

6. Есть ли смысл в индивидуализме?

Среда, 12 июня. Сопоставление личности (Я) и мира (общества), Я и не-Я приводит к двум противостоящим крайним воззрениям:

Только мир обладает полнотой существования, смыслом существования и историей. Личность – его ничтожная часть, и настолько обладает значением, насколько ее жизнь соответствует жизни общества.

Или: Только в Личности жизнь и полнота жизни. Мир и общество живы и существенны лишь настолько, насколько личность и культура придают им жизнь, ибо так называемая общественная жизнь состоит только из частных жизней, без них общество мертво.

Не я – часть Мира, но мир – часть Я.

Философы почти всегда советовали **познать себя**, а христианство просто обязывает сосредоточиться на собственном **спасении**, но не заниматься исправлением и спасением других и тем более мира. Мир спасти может только пришествие Спасителя.

Если в спасении самого себя, своей души и состоит главный смысл христианской проповеди (Серафим Саровский говорит: *спаси свою душу, и тысячи вокруг тебя спасутся*), то кажется, что личность христианством возвышена – но отчего же тогда в центре другой его проповеди тезис о мерзости мира и человека?

Итак, вняв советам философов и проповеди святых, человек сосредоточился в себе, познает себя или спасается, удалился в келью ученого или в пустыню праведника. Или, вняв призывам «мерзости мира и человека», пустился «во все тяжкие», продает и предает, стремится к власти и богатству, к наслаждению и угождению порокам.

Или, сосредоточившись в своей собственной жизни, в меру разумен, в меру добродетелен, не убивает и не грабит, но живет для себя самого, не заботясь об окружающем мире.

Таковы сегодня европейские скучные обыватели. Впрочем, обыватели (или мещане), вероятно, всегда были таковы. И русская литература на них ополчилась когда-то справедливо, особенно Иванов-Разумник.

Но поставление в центр мироздания самого себя не приводит ли к эгоизму и эгоцентризму, к равнодушию к проблемам страдающих ближних и страдающего мира? О, как много слез мы проливали в молодые годы, читая "Спартак" Джованьоли, "Овода" Войнич, жизнеописания героев античной истории, русских подвижников и героев! Не восторгались ли мы братьями-разбойниками Шиллера, Робин-Гудом, Жанной Д'Арк, не стучал ли и в наших сердцах «пепел Клааса»? Я помню, какой свежий воздух повеял на меня от романа Дудинцева «Не хлебом единым». Да и Христос разве жил для себя? Разве не для спасения своего народа пошел он на мучительную смерть?

Даже смешной и бестолковый Дон-Кихот не тем ли привлекает нас и не потому ли мы ему сочувствуем, что и в свои нелепые странствия отправился он ради защиты страдающих от несправедливости мира?!

Но прежде чем вновь осудить личность, надо спросить, что она содержит в себе, из чего состоит, что она есть.

7. «Царствие Божие внутри нас!»

«Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть. Луки 17:20-21»

Так вот что оказывается, что всё царствие Божие внутри нас, так что уж сомневаться в том, что и весь насущный мир помещается в нас?

Исследовать надо Личность, что она такое; но и Мир насущный (мир вещей и происшествий, так сказать, происходящих и расположенных на целине бытия); литературную действительность (романный миф, или мифы, созданные культурой и творчеством); пространство философии и науки; религиозный миф (прежде всего сверхисторию Христа, Его учение и учение Его учеников и то бытие, тот сакральный мир и пресуществление его в чувстве, сознании, истории, политике, жизни, которые происходят в связи с сверх-бытием, учением, церковью и деятельностью в связи с христианством); и, наконец, Действительность, то есть взаимопроникновение всех перечисленных пластов бытия в сложном единстве, с которым имеет дело Писатель (но в значительной степени и читатель, ибо иначе некому было бы читать и меня, и тех, перед которыми стою я и сам в изумлении и восхищении).

Но прежде чем приступить к этой работе, необходимо хотя бы вкратце связать воедино те кусочки *мифа о редакторе*, которые уже отчасти разбросаны в моих Записках.

Ваш редактор учился и учил. Читал книги, шел за пророками и учителями, иногда слепо, верил, восторгался, но и исследовал, а затем и противостоял. Вехи противостояния: марксизм-ленинизм и практика большевизма; христианство (преимущественно сочинения апостола Павла) и практика государства-церкви; литература и философия, культура (в частности, математика); горестная и счастливая жизнь. Без этого мифа нам трудно понять друг друга.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ и МЕТАИСТОРИЯ

1. Становление редактора

Воскресенье, 16 июня. Рождаются ли поэтом или им становятся? Оглядываясь на наших великих, убеждаешься, что они уже как будто изначально задуманы, поэтические способности появляются у них очень рано, как дар музыки – у Моцарта. Не оттого ли и избрал Пушкин именно Моцарта в образец Гения?

Редактор не случаен тоже, почти фатально соединен он в самом себе с поэтом, писателем, философом. Редактором стали Пушкин, Некрасов, Твардовский, Герцен и Огарев, Достоевский, литературный критик и мыслитель Иванов-Разумник, «философ и певец личности».

Два направления в творчестве переплетаются, растворяются друг в друге, как две реки-близнеца: *Изображение* и *Преображение*. Редактором становится тот творец, в котором *деятельная* сила больше *созерцательной*.

Редактор должен соединить в себе поэта, философа, художника, пророка, крестьянина и ремесленника, врача и революционера.

Как я сам «дошел до жизни такой», родился ли я в редакторы изначально или стал им постепенно? Рассказ об этом, мне кажется, и просто любопытен, но еще более он важен для того, чтобы на собственном примере показать становление редактора как явления.

В чем особенность литературы в культуре в целом? Культура, так или иначе, имеет дело преимущественно с «всеобщим». И только в литературе и формой и содержанием ее является конкретная человеческая личность и ее судьба, отдельный, частный человек, а не «масса», не народ, не символ и не тип (даже если этот частный человек, как Дон-Кихот, и становится символом).

Удивительно, но даже поэзия противостоит литературе как романному полотну, как эпосу и мифу, и как дневнику, отчету, воспоминанию. Личность – и в мифе и в эпосе, а в поэзии – всеобщий человек.

Даже у Лермонтова его герой – не сам поэт. «Выхожу один я на дорогу, предо мной кремнистый путь блестит» – поэт думает, что это он говорит о себе, но оказывается, сам он все время остается на полях стихотворных строк, в виде собеседника, согласитая, свидетеля и комментатора. Даже у меня, пишущего ТОЛЬКО о себе.

Стихи мои случайно прорастают,
Я их не поливаю, не рашу.
В заботах дня то счастлив, то грущу,
Они пьют пот и слезы, набухают.
Потом уж средь крапивы их ищущу.
Стихи мои не нужны никому.
Признаться, да и мне в них проку мало.

Я их перечитаю – не пойму
Непонятое в мире. Нас связала
Привычка. За любовь ее приму.
Судьбою, так мне кажется, с рожденья
Назначено. И мне она дана –
Привычка ли, любовь – для утешенья
От горестей, уныния, сомненья –
Поэзия – сестра моя, жена...

Вот так – поэзия – это не я, это моя сестра, жена, любовница... Муза, одним словом, которая ко мне зачем-то привязалась и мучает меня целую жизнь, потому что я жажду совершенства, а она мне не дает...

Стихи я начал сочинять в семь лет, научившись читать и прочитав сказки Пушкина и затем многие другие его стихи.

Я не говорю, хороший ли я поэт или плохой, я веду речь об особой форме переживания жизни. Глядя на красавицу, я испытываю странный эстетический подъем, нечто такое же, как в созерцании Северного сияния, шторма, бури, бурана. Даже если бы она явилась мне обнаженной, я смотрел бы на нее в восторге и вовсе не подумал бы, что существует и еще что-то кроме этого созерцательного восторга. Значит, я поэт.

Но мои отношения с жизнью не ограничились созерцанием и восхищением, я захотел ее понять и ИСПРАВИТЬ.

Поэтому я стал читать и другие книги, помимо стихов, прочитал Аристотеля, а в семнадцать лет создал нелегальный марксистский кружок, в котором по ночам (как настоящие подпольщики) мы изучали Капитал Маркса.

Но учение о способе матерьяльного производства как о причине культуры и истории и о диктатуре пролетариата, всеобщем равенстве и строительстве «светлого будущего» – а именно оно привлекло сердца "униженных и оскорбленных" – во-первых, неотвратимо приводило к духовному подавлению и рабству и ПАДЕНИЮ культуры и личности (все то, что было в обществе значительного, либо оказывалось наследством той старой, разгромленной цивилизации, тех старых, почти уничтоженных классов, включая крестьян, либо принадлежало противникам большевистского общества), во-вторых, уже в родах а затем и в произрастании являлось системой тотального подавления и уничтожения не только сопротивления, но и всяческой инаковости. Идеалом был человеческий муравейник и рабочий муравей, но не личность и не собрание личностей.

А тут еще девушки, одна привлекательнее другой и стремящиеся к разнообразию!..

В девятнадцать лет я бросился читать Библию и начал ходить по общежитию с проповедью о сотворении мира Богом и о спасении души. В атеистическом марксизме я увидел торжество грубой бездушной материи и глумление ее над духом. Но я оставался поэтом и крестьянином, и Плоть по-прежнему привлекала меня, ибо только через плоть в мир истекала красота, как дождь через облака и как нежность через дитя и женщину.

Но я возжаждал духовной свободы и я вкусил ее сладость. Марксистская история и философия были своеобразной физикой, в которой светила двигались неотвратимо по орбитам, каждую из которых можно было рассчитать на тысячу лет вперед. Человек тоже был только собранием атомов, и их движение теоретически являлось также предопределенным, как траектории ударяющихся бильярдных шаров.

Но еще хуже, что и литература оказывалась лишь частью способа матерьяльного производства, и в ней исключалась свобода.

В марксизме я увидел врага личности.

Но практически ВСЕ советский народ с насмешкой и презрением или ненавистью обличал меня: Или ты один только умный, когда ВСЁ прогрессивное человечество принимает истину "исторического диамата"?

Я, клянусь, так не думал. Но куда делось прогрессивное человечество и пламенные комсомольцы шестидесятых годов, когда неожиданно, без глубокой философской критики, без духовного ПРЕОДОЛЕНИЯ "самое истинное учение" исчезло как дым от потухшего костра?

Христианству противостояла культура. Вначале античная, а после ее разгрома – культура нового времени, последних трех столетий, которая мучительно пыталась осмыслить и понять христианство в рамках ИСТОРИИ европейского человечества.

Христианство опускалось медленно, потому что поднимались Ньютон и Лейбниц, Кант и Гегель, Шиллер и Гете, Вольтер и Монтескье, Штирнер и Маркс, Шопенгауэр, Дарвин, Ницше, французский роман, русская классическая литература девятнадцатого столетия... роды новой культуры были в слезах и боли. А как родилось падение коммунизма? Пришла свинья и *згрызла* пьяного.

С Библией я расставался почти полстолетия.

Во-первых... во-вторых... и в-третьих... Об этом я уже много писал, повторять коротко – ничего не объяснить, а пространно – не ко времени. Но о мифологии христианства ниже я еще напишу, потому что надо будет еще поговорить и о структуре бытия в целом, и об отношениях истории, личности, христианства и литературы.

Как я уже сказал, «Редактором становится тот творец, в котором *деятельная* сила больше *созерцательной*».

Христианство же преобразению мира, его ИСПРАВЛЕНИЮ противопоставило ВЕРУ и спасение своей души. Человек не только не мог исправить Мир, но и не должен был пытаться это сделать. Земная жизнь должна была быть отвергнута, христианину надлежало ожидать конца времен.

Если социализм пытался подчинить себе литературу (преуспев лишь в том, что он ее уничтожил), то христианство было к литературе враждебно.

Зодчество, живопись, философия, музыка, поэзия – эти разделы культуры сотрудничали с христианством, вначале обслуживая его интересы, занимая внутри христианства положение его части, а затем даже включив христианство в культуру как ее часть, но литература всегда была сама по себе. Почему? Именно потому, что личность и личная «жизнь и судьба» исчезали в религиозном мифе, но были центром мифа литературного.

Если Ориген говорил, что математика внушена бесами (и рассуждал справедливо, потому что математическое объяснение мироздания слишком не согласно было с плоским пониманием творения мира из ничего «по произволу» – а значит, вне связи с какими-либо законами, в том числе и с Законом всемирного притяжения, с числом и мерой), то что может сказать не только христианский философ, но и всякий христианин по поводу дерзновения Писателя, созидающего и мир, и меру его, и Адама и Еву в этом воображаемом, но слишком действительном мире? Не то ли, что Флоровский, историк-христианин, запнувшийся о дилемму: писать ли правду, подчас проливающую на христианство неблагоприятный свет, или писать только восхвалительное?

Вот ведь удивительно: в русской литературе девятнадцатого столетия преимущественно герои верят в Бога, и не только Сонечка, но и Раскольников, и не только Алеша Карамазов, но и Иван, и даже, возможно, Ставрогин и Свидригайлов, тем более Пьер Безухов и Наташа Ростова, Татьяна Ларина и Анна Каренина – но входя в пространство этой литературы, как мы входим в дом или в лес, то есть начиная существовать внутри него, мы существуем в нашем обычном светском мире. Даже в "Воскресении" Толстого. Пушкин и Лермонтов религиозно не отчуждены от своего читателя, кем бы тот ни был, лишь бы читал и мыслил по-русски. А *советская* литература – сакральна, в ней чувствует себя у себя дома только советский человек, находящийся во власти «магнитных силовых линий» марксистско-ленинского мировоззрения. Классическая литература вне и идеологии и христианства, советская – вся в ней, потому-то *советская* литература – не литература, а агитация и пропаганда. Перед закатом советского тоталитаризма в Самиздате появились романы Солженицына, его Архипелаг Гулаг, рассказы Варлама Шаламова и Роза мира Даниила Андреева – и это было великое явление независимой литературы в российском мире. (Хотя, разумеется, я слишком развожу контрасты. Была еще и вторая литература, и третья, тоже самиздатская, но с социализмом войну не затевавшая. Что же до второй литературы, «деревенской прозы», представленной именами Астафьева, Распутина, Белова, Можаева, то она представляла собою «тайное» сопротивление... Только не она делала погоду в засухе над Россией).

Литература и философия в России в девятнадцатом веке точно также не были христианскими, как таблицы логарифмов не были социалистическими, как бы ни пытался их сделать таковыми академик Глазенап, и точно так же, как математика не бывает ни христианской ни бесовской, так и историк не бывает историком-христианином (как и русская "религиозная философия" в двадцатом столетии не была ни религиозной ни философской).

Последним редактором разгромленной большевизмом культуры был Иванов-Разумник. Хотя он и жил в СССР, но преимущественно скитался "по тюрьмам и ссылкам", как и называлась его главная книга.

[Не для похвалыбы... а впрочем, отчасти и для похвалыбы замечу, что в 94-м году я предпринял издание этой книги в России. До этого она была издана издательством Чехова в Нью-Йорке в 53-м году, но мы получили ссерокопию машинописной рукописи, хранящейся в США в Библиотеке Конгресса, и наше

издание готовили с нее. У нас был историк-редактор, я же был редактором издания. Машинопись изобиловала ошибками, некоторые места ее очевидным образом являлись следствием того, как машинистка расслышала и интерпретировала речь автора. И вот я имел дерзость стать Редактором текста самого великого Иванова-Разумника! И надеюсь, что мое издание лучшее.]

Историк и писатель бывают хорошими историками и писателями и плохими. Но они не бывают историками-христианами и писателями-христианами. Они мастера, а не подмастерья, они чародеи, а не "ученики чародеев". Но они относятся к своему народу, потому что язык и дух их произведений могут быть только национальными. Вот почему Кюлов, Есенин и Варлам Шаламов принадлежат русской литературе, но они ни советские, ни антисоветские. И в главной книге Иванова-Разумника не критика, не разоблачение советской действительности, не полемика с нею, а «возникающая с неотразимой убедительностью общая картина полного и систематического уничтожения человеческой личности».

Редактор в чем-то сродни скульптору. Ему тоже противостоит материя, нечто подобное дереву, камню, мрамору – авторский текст как материя. Если бы у редактора не было опыта противостояния миру, противостояния общепризнанным учениям, как бы он решился противостоять чужому тексту? Но и дерево и мрамор можно испортить неосторожными движениями, поэтому редактор должен быть бережен как влюбленный, обнимающий покорную женщину.

Но недостаточно опыта противостояния миру, нужен еще опыт противостояния мира живой личности редактора. Такой опыт, правда, есть у всех, каждому из нас мир противостоит, но большинство оказалось покоренными миром. Как случилось, что я не успел покориться? Это моя счастливая судьба. Я – баловень судьбы, любимый не только женщинами, но и богами, и так случилось, что когда я уже готов был сдаваться, натиск мира ослабевал, пасть его разжималась, недожеванный, оказывался я на берегу, выброшенный бурей.

Может быть и теперь, утешаю я себя, поглаживая больное плечо, все обойдется, тем более что за меня болеют три прекрасные женщины, когда-то доверившие мне свое самое дорогое – свои романы?!

Ну вот, кажется, я уже почти все рассказал о своем становлении, и конечно, это не вся правда, это скорее миф, нежели правда, но если правда, что литература – искусство лганья, как утверждал Уайльд, то будем надеяться, что в этом искусстве я слегка преуспел.

2. Бытие, история, метаистория. Многослойный мир.

Иногда и великий писатель не может быть редактором.

Так, например, Толстой любил стихотворение Пушкина «Воспоминание»:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

«В последней строке, – пишет он, – я бы только изменил бы так: вместо «*строк печальных...*» поставил бы: «*строк постыдных не смываю*».

Странно, но вкус ему изменяет. И это не случайно. Он плохо чувствует и понимает поэзию, не любит оперу, слабо воспринимает симфоническую музыку. Да и стилист он временами ужасный. Что сказали бы наши редакторы о фразе «я **бы** только изменил **бы** так»? Не вычеркнули ли бы они с негодованием из трех «**бы**» четыре? (Впрочем, как я уже рассказывал, Бунин еще хуже, ведь он порывался сократить Толстого!)

В своих гонениях на культуру (не забывайте, в частности, и духовную цензуру, помимо светской) церковь и ее пастыри постоянно стремились принимать на себя функции редактора.

Св. Макарий Великий говорил: "Видимый мир, от царей до нищих, весь в смятении, в нестроении... Были праздные мудрецы... иные были грамматиками и стихотворцами... художники, упражнявшиеся в мирских искусствах... И все сии, обладаемые поселившимся внутри их змием и не сознавая живущего в них греха, делались пленниками и рабами лукавой силы и никакой не получили пользы от своего знания и искусства."

Преобладающее богословское мнение, что «христианство существует без светской культуры, в то время как культура не существует вне христианства». Из сего истекает если не высокомерие по отношению к культуре, то пренебрежение ею. Но мне интересен частный случай (его я и хочу сообщить читателю), когда один из известнейших церковных иерархов, святитель Филарет, предстал в роли критика (и редактора) Пушкина. На стихи поэта:

*Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомньем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.*

Святитель отозвался своим стихотворением:

*Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомньем взволновал.*

*Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум,
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светлый ум.*

Здесь мы видим всю противоположность культуры и религиозного мифа.

Культура относится к жизни, в которой не разрешены противоречия и не на все вопросы найдены ответы. В религиозном же мифе история и жизнь почти закончились. А ноуменально закончились полностью.

Я говорил, что невозможен писатель-христианин (как и писатель-марксист), но однако же, на свете есть все, о чем ни подумаешь, и таковой тоже был, известнейший в свое время Нилус.

Пафос его произведений был в светлой радости – радости по случаю предстоящей смерти, радости от того, что смерть совершилась, а особенной радости от смерти на Пасху.

Но зачем ему надо было писать? Или чтобы поделиться радостью от ничтожности жизни с другими?

Почему мы пишем книги? Потому что мы хотим *понять* и *изменить* мир, свою жизнь, найти прибежище от страданий. Мы пишем, потому что не разрешилось еще ни одно противоречие и не найден ответ ни на один вопрос. Поэтому мы и живем. А иначе, ДОЙДЯ до границы, мы уже свернулись бы клубочком и уснули вечным сном.

Противостояние действительности и метадействительности, времени и вечности, исторического времени, и времени, в котором (часто воображаемом) история уже завершилась – это и есть то Противостояние, которое разделяет жизнь и литературу с одной стороны и христианский миф с другой.

И жизнь не цельна, она слагается из движения материи и духа, она и первозданная целина повседневных забот (не существующая в своем пределе подлинной целины даже у дикарей и черни) и культура, беспрестанно пронизывающая и вспахивающая целинную жизнь. Если обыватель не ходит в оперу, то он все же поет песни. Если он не размышляет над апориями Зенона, то он размышляет на том же самом языке, что и философ, испытывает те же чувства и так же страдает, поэтому-то роман об Анне Карениной и «Война и мир» входят в и его жизнь. И все же литературный мир и мир реальности – два не совпадающих мира, входящих друг в друга. В них присутствует разное время. Даже то время, которое просто связывает последовательные события в романе, в нем – другое. Но время еще предстает в своих двух основных ипостасях: Хронос, реальное время мира, его физическое и биологическое измерение; и Кайрос, время судьбы, которое есть и здесь, но в романе преимущественно (ибо роман – это повествование не о протекании событий, а об их соединении в Судьбу).

Я повторяюсь, потому что разделение двух действительностей, или, точнее, реальности и действительности – не очевидно, как разделение кислорода и водорода в составе воды.

Воображаемый мир литературного повествования и культуры в целом со

стороны подлинной жизни – иллюзия. Мы идем слушать симфонию, забываемся на три часа (но остаемся все в том же физическом пространстве), затем возвращаемся в наш мир, вполне из него и не выходя. Но рассмотрим феномен сновидений. Сны – такие же частные явления нашей жизни, как ужин и завтрак, мы никуда не исчезаем. Но события, происходящие во сне, которые мы переживаем – не относятся к нашей жизни, хотя отчасти ее отображают и изображают. Если фантастически представить себе человека, переходящего от одного сна к другому, то это и будет мир сновидений, совершенно, все же, отдельный от мира бодрствования. Вот так же мы погружаемся в мир литературных вымыслов, своего рода снов, которые отчасти входят в жизнь, влияют на нее, как и обычные сны, составляют, наконец, с нею некоторое новое единство. Начитанный человек, в котором живы и образы Обломова, и Татьяны Лариной, и Гамлета, и Дон-Кихота – хотя бы со школы – и строки стихов Пушкина, Лермонтова, Тютчева – меня поймет. Человек читающий существует в двух мирах.

3. Метастория. Миф христианства.

Цитирую А. Г. Дугина, «Четвертая политика».

«Христианство в целом принимает идею, общую для всех традиций, – концепцию *истории мира как поступательной деградации*. ...

Мысль о необходимости конца времен и понимание того, что происходит в этом конце времен, непосредственно перед ним, является для христианского сознания *центральной темой*. Когда говорят: "христианину не следует ожидать конца времен", отрицают важнейший принцип всего христианского учения. Время ожидания "конца времен" затянулось, но, с точки зрения церковных догматов, этого события никто не отменял.

"Конец времени" в христианской традиции рассматривается как особое, специфическое исчерпание содержательных сторон человеческой истории и прекращение мира в его временном аспекте. Другими словами, "конец времен" мыслится как *переход времени в пространство*, когда все вещи становятся одновременными, когда времени больше нет.»

По отношению к сну и мифу мы находимся в двух положениях: воспринимаем их из бодрствования и реальной жизни или существуем внутри них.

В оригинальной опере «Призрак оперы» герой ее находится в инобытии, вне нашего мира и вне сцены и пространства оперного театра. Он находится в другом времени и другом пространстве.

Но, как и сон, христианство существует как явление исторического времени и реального мира, входит в них. Но из сна весь остальной мир или не существует или не существенен. И из христианского мифа бытие существует только как ожидание конца света и преодоление жизни (а, значит, и истории и культуры).

Период между третьим веком и восемнадцатым был периодом трансцендентальной истории (Метастории), когда не христианский миф существовал в мире, а мир существовал внутри христианского мифа.

Отдельный человек переживает нечто подобное вместе со страстью. Это может быть игра ("Игрок", "Защита Лужина"), любовь ("Красное и черное", "Тристан и Изольда"), исключительная идея ("Преступление и наказание", "Бесы").

Естественно, христианство претендовало на то, чтобы включить внутрь себя культуру, историю, человека – или их полностью изгнать из мифа.

Церковь стремилась растворить в себе государство, личность, народ.

Но входя в церковь, надо было отрешиться не только от страстей, но и от жизни, истории, а тем более от литературы.

В Метаистории не существенны культура, прогресс, совершенствование личности, познание и справедливость. Да и время уже не течет, не меняется, а бесконечно повторяется внутри годового цикла – на сцене церкви идет сакральная пьеса о пришествии Христа, его земной жизни, распятии и воскресении.

Времени в Метаистории уже словно бы и нет, это время ожидания Второго пришествия и конца времени.

«Новая эпоха, наступающая вместе с приходом Христа, – это "эпоха благодати", уникальный период, в котором *существуют два среза реальности*. С одной стороны, естественная деградация мира и человечества в эпоху благодати продолжается, но параллельно ей в мире появляется принципиально *новый субъект* – Церковь, чья судьба *радикально отличается* от инерциальной судьбы остального мира. Церковь – это совокупность христиан, верных Христу, которые получили зерно спасения, крестились во Христа, сораспялись Христу, и, соответственно, оказались вынесенными *одной стороной своего бытия* из естественного исторического процесса.»
Дугин. Четвертая политика.

Итак, церковь существует и в мире, – "*одной стороной своего бытия*" – и вне истории, то есть вне мира, ибо мир существует в истории.

Так же существует религиозный миф, который отчасти есть часть нашего бытия, жизни и истории и даже культуры, а другой частью существует в Метаистории (или, точнее, Метаистория является формой его существования). Входя в храм, мы входим в культовое здание, в особый театр, в котором идет религиозная мистерия, но одновременно входим в иное время и в иное бытие, – как это происходит, когда мы засыпаем.

Это кажется странным, пока мы не сталкиваемся с уходом наших близких в некоторые религиозные секты, когда они порывают свои связи и с нами и с миром, пока мы не сталкиваемся с уходом наших близких в монастырь, пока они не погрязают в алкоголе или наркотиках. Но и страсть подобна уходу из мира. Безумные влюбленные часто не отличимы от безумных, ревность иногда является болезнью, так что неясно, не сошел ли Отелло с ума, не сошел ли с ума Рогожин. Так уходят от мира игроки, и в Пиковой даме мы одного такого ушедшего видим. Таковы бывают коллекционеры (и Скупой рыцарь – именно таков, хотя он и собирает деньги), а особенно герой фильма «Чучело».

Вера в существенном совпадает с любовной страстью. Но здесь необходимо сделать важное пояснение.

Мы о многом размышляем как о выборе и предпочтении. Петров вступил в Левую партию, а Петрова – в Правую, и их соседи купили Форд, предпочтя его БМВ. В их жизни ничего существенно не изменилось. Сын пятиклассник стал дружить с одноклассницей, раздружившись с соседкой, а мама соседки начала по воскресеньям заходить в местную церковь. Мы остаемся в нашем мире, выбирая между правыми и левыми, меняя обои и даже друзей. И вдруг кавалер Де-Гриё увидел Манон. А Савлу, идущему в Дамаск обличать христиан, явился Христос. Мир становится новым – «качественно иным». В нем меняются вкусы, предпочтения, оценки, цели, отношение к жизни и смерти, меняется время. Меняется ВСЁ.

Так вот, я говорю о той любви и о той вере, в которых меняются мир и человек, наступает *Инобытие*. Савл становится Павлом. Девушка из деревушки Домреми становится Орлеанской девой.

Но при этом жизнь не завершается, даже если сам верующий отныне считает, что надо жить аки во гробе, отречься от жены, детей и друзей (как бывало).

Но что представляет само то Бытие, в которое отчасти верующий погрузился, даже уйдя в монастырь или затвор? Это мы знаем преимущественно умозрительно.

Созданный из праха (или из НИЧТО), мир не только принципиально небожественен, но и сам не отличается от Ничто (в результате первородного греха), но христиане верят, что он обожен благодаря жертве Сына, его *дару и милости*. И, таким образом, Воплощение Сына Божьего превышает по своей значимости и сотворение мира, и сотворение Адама и Евы, и их падение, и все содержание священной истории. В конце времен история завершится (хотя такая, во блуде и грехе, лучше бы она не начиналась), и настанет новое время и новый человек, и новое бытие (без времени).

Это и есть Метаистория: Сотворение, Грехопадение, Искупление, Вера и Ожидание, Второе пришествие, Страшный суд и завершение всего.

В этой повести (то есть Метаистории) места человеку нет, он существо страдательное, он не герой пьесы, а деревянная кукла, которую выстругивает из дерева папа Карло. Воистину, «нет повести печальнее на свете...»

Итак, Метаистория – это не история человека (и народа), а История внешних по отношению к нему сверхъестественных сил. Даже диалог между Творцом и тварью невозможен (как полагает большинство вероучителей).

Иудей Савл, христианин Павел, атеист Карл... Кто из них прав, кто более убедителен, кто счастлив, кто предлагает лучший рай в шалаше для тех кто за ними пойдет? Повторяя за старцем Зосимой, что «доказать ничего нельзя, но можно проверить», почти каждый из нас стоял на распутье, выбирая «налево, направо, прямо». (Иудейская традиция могла быть и Аристотелевской, христианская – буддийской.)

Жить по заветам отцов, избежать из отчего дома в инобытие, положиться на себя и свой здравый смысл?

Это слишком упрощенно, но не мне отвечать на вопросы, которые я задаю, а литературе. Она и вопросы сформулирует более глубоко.

4. Литература и философия. Источник смысла

Мир пребывает в скверне и находится под властью Князя мира сего. Посему этот мир надлежит отряхнуть от ног своих как грязь и песок.

Человек низок и мерзок, а женщина, как заклинали христианство тысячу лет, и того хуже.

Жизнь и смерть, семья, родина, друзья, увлечения, страсти, наука, философия, культура, природа... Написано обо всем этом столь многое христианскими проповедниками, и так *утомительно* (как говорит красивая девушка назойливому кавалеру), что даже обывательские пошлости, солдафонские шутки, грубости следователей и глупости судей казались мне лучше. Но при всем при этом верующий человек (как и неверующий) часто представлял обаятельным, добрым и умным. С каким наслаждением читаю я философские эссе физиолога Ухтомского (монаха в миру), и как многое понимаю в мире в связи с его учением о Доминанте! С каким наслаждением читаю я Иконостас священника Флоренского (монаха в миру), и как многое через него понимаю в мире иконописи! С каким наслаждением читаю я о Ноосфере геолога Вернадского (о котором Толстой воскликнул: Да вы, батенька, мистик) и как поднимается мое чувство природного!

Захожу в храм, слушаю православный хор, слушаю проповедь кроткого батюшки – и умиление снисходит мне в сердце. Но как вянет дух, когда, забыв о повелении Пушкина «Суди, мой друг, не свыше сапога!», христианские учителя Богословия вторгаются в жизнь, науку и культуру!

Забыт завет Учителя: Богу богово, а Кесарю кесарево, и церковь поработила и дух и мир. Посему, развожу руками и возвращаюсь к литературе. Но зачем были столь пространные отступления, если подвигался я только на редактирование? Да затем, что в Слове, в Тексте, в Романе открывает читатель и Философию и Понимание, и Объяснение жизни. Если Дух правит миром, то Литература – Его способ говорить с нами.

И это мне важно обосновать.

Я прежде думал, что мир понимается прежде всего через Философию, но наступило разочарование. Роман не крадет духовную свободу, агрессивная идеология, изложенная в виде философской или религиозной системы – крадет. А духовная свобода читателя мне важна, именно в поисках такой свободы, в поисках понимания он и будет читать. Если другие уже ВСЁ нашли, растолковали, и ему остается лишь повторять мантры, то он не будет читать ни меня, ни тех, коими я восхищаюсь.

По всей видимости, гармония Космоса поддерживается Духом. Вне духа немыслима математика и поэзия. Даже то, что дьявольская стропила меня не зашибла, не случайно. И все же я знаю (а не только верю), что Земля вращается вокруг солнца по эллипсу, камень из пращи летит по параболе, а комета по гиперболе. Бог сотворил этот мир (вместе с математикой и сообразуясь с нею) и ВРУЧИЛ его нам. И человек находится в центре сотворенного Богом мира. И потому Личность находится в центре литературы.

Ибо поэт ищет «лица необщее выраженье», в романе герой тем значительнее и интереснее, чем необычнее и исключительнее. И потому

рассуждения, говорящие о ВСЕОБЩЕМ, игнорирующие частное, индивидуальное, особенное – не важны.

"С точки зрения истории вся наша жизнь – одно мгновение, а наша смерть ничего не значит" – уверяли меня политика, вульгарная философия и социология. "С точки зрения Божественной телеологии и эсхатологии вся наша жизнь ничего не значит" – уверяло меня вульгарное богословие. Слава Богу, я, наконец, понял, что ничего не значит вульгарная история и вульгарное богословие. Вожди революции потопили народ в крови не только потому, что они были людоедами, но и потому, что их мировоззрение вращалось не вокруг личности, а вокруг «человеческих масс», классов и способов производства.

Истинно только то, в центре чего находится человеческая личность!

Поэтому только литература может претендовать на выработку мировоззрения, но не философия и не богословие, и не наука.

Писатели все пишут кто в лес кто по дрова, а Богословы идут в шеренге, и шаг влево или вправо – конвой стреляет без предупреждения. Меня обманывали красотки, – и они зато и стали моими учителями – и логики, и заблуждения... И только поэтому я не учу писателей, как им писать. Хотя замечания свои я им высказываю, и ошибки исправляю.

Две тайны трагичнее всего – противоположность жизни и смерти и личного и безличного.

Античная философия учила быть стойким перед лицом смерти, и мы весьма пали в сравнении с ними. Мы боимся и потому так покорны.

Мы хотим жить вечно и жаждем бессмертия и воскресения. Именно *Воскресение* апостол Павел поставил во главу идеологии христианства.

«Апостол Павел восклицает: *если Он не воскрес*, значит, Он не сын Божий, и *вера наша тщетна*.

Но ведь и Моисей, и Будда, и Магомет, и Лао Цзы и Конфуций – простые смертные, но меньшее ли значение имеют их учения для приверженцев? Не большую ли надежду на вечную жизнь имели бы мы, если бы Иисус воскрес как *один из нас*? Ибо Воскресение бессмертного Бога не-удивительно, но одного из нас – переворот в Мироздании, повеление солнцу остановиться, земному тяготению – исчезнуть, ночи – превратиться в день.» Цитирую свою книгу «Записки на пальме».

Потому что в центре христианства Метаистория, деяния Богов (даже и не героев), и главное деяние – Воплощение в человека Сына Божия, хотя при этом человек *не оправдывается*, и при Апокалипсисе наступит Страшный суд и такие наказания будут всем, кроме избранных, что не дай бог дожить до него!

Человек *не оправдан*, Бог его *спасает* своею жертвой, искупляет его вину своей мукой – это как если бы отец пошел на каторгу, взяв преступление сына на себя. Но человек *не только не оправдан*, но и не отделен от своего греха, не преображен, остается тем же (сколько бы ни уверяли нас в обратном).

И все же, что-то сверхъестественное случилось. Драма человека не разрешается, ожидание конца времен не меняет нашу жизнь, и даже светлые

и кроткие христиане, коих я знаю, живут в той же жизни, что и я, не ожидая конца света и не живя аки во гробе, вопреки повелительному пафосу учения. И все же, что-то сверхъестественное случилось. **В центр истории и философии была поставлена Личность человека** (воплотился ли в нее Сын Божий или нет, это не важно). Но не в философских выводах и не в математических (научных) теоремах ОТНЫНЕ Истина, а – в Личности, потому Учитель и говорит: *АзЪ есмь Истина и Путь*.

И потому только литература – источник главного смысла, и только частная жизнь, а не философские и исторические и научные теории.

"Бородино" Лермонтова выше исторических исследований о Войне двенадцатого года. "Капитанская дочка" – рассказ и объяснение того, что было Пугачевщиной. "Война и мир" – роман-эпос, Миф и драма о русской жизни и русском человеке в классический русский век.

В связи с художественными произведениями русских писателей возникла другая обширная литература, в которой другие писатели, тоже замечательные, рассказывают о своих впечатлениях, переживаниях, о своем понимании великих творений – и я вдруг понимаю, почему **русская философия – это русская литература**. *Не по недостатку абстрактного понимания, а по превосходству над ним!*

5. Трагедия

И все же вершиной художественного творчества является трагедия.

Поэтому литература существует сама по себе, независимо от христианства.

Ибо Христос нас уже искупил, воскрес, дал жизнь вечную, казалось бы – к чему душевные муки?

Поэтому, договоримся о следующем. Уравнения движения жидкостей отличаются от уравнений динамики твердых тел, и существуют сии разделы механики самостоятельно, не оправдываясь друг перед другом. Ужасно и пошло прозвучали возражения Филарета стихам Пушкина, и славы себе этим он не заработал. Как и марксистская критика Пушкина была пошлой и глупой. Поэтому, и в меня пусть верующий человек не бросает камень, мы еще можем встретиться и в храме, я еще не совсем из него ушел, но только если сегодняшний дух нетерпимости и мракобесия в церковных и околоцерковных полемиках будет преобладать и далее, и я и подобные мне уйду, даже если «наши души еще христианки».

Ведь ничего еще не решено окончательно, у меня даже ребро болит, и я подозреваю, не готовится ли небесная сила созидать из него новую Еву?

Ничего еще не решено окончательно, поэтому литература должна главенствовать в наших умах и душах, за ответами на горестные вопросы бытия мы должны обращаться и к Пушкину и Толстому, и Достоевскому, и, может быть, даже ко мне, а как много важного узнал я, и как обогатился, читая романы Натальи Троицкой, Натальи Ефремовой, Елены Лобановой!

Да ведь если в центр христианского мифа поставлен живой человек – а настолько он человек, что и на кресте взывает, усомнясь в своей божественности: *Отче, отче, за что Ты меня оставил?* – то не в личности ль всё?

Да и в протяжении романа все то, что Сам Он говорит о своем сыновстве, не так определено. А то, что Новый Завет – Роман, неподвизтому читателю несомненно. И если основной его частью являются рассказы евангелистов, то деяния и послания апостолов – своего рода Послесловие. А книга апостола Павла (и деяния его – предисловие к его книге) – рассуждения редактора о романе и о самом себе. Нечто вроде того, что я пишу сам, вдохновленный и древними и новыми авторами.

Да, иные воскликнут: Священное писание неприкосновенно, его нельзя изменять! Но разве нельзя читать и комментировать, как это делают по крайней мере богословы? Так я и Илиаду и Одиссею Гомера не дерзаю изменять, но писать о своем впечатлении от него даже я вправе!

Но другие добавят: Священное писание несомненно, а ты подвергаешь его критике и не веришь в его истину!

Повторюсь. Прошлое предстает перед нами в виде Истории и Метаистории, и самые фанатичные верующие, живущие в склепе и отряхнувшие весь мир вместе с его историей и литературой как прах от ног своих, не утверждают, что истории не было.

Итак, она была и существует, а, следовательно, существует и ее истина – как и истина математики тоже существует. И в истине история истинна. Но истинна и Метаистория. Почти всякий человек живет не в одном мире, не в одном бытии, по крайней мере, он видит сны, иногда погружается в иллюзию – как был погружен в нее почти весь российский народ в недавнем прошлом (кроме, быть может, меня – и то не всегда). И я существую и в истории и в Метаистории, в реальности и в культуре. Одновременное существование в разных формах бытия несомненно (и даже описывается в учебниках психиатрии), а о знаменитом Чаадаеве даже правительство постановляло, что он сумасшедший. (Впрочем, и обо мне правительство постановило сначала одно, а через тридцать лет противоположное – и не единственный ли это случай в истории? Но это относится к Мифу, о котором еще речь впереди...)

Такое одновременное существование в истории и метаистории существенно в литературе, оно увлекает ее в небо, оно соединяет небо с землей. В истории или метаистории существует поэт, написавший: «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился»?

Или написавший «Демона»?

Или целую историческую геологическую эпоху вместивший в две строки:

«Хлестнула дерзко за предел

Нас отравившая свобода»?

И, наконец, написавший «Розу мира»?

Герои художественных произведений тоже подчас пребывают одновременно в истории и Метаистории. В некоторой степени таков старец Зосима из «Братьев Карамазовых» Достоевского.

Но в наибольшей степени удивительный, не имеющий аналогов в классической русской литературе Митрич, герой «Сиверсии», романа Натальи Троицкой.

«← Митрич, метель утихла. Слышишь? – негромко произнес он. – Наступает утро...

– Время начала. Время пытаться разглядеть Видящего твое зрение, время пытаться услышать Слышащего твой слух, время пытаться осмыслить Мыслящего твои мысли, время почувствовать Чувствующего твою душу, как частичку Самого себя.»

О, как это непохоже на «прах ты и в прах возвратишься» и «святость моя смердит перед Господом»!

Трагедия пронизывает этот роман, но она словно проходит сквозь него. Он трагичен и жизнеутверждающ, он двойствен. Трагедия преимущественно в русской истории, она ее сущность. Литература предпринимает титанические усилия, чтобы преодолеть ее, но пока еще все впереди...

Трагедию пережила и русская церковь в двадцатом столетии – и что же? Патокой и елеем, сусальным золотом и ложью византизма покрыты гробы ее святомучеников. И кадила кадят лишь царю Николаю, «Властителю слабому и лукавому»... И кадила кадят византизму, как будто бы единственной законной форме русской истории.

Частной жизни, отдельной человеческой личности противопоставляется история и метаистория как единственные источники подлинной Истины и смысла в бытии. Но частная жизнь – тоже космос, она не меньше чем все общество и весь мир, она тоже заключает в себе все сущее.

Марксистско-ленинский большевизм утвердил представление о человеке как о муравье в муравейнике, что не только неверно, но даже преступно, оно обесмысливает человека. Философия, наука и религия, пекутся ли они о благоденствии человека и человечества, по существу ведут речь не о человеке, не о человеческой судьбе, а о «всеобщем», материи или духе ...

Противостояние Всеобщего и его казалось бы неотвратимых законов – и конкретной человеческой личности, судьбы – вот главный источник Трагедии. Литература, только литература на стороне человека, все остальные бросили его, даже и математика. Ибо она вдохновляется тем, что $a+v = v+a$, забывая, что в человеческой жизни это не так, в ней и двое равны одному (*прилепится жена к мужу, и станут единой плотью*), и единое разделяется часто надвое, как мать и дитя.

Но есть нечто, чего нет как переживания, как состояния души, ни в философии, ни в математике, ни в науке, ни в религии, и что есть только у отдельного человека, и только в частной жизни. Это любовь.

6. Любовь

И именно она, в такой же степени как человек является центром художественного произведения, является его явной или неявной идеей.

Удивительно, но даже Житие протопопы Аввакума, с которого начинается русская литература – трагический рассказ о перипетиях Любви, во всех ее обыденных и странных формах. Многое там находится в самом потоке повествования, многое скрыто, но существует.

Отношения Аввакума с его семьей, крестный путь жены и сына, разделявших с ним его безумную страсть, вплоть до костра, на котором сожгли Аввакума с его сыном.

Не могу не напомнить строки Варлама Шаламова, устами которого говорит Аввакум:

«Наш спор – о свободе, О праве дышать, О воле Господней Вязать и решать.

...Настасья, Настасья, Терпи и не плачь: Не всякое счастье В одеже удач.»

А боярыня Морозова, его духовная дочь... о которой Даниил Лукич Мордовцев пишет так:

«Морозова вступила наконец в открытую борьбу с царем Алексеем Михайловичем.

Где же был тот, *во имя которого* русская женщина затеяла борьбу с силою, могуществом которой не могли сокрушить ни татары, ни поляки? Где был учитель, вослед которого пошла русская женщина, досель безмолвно покорная «закону», от кого бы он ни исходил: в семье – от мужа и отца..., в государстве – от предлежащей власти?...

Он был далеко, на глубоком, почти недосягаемом севере русской земли: он был в ссылке...

Вся жизнь этого необыкновенного человека была ссылка, земляная тюрьма или сруб, кандалы и истязания, и везде при этом проповедь, проповедь дерзкая, неустанная проповедь...»

Но только ли любовь к Богу была в основании подвига великой страстотерпицы? И «Житие протопопа Аввакума» и его жизнь – трагический рассказ о перипетиях земной Любви: мужчины и женщины, мужа и жены, родителей и детей, гражданина к отечеству, друзей и союзников.

Но прискорбно, что обо всем этом могу оставить лишь несколько строк, а надо бы написать целую книгу...

Часто повторяют, что «Бог есть любовь». Несомненно, многие растворили себя в служении Богу, через это служение выразив свою жажду любви. Так в особенности жертвует своей жизнью женщина, идя за великой идеей, идя в монастырь, на баррикады, жертвуя себя мужчине и детям. Их Бог и есть любовь. Но отвечает ли Бог им взаимностью? Отвечает ли он взаимностью кому бы то ни было? Казалось бы, Он взошел на Голгофу – не во имя ли любви? К отвлеченному человеку? Или к своему Отцу небесному, во имя которого отказывается от собственной воли, Он, Сын Божий, говорящий: Но да будет воля Твоя, а не моя!?

7. На чем же успокоится сердце?

Оно не успокоится никогда. Мои Записки уже утомили и меня и читателя, устала рука, устало перо, устал и ум и сердце. Тем паче что, повторяя слова протопопа «Аз есмь ни ритор, ни философ, дидаскалства и логофетства неискусен, простец человек и зело исполнен неведения». Единственное, что мне удавалось с грехом пополам – и редко без греха – это любовь: к Поэзии, к женщине, к России. Потому я еще напишу о любви и напишу о себе, хотя это будет только Миф, который я о себе создаю. Правда утомительна и неинтересна... или это неправда?

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ЛЮБОВЬ КАК ВСЕМИРНОЕ ТЯГОТЕНИЕ*1. Интродукция*

Пятница, 21 июня 2013. Противоборствующие, противостоящие силы, умеряя, ограничивая друг друга, позволяют сохранять равновесие. Так, вероятно, взаимодействуют любовь и ненависть, сила притяжения и сила отталкивания. Планеты вращаются вокруг солнца по устойчивым эллиптическим орбитам, потому что под влиянием силы тяготения они постоянно на него падают, а одновременно, стремясь двигаться по касательной к этой орбите, от него удаляются. Когда падение больше отдаления, планета приближается к солнцу, а когда меньше – удаляется, при этом движение совершается согласно законам Кеплера. Но силы отталкивания в данном случае нет, вместо нее есть инерциальное движение планеты по касательной, которое условно называется центробежной силой.

Уравновешивается ли любовь ненавистью, и непременно ли они со-существуют? Если Луна не падает на Землю не потому, что ее от земли отталкивает какая-либо сила, а только за счет своего прямолинейного движения по касательной к орбите, то естественно предположить, что и мы не падаем постоянно в объятия друг друга, даже когда нас притягивает любовь, не за счет отталкивания, а по другим причинам – причины же эти состоят и в нашей свободной воле, и в воле всех тех, кто с нами взаимосвязан (почти как планеты в солнечной системе).

Мы движемся часто по инерции, одновременно притягиваясь по любви, но сколь многое нас ограничивает, то есть редактирует! Нас редактирует правительство, цензор, издатель, родители, дети, жены (или мужья), церковь, правила грамматики, история, привычки, традиции, условности, предпочтения... а больше всего то, как позволяет пользоваться собою как инструментом язык. У него свои законы, свои традиции, он позволяет автору многое (как и жена мужу), но неизвинительны небрежность, неуважение, насилие, грубость. Писатель может даже не любить и не уважать свой народ, даже *нелюбить* его, но он обязан ЛЮБИТЬ язык, на котором мыслит, говорит и пишет.

Это НЕОБХОДИМОЕ условие оправданности его творчества.

Но как быть в том случае, когда автор еще не приобрел свободы владения языком, когда, как начинающий танцор, он спотыкается, наступает на ногу, запинаясь? А корявый язык часто встречается в произведениях авторов «из народа», и не всегда они плохи, даже иногда свежи и энергичны – но в таких случаях, очевидно, речь не идет о нелюбви и неуважении к языку и читателю, а только о недостатке умения.

Так что, повторяю, автор обязан ЛЮБИТЬ язык, на котором он пишет, и стремиться к тому, чтобы владеть им в совершенстве.

Но я еще о языке напишу позже, в заключение своих Записок, ибо он главное, он то же, что скрипка для скрипача, фортепьяно для пианиста.

2. Редактор как миф

Если в личности вершина и центр бытия, то и в литературе именно личное должно быть в центре.

И я надеялся поставить в центр романа личность автора, например, себя самого (как Пушкин является главным героем своего поэтического творчества), но я оказался недостаточен (уж если даже «всего лишь простое вино Мерло» способно колебать подо мною земную твердь, то что говорить о стропилах крыши!?)

И все же и читатель и автор жаждут *романа-синтеза*, в котором герой не только достигает внутренней высоты и превосходства – над обстоятельствами жизни, государством, мучающими его силами зла, собственными слабостями и пороками – но и стремится к *преображению внешнего мира* и достигает его.

Одной частной жизни для такого романа недостаточно. Поэтому я и говорю, что как в центре литературного произведения должна быть личность, так, если представить литературу в виде реки, устье ее должно виднеться как роман-эпос, трагедия и миф. Но в таких произведениях и личность не может быть незначительной, это должен быть Герой, стоящий выше толпы, даже и смешной, как Дон-Кихот, даже и поверженный, как Дон-Жуан в Каменном госте Пушкина, даже и побежденный, как автор и герой Жития протопопа Аввакума, даже и погибший («погиб поэт, невольник чести»), как сам Пушкин в исходе последней дуэли, как и Лермонтов, оплакавший Пушкина.

Философия ниже поэзии и литературы (имея в виду частное значение последнего термина), поэтому, заканчивая уже свою «Философию редактирования», я спешу от нее отречься, я пытаюсь превратить эти Записки в некое подобие моего собственного лирического или трагического *Романа с Литературой*.

Именно поэтому я отказываюсь от навязчивой назидательности, поучений и обязательных правил. Я – не экзаменатор и не цензор. Писатель должен писать, повинувшись собственному вдохновению. Мои Записки – всего лишь шпаргалка, которая ему, возможно, поможет, но не учебник, не свод правил.

Правда, для того, чтобы Записки эти он стал читать, для того, чтобы они ему оказались полезны, он должен отнестись к ним с должным вниманием, он уже должен смотреть на меня, автора, притворившегося Редактором, почти как на памятник в бронзе или в камне, он уже должен временами думать, что я уже давно умер. Вот так однажды услышал я о себе хвалебную речь на какой-то писательской встрече, где поздравляли талантливого автора с успехом и пили Мерло и другие, более крепкие напитки. Слово взял древний, стадухлетний старичок, и вот что сказал он: Да, вы пишете, молодые, временами тоже не-плохо. Но вот я недавно прочитал одну книгу, не то Любовь и боль, не то Боль и любовь (а это именно мой первый роман, написанный десять лет назад, который, правда, с тех пор еще никто почти не читал), и вот что я вам скажу: в девятнадцатом столетии писали все-таки

лучше, вот как этот автор, фамилию которого я не помню. Возможно, он уступает Пушкину и Толстому, но он жил рядом с ними и они его вдохновляли. А без вдохновения творчество безжизненно, в уме у нас нет силы искусства. Рядом с нами должны быть или женщины (и он посмотрел на двух своих спутниц, которые его поддерживали под руки), или Великие. Ибо *«Народ видит в великом человеке самого себя поднятым, выясненным. Народ создает великого человека своим страданием.»*

Разумеется, я не думаю и не дерзаю восславлять самого себя, вот этого самого, пишущего (возможно) теперь эти строки. Я и слаб и недостаточен. Но я попытаюсь превратить себя в Миф, и этот Миф поставить в центре романа. *Редактор как миф* – вот что теперь нужно!

Кстати, заметка авторам: Не бойтесь быть бесстрашными, самонадеянными, не бойтесь дерзать! Не верьте, что «Не боги горшки обжигают», а поэтому вы – не боги. Нет, вы именно боги, и вы совершаете великое дело, творите литературу, а не обжигаете горшки.

А я разговариваю с вами, и вы меня (возможно) читаете.

Итак, продолжаю созидание мифа.

Пространство религии и пространство богословия. Может ли читатель и писатель внутри них размышлять, спорить, ИСПРАВЛЯТЬ? Как я исправляю в математике Дедекинда и оспариваю в философии Канта, а до того Маркса и марксидов?

Увы, нет, как прилежный ученик, он может только зубрить «таблицу умножения» и в страхе, бледный и трепещущий, ее повторять. Поэтому, гордый автор, оставь за порогом свои религиозные и мировоззренческие пристрастия, за тобою Россия, а она слишком разнообразна, чтобы ее красить одним цветом. В ней и Аввакум и Никон, и Алексей Михайлович и великая стратотерпица боярыня Морозова. В ней неистовый и безумный Петр, вороватый Меньшиков, немка Екатерина, ставшая русской, русские большевики, отказавшиеся от России, мой прадед и мой дед, стрелявшие друг в друга на фронте Гражданской войны (и это было буквально), а потом сосланные в одну сибирскую деревню, мой мужественный отец и красавица мать, в ней и я, с которым случился в детстве грех, и я стал пионером, но потом опомнился, и комсомольцем уже не стал, в ней и дворяне, кающиеся в притеснении крестьян, и бунтующие крестьяне, сжигающие дворянские поместья, в том числе и поместья Блока и Менделеева вкупе с их книгами. В ней и кроткий Алеша Карамазов, и наивный Достоевский, уверовавший в народ-богоносец, и этот самый народ, разрушивший почти все храмы и сжегший ВСЕ помещичьи усадьбы. В ней и Удальцов с Навальным, и "PUSSY RIOT"... Нет в ней только «жуликов и воров», мздоимцев чиновников, жестоких правителей, лицемерных политиков, лживых их защитников. Или, может быть, и есть, но о них я писать не хочу. («О них не будем говорить, о них все сказано...»)

Так что мусульманин вы или православный, старовер или иудей, как писатель вы обязаны быть русским писателем, но не прихожанином общего храма (как и Пушкин и Лермонтов. У них есть свой Бог, и Бог беседует с ними так, как не беседует ни с кем из ревностных прихожан!)

Я – редактор. Но и писатель – редактор тоже, текст, который он исправляет – это Божий мир, сотворенный Создателем. Вот почему кроткие «рабы господни» трепещут и ненавидят и литературу и философию, ибо они ощущают себя в виде строки из таблицы умножения, в виде букв из азбуки, в виде камня горы, не смеющего шевельнуться.

Но если самонадеянный Савл, обличавший христиан и ввергавший их в темницы, не видевший Сына Божия во плоти, вдруг уверовал и сам в их истину и дерзнул дополнять и поправлять их учение (то есть его *редактировать*) уже после того, как собрались первые христианские общины и создавалась церковь в разных провинциях римской империи и уже проповедовалось Слово Божье – то почему же невозможно пристрастное прочтение его редакторских комментариев (с которыми, кстати, были не согласны апостол Петр и Иоанн) другим самонадеянным редактором? Если Московская патриархия в середине семнадцатого столетия стала исправлять (*редактировать*) священные тексты и не побоялась расколоть русскую православную церковь на две равные части, и только усердие правительства в деле избиения православных эти половины сделало неравными, если Кальвин и Лютер, если англиканские проповедники, если учителя евангелистов и баптистов поучали и комментировали, если из трех богословов сегодня не все ли трое с собой несогласны, если половина священников... да и достаточно... Согласимся на том, что оставим Священные тексты и Метаисторию священноначалию, а мы, обыватели, философы и писатели, крестьяне и герои, забираем себе наш мир (ненужный чрезмерно верующим, многие из которых еще недавно подвизались на комсомольских собраниях, и которые отрясают его как прах от обуви своей), и мы с нашим миром делаем то, что велит нам совесть, то есть крестьянин вспахивает поле и убирает с него камни, философ рассуждает, а писатель ПИШЕТ РОМАН – то есть все мы этот мир посылить редактируем.

Вот так я начал рассуждать после того, как одной июньской ночью, бросив университет, пошел пешком в монастырь, и было мне видение, и тихий голос кроткого мужа, в сияющих одеждах, сказал: Васька, Васька! Куда ты идешь? Кто же останется в мире, если все мы из него уйдем? Вернись, тебя ждут девушки, математика и литература!

А через много лет, в сумасшедшем доме, где я изнывал, и сползал со склона, на котором уже цеплялся за телевизор, сосед по камере воззвал ко мне: «Иваныч! Брось телевизор! Пиши математику!» (А я тогда погрязал в учебнике математики, который в итоге писал девять лет). Этот необразованный сосед умилил меня так, что я вдруг почувствовал свою вину перед миром, и чуть ли не бросился его обнимать. Истину мы можем расслышать из всяких уст, надо только не закрывать уши.

"Самое верное в мире Учение" я дерзнул исправлять, комментировать, а после дерзко порочить намного раньше, еще в шестидесятые годы. Такая способность в психиатрии называется «переоценкой личности». И действительно, находится ли в здравом уме тот, кто дерзает ОДИН высказываться «против ВСЕГО прогрессивного человечества»?

И надо было прожить еще тридцать лет, чтобы вдруг оказаться почти наедине уже не с прогрессивным, а с реакционным народом, забывшим свою вчерашнюю любовь, идеалы детства и юности, строительство коммунизма и пирамид. Теперь уже народ пламенно возлюбил капиталистов и «разведчиков прошлого», частную (чужую) собственность, вертикаль власти и «православные ценности». Но если даже вращение Солнца вокруг Земли один самонадеянный астроном отменил и заставил вокруг солнца вращаться Землю (Коперник), если простой священник, обличив папу, повел за собою народ Германии (Лютер), а невежественный политик сверг царя и присвоил государству сначала чужие заводы а потом всю помещичью землю а потом даже и крестьянскую, так что они даже чуть все с голоду не поумирали (но не перестали его любить), то надо ли отчаиваться? Разве жизнь окончилась? Разве с помощью Бога Редактор не найдет способ исправить Текст Мира?

Вот так я начал рассуждать после того, как одной февральской ночью, идя пешком в деревню, показалось мне вдруг, что я умираю, и было мне видение, и некое дитя мне сказало: А что же ты про нас забываешь, деток малых и невинных? Пиши для нас, и мы, может быть, когда-нибудь тебя прочитаем, а прочитав, исправим сей мир!

Я устыдился и написал роман, и с тех пор НЕ ЗАБОТИЛСЯ, есть ли у меня читатели. Бог ведь знает все то, что я пишу, а Он за меня, он даже дьявольской строpile не дал в меня попасть!!! Да к тому же, кое-что за последнее время изменилось, скоро мой роман прочитает одна прекрасная женщина, которая пишет еще лучше меня!!! А потом и две другие, которые меня любят.

3. Половодье любви

О любви я теперь и буду писать в продолжение предыдущей главки, эта любовь – продолжение мифа. Но любовь – воистину неисчерпаемый океан, поэтому буду писать не о всякой любви, но только о той, которой посвящены строки Тютчева:

*Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется.
Но нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.*

Эта любовь-сочувствие наполняла меня целую жизнь. Не знаю, чем я её заслужил, но когда читаю в письме: *Ради Бога, не ходите в этот проклятый сарай, сидите дома и пишите книги!* – мне уже кажется, что меня живым взяли на небо. А сколько я негодовал в оные годы, что красотки ко мне безжалостны – и вот вспоминаю свою беспутную жизнь... хорошо еще, что «строк печальных не смываю»... Игра в карты, собирательство книг (что еще хуже – ибо сколько из-за того пренебрегал я нуждами близких, стыдно вспоминать), трижды исключение из школы, дважды – из университета, трижды – узилище, не единожды – на смертном одре, несчастная любовь, потом еще несчастнее, разочарование в марксизме, потом в демократизме, потом в христианстве, в математике, в философии, в писании книг... И как бы

там ни было, но только сочувствие к страдающим и несчастным, сочувствие к прекрасному, вопреки всему, миру, и само собой растущему миру природы, и созиждённому руками человека миру искусства и культуры.

Но было ли это сочувствие той христианской любовью, которую воспевал апостол Павел? НЕТ!!! Христианской любовью любят всех одинаково (напоминаю строки Страхова из его "Путешествия на Афон"), а значит – никого не любят. Любовь – избирательна. И Бог в конце времен оставит только малую горсть избранных, а уделом остальных будуг плач и скрежет зубовный. Я пожалею *и остальных*, хотя любить их не буду. И теперь я к большинству равнодушен, одних люблю, а многих (о них я уже говорил неоднократно) яростно ненавижу, и сочувствия у меня к ним нет. Это те, кто нас обобрал, отобрал у нас Родину, культуру, образование. Кто уничтожает мой лучший в мире Петербург, замахнулся на Царское Село, Стрельну, Гатчину и Петергоф.

Но, впрочем, я пишу не о ненависти, а о любви, не о жестокости, а о сострадании, не о равнодушии, а о сочувствии.

Страсти меня носили аки утлое суденышко ветры по бурному морю.

Но один ли я был в сих страстях? Если кто подумает, что это только страсть к женщине, как обычно бывает, то ошибется. Даже когда обращал я свои восторженные речи к женщине, содержанием их были обширные страсти мира и духа, собирал ли я книги, собирался ли учредить революцию, найти Истину и спасти человека и мир.

Перечитываю апостола Павла, который пишет о подобном.

«[И всё же] если кто смеет хвалиться чем-либо, то (скажу по неразумию) смею и я. ... Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготы.»

«...Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» И это мне близко.

«Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных: вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо.» И это мне чуждо.

Трудно удержаться, чтобы не *перечитать* с вами из апостола всё. Вдохновлял ли его Бог? Несомненно. Но значит ли это, что в его словах все так же несомненно как в математических теоремах? Нет.

Несомненно, что Бог вдохновлял и Пушкина, и Лермонтова, и Толстого, и даже меня, хотя Толстого изгнали из церкви, а Лермонтова поносит современный исследователь поэзии, глубокий и поэтический, но, увы, возложивший на литературу Писание как могильный камень на живого человека.

Читая гениального писателя (а апостол Павел гениален) трудно не поддаться его влиянию. И вы, возможно, уже заметили, как интонации его посланий просачиваются в мои строки. Но я сопротивляюсь, потому что есть кое-что, что мне дороже всех его даже несомненных истин. Он говорит, что «... *благодаря вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился.*» – но я крестьянин и сын крестьянина, и у апостола Петра и евангелиста Иоанна читаю, что «*вера без дел мертва*» – и именно это в основании моей веры и моего Бога.

Еще он говорит, что «*Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек.*» – но я крестьянин и сын крестьянина, и я русский поэт, наследник нашей великой поэзии – и **моя любовь – это СОЧУВСТВИЕ МИРУ.**

Много чего я еще хотел написать о любви, потому что только ею я жив, но как бы не перелить мне приторного вина в то легкое вино, которым вас потчую.

4. Любовь к Родине. Патриотизм и национализм.

Когда-то увлекался я чтением Ницше (о котором говорили, что он чуть ли не предвестник фашизма, ибо он говорил: *Падающего толкни!*), но позже, забыв о нем на несколько десятилетий, прочитал его Антихристианина и был поражен поверхностностью его суждений. Другое перечитывать я не стал, чтобы совсем не разочароваться в юношеских иллюзиях.

Недавно начал читать Чемберлена, которого тоже причисляют к предтечам фашизма, но даже не понял, на стороне ли он античности или христианства в их столкновении в первые три столетия новой эры, христианин ли он в настоящее время или сторонник "нового европейского язычества". Этот интересен хотя бы тем, что он был коренным англичанином, потом стал писать по-немецки, женился на дочери Вагнера и стал немцем. Это доказывает, что духовную основу национального он ставит – хотя бы в границах соей личности – на первое место, а родовую, этническую – на второе. Вот и у нас немка Екатерина стала русской, а русский писатель Набоков стал англичанином. Так что всегда ли справедливо, что *сын вора будет вором*, как утверждалось в некогда популярном индийском фильме Бродяга, а сын русского будет русским?

И в самом деле, крестьяне нескольких уездов в Воронежской области в девятнадцатом столетии приняли иудаизм и начали говорить на иврите. Уже при Хрущеве они запросились в Израиль, и тамошний парламент, не найдя прецедентов в истории, целый год совещался, принять ли их в евреи.

Ну а обратное, что еврей становится русским или французом, тоже бывает. Один из моих покойных друзей, правда, еврей только по отцу, которого он не видел (и к которому он написал «Двенадцать писем», которые я напечатал посмертно), любил меня, за два дня до смерти крестился, и ничем не отличался от русского (хотя насколько мы сами отличаемся или совпадаем с русскими, бог весть).

На протяжении истории *народы* чаще разделены, а если объединяются, то или насильственно, или во временные союзы против общего противника, их естественная разделенность приводила даже к упорным войнам, и некоторые из них вошли в литературу не только как исторические события, но и как мифы. Самой удивительной войной была Троянская, из-за женщины, и это одна из немногих войн, которую я готов оправдать и даже ею восхищаться.

Но, правда, сами участники таких войн восхищались ими не всегда, так «однажды старцы Илиона, – рассказывает Майков, – сидели в кругу у городских ворот. Осада Трои длилась уже десять лет. Вспоминая павших, они проклинали ту, "которая была виною бед их". "Елена! ты с собой ввела смерть в наши дома! ты нам плена готовишь цепи..."»

В этот миг

Подходит медленно Елена,
 Потупя очи, к сонму их;
 В ней детская сияла благодать
 И думы легкой чистота;
 Самой была как будто в тягость
 Ей роковая красота...
 Ах, и сквозь облако печали
 Струится свет ее лучей!..
 Невольно смолкнув, старцы встали
 И расступились перед ней.

Другая война, которой мы более всего гордимся, война, воспетая Лермонтовым и Толстым, это Война 1812 года, ставшая основой великого русского эпоса.

Воля правителей играла, разумеется, важнейшую роль в этом роковом противостоянии двух народов, и все же любовь к Родине, то, что теперь принято называть патриотизмом, была главной причиной нашей победы.

Но как девальвировалось это великое чувство за последние десятилетия, какие только прохвосты не клянутся им, не называют себя патриотами!

По существу, патриотами не должны бы быть ни коммунисты, ни христиане, ибо родина одних – «пролетарии всех стран», родина других – «все и во всем Христос».

А уж олигархическая власть, продавшая Россию иностранному капиталу, ограбившая ее и убившая ее дух и культуру, растлившая ее народ – казалось бы, не смеет совсем говорить о любви к родине... но вот они-то самые пламенные патриоты!

В патриотизме, любви к *своей* родине, клянутся и французы и янки, патриоты – и граждане Израиля, и граждане крошечной Исландии и ледяной Гренландии, и никто их за это не укоряет, подвигом трехсот спартанцев в битве за Грецию, отчаянным подвигом Франции под водительством святой и великой Жанны, патриотизмом Гарибальди мир восхищается.

Но сколько противоречивых откликов вызывает термин «национализм», означающий не то же ли самое, переводящийся на русский как «народность», что было недавно неотъемлемой частью идеологической триады Российской империи, состоящей в «Православии, самодержавии, *народности*».

Здесь надо сделать небольшое лингвистическое отступление.

Морфологически *народность* – существительное, образованное от прилагательного (народный), то есть это аналог отглагольного существительного (образованного от глагола). (Так же как отчаянность, расчетливость, полезность).

В триаде Уварова первые два члена – прямые существительные и, например, от православия происходит православный, а от него *православность*, от самодержавия – самодержавный, а от него *самодержавность*, то есть триада должна бы звучать как «православность, самодержавность, *народность*». Народность – качество или свойство, характерная черта бытия. Историческая жизнь, по духу девятнадцатого столетия, для которого краткую формулу нашел Уваров, должна была определяться *православием* и *самодержавием* как формами религиозности и государственности и *народностью* (но не *народом*) как характером и религиозности и государственности и самой этой исторической жизни и человека, участвующего в ней.

Писатель должен быть *народен*, призывают нас с тех пор, то есть не уклоняться от духа народа, его нужд и страданий, его надежд и верований.

Народен ли Пушкин? И да и нет, ибо он, может быть, в наибольшей степени чем другие русские классики *аристократичен*, в чем его упрекали писатели простонародного (демократического) направления, например Греч, Полевой и Булгарин.

Да и каким ДОЛЖЕН быть писатель? И кому он ДОЛЖЕН? Самое опасное, с чем он сталкивается, это с идеей своего ДОЛГА, которая может его погубить, как большевизм погубил Маяковского, христианство Флоровского, космополитизм – Набокова, национализм – Кнута Гамсуна.

Писатель НЕ принадлежит даже Богу, не принадлежит он и Родине (как и Христос и апостол Павел), но он же восклицает, как Христос: Я ПРИШЕЛ СПАСТИ СВОЙ НАРОД! И он же в отчаянии (как апостол Павел) кричит своему народу: Я [и сам] еврей из евреев, [и] Бог пришел именно к нам!

Апостол Павел продолжил учение Христа – но он продолжил и Его драму разрыва с собственным народом. Он уже исходит из отвержения, и стихийно или сознательно, обращается преимущественно к язычникам.

«[Так] какой же народ собирается он, "еврей из евреев", спасти?»

Пришел ли он спасать иудеев или язычников?

И среди тех, и среди других он пришел спасти семя нового урожая, побег для нового древа, тех, кто больше уже ни иудей, ни язычник, но будучи облечен во Христа, становится *новым народом*, не по рождению, а по духу.

(Апостол Павел нашего времени, Карл Маркс, этот *новый народ* нашел среди пролетариата.)» (Смотри «Записки на пальме»)

Классическая русская литература была национальной, то есть *русской*, прежде всего по языку, то есть ПОЧВЕ, ибо язык – это ПОЧВА литературы.

Если все же согласиться, что *патриотизм* носит черты государственного *идеологического* навязывания, уместнее называть Пушкина, Лермонтова, Толстого и Достоевского не патриотами, а *националистами* (перечтите статьи

Достоевского из «Дневника писателя и его же заметки из личного «Дневника», изданные Орестом Мюллером, а ниже перечтите Пушкинское:

КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ

О чем шумите вы, народные витии?
 Зачем анафемой грозите вы России?
 Что возмутило вас? волнения Литвы?
 Оставьте: это спор славян между собою,
 Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
 Вопрос, которого не разрешите вы.

....

Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
 Иль старый богатырь, покойный на постеле,
 Не в силах завинтить свой измайльский штык?
 Иль русского царя уже бессильно слово?
 Иль нам с Европой спорить ново?
 Иль русский от побед отвык?
 Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
 От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
 От потрясенного Кремля
 До стен недвижного Китая,
 Стальной щетиною сверкая,
 Не встанет русская земля?..

.....

Политики-коллаборационисты для самооправдания подменили понятия, отождествили *народность* (или народничество) с шовинизмом и расизмом, то есть любовь к собственной родине выдали за ненависть к родине чужой. Правда, и патриотизм клеймился в русской публицистике уже двадцать пять лет, хотя, правда, сегодня он питательная роса всех *верноподданных*. Хотя государственные патриоты, находятся ли они у власти, как Единая Россия, или в оппозиции, как либерал-демократы и коммунисты, Родину предали, и любят только власть и богатство.. *Народность*, которую я вослед Уварову возношу, не отменяет моей свободы, ибо и Пушкин, народнейший из русских поэтов, сказал: Поэт, не дорожи любовью народной!

И все же, почему национализм вызывает такую ненависть у современных властителей дум и душ? Идеологией государства Израиль является именно национализм (сионизм), вызывающий во мне понимание, существенно перемешан национализм с ненавистью к русским в государствах Прибалтики, вызывающий во мне горечь, национальная идеология в основе государственности многих народов, моно и многонациональных... Но все же, как и говорил я в начале своих Заметок, русский писатель должен расти из своей почвы, поэтому оставим мы споры о национализме скинхедам, шовинистам, евразийцам и либералам (заметили – ни одного русского слова!), а обратимся к собственному языку, и Любовь к родине назовем прекрасным русским словом *народность*! (Пусть в ней и нелепость русского быта, и Обломов и Плюшкин и Коробочка, и все герои Грибоедова, Лескова и

Достоевского, и наша наивность, и бестолковость, и глупость – но и наша удивительная РУССКОСТЬ, в которой и швед Маннергейм, будущий финский маршал, убивший моего отца, но не посмевший убить русский город, и немка Екатерина, и русские поэты Надсон, Мандельштам и Пастернак, евреи по рождению, и датчанин Даль, и поляки Сенковский и Шумовский, и француз Герцен, и даже принц Английский, переведивший Пушкина, и девочка из Австралии, дочь бандеровки и чешского эмигранта, прочитавшая русских писателей и СТАВШАЯ русской и отчаянно дравшаяся со своими нерусскими одноклассниками, защищая Россию.

Лично я на Россию чаще нападаю. На меня слишком, видимо, повлияли Герцен, Чаадаев, Печорин (о нем смотри у Герцена. А на днях вышел, наконец, и громадный том его воспоминаний, заметок и писем). Моя любовь пронизана временами ненавистью (потому что я люблю как ИДЕАЛИСТ. Я не говорю, что те, кого я люблю, лучше всех, они только ДОЛЖНЫ стать лучше всех, а если они пали, то я или их обличаю, или ненавижу, или сострадаю, когда их падение вызвано страданием, слабостью или нравственной болезнью. Вот так Сонечка Мармеладова пожалела Раскольников).

5. Русская литература как национальная философия

Не я разделил мир на *эту*, падший, лежащий в скверне, вызывающий ненависть, который надо отряхнуть от стоп своих, и о котором сказано: *Не любите мира, ни того, что в мире...* – и на *тот*, горный, к которому надо стремиться, для которого надо жить, и для которого, вообще говоря, как это ни странно, НАДО ПЕРЕСТАТЬ ЖИТЬ!

Не я отделил от культуры религию, не я сказал, что религия И без культуры самодостаточна и не нуждается в ней. (Не спешите со мною спорить, надоело... Современный верующий – вчерашний комсомолец – страшно невежествен и в истории христианства, и в Священном писании, и в Богословии... да и во всём. Не скажу, что я шибко образован, но все же не до такой же степени невежда?!!!)

Итак, существуют, по общему богословскому мнению, два мира, посторонний и потусторонний, земной и горный.

Существуют и две истории, история нашего мира, в котором мы все с вами живем, и христиане и не, и верующие и неверующие, в том числе и богословы; и Метаистория, история горного мира, в котором мы (избранный, точнее, остаток) окажемся после смерти и воскресения и Страшного суда.

Все, что есть, есть преимущественно в этом мире, и даже Кант, вполне христианин, не сказал, что ЕСТЬ что-то где-то еще, но только разделил все существующее на вещи в себе и вещи для нас – но и те и другие находятся, все же, в этом мире.

Но есть еще, помимо прочего, Церковь, о которой согласия среди философов и богословов нет.

Самые восторженные говорят, что Церковь – это тело Христово (и входя в храм помолиться или поставить свечку, они, по-видимому, входят, страшно сказать, в мистическое неизвестное...); другие же говорят, что церковь – это народ Божий; третьи же, что она – собрание верующих, то есть вполне земной

институт. Но так как этот институт призван осуществлять связь между человеком и Богом, между земным и небесным, то он двойствен, он и то и другое. Вот так же и человек – единство нетленной души и тленного тела, и, кстати сказать, создан Богом (как и Церковь), и хотя рождается от земных родителей, а Богом созданы только прародители – но и в церкви и священство и прихожане все рождены от земных же родителей, которые... и рукоположены епископы от земных епископов, которые...

Сакрален ли человек (на основании своего исходного божественного происхождения)?

Оскорбляя и понося человека (что часто делают самые восторженные христианские писатели), не оскорбляем ли мы Бога? Как сегодня за оскорбление Бога выдают всякое действие, неуютное церковному начальству. Но и Лютер был ему неуютен. Говорят ли сегодня католики, наладившие с лютеранами договор и сотрудничество, что Лютера надо бы сжечь?

Но, мол, человек хотя и создан Богом, но его грехопадение...

А история католической церкви не представляет ли нам временами такой глубины и мерзости грехопадения ее иерархов и рядовых служителей, избиение евреев в Испании, Крестовые походы, сопровождавшиеся избиениями, Инквизиция, запрещение книг, без которых сегодня неммыслим не только человек но и церковь? Или они будут упорствовать в отношении Коперника? Или Жанны?

А русская православная церковь, избивавшая староверов? А русский царь Петр, ЛИЧНО рубивший головы стрельцам и чтимый церковью? Не говоря уж... Но да ладно...

Если согласиться, что церковь соединяет два мира, а литература преимущественно относится к нашему миру, к культуре и истории и обыденной жизни, к человеку и обществу, то и церковь входит в тот мир, который входит в мир литературы.

Посему и философская и религиозная и политическая и хозяйственная жизнь человека входят в мир литературы. Все в нее входит, и Война и Мир, и Любовь и Ненависть, и созерцание и размышление и действие, и чистая любовь, и *«похоть плоти, похоть очей и гордость житейская»*.

Но разделена ли литература от философии, прежде всего хотя бы потому, что в центре литературы конкретная, частная личность, а в центре философии всеобщее?

Или же и в центре философии – нужды и страдания конкретного человека? Если говорить о моей «философии», то это рассуждения о том, что мучает лично меня. Но открываю Толстого – увы, и у него то же самое, не о человеке с Большой буквы он пишет, а о *человеке*. Одни из них недостойны, другие достойны, и прямо таки хочется начальную букву в имени их слегка повысить – но даже и князь Болконский под небом Аустерлица, умирая и мучаясь и думая о Боге, остается только собой. То же и у Достоевского и у Пушкина, и у Лермонтова. И я вижу, что русская философия преимущественно заключена в литературе. И она принципиально другая, она ЛИЧНАЯ, в то время как западная – безлична.

6. Толерантность и кипение страстей

Tolerantia (от лат. **tolerantia** – терпение, выносливость) – *физиологический* термин, означающий способность организма переносить неблагоприятное воздействие того или иного фактора среды.

Но и в обыденной жизни и в литературе мы говорим по-русски, поэтому, рискуя прослыть ретроградом и мракобесом, заранее заявляю, что я так и не освоил и термина мерченайзер, и так же до сих пор плохо понимаю смысл и цель не к ночи будь помянутого и усердно пропагандируемого указанного термина из области физиологии.

Я прожил уже к счастью и несчастью не так и мало, большая часть моей жизни прошла внутри новой исторической общности «советский народ», и мои товарищи по парте и жизни часто, когда я произносил слова *русский* и *Русь*, взъерывались на меня в обиде на дружбу народов, теорию исчезновения рас и создания общечеловечества, теорию соединения языков в один общий. Некоторые шли еще дальше и проповедовали общность жен, что меня до поры до времени отчасти заинтриговывало.

Самое поразительное состоит в том, что дружба народов в СССР год от году неумолимо и неумолимо крепла, а я как-то мракобесно был прилеплен к русской истории (а не советской), к русской литературе (не советской), и вообще ко многому русскому (хотя и не многое русское любил).

Я, вероятно, был противником обобществления, большое значение придавал самостоятельности личности, был против растворения всех во всем, а особенно против растворения полов. Маоистская куртка, скрывающая девичьи прелести, была особенно мне ненавистна, вероятно, так же, как северо-американская тенденция сделать неотличимыми мужчину и женщину, добиться равноправия полов настолько, чтобы брак заключался не на небесах, а в нотариальной конторе, чтобы на мужчину, подавшему руку женщине, выходя из автобуса, можно было подать в суд, чтобы женщина научилась в быту сквернословить так же, как и мужчина.

Самые терпимые – равнодушные. Или трусы. Не была ли русская чернь *терпима* к татаро-монгольскому игу, потом к большевистскому? Не терпимы ли мы сегодня к олигархической власти «жуликов и воров»?

Сколько бы ни упрекал я православную церковь, но когда в тюремной камере из трех телевизоров на меня обрушились Содом и Гоморра, когда, вываривая из газетной бумаги какое-то странное снадобье, вся камера потом прыгала и плясала, я воззвал: *О, Господи, отсуши им руки и ноги и языки!*

Дьявол с Богом борются, – говорит Достоевский, – а поле битвы – сердца людей.

Религия и терпимость – неважно, Христианство ли, Ислам – несовместимы. Религия – это страсть. Горячих и холодных приемлю, говорит Бог Иудеев (в Ветхом Завете), а теплых изблую из уст Своих!

Нужна не терпимость, а любовь (а она всегда страстна), понимание, сочувствие к несчастным и обиженным и ненависть к обижающим, нужно защищать добро и красоту против злобы дьявольских сил! Пожалеть можно грешника, но быть терпимым к греху – отвратительно.

Россия – странная страна. Одна из ее положительных странностей – отсталость от неудержимого, иногда похожего на паранойю, прогресса. Мы опередили всех, совершив раньше развитых (по Марксовым ожиданиям) стран самую правильную революцию, перебили потом всех своих умников, перебили почти всех отсталых крестьян, но свою отсталость преодолеть не смогли. Поэтому, когда одна отсталая дама заявила, что в СССР секса не было, и над нею хохотала вся мировая чернь, она была, как ни странно, права. У нас, разумеется, кроме любви и страсти, кроме эротической жажды обладания было и обыкновенное бл.ство – но вот секса и вправду не было, то есть не было этого низведенного до стакана воды (по учению большевички Коллонтай) соединения мужчины и женщины. Ибо и бл.ство – не стакан воды, а страсть и грех, безумие плоти, *похоть плоти и похоть очей*.

Я попытался узнать, всегда ли был секс и на родине секса, в Америке, и оказалось, что в таком контексте этот термин стал употребляться только после Второй мировой войны. А до того и у них, как и у нас, бл.ство было, а секса – нет. И не могла сказать даже самая продвинутая американская барышня после вечернего чаепития: Ну, что, теперь займемся сексом?

Tolerantia – это расширение границ того, что можно считать допустимым. Не поддавайтесь на обманы софистов. И я, не tolerantia, не призываю бить стекла в чужих домах, грузинских или цыганских, охотиться на учеников Алкивиада и ночных фиалок. И я с пониманием отношусь к тому, что из Киргизии и Казахстана (и из многих других) изгнали почти всех русскоязычных, отобрали их имущество и квартиры, а во время межэтнических конфликтов убивая их и насилуя. Возможно, чужая культура так мстила за насильственное распространение чужой культуры, дружбы народов и этой вот tolerantia.

Незванными мы к ним пришли, как и французы когда-то к арабам, ненужными и отвергнутыми мы и уходим.

Неуважение к истории проявляется еще и в том, что мы ее не хотим помнить. Не хотим помнить, что в минувшую войну народ понес неисчислимые потери, не ходим на могилы отцов и дедов, живем под лозунгом «пей, гуляй и веселись» и не думаем о «завтрашнем дне», хотя отнюдь не христиане.

Стремление к наслаждению стало единственным смыслом современной европейской жизни, и оно отменяет смысл и назначение философии, религии, литературы. Возможно, старая вражда Веры и Знания сегодня должна исчезнуть перед натиском того, что отменяет и веру и знание и интеллект, подменяя собою понимание, СОЧУВСТВИЕ и любовь.

7. Объяснение в любви

Вектор современной истории таков: человек должен стать *среднего рода* (то есть нивелировать в себе черты мужского и женского), говорить по-английски (но плохо), страну рождения не помнить, в паспорте не иметь графы «национальность» (ибо это уже пережиток проклятого прошлого), наслаждаться себе подобным, дружить по интернету и читать электронные книги... а лучше не читать...

Книга моя подходит к концу, и я уже могу сознаться, что я не только не праведен, но даже и безгрешен. А, возможно, переполнен слабостями. Но есть еще более страшный грех, он состоит в том, что я не делал усилий, чтобы очистить себя от многих соблазнов, слабостей и даже отчасти грехов.

Вероятно, я предвидел с самого начала, что мне предстоит стать редактором, понимать писателей и их героев – а как бы я их мог понять, если бы не был и я человеком, и не было бы все человеческое мне не чуждо?!

Разве не праведен апостол Павел? Но прочитайте его Послания как читатель, и вы увидите, как медленно он расстается с иллюзиями, как долго не хочет признать, что иудеи не пошли за Христом. Перед ним стоял выбор: или со своим народом, или с Христом, он выбрал Христа и язычников и отсекся от веры отцов, он *доказал*, что Христос и пришел, чтобы спасти язычников, хотя и заявлял Сам, что пришел спасти Свой народ.

Христианство, которое он избрал, в становлении которого сыграл, быть может, решающую роль (и ту же решающую роль он сыграл, посмертно, в отпадении от католицизма протестантизма), по его замыслу очищалось от всего *национального*, становилось таким, чтобы «все и во всем Христос»... Но как пронзительно звучит его послание к иудеям, в котором он еще надеется убедить свой народ в Истине новой веры!

Надежда его сбылась по иному: христианство стало национальным, церковь разбежалась по племенам и народам, и в каждом народе стала своя вера. Певец отечества, в котором нет ни эллина ни иудея, жалеющий о потере старого отечества, оказался отомщен – по-прежнему есть и эллины и иудеи, хотя и веруют они по другому.

Прошло две тысячи лет с тех великих времен. Возможно, из старых народов остались только китайцы, цыгане и евреи – все же остались, несмотря на все усилия еврейских апостолов по разрушению национального плена. Но нет, как мне вечно томиться по вертихвосткам, так и ему вечно плакать по потерянному Израилю...

Редактор – не пророк даже в чужом отечестве. Но и для писателей я не учитель, не цензор, не образец.

В литературе я ищу религию и философию. В ней я ищу послушную любящую женщину; идеальную родину; религию, примиряющую небо и землю. В ней я ищу и нахожу ответы, а не навязываю свои собственные. Даже когда Книга разрушает мои каноны должного, я погружаюсь в Книгу, чтобы ее понять – только бы она была всеобъемлющей.

Писатель пишет не спрашивая. Он пишет Антихристианина, Гавриилиаду, Золотого осла, Апокалипсис, Капитал... – и литература существует вопреки всем цензурам, запретам, наветам и сожжениям. Она существует НАД всеми решениями сената, синода, правительства, христианских соборов, общественной морали, приказам царей, увещеваниям праведников...

Книги Натальи Троицкой – русский национальный эпос.

Герои двух ее романов ... трудно их назвать идеальными. Это не Пьер Безухов и не Болконский. Но они Герои! А героиня «Обнарова» Тая – идеальная русская женщина. Еще девочка. Греза и мечта. Наташа Ростова и

Татьяна Ларина вместе. Но только лучше их. Героиня Сиверсии Алина... Кто она? Не славянка. И в то же время – тоже идеальная *русская* женщина.

То, что я так долго и сбивчиво пытаюсь объяснить, в романе объясняется полнее и глубже через судьбы героев, через их живую боль. Правда никогда не содержится в целом, будь то народ, общество, сословие, поколение. Она всегда лична, как и любовь.

Говоря о национальном, я перечисляю известные имена, но ухо читателя уже их не слышит, нужно заглядывать в словарь Даля, нужно читать его рассказы, чтобы понять, почему мне это так важно, что русскость просачивается в человека подобно туману и дождю, а не просто сообщается фактом рождения. Так же нужно любить Петербург, впитать в себя его дома и улицы, нужно, чтобы они стали кровью моего тела, дыханием моих легких, и тогда оживут Трезини и Растрелли, Росси и Монферран, и мы увидим, почувствуем, что они такие же русские, как Александр Бенуа и Зинаида Лансере (Серебрякова) с ее итальянским профилем и глазами венецианки.

Национальное в человеке то же что пол. Есть скопцы от рождения, которые не нуждаются в поле, есть скопцы по произволу. Им не стоит говорить о чувственной любви и расписывать прелести чаровниц. Так же не все слышат музыку. Так же есть скопцы в отношении *народности*.

Но личность состоит из всего надличного, из всего, на чем держится и из чего состоит мир. Она вмещает в себя мужчину и женщину, иудея и христианина, русского и немца, материю и дух. В личности содержится вся культура – и в языке, и в исторической памяти, и в житейских навыках. Полнота и богатство личности зависят от того, что в нее вмещено.

В России можно родиться не только русским, но и татариним, и евреем, и караимом. Так кто мы на ее корабле – пассажиры, случайно собранные в плаванье? Или неразделимая в исторической жизни семья? В которой даже муж и жена – ЧУЖИЕ друг другу люди, случайно (или по промыслу Божию?) связавшие себя узами брака, соединяются, *уродняются* через любовь. Вот так соединены мы все в России в общий НАРОД – метафизически ли соединены, не скажу, потому что язык и исторические предания (не плоть и не кровь, это не так важно) могут быть у нас разными. Но что в русской литературе мы соединены в единый неразделимый народ – несомненно.

Пушкин был самым страстным из наших поэтов. Любовь и ненависть в нем били через край. И надо ли быть *tolerantia*, и каковы его отношения к иным народам, ответ мы найдем у него.

В эпиграмме на Фаддея Булгарина он пишет:

Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин, –
И тут не вижу я стыда;
Будь жид – и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.

Литература точнее и глубже решает важные проблемы *русской* жизни, чем философия. Именно поэтому я не учитель. Я только *влюбленный ученик*.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

РОМАН КАК МЕТАФИЗИКА ЖИЗНИ

1. Что такое литература?

Суббота, 29 июня, уж полночь близится... Записки мои подходят к концу, пора прощаться с читательницами... Кое что еще напишу о Пушкине, с которым я уже никогда не расстанусь, кое что напишу про ЯЗЫК, ибо и всякие совсем казалось бы посторонние темы не совсем от него вдалеке, кое что напишу о себе... Важное значение и в жизни и в литературе имеет *трагедия*, о ней надо тоже написать – если удастся написать не банально.

Но пора бы, кажется, определить предмет моих Записок или, если он не определим, если я пишу не только о литературе, то хотя бы литературу, все таки, определить, что она такое, и о какой литературе я пишу – тоже – или о всякой?

Увы, задача эта неисполнимая. Начну с любви, о которой и я пишу, и другие литераторы – и нелитераторы – тоже.

Можно ли дать определение любви, хотя бы формальное, например для словаря? Или для себя самого?

Да, пожалуй.

Любовь – это выбор, предпочтение и склонность. Например, я люблю малосольные огурчики с медом. Люблю читать талантливо написанные книги умных авторов. Люблю раннюю осень. И позднюю весну...

Однако Любовей очень много, кроме любви к Богу, женщине и Родине есть еще и друзья и родные... А деньги, вино и карты, коих многие любят сильнее чем родину? А тщеславие – то есть любовь к восхвалениям и почестям? А любовь к наслаждениям? Каждый из таких видов любви надо определять по разному.

Во многих из них существенным является желание, жажда обладания, удовольствия. Притяжение, расположение, симпатия (сочувствие).

Часто для того, чтобы любовь определить, достаточно ее понять и объяснить. Но существуют страсти необъяснимые, например, любовь к диктаторам (тиранам) и диктатуре. Я прежде думал, что в такой любви выражается женское начало, жажда подчиненности, *принадлежности*, страдательное чувство растворения в том, что вне личности, больше личности. Если мужчина стремится обладать, то женщина стремится к тому, чтобы ею обладали – но нет, мужчины (притом совсем не женственные, например военные) даже в большей степени восхваляют тиранов или оправдывают их.

Вот также трудно дать некую формулу литературы.

Если не включать в нее специально-научные и деловые тексты (скажем, отчеты, расписания и пр.), то как быть с философией, публицистикой, политикой, социологией? Есть там и узкоспециальные тексты, но и общего характера, вот, например, вот эти Записки редактора – они-то литература или нет? Или популяризации научных исследований, жизнеописания известных

личностей, отчеты о путешествиях, некоторые из которых напоминают по красочности романы?

Правда, это затруднение уже преодолено, говорят о литературе в широком смысле слова, включающем даже научные тексты (например, говорят: литература по данному вопросу – разведение пчел – чрезвычайно обширна...) А литература, посвященная охоте? А относятся ли к ней «Записки ружейного охотника» Аксакова и «Записки охотника» Тургенева?

Нет, понятие о *литературе* дать еще труднее, чем о любви. Но, к счастью, собеседники, *при желании*, отлично понимают друг друга, даже не ссылаясь на словари. Выделим в ней *словесность*, т.е. художественную литературу (включающую в себя прозу и поэзию и драму) и устное народное творчество, а также совокупность литературных и фольклорных произведений какого либо народа – именно *словесности* посвящены мои Записки. Я в них не касался житийной и богословской литературы, исключая сочинения протопопа Аввакума и его сподвижников... и на этом экскурс в дефиниции надеялся считать законченным.

Но основная трудность не в соединении или разъединении жанров, а в разделении письменного моря по уровню мастерства. Относить ли к литературе *всякие* тексты, авторы которых их к ней относят, или установить «проходной балл», как при поступлении в университет или в рай? Сказано же было, что в рай не войдут богатые (прежде нежели верблюд пройдет сквозь игольное ушко), так, может быть, и в литературный рай не всех допускать, а только избранных?

Или же допускать *всех*, но тогда, обзревая монбланы текстов, надо будет отказаться от всяких дефиниций, ибо дефиниция и ограничивает предмет и сужает его границы, и морем мы не называем Балхаш или болота Полесья – но чтобы даже и современные «монбланы текстов» вошли в литературу, надо, чтобы границ у нее больше не было.

Так что же, все таки делать, и как разрешить дилемму? Всё жаждущие – или не все?

Ах, господа, да прежде, чем что-то самому решить, и собственное решение начать навязывать другим, надо оглянуться на историю, прежде всего на *великих*. Так говорю я себе и повторю для других, а посему и начинаю оглядываться. Я не хочу уподобиться тем – имя им легион – которые, вылипившись из яйца, потрясают мир своими открытиями, еще не успев оглядеться в мире. Они уже сразу: Что́ есть Истина? – так это же просто, истина вот то-то и то-то... И зачём человек живет? – так это же еще проще... И так далее...

И так становится грустно и тошно – тут маешься тысячелетиями, и вдруг набредаешь на Нирвану, и только начнешь вкушать вселенский покой и ничегонедельанье, но что-то не дает уснуть, и потом думаешь, нет, Почтение к предкам и следование традициям надежнее! А потом задумываешься о смерти и воскресении и начинаешь учить о Спасении души! Но мир все тот же, ничего не меняется к лучшему, души не спасаются и спастись не хотят, и поневоле начинаешь думать: Да не послать ли все к черту и не устроить ли

Революцию?! И становишься революционером и бросаешь бомбы в кареты... Но тысячелетия проходят в горестных раздумьях, в неуверенности, страсти, в борении, то в жажде послушания, то в жажде разрушения...

А тут, не научившись говорить, не то что писать, высказывают и вопят: Я знаю! Я лучше всех знаю! Это вот то-то и так-то!

А сам еще никого не прочитал и даже читать не умеет!

Итак, оглядываюсь на прошлое. Много было и есть сообществ, и тоже решалось, кого и как в них пропускать... Так как же?

2. Кого и как пропускали прежде?

Не говорю, что *прежде* все было хорошо и я согласен со всем, что было прежде. Из того, что было прежде, я прежде всего согласен с Пушкиным.

Из письма Чаадаеву:

«...Перечислив важнейшие события русского исторического прошлого, Пушкин спрашивает Чаадаева: «...Как, неужели это не история, а только бледный, позабытый сон? Разве вы не находите чего-то величественного в настоящем положении России, чего-то такое, что должно поразить будущего историка? ..я вовсе не склонен восхищаться всем, что вижу кругом. Как писателя, оно меня раздражает; как человека сословных предрассудков, задевает моё самолюбие. *Но клянусь вам честью, ни за что на свете не променял бы я родины и родной истории моих предков, данную нам Богом*».

... Пушкин решительно отбрасывает утверждение Чаадаева, что «мы черпали христианство из нечистого» источника, «что Византия была достойна презрения и презираема» ...«Но, мой друг», – пишет Пушкин, – «разве сам Христос не родился евреем и Иерусалим разве не был притчею во языцех? Разве Евангелие от того менее дивно?» Пушкин указывает Чаадаеву, что ...духовное развитие Европы куплено ценой порабощения монголами России. «Была спасена христианская культура запада. Для этой цели мы должны были вести совершенно обособленное существование, которое... сделало нас чуждыми остальному христианскому миру... Наше мученичество дало католической Европе возможность беспрепятственного энергичного развития».

Русский народ слагался из сословий, наиболее многочисленными были крестьяне, как крепостные так и свободные государственные крестьяне. Были еще казаки. Купечество. Духовенство. Мещане. Чиновники. Дворяне. Аристократия и царский двор.

В каждое сословие пропуск был одинаков, надо было среди него родиться, хотя из сего правила было множество исключений, и князь Бецкой был сыном князя Трубецкого и крепостной, и других подобных было немало.

Но сын дворянина оставался в дворянстве, и «сын вора был вором».

Правда, не обязательно сын писателя становился писателем, а сын актера актером, как принято ныне в России.

Но как же в писатели попадали в благословенном девятнадцатом веке, великом и в Европе и в России (что, кстати, показывает, что история культуры по крайней мере в последние три столетия у нас общая)?

Писательских союзов тогда не было, но были объединения по интересам и по симпатии, были журналы и объединения по взглядам. И, конечно, делилось писательско-журнальное общество на две главные части, одну из которых уместно назвать дворянско-аристократической, а другую мещанско-буржуазной.

Несмотря на три революции, уничтожившие и аристократию и дворянство, и ныне под писательским сообществом девятнадцатого столетия понимается сообщество дворянско-аристократическое. А что же Греч, Булгарин, Полевой и Сенковский? С которыми спорил великий Пушкин? Да одного из них, Булгарина, точно дальше лакейской не пропускают, несмотря на заступничество за него другого великого – Толстого, и несмотря вот на какое мнение о нем историков литературы: «Романы Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин» и «Петр Иванович Выжигин» стали признанными бестселлерами русской литературы первой трети XIX в.»

Приведу отрывки из статьи Пушкина «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем»:

«Я не принадлежу к числу тех незлопамятных литераторов, которые, публично друг друга обругав, обнимаются потом всенародно, как *Пролаз* с *Высоносом*, говоря в похвалу себе и в утешение:

Ведь, кажется, у нас по полной оплеухе.

Нет: рассердясь единожды, сержусь я долго и утихаю не прежде, как истощив весь запас оскорбительных примечаний, обиняков, заграничных анекдотов и тому подобного. Для поддержания же себя в сем суровом расположении духа перечитываю я тщательно мною переписанные в особую тетрадь статьи, подавшие мне повод к такому ожесточению.»

"Ай да Пушкин!" Каково ожесточение! А я-то чуть было не поддался гнусной проповеди талей... тойлей... толен... тыфу ты, Господи, не выговорить – ну, это когда плонут в тебя, а надобно вытереться и покорно поблагодарить – но не из христианского духа *любви* к ближнему, а из либерального со-общничества в подлости (тебе, дескать, я все гнусности прощаю, но зато, надеюсь, и ты меня в них простишь...)

А кончает он свою статью, пародируя новый роман Булгарина и представляя план будто бы своего, *настоящего*: «Глава I. Рождение Выжигина в кудлашкиной конуре. Воспитание ради Христа. Глава II. Первый пасквиль Выжигина.» ... и так далее.

Итак, как бы ответил Пушкин на мой вопрос, поставивший меня в тупик: Кого допускать в писатели?

Он ставит важнейшее препятствие вздорным соискателям, и им, все же является не мастерство. Он делит пишущих в отношении низости и благородства, и ставит заслон *подлости* и *пошлости*.

Но в *пушкинское время* (и ведь это знаменательно: целая эпоха, в которую жил и творил поэт, названа его именем!) подвизался на ниве стихотворчества и еще один столь же печально знаменитый творец, граф Хвостов, о котором Пушкин в «Медном всаднике» говорит так: «...граф Хвостов, Поэт, любимый небесами, Уж пел бессмертными стихами Несчастье невских берегов».

Плетневу в августе 1831 г. Пушкин писал: «Кстати: не умер ли Бестужев-Рюмин? говорят, холера уносит пьяниц. С душевным прискорбием узнал я, что Хвостов жив. Посреди стольких гробов, стольких ранних или бесценных жертв, Хвостов торчит каким-то кукишем похабным. Перечитывал я на днях письма Дельвига; в одном из них пишет он мне о смерти Д. Веневитинова. «Я в тот же день встретил Хвостова, говорит он, и чуть не разругал его: зачем он жив?» – Бедный наш Дельвиг! Хвостов и его пережил. Вспомни мое пророческое слово: Хвостов и меня переживет. Но в таком случае, именем нашей дружбы, заклинаю тебя его зарезать – хоть эпиграммой».

Кстати, вот образец его (графа Хвостова) стихов:

«Приблизаяся похода к знаку,
Я стал союзник Зодиаку;
Холеры не любя пилюль,
Я пел при старости июль...»

Ах, не поздоровилось бы многим из наших современников, если бы не большинству, если бы даже не всем «монбланам» современных прозаических, а особенно стихотворных текстов. Имя того порока, которому ставил заслон Пушкин, было назойливое *графоманство*, вызванное тщеславием.

«Выжигин», то есть Булгарин, печатался, потому что был любим публикой, и даже больше Пушкина (вот оно: Поэт, не дорожи любовью народной!), а Хвостов печатался сам, на собственные деньги (кстати, женат он был на племяннице Суворова, и графский титул получил по его протекции).

Пушкин Рылееву, в 1825 г. «... не должно русских писателей судить, как иноземных. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) из тщеславия. Там стихами живут, а у нас граф Хвостов прожил на них. Там есть нечего, так пиши книгу, а у нас есть нечего, служи, да не сочиняй. Милый мой, ты поэт и я поэт, но я сужу более прозаически и чуть ли от этого не прав».

3. Так кого же пропустить в литературный рай?

Но по моей привычке начинать издавека, отвлекаясь на историю, предания, ассоциации и реминисценции, и теперь не отступлю от себя, и продолжу также не сразу, а начну с условий вступления в рай. Для богатых он закрыт, и слава богу! Но для кого же открыт? Кто попадет туда несомненно?

Ну, грешники не попадут, это все, нарушившие Заповеди Моисеевы – а кто их не нарушает? Равнодушные, бесстрастные, ленивые, нелюбопытные, безчувственные гораздо скорее могут туда попасть, нежели поэты, а особенно бегавшие за барышнями, *то есть прелюбодействующие хотя бы в сердце своем*; нежели крестьяне, работающие часто и в день седьмой, хотя сказано: *не делай в оный никакого дела...*; нежели жаждущие изменить мир и *призывающие Господа Бога напрасно...*

Ну а согласно учению апостола Павла, попадут туда только верующие, да и то *не все, а лишь малый остаток...*

Впрочем, это хорошо. Я и сам не думаю, что заслужил рай, хотя и в ад меня отправляют несправедливо, если я и мучил кого, то сам себя.

Итак, во врата рая пройдут немногие – так не надо ли так же строго пропускать в литературу?

Читаю отчет о конференции молодых писателей, и там говорится:

«Кто же готовится пойти по нашим стопам и, главное, вослед тем русским писателям, которых когда-то Хемингуэй называл *Great Russians*? Что думают молодые писатели о своем деле и о нашей литературе, которую другой мыслитель и художник Запада, Томас Манн, назвал *святой*?».

Что для них литература? Средство самовозвышения, источник самообольщения – или вид высокого служения? А если считать литературу даже только сокровищницей живого русского языка – то какой язык они собираются хранить? Слишком многие пытаются самоутвердиться то посредством «олбанского языка», а то и сорного, скверного новояза.»

А если именно мне поручат великие решать за моих современников, кого из них пропустить в наш рай (меня туда пропустив как Редактора, с «черного входа»)?

Я пропущу всех желающих.

А теперь попробую объяснить и оправдать свое решение.

Прежде всего, литературное поприще – это не рай, это ад и для грешников и для праведников, все там мучаются вперемешку, талантливые сильнее, но и бездарные тоже.

И никто там не занимает чужое место, читатели меня не читают не потому, что в нашем литературном аду слишком тесно, а потому что всем лень. Эти, пишущие, даже временами бездарно, лучше других. Проза требует, все же, усилий и времени, и занятие ею – жертва, большая или малая. Пусть и из тщеславия человек пишет – но не стоит же в подворотне с ножом или на троих с бормотухой! И не втискивается в «партию жуликов и воров». И не лезет в чужую квартиру. Может быть, он ворует время? Да не пишущие тоже со мной говорят, в метро, в электричке, в толпе, а писатели говорят интереснее (иногда). А разве не тщеславен я сам? А разве Пушкин не сознавался, что пишет для денег – и так ли это лучше тщеславия?

И уверен ли я, что мои сочинения лучше тех, которых даже я отвергаю?

Кроме того, литература – это Пенелопа, муж которой загулял где-то в дальних краях. Так что же делать женихам? Вправе ли они ее домогаться? И сами ли они должны определять, насколько вправе? Нет, пусть выбирает она. А выбирает она, увы, как и всякие вертихвостки, чаще не самых достойных.

Кроме того, по профессии я преподаватель математики, а не редактор. Я – школьный учитель, приставленный к классу из тридцати несчастных школьников, для большинства из которых математика – это мучительница, высасывающая из них живые душевные и интеллектуальные силы. И не удивляйтесь тому, что самые бесталанные мне иногда дороже других, как и матери дорог несчастный ребенок, как и Христос пришел спасать не праведников, а грешников.

Я пытаюсь чему либо научить каждого, кроме самодовольных и восхищенных собою. Кроме тех, кто подает на меня в суд за исправление самых вопиющих ошибок письма, или, напротив, за то, что я не переписал их текст так, чтобы он стал совершенным, а не оставался, как и раньше, дурным и нелепым (как то они определили сами в исковом заявлении).

Впрочем, наветы на меня иногда справедливы. Однажды я принимал вступительные экзамены в Полиграфический институт, меня попросили помочь сыну чиновницы. Я ему пытался подсказывать – как и другим, но он не понимал даже подсказок. А затем я проверял его писанину и поставил двойку. А затем его мама пожаловалась ректору, говоря, что В.И. красивым девочкам подсказывал гораздо больше, чем ее сыну.

На что взбешенный ректор наконец (а я стоял рядом) отвечал: Знаете, мадам, постарайтесь родить красивую дочку, и я вам обещаю, что мы ей будем подсказывать даже вдвоем!

Впрочем, справедливы наветы на меня и как на редактора.

Часто я бываю чрезмерно кроток. Неловко мне взрослым людям предлагать крапиву как универсальное средство работы над ошибками.

И все же, все же, все же... Пишет мне вдруг наивная девочка и хвастается, что после изучения моей правки она перечла свой текст, и неожиданно нашла еще больше ошибок, чем я, и сама все исправила. И что-то дописала еще, послушав моих советов. И стало и в самом деле намного лучше. И что мне обращение в суд иных, и что мне тюрьма, что я не сумел переписать бездарные тексты, если я буду помнить, что я не испортил текст прекрасный, что я не обстругал текст оригинальный, что я не погасил наивный святой огонь холодной редакторской критикой?!

Но я уже сбился в сторону. Я уже пишу не о том, что такое литература, а о том, что такое работа редактора.

Надо же вернуться к литературе.

Великий Кант в самой существенной схеме, представляющей мир, ошибся. Объясняя восприятие, он допустил существование образа предмета, того, что является нам в результате восприятия, и прообраза, существующего самого по себе. Эти прообраз (вещь в себе) и образ (вещь для нас) существенно не совпадают. Поскольку вещь в себе существует ДО восприятия, то она неизвестно что такое – так зеленое яблоко, отражая определенный спектр лучей света, кажется нам зеленым, а на самом деле оно ... мм... нечто отражательное... и только...

Но чтобы надеяться, что вещь в себе хотя только умозрительна и непостижима, но СУЩЕСТВУЕТ, надо допустить иное ее восприятие: она существует (если существует) по крайней мере либо в собственном восприятии, либо в восприятии Бога.

А иные вещи существуют еще загадочнее, прежде всего Любовь. В воззрениях философа, в восхвалении апостола Павла она существует хотя и по разному, но существенно не так, как в переживании двух влюбленных, сходящих с ума от любви, например, Ромео и Джульетты.

А окружающие, Монтекки и Капулетти, видят в этой любви грех и безумие.

Возможно, у философа хотя бы отчасти "Любовь – вещь в себе" (пока он сам не начал сходить с ума... а не начал ли он и в самом деле с ума сходить, это пока неизвестно). Возможно, у Ромео и Джульетты "Любовь – это вещь для них". Но она отличается от умозрений философа тем, что только у них она СТАНОВИТСЯ, начинает существовать как явление, а у него она – воображаемый фантом, сон о несбыточном. Что же до окружающих, втапывающих Любовь в грязь – то пусть будет предано забвению даже имя тех, кто утверждает, что прошлое восприятие – действительно, а возвышенное переживание – иллюзорно!

Все, что существует как жизнь, является становящимся, оно не подобно неподвижному небосводу, оно подобно произведению художника, о котором никто не знает, что оно такое, пока не закончен его труд и не иссякло его вдохновение. Литература – мистериальный театр, существующий отчасти в жизни, отчасти вне жизни, отчасти над жизнью. Пока не убраны леса, здание литературы не видимо зрителям. Писатели – это строители. Иные из них подобны главному Зодчему, другие – его помощникам, инженерам и подмастерьям, другие – каменщикам и подсобным рабочим, а те – грузчикам, сторожам, подрядчикам, продавцам и заказчикам.

Этот театр живет и развивается, перестраивается, он – одно для своих творцов и другое – для читателей и зрителей. Вы хотите строить это здание? Даже бесплатно? Даже не надеясь на признание современников и потомков? Неужели я отвергну ваше святое желание, даже если в основе его желание славы или денег?!

Поэтому приходите все жаждущие – и по крайней мере я попытаюсь понять вас и не оттолкнуть. В недавнее время существовали Дома культуры, самодеятельные театры, и даже в школе кружки самодеятельности. Не все их участники были равны Качалову и Комиссаржевской, но божество вдохновения обитало в каждом таком кружке. И если вот так же «самодеятельных» писателей стало двести тысяч – это не помеха для литературы. А кто из нас останется в вечности, мы не знаем – если еще справедлива вечность, и не прав Сальери, что «нет правды на земле. Но правды нет и выше!»

Литература – это особый способ подняться к духу для тех, кто пришел к ней – при прочих страстях и слабостях – *томимый духовной жаждою*.

И даже для тех, кто пришел из самых мирских, самых прозаических побуждений, зашел поболтать, повеселиться, выпить кружку пива – зашел по ошибке, думая, что кабак, а оказалось – театр, повернулся было, чтобы уйти, но задержался, засмотрелся, а там уже третий Акт, Отелло уже душит Дездемону, Гамлет сражается на дуэли, Дантес выбирает пистолеты... Нет, не все так просто кончается даже для случайных зевак. Необходимо sobлюсти только одно условие: не перепутать театр с борделем, как случилось с некоторыми из современных, даже талантливых – все остальное приложится. Я и сам писал плохо. Прошло лишь несколько десятилетий, и вот иные читательницы меня даже хвалят. Но не забывайте, что литература – не рай, это ад! И слезы и кровь сопровождают каждого из нас. Вы готовы?

Я не выдумываю стих,
Не сочиняю –
Дул ветер с неба. Вдруг затих,
Я стих на жизнь меняю.

Ах, этот ветер! Это в нем
Источник вдохновенья.
Я жил обычным зимним днем,
Но – в ночь на Воскресенье.

Сегодня снова хмурый день,
Земной привычный ветер.
Стихи уснули. Скука, лень
И жизнь согласно смете.

Но я еще чего-то жду,
На жизнь, как все, пеняю.
Вдруг ветер словно вновь подул –
Я жизнь на стих меняю.

Ах, этот ветер! Только он
Надежду мне приносит
И вдохновенья сладкий сон,
Когда я вновь певуч, влюблён,
В твоих руках как мягкий лён...
Взамен лишь жизнь он просит.

4. Философия и литература.

Итак, Кант не достаточен в том отношении, что мир он представляет как собрание неподвижных предметов и созерцающих их философов, и дихотомия мира относится лишь к созерцанию.

Но литература относится к *жизни*, а не к миру, к событиям и явлениям, а не к предметам, среди которых они происходят – или лишь постольку к предметам, поскольку они являются фоном текущей жизни. События литературной жизни, созданные воображением художника, уже «события для нас», и они не могут быть чем-то иным, «событиями как таковыми», так же как и наши собственные мысли и чувства, даже если они становятся объектами созерцаний. (Продолжая это рассуждение, легко показать, что и для непосредственной жизни оно справедливо, ссоры и примирения литературных героев и действительных людей одинаковы в отношении Кантовской схемы, они только таковы, какими переживаются и являются и самим участникам, и всем, кто о них рассуждает.)

О некоторых писателях говорят, что они психологи или философы – является ли это только свойством их личности, или и их литературные творения носят черты психологии или философии? И вообще, каковы отношения философии и литературы, и не является ли и художественная литература философией тоже, что не препятствует ей оставаться литературой?

Но ответить на этот вопрос нельзя, пока мы не уясним достаточно

глубоко, что такое философия и литература. На второй вопрос я уже пытался ответить, но должен покаяться перед читателем, что ответы мои были односторонни и поверхностны. Как если бы, говоря о театре, я говорил бы об устройстве здания, а не о его сущности. Литература – это собрание текстов... Но ведь и музей и библиотека – тоже собрание текстов, но разве они то же самое? И не включить ли разве в литературу наших великих ее создателей? Мир Пушкинских творений не полон без личности Пушкина, и Пушкин и его жизнь, и Михайловское, и его друзья и даже возлюбленные почти неотделимы от его творчества и, как ни странно, его дополняют.

«А Пушкин – наше всё: Пушкин представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что останется нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужими, с другими мирами. Пушкин – пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя, при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами, – все то, что принять следует, отстранивший все, что отстранить следует, полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный образ народной нашей сущности, – образ, который мы долго еще будем оттенять красками. Сфера душевных сочувствий Пушкина не исключает ничего до него бывшего и ничего, что после него было и будет правильного и органически – нашего. (...)

Вообще же не только в мире художественных, но и в мире общественных и нравственных наших сочувствий – Пушкин есть первый и полный представитель нашей физиономии.» – сказал Аполлон Григорьев.

Но даже и теперь я не ответил на свой главный вопрос.

Целое – это собрание его частей – и это справедливо. Но что такое то или иное целое и чем оно отличается от других – вот о чем надо сказать.

«Искусство призвано раскрывать истину в чувственной форме...» – говорит Гегель, и эти слова верны и для литературы, и они убедительно показывают, о чем именно надо было говорить прежде всего, объясняя, что такое литература. (Хотя и все прежде сказанное необходимо тоже).

И я намереваюсь – читатель, потерпи немного еще! – договорить свою мысль до конца, и хотя бы для себя объяснить, в чем смысл литературы, а значит и что она такое. А что так долго, как Моисей, вот уже сорок лет иду по пустыне, так иные идут и тысячу лет.

И так же как я о литературе, спрашивают о философии, что она такое, и некоторые шутники, из тех, о которых совсем недавно говорили как о сверхмудрейших, как о светочах человечества, уже объясняли нам все обо всем: Энгельс нас просветил в отношении жизни, что она не более чем способ существования... , а марксисты о философии, что она наука наук, то есть рассуждение ни о чем.

И чтобы читатель утешился, привожу несколько отрывков из книги Ортега-и-Гассета «ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ?»

«Первым на ум приходит определение философии как познания Универсума. Однако это определение, хотя оно и верно, может увести нас в сторону от всего того, что ее отличает: от присущего ей драматизма и

атмосферы интеллектуального героизма, в которой живет философия и только философия.

Но что такое Универсум, на розыски которого, подобно аргонавту, смело отправляется философ, неизвестно.

Человек заключал себя в границы физики, а когда ее владения кончались, философ как бы по инерции шел в том же направлении, в своих объяснениях повторяя приемы физики, хотя и за ее пределами. Эта физика, идущая дальше физики, была метафизикой и, стало быть, физикой вне собственных границ.

(Но) наш путь будет лежать не к тому, что за физикой, наоборот, мы вернемся от физики к началам жизни и в них отыщем корень философии. Тогда это будет не мета-физика, а до-физика. Она рождена самой жизнью, а как мы вскоре убедимся, последняя не может избежать, пусть самого простого, философствования. Поэтому первый ответ на наш первый вопрос: "Что такое философия?" мог бы звучать так: "Философия – это нечто... неизбежное". <...>

...откуда берется это влечение к Универсуму, к целостности мира, лежащее в основе философии? Это влечение... есть просто-напросто врожденная и спонтанная жизнедеятельность нашего разума. ...мы живем, стремясь [понять] окружающий мир, полноту которого чувствуем или предчувствуем.

...научная истина неполна, она плавает в мифологии, да и сама наука в целом является мифом, великолепным европейским мифом. <...>

Универсум – это название объекта, проблемы, для исследования которых родилась философия.

Формально я понимаю под Универсумом "все имеющееся".

Философия – это наука без предпосылок. Под нею я понимаю систему истин, построенную таким образом, что в ее основание не может быть положена ни одна истина, считающаяся доказанной вне этой системы. Поэтому абсолютно все философские допущения философ обязан добывать собственными средствами. Иными словами, философия автономна, она сама себе интеллектуальный закон.»

К этому я добавлю, что каждому человеку свойственны попытки разобраться в мире, в котором он живет, даже если он не читает книг и не умеет читать, попытки понять, как надо жить, есть ли добро и зло, красота и любовь.

Если исходить из того, что понятие о науках достаточно ясно определено, а размышления над практическими повседневными нуждами тоже понятно каждому, занятому такими размышлениями, то почти все остальное – это «философствование». Каждый сознается, что ему интуитивно понятно, когда он философствует, а когда смотрит футбол.

В широком смысле слова все результаты таких индивидуальных размышлений, от Фалеса до Ортеги-и-Гассета и дворника дяди Пети – философия. А в узком смысле слова это понимается смутно, и яснее не сделаю даже я. Вот ведь недавно «Материализм и эмпириокритицизм», посвященный критике русского марксиста Богданова, издавшего сочинения

Маха, считался вершиной мировой философии, а в действительности автор не понял даже Богданова, а Маха совсем не читал. Его познания в области философии ограничивались воспоминаниями об университетском курсе, который он, кстати, сдавал экстерном. И советские последователи этого автора написали почти двести тысяч книг, посвященных, как они уверяли, самой истинной философии.

После этих предварительных замечаний можно вернуться и к литературе. Пока у нас речь шла о результатах труда сочинителей, письменных или устных, часть их которых находится в библиотеках, музеях и государственных и домашних архивах. Но собрание текстов не исчерпывает понятие литературы или *словесности*. Вот также физикой или математикой мы не назовем собрание оригинальных сочинений и учебников, посвященных этим предметам.

И так как мы уже (?) выяснили, что такое философия, и подозреваем, что о математике это выяснить будет еще легче, то и перейдем к математике, а оттуда, я обещаю (нет, даже клянусь) до литературы будет рукой подать.

5. Математика и литература. Вступление

«Чистая математика и познание мира не только сосуществуют, ... но они проникают друг в друга и имеют одну и ту же душу.» – говорит Пуанкаре. Возможно, у математики одна душа и с философией и даже с литературой.

«Древнегреческое слово "μαθημα" (матэма) обозначает и *математику* и *науку* (знание), и это почти мистическое совпадение имен не случайно; не случайно и то, что один из семи мудрецов света, *Фалес*, был и первым древнегреческим математиком, и родоначальником философии.» – писал я в своей «Азбуке высшей математики».

«Математика – это способ глубокого, точного и изящного рассуждения – например, что может сравниться по изящности с доказательством Эвклида бесконечности *простых чисел*?

[И в самом деле, пусть бы простые числа всецело содержались в ряду p_1, p_2, \dots, p_k ; тогда число $p_1 \times p_2 \times \dots \times p_k + 1$ не могло бы быть простым, а значит должно было делиться на одно из чисел p_1, p_2, \dots, p_k – что невозможно!]

Математика – это *универсальный способ рассуждать о чем бы то ни было во вселенной, не исключая Бога и женщину* – не задавали ли вы себе вопроса, уважаемый читатель, не являлся ли неудачный побег Наташи Ростовской с Анатолем Курагиным *точкой разрыва, экстремума или перегиба* в ее судьбе – да и что это за кривая – эта самая *"линия судьбы"*?

Не является ли ею "локон Аньези"?!]

А возможно ли мыслить о бесконечности Вселенной и бесконечности Бога, если вы не знакомы с идеей бесконечного натурального ряда? Возможно ли понять христианскую идею Троицы, то есть идею *не-раздельности и неслиянности* Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого, не зная теории

комплексных чисел, в которой логарифмическая, показательная и тригонометрическая функции, такие разные, являются одной и той же функцией, например, $\cos \varphi = \frac{1}{2} (e^{i\varphi} + e^{-i\varphi})$?

Возможно ли понять и представить внутреннее, неотъемлемое, "имманентное" противоречие всего сущего, не зная апорий Зенона, в частности, знаменитого утверждения, что *Ахиллес никогда не догонит черепаху* (ибо пока он пробежит половину разделяющего их расстояния, она слегка отползет, а затем, когда он пробежит и новую половину разделяющего их расстояния, она еще отползет ... и так далее)?!»

«В заключение приведу два-три примера, показывающих, как именно, и в какой степени расширяет представление о разнообразных коллизиях нашей жизни знакомство с этой, казалось бы, холодной и чуждой страстей богиней.

Вспомним "Пиковую Даму" Пушкина и несчастного Германа, ценою преступления готового вырвать у престарелой графини тайну трех карт.

Несомненно, графиня была ведьмой, и в картах должен был содержаться некий магический смысл, ибо по учению Пифагорейцев мистические тайны мироздания заключены в числах как гармония звуков в нотном ряду.

Явившись Герману во сне, графиня сообщила ему роковую тайну: сии карты – *тройка, семерка, туз!* – но если бы Герман был математиком, то он отгадал бы их с помощью несложных рассуждений.

Тройка, семерка, туз (числовое значение последней карты равно одиннадцати) являются числами нечетными и *простыми*, кроме того, они составляют арифметическую прогрессию и в сумме составляют число 21, то есть *очко!*

Однако, в них содержится и еще одна примечательная особенность.

Известны так называемые Пифагоровы тройки чисел – натуральные числа, являющиеся сторонами прямоугольного треугольника, то есть удовлетворяющие соотношению $k^2 + m^2 = n^2$ (например, $3^2 + 4^2 = 5^2$ – этот треугольник использовался еще в Древнем Египте для построения прямого угла и называется египетским; $5^2 + 11^2 = 13^2$, ... и так далее).

Аналогично можно рассмотреть четверки таких чисел, где роль гипотенузы исполняет диагональ параллелепипеда: $k_2 + m_2 + n_2 = L_2$.

Тогда оказывается, что $3^2 = 1^2 + 2^2 + 2^2$; $7^2 = 2^2 + 3^2 + 6^2$; $11^2 = 2^2 + 6^2 + 9^2$, то есть числа три, семь, одиннадцать – целочисленные диагонали целочисленных параллелепипедов. При этом, число пять не обладает этим свойством (хотя им обладают числа 13, 17, 19..)

По аналогии с Пифагоровыми такие числа можно бы назвать *ведьминскими*. (Любопытно, знал ли о такой их особенности Пушкин?)»

«Сказанного, пожалуй, достаточно, чтобы догадаться, что математика – не способ измерения и вычисления, а способ рассуждений, и всякое размышление о мироздании – математично; следовательно, она нужна тому, кто томим духовной жаждой и мучается над проклятыми вопросами – *стоит ли жить на свете, в чем смысл жизни, что делать и кто виноват?* – ибо без знания математики ответить на них нельзя.»

Прости меня, читатель, за столь длинные отступления, и я человек (хотя и редактор), и ничто человеческое и мне не чуждо, в том числе и тщеславие. К тому же *ведьминские* числа открыл и ввожу в литературный обиход именно я, чем и пытаюсь похвастаться.

Итак, достаточно ясно, что какая-нибудь наука, например, астрономия – это не только скучные школьные учебники и собрание научных статей в специальных журналах, но и важные сведения об окружающем нас мире. Достаточно ясно и самим исследователям и просто любопытным, что относится, а что не относится к астрономии, хотя существует еще и море популяризаций и серия жизнеописаний выдающихся астрономов.

Величайшим астрономом был Николай Коперник, создатель гелиоцентрической системы мира, представленной в его сочинении «Об обращениях небесных сфер», опубликованном в 1543 г., незадолго до его смерти.

Но великим астрономом был и античный ученый Птолемей с его геоцентрической системой мира, изложенной в «Альмагесте». (И удивительно то, что хотя его система неверна, но не поминает история науки его недобрым словом, ибо не он сжигал ученых, несогласных с его теорией, а церковь).

Чем занимается, и к чему стремится астрономия, в значительной степени понятно. И ее целью является познание мира и истины, как, возможно, и целью философии и литературы. Но и астрономия, почти неотделимая от математики, нас удивляет. Не говоря о том, что в сердцевине ее существовал совершенно неверный образ мироздания, неверный образ устройства того мира, который непосредственно входит в нашу жизнь, то есть взаимоотношений Земли и Солнца, Луны и других планет, она претендует на познание истины, а в новые времена, не удовлетворяясь библейским рассказом о сотворении мира Богом, предлагает и собственную мифологию, напичканную, правда, множеством математических формул. Речь идет о теории так называемого Большого взрыва в начале времен, когда не было ни времени, ни пространства, ни даже материи.

Впрочем, меня уже ничто не удивляет. Я изучал Математический анализ по учебникам, пронизанным цитатами классиков марксизма (никогда не изучавших даже таблицы умножения), и многие мои сотоварищи думали, что Маркс был «круче» Евклида. Ну а теперь они заняты Большим взрывом...

6. Философия и литература. Познание и творчество

От скользящего, горизонтального чтения... нужно перейти к чтению вертикальному, к погружению в крохотную бездну каждого слова, к нырянию без скафандра в поисках сокровищ.

Ортега-и-Гассет

Но мне не вычерпать литературного моря, и я себя ограничу, я обращусь преимущественно к жанру Романа – в нем рельефнее предстает то, о чем в связи с литературой я размышляю. Впрочем, все это в той или иной степени относится и к пьесе, и к повести, и к рассказу, и к собранию стихов определенного автора, который можно тоже считать Романом в стихах. (Как «Лирическим дневником» назвал я собрание собственных стихов.)

И вдруг я увидел нечто такое, что до сего видел смутно, а ради этого-то и стоило мне писать сии Записки.

Я увидел, какая связь между литературой и философией.

Философия обращена к Универсуму, то есть "всему имеющемуся" в его совокупности, в связях его частных, и к каждой вещи в связи с универсумом, в том числе ко всему ирреальному, идеальному, фантастическому и сверхъестественному, если оно имеется, – говорит Ортега-и-Гассет, и добавляет «и Философия – система истин, построенная таким образом, что в ее основание не может быть положена ни одна истина, считающаяся доказанной вне этой системы.»

«Когда мы спрашиваем, что такое "все имеющееся", у нас нет ни малейшего представления о том, чем оно окажется. О философии нам заранее известно одно: что имеется и то, и другое, и третье, и что это как раз то, чего мы не ищем. Мы ищем "целое", а то, что перед нами, всегда не целое.»

Меня привлекает интеллектуальная независимость философии, провозглашенная отважным философом, и неограниченность ее умозрения.

Но прежде чем не будет построена удовлетворяющая философа система его философии, не скажет он и не поймет, что такое Универсум, который он ищет.

Вероятно, он обращает свой взор к своему Я, к окружающему миру, к опыту своей и чужой жизни, к книгам и философским теориям, к культуре и религии – но это то самое, к чему обращает свой взор и литература.

Философ пытается понять и объяснить то, что он ВИДИТ, и в меньшей степени – воображает.

Писатель покидает мир объективного (казалось бы, именно у него заимствуя содержание творчества) и возвращается к себе. Он не объясняет и не воспроизводит внешний мир, но по образу его и подобию (которым является и он сам, равновеликий миру) строит свой собственный мир. И именно этот мир универсален. Иначе говоря, *тот Универсум, который философ ищет в мире, писатель СОЗИДАЕТ в своем творчестве.*

Бог создал Мир, создал и человека по образу Своему и подобию, а следовательно, наделил его волей, чувствами и способностью познания. Бог повелел человеку в поте лица добывать хлеб свой, украшать и преобразовать землю, а для того наделил его творческой волей и способностью творчества. Но эта способность полнее всего проявляется в литературе.

Мир романа – это и есть Универсум, который создает писатель.

Он и подобен реальному миру, и не подобен. Во многих отношениях он глубже и выше, совершеннее, как конические сечения совершеннее тех случайных кривых, которые являются в обыденном опыте.

События, предметы и явления объективного мира составляют отчасти хаос, только под влиянием культуры они приобретают черты космоса. В объективном мире почти всё случайно, онтология событий обусловлена мало, телеология смутна и почти несущественна. **А Космос романа – ГАРМОНИЯ.** Следовательно, *только в романе – тот подлинный мир, который ищет философ.*

7. Математика и литература. Цель и метод

И затем я увидел еще нечто большее, что дает надежду всем, не смиряющимся с несовершенством мира: надежду понять действительный мир в его идеальных связях и надежду найти пути и средства его преобразования.

Галилей, исследующий падения тел, бросая их с Пизанской башни, убеждался, что множество хаотических причин мешают проявиться идеальному закону падения. Мешает плотность воздуха и его движение, и даже в связи с этим форма падающего предмета.

В реальном мире математика присутствует «криво». Силы движения проявляют себя непостоянно, интуитивно угадываемая инерция вязнет в трении, копье при полете отклоняется от параболы, и даже планеты отступают от гармонии идеальных движений.

Ньютон не пытался согласовывать законы движения с реальностью, он ее игнорировал. Он аксиоматически (как законодатель-Демидург) постановил, что сила вызывает ускорение, пропорциональное массе, и интегрируя дифференциальный закон движения, нашел, что скорость падающего тела ДОЛЖНА быть пропорциональна времени (и это справедливо и для падения России, скорость нашего падения возрастает, и скоро мы можем врезаться в землю). Механика Ньютона (а затем и всякая наука) находила точные математические законы для процессов, происходящих в таком идеальном мире, своего рода Универсуме философов, который был во всем подобен миру реальному, кроме грехов (то есть отступления от гармонии).

Математические теоремы выражают собою абсолютные связи вещей, проявляющиеся через их количественные представления. Что они идеальны, следует даже из того, что форма выражения важнейших теорем совершенна. Одну из них (о простых числах) я уже приводил, ну а знаменитые теоремы Кеплера, выражающие принцип взаимосвязи и движения планет вокруг Солнца? Они звучат как трехчастная соната:

«Планеты Солнечной системы обращаются по эллипсам, в одном из фокусов которого находится Солнце;

Причем за равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий Солнце и планету, описывает равные площади;

И притом квадраты периодов обращения планет относятся, как кубы больших полуосей орбит планет.»

Обычная структура математической теоремы такова:

Если Дано (Условие), то Справедливо (Заклучение или Вывод).

Действительно, в силу А и В... (Доказательство).

Доказательство представляет из себя последовательность взаимобусловленных силлогизмов, и структуру теоремы можно представить в виде отрезка Прямой, в начале которого расположено Условие, затем последовательность силлогизмов и Вывод. Мир математики (да простит она меня) хотя и безупречен и строг, но преимущественно *одномерен*.

Каков же мир литературы, каково устройство ее Универсума?

В самом простейшем случае мы имеем некоторую центральную идею,

некоторое Утверждение, сформулированное или логически, или с помощью образов, ассоциаций и намеков – в общем, с помощью того арсенала средств, который и используется при строительстве литературного Универсума.

Сама эта идея, в отличие от математического вывода теоремы, в процессе развертывания повествования может изменяться, развиваться, подвергаться анализу, критике, исправлению, подобно тому, как жизнь изменяет героев романа или драмы. Повествование и является доказательством этой центральной идеи (хотя их может быть и несколько). Музыкальное произведение ведь тоже строится по этому же принципу, темы его сливаются, разделяются, возвращаются к началу – но общий порядок музыкальной пьесы приводит ее к гармоническому, словно бы заданному в исходных аккордах, финалу.

Математическая теорема безлична, силлогизмы ее оперируют общими понятиями количества, отношения, структуры, непрерывности, равенства и тому подобное – и выводы ее несомненны для всех (за исключением) частных случаев.

Литературная теорема относится только к личности, частному случаю, относится к индивидуальному, *особенному* – но выводы ее обнимают собою жизнь и живой мир, а не условность, не идеальную схему. В романе НАШ мир – но после того, как с него художник стирает «случайные черты», все, что закрывает подлинное, действительное незначимым мусором.

Связь событий в романе такова, какова она ДОЛЖНА быть, а не как иногда бывает. Время – это не Хронос, не физическое время вещей, а Кайрос, время Судьбы. Течение событий – СТАНОВЛЕНИЕ идей и характеров. Герои соединены в силу необходимости, даже если их встречи случайны. Время течет как река, которая иногда обращается вспять, время омывает *становление*.

Если коллизия – это разрешение конфликта, поиск решения дифференциального уравнения БЫТИЯ, то РЕШЕНИЯ его – только ОСОБЫЕ решения, проходящие через *особые* точки житейских кривых: точки перегиба, экстремума, разрыва, точки нарушения общих условий.

Индивидуальное не входит в мир философских умозрений, а только общее. Но БЫТИЕ не состоит из общего, а только из индивидуального. Поэтому философия в своих последних выводах теряет подлинный мир, он выскальзывает из ее силлогизмов. Литература пользуется СВЕРХязыком, литературная фраза может нарушить ВСЁ, она может быть алогична, взывать к аллюзиям, умолчаниям, состоять из противоречий и противоречить самой себе. Доказательства не только не располагаются по прямой, но даже более чем трехмерны, язык позволяет выходить за свои пределы, игнорировать логику, использовать многоточие, отсутствующую фразу, невербальный контекст, аллитерации, МОЛЧАНИЕ. Силлогизм строится как Хронос, вот почему мы часто вспоминаем о так называемой «женской логике» – она апеллирует к Кайросу. Силлогизм использует представление, литературная фраза – ОБРАЗ.

Роман разрушает мир обыденных вещей, созидая не только Универсум, но МИСТЕРИЮ, заменяя жизнеописание ЖИТИЕМ, поставляя в центр его ЧУДО и ТАЙНУ. И пока ставлю многоточие...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ОПРАВДАНИЕ*1. Introductio*

Среда, 3 июля 2013. Оправдываться надо по завершении всего труда, уместно ли теперь? Ибо я еще собираюсь дополнить текст несколькими замечаниями, которые мне жаль оставлять втуне, а по спешке опустил их в предыдущих главах. Но, с другой стороны, важнейшие идеи о литературе, выношенные мною в течение по крайней мере редакторской полосы моей жизни, то есть уже в течение двадцати лет, я высказал только что, и надо самое важное договорить именно теперь, пока читатель (читательница, читателя еще нет) над ними, возможно, размышляет.

Пытался я объяснить, что такое художественная литература (в том числе и поэзия), во-первых, с формальной стороны, во-вторых, со стороны сущности.

Но я так спешил, что строение мое сложено как эскиз здания, ни дверей ни окон ни даже крыши. Так оставлять его нельзя, читатель в него войти не сможет, поэтому начну с доделок.

А потом уже разобью еще клумбы в саду и проделаю дорожки в траве.

2. Культура как второй мир

Невозможно объяснить, что такое горница в доме, не объясняя дома. Что такое улица и площадь, не зная города. И что такое плечо и почему оно болит, не сочувствуя редактору, и не зная о его горестях и несчастьях.

Поэзия имеет покровительницами муз: Каллиопа – героический эпос; Эрато – любовная поэзия; Евтерпа – музыка и элегическая поэзия; Терпсихора – танцы и хореическая лирика. Но ведь и Урания («Небесная») покровительствовала не только астрономии, но и дидактическому эпосу, и Полигимния («Многопоющая») – не только муза пантомимы, но и торжественных гимнов.

Но и Мельпомена и Талия – покровительницы трагедии и комедии, неотделимы от Поэзии. Осталось только причислить к Поэзии историю, и тогда и Клио войдет в число вдохновительниц поэта.

Впрочем, в античное время от Поэзии было неотделимо всё, и естествознание и философия, и повседневная жизнь, и «Труды и дни» Гесиода и «О природе вещей» Лукреция Кара.

Следовательно, невозможно объяснить, что такое поэзия и (художественная) литература, если мы будем говорить о них вне контекста культуры.

Кажется, я попытался представить тексты книг в виде одного длинного свитка, своего рода общего эпического романа, созданного поэтами и писателями за двадцать семь веков, и если мне это удалось, то это не худший образ литературы. Но тогда можно сказать и несколько иначе: литература – это собрание книг. Но ведь так мы определяем не что иное как библиотеки, музеи, книжные собрания и архивы? – следовательно, поправляюсь я,

литература – это собрание книг вместе с библиотеками, музеями, архивами, писателями и поэтами, их друзьями и возлюбленными, воспоминаниями о них, историками и критиками, и вместе со всем тем, в чем еще осталось дыхание их жизни. Это важнейшая часть культуры, неотделимая от культуры в целом, а значит, это Культура в целом слитно с другими ее разделами.

А значит – это мир, параллельный реальному миру, существующий и самостоятельно и пронизывая реальный мир, соединяя его в себе в форме действительности. И в литературу входят также смотрительницы музеев, филологи и учительницы.

У каждого из нас имеется множество воспоминаний, подтверждающих мое утверждение.

Три года назад в Торжке мы (нас путешествовало трое) зашли в музей Анны Керн. С каким жаром смотрительницы музея доказывали одному из нас, что Анна была благодетельна, и что прозвание «Вавилонской блудницы» она получила несправедливо!

Что до меня, то она в моих глазах всегда будет стоять высоко – и за то, что была музой, и за то, что была пленительна.

А в прошлом году со своим товарищем я гостил у пушкиниста Ш. в Михайловском, мы сидели на берегу Сороти, и он читал стихи Пушкина, посвященные в той или иной степени окрестным местам. Я словно ходил под руку с живым поэтом...

Влюбляясь в женщину, мы любим в ней все. Где она кончается? И ее башмаки, и платье, и калитка в сад, и запах духов, и многое еще другое – это все она. Вот так же и поэзия не исчерпывается собранием стихов, она шире, и литература – не меньший мир, чем тот, в котором мы живем и мучаемся.

3. Цель творчества

«Пишу для себя, а печатаю для денег», – говорил Пушкин.

Но в этих словах не идет речи о цели творчества.

Что думаем о своем призвании мы сами, и что думает о нем Бог или Судьба, очень часто не совпадает. Омар Хайям был серьезным ученым, а в памяти нашей остался поэтом, протопоп Аввакум был защитником веры, но для многих (и никониан, и даже атеистов) он великий писатель, Ксения Петербургская была нищей бродяжкой, а оказалась заступницей нашей перед Богом...

Немало и тех, кто «пишет для себя» или друзей и даже не печатает, но во времени прорастают плоды их усилий и оказываются частью культуры.

К сожалению, гораздо больше тех, кто сеет неразумное и недоброе, вот отчего Россия превратилась в свалку мусора.

Поэт живет почти как все и подчиняется тысячам долгов, как и другие, но вдруг «поэта требует к священной жертве Аполлон» (Пушкин) и тогда оказывается, что «строчки с кровью: убивают. Нахлынут горлом и убьют!» (Пастернак). «Цель творчества – самоотдача!» – добавляет он тут же, но и в этих словах речь идет о том, к чему поэт стремится как личность, а творчество ведь не принадлежит ему полностью, и не он один его источник, и у творений поэта своя судьба, не совпадающая с судьбой тленной личности.

Культура – это живой, растущий, иногда обновляющийся, а часто гибнущий мир, как погибла на тысячу лет культура античности.

Творчество – деятельная сила, создающая мир культуры.

Писатели и поэты подобны крестьянам, культивирующим свои поля.

Как я уже калялся, когда-то я думал, что только избранные должны созидать культуру, но я ошибался. Не все женщины рожают гениев, но ВСЕ должны рожать. И не все пишут «Духовной жаждою томим», но хотя бы раз в жизни, влюбившись, каждый должен писать стихи.

А что из этого выйдет, Бог весть.

Если продолжать миф о Редакторе, который тщится стать поэтом (как и вы, мои друзья, тщитесь написать значительные вещи, и если пока не удалось, не отчаивайтесь: только самоомнение и пошлость – препятствие к тому, чтобы подняться к небожителям!), итак, если продолжать мне мой собственный миф, то и я не сразу схватился за рифму, а лишь прочитав сказки Пушкина. Мне было семь лет, и я сразу же написал собственную поэму. Пушкин был моею первой любовью.

Потом, в десять лет, я уже влюбился в красотку, посвятил ей стихи, и она меня за них чуть не прибила.

Потом я влюблялся уже постоянно, и сочинял для них стихи. Следовательно, писал я, *«затем, Чтоб нравиться. Чтоб, рассмеявшись мило, Их кротко слушала, а после полюбила Нестрогость образов и неизменность тем.»*

Потом я почти перестал соединять слова по созвучию, пока, пять лет назад, в московском метро не встретил девушку, которая мне улыбнулась. Из одной этой улыбки вырос *куст жасмина*, в середине которого я теперь и сижу. Сначала я уговорил ее со мной поцеловаться, потом прислал на мобильник стихотворение, которое сочинил ночью в поезде, потом... она меня бросила, опомнившись... но подобрала другая...

Итак, любовь не отделима от поэзии, она в центре ее, она ее питает, как вода, растворенная в почве, питает растения. А воздух поэзии – культура, которой дышат и стихи и их создатель.

Итак, можно было бы повторить, что цель творчества – созидание культуры, и на этом успокоиться – но ведь и культура (как и религия) одновременно и самоценна, но вместе с тем и СРЕДСТВО – для чего-то иного, что мы не всегда сознаем, но смутно предчувствуем.

Мы сами, поэты и почитатели, неотделимы от наших стихов, как и все то, что нас вдохновляет (или мучает), мы неотделимы от культуры, от жизни, от мира, от Бога (даже если Бог о нас и забыл – но мы о Нем помним, и разуверившиеся еще больше, чем *всue верующие*).

Князь-полководец восстает на царя и отчизну. Талантливый математик бросает математику и уходит в монастырь. Выдающийся физиолог из монастыря возвращается науку. Гениальный писатель сжигает рукопись романа и начинает проповедовать. Начинаящий поэт от несчастной любви бросается вниз головой (и затем остается на всю жизнь хромым, как лорд Байрон). Да, непростые отношения связывают нас всех – Музу, Бога, Родину

и Культуру. И когда мы добиваемся женщины, ищем славы, хлопчем для денег – что-то еще, быть может, более важное, чем Муза, Бог, Родина и Культура, заставляет нас не останавливаться на торной или каменистой дороге и подниматься все выше.

Но сколько бы высоко мы ни поднялись, даже в самом конце, даже за мгновение до смерти – горькое подмение иногда терзает нашу душу. И даже Сам Сын Божий воскликнул, прежде чем умереть для воскресения: Отче, Отче, зачем Ты меня оставил?!

Нет настолько слепой веры, которая бы проходила мимо этих слов и не смутилась.

Можно ли понять цель творчества отдельно от цели человека? И совпадают ли они? Или расходятся? Или даже противоположны? Ведь почему-то же воевало христианство с культурой, не только же ради безграничной власти над душами, не только из ревности, как и большевизм воевал? И отчего-то верил Ориген, что математика внушена бесами? И для чего-то сожгли Джордано Бруно и чуть не сожгли Галилея?

4. Клерикализм и религиозное сознание

Тоталитарное сознание тяготит нас не только отсутствием свободы. Оно тяготит однообразием. Однажды я видел мучительный сон, в котором меня мучило даже не духовное подавление, а физиологическое. Мне приснилось, что я стою в пустыне, однообразной и голой как стол, в которой расположены ровные кубики домиков, ни одного деревца, у домиков стоят какие-то одинаковые как спички люди и смотрят на меня. А мне надо пописать...

Я после того бывал у знакомых в так называемых садоводствах, и понял, что в них я и дня прожить не смогу. Мне нужна деревня, лес, дом, огород, сарай (хотя бы тот, который на меня рухнул), баня, защищенность от нескромного взгляда. Вот так же и в тюрьме мне легче в одиночной камере, а в толпе – мучительно (хотя и в одиночной камере я не всегда один, в глазок в двери смотрит на меня вертухай).

Тоталитарное сознание – это пустыня, в которой все выжжено.

Как могли китайцы выжить в условиях, когда они должны были в обществе смотреть в цитатники Мао и шевелить губами, делая вид, что читают?!

Существует тоталитарность истины. Даже неважно, истина она или нет, даже если это таблица умножения, но вне ее уничтожено всякое умозрение, рассуждение, обсуждение, сомнение – она подавляет хуже всякой тюрьмы.

Такое чувство я испытывал в эпоху господства самого верного в мире учения, это же я испытывал бы в католическом средневековом монастыре. Ум смотрит на мир с вопросами, но законодательно запрещено искать собственные ответы, они уже ВСЕ найдены, ПОИСК ИСЧЕРПАН.

Интеллектуальная и духовная жажда – большее преступление, чем неверие, в богословии даже существует понятие *бешенства ума*. Очевидно, ум взбесился и у Галилея и у Коперника, потому что вместо того чтобы читать священное Писание и в нем искать ответы, они размышляли.

Что же до Священного Писания, то известно, что оно изобилует

противоречиями, и именно они смущают и согласных с ним, и несогласных. Несогласные пытаются оспорить истинность Слова Божьего, указывая на противоречия в нем, согласные же вот уже две тысячи лет заняты в основном устранением этих противоречий. А ведь они – не что иное, как дыры в кирпичной стене, окружающей человека, они – последнее прибежище его свободы.

Евангельская проповедь – это не математическая теорема, которая именно противопоставляет друг другу два противоположных утверждения, и находя противоречия в одном из них, другое объявляет истинным. Казалось бы, нас учит жизнь, что одно и то же бывает и верным и неверным, нас учат красавицы, что они нас и любят и нелюбят одновременно, нас учили тому же, то есть противоречивости мира, еще апории Зенона. Но нет, человеку надо заставить свой ум маршрутировать как в казарме. Когда я говорю, что литературное произведение отчасти воспроизводит математический метод доказательств своих утверждений, я имею в виду то подобие, которое есть у сна и яви, у облаков на небе и облаков, отраженных в озере, у сонаты и теоремы – но это подобие не большее, нежели у мгновений времени и чисел натурального ряда.

Но, в действительности, литературное произведение своеобразно, оно не воспроизводит и течение жизни.

И сравнивая литературу, жизнь, философию и математику, мы должны представить некие весы, некую меру, которой мы будем мерить степень их сходства или различия.

Такой мерой является СВОБОДА.

В Священном Писании свободы тем менее, чем более философии, меньше всего ее в Учении апостола Павла, которое почти избавлено от противоречий, больше всего ее в Евангелиях, представляющих собою роман о жизни Христа. Вот так же и в литературе (в широком смысле этого слова) свобода присутствует в романе, и нет ее в философских рассуждениях, в политической экономии, и в социологии. В истории ее тем меньше, чем больше история оперирует абстракциями и изгоняет индивидуальность. Итак, свобода – это категория духа, существующая только в связи с человеческой личностью (и постольку в природе, поскольку присутствует в ней личное).

Правда, надо сказать шире: свобода присутствует в культуре в целом, в художественных ее разделах преимущественно, в науке – в наименьшей степени.

Присутствует ли она в религии как в области Духовного видения? Мог ли Символ Веры сложиться иначе, нежели он сложился исторически? Имея в виду разнообразие христианских учений и связанных с ними способов веры и различных интерпретаций Библии, то есть имея в виду, что и становление религии было результатом особенного религиозного творчества (как и философия), я вижу в ней и Роман и Математику, то есть и Свободу и Необходимость. Сопряжена ли свобода с представлением Бога?

То, что свобода дана миру и человеку в Акте Творения, несомненно. Прежде всего это определяется тем, что человек создан как самостоятельная личность и ему дана свобода воли и даже свобода вожделения и греха.

И именно свобода является духом и волей всякого творчества, даже научного.

Но является ли свобода такой же сущностью Бога, как и человека, я говорить не буду, ибо читатель должен заметить, что я говорю только о том, что я несомненно знаю.

И именно математика, дисциплинируя ум, принуждает нас к логической безупречности (даже если мы отказываемся, в случае необходимости, от логики – как может человек отложить перо и взять в руки молот), и заставляет быть честными и правдивыми. (Хотя, повторяю, содержание наших размышлений может быть совсем не математическим, мы можем размышлять и о ведьмах, коих в математике нет).

Роман немислим без личности, личность немислива без свободы. Если религиозная доктрина математична и по содержанию и в центре своем ставит не личность и изгоняет свободу, то литература и религия существуют автономно. Церковь и государство и религиозные проповедники и фанатики могут вмешиваться в литературу (и вы это знаете и без меня), но литературное творчество питается из собственных источников. Вот почему бессмыслен не только спор между Пушкиным и Филаретом, но даже диалог. И вот почему нелепо спрашивать, религиозен или нет тот или иной поэт. Его субъективная религиозность (или нерелигиозность) никак не выражается в его творчестве. Точнее говоря, она присутствует в литературе, но совершенно иначе, чем в церкви, общине, обществе, государстве. Обычно форму, в которой ТЕИЗМ содержится в романе (стихотворении) называют мистицизмом, а отсутствие его – рационализмом. С этой точки зрения Пушкин и Лермонтов несомненно мистики, а Толстой – рационалист.

Добавлю: читая Пушкина, читатель не становится ни более ни менее религиозен, но более духовно свободен. Если его личная религиозность была «слепой верой», то она поколеблется. Власть христианской церкви над умами людей была разрушена только литературой (в частности, поэзией), и тем больше, чем в меньшей степени автор полемизировал с Священным Писанием.

Ну, я ведь уже говорил, что у нас разные задачи. Церковь учит отряхнуть мир от себя и умереть для мира, а культура – жить, ПРЕОБРАЖАЯ мир. (Конечно, к счастью, церковь тоже противоречива, как и Евангелие. Я, впрочем, думаю, что ни один священник до конца не решает, что надо *не жить, а надо умереть для мира*).

Я, впрочем, не знаю этого до конца и относительно самого себя. Если я напишу о ТРАГЕДИИ, то отчасти об этом скажу. Но, боюсь, чтобы о трагедии сказать глубоко, надо о ней написать целую книгу, а не отдельную главу. Более того, возможно, только в РОМАНЕ о ней можно сказать глубоко и избежать избитых общих мест. Одно только замечание я позволю себе: отношение к Трагедии литературы и религии глубоко противоположно, религия словно бы устраняет трагедию из мира и жизни, словно бы Распятнем не только Грех УЖЕ изъят из мира, но и Смерть («Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»)

Четверг, 4 июля, близ полуночи. Гулял по улице, смотрел на цветы, деревья и облака. Я упустил из виду очень важное понятие: клерикализм. (Но не буду переписывать предыдущий текст, а только поправлю).

Вмешательство церкви в светские дела, в государственную и культурную жизнь является клерикализмом. Клерикальное и религиозное сознание не только не совпадают, но противоположны, ибо религиозное сознание лично, индивидуально, а клерикальное – тоталитарно (и именно с клерикализмом в 18-м столетии боролся Вольтер, что не мешало с ним переписываться Екатерине Великой). Более того, часто бывает так, что чем менее человек религиозен (принадлежа церкви), тем более он клерикален.

Какие бы важные вопросы ни возникали, ответы, как всегда, мы найдем у Пушкина. Надо, правда, читать у него не только лирические стихи и поэмы, но и журнальные статьи, письма и эпиграммы. Вот как Пушкин отозвался об архимандрите Фотии (одна из трех "приписываемых ему" эпиграмм):

Полу-фанатик, полу-плут;
 Ему орудием духовным
 Проклятье, меч, и крест, и кнут.
 Пошли нам, господи, греховным
 Поменьше пастырей таких, –
 Полу-благих, полу-святых.

Особенно полезно вспомнить отношение Пушкина к русской истории, и истории церкви, и его религиозные отношения с Богом – сегодня, когда еще помнится недавняя истерия по поводу Пусси Райот – а это была истерия именно клерикального сознания. Наша великая боярыня даже плевала в царя, а гениальный протопоп костил патриарха самыми срамными словами, но их последователи не ставили им то в вину – или современная эпоха – это эпоха только пигмеев, не смеющих восстать на силу и власть и сходящих с ума от негодования, когда восстают другие?

5. Цель и смысл жизни. Что есть Истина?

Цель творчества, цель и смысл литературы и жизни – все эти цели переплетены самым живым образом, как бывают переплетены кустарники и цветы в запущенном саду – а разве наша жизнь так упорядочена, как у немца Штольца? Нет, русский поэт вмещает в себя столько противоречивого, что выставить его как икону в красном углу я не советую (а особенно если иметь в виду собирательный образ русского поэта, в котором и Пушкин, и Лермонтов, и Гумилев, и Клюев, и Есенин, и Маяковский, и Марина Цветаева, и Даниил Андреев, и Верочка Полозкова, и... плохо, что я останавливаюсь, но иначе мне не окончить свою книгу.)

Содержанием религиозного мифа является Метаистория... возможно, и истину ее следовало бы назвать метаистиной, ибо жизнь в рамках мифа – это точно не жизнь, а Житие, и только *житие* протопоба не соскальзывает с границы двух миров окончательно в один из них.

Времени в нем нет, оно останавливается или даже не существует, если не считать Вечность неким инобытием времени. В частности, Иисус Христос

родился две тысячи лет назад в Палестине в еврейской семье, но Он же существовал предвечно в неразделимой и неслиянной Троице – да и Замысел Божий о мире не был ли изначален?

Живой человек, вот хотя бы и Дон-Жуан, обманывает и обманывается – надо ли сверять его страсти с Священным Писанием? И страсти Анны Керн поверять житием Марии Египетской, «Вавилонской блудницы», именем которой Пушкин наделил очаровательную и несчастную Анну, да притом в сердцах еще обозвал ее дурой? И надо ли наши ошибки или плутни в денежных расчетах поверять «Началами Евклида» и судить обманщика еще и за святоотечественную дерзость в отношении математики?

Наша безграничная жизнь – неведомое пока для нас поле, которое еще следует перейти с сохой или с пером, а лучше и с тем и с другим, а литература – ее преобразование в форму действительности, в которой жизнь становится доступной осмыслению и пониманию. Оставьте кесарю кесарево, а Богу – Богово... а человеку – человеческое! В литературе все есть, и церковь тоже, и цари и патриархи – в том их бытии, которое относится к миру. Что же до надмирного, то вот свидетельство апостола Павла:

5-9. Затем (Христос) явился ученикам Своим, «а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию.»

10. «Но благодатью Божию есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною.»

Так и поэту является Вдохновение, являются музы, и даже «и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился». И даже: «И Бога глас ко мне воззвал!»

Есть математика – и есть Истина математики, *не отменяемая* Священным Писанием. Есть Поэзия – и есть Истина Поэзии, *не отменяемая* Священным Писанием. А все те, которые с нами, математиками и поэтами, борются, цари ли они земные, монахи или патриархи, проповедники или следователи, фанатики или в составе конвойных бригад – они ПРОСТО люди, присваивающие себе право вещать и сажать в тюрьму и казнить от имени Истины, является ли она религиозной или атеистической, совершенно неважно, ибо вот я вижу тех, которые меня тащили на суд в составе комсомольских бригад, а ныне тащут именем Бога.

Нашу правоту, поэты и математики, мы можем доказать не на следствии, а только перед судом истории, и доказательство, к сожалению, слишком неподъемное для многих из нас: надо достигнуть ГЕНИАЛЬНОСТИ, и тогда всех: и Фотия, и Филарета, и даже императора будут знать и помнить ТОЛЬКО в связи с тем, какую роль они играли в судьбе Пушкина, и Дантес окажется проклятым, а Александра мы простим, потому что Пушкин попросил нас: «Простим ему неправогоненье! Он взял Париж, он основал Лицей.» И Николая мы отчасти простим потому, что он после Декабристского восстания не залил страну кровью, хотя великодушия ему не хватило простить и тех страдальцев, многие из которых были друзьями и товарищами Пушкина.

Вот также надеюсь и я оправдаться, ибо и ко мне приходили музы, и я доказал теорему о непрерывности континуума (вещественного ряда), и написал хоть несколько стихов, которые нравятся моим подругам-поклонницам, а самое главное, иногда и красотки на меня поглядывали с интересом, и не менее достойные, чем Анна Керн.

Но знаю ли я, в чем *Цель и смысл жизни и Что есть Истина?*

Сначала я собирался глубокомысленно по этому поводу высказаться, а потом подумал, что литература и философия способны и сами весьма глубоко нам об этом рассказать, или, по крайней мере, побудить к размышлению. И этого уже достаточно, чтобы не жить в духовной праздности.

Найдена ли уже истина в вечности – неважно, это *её* истина. А мы еще ищем свою, в этом мире, с этой стороны границы двух миров, притом и наша истина проникает Бытие и до самых вершин.

Придя к власти, большевики не только физически уничтожили почти все культурное сословие, но и многие матерьяльные проявления культуры. Были сожжены и разграблены почти все поместья, закрыты, разграблены и разрушены почти все монастыри, храмы, часовни, запустели многие дворцы.

К завершению большевистской эпохи церковь влачила униженное существование. Мы забыли, что когда-то она сама себя вела таким же образом по отношению к Академии в Афинах, Александрийской библиотеке, по отношению к античным храмам и «идолам», которыми были уставлены улицы Афин, забыли, что наука прекратила свое существование в третьем веке, а с Гипатии христиане содрали шкуру.

Жизнь проявляется через соединение материи и духа, и материя себя не сознает без человека, и дух не творит без материи. Матерьяльная культура – это тело духа, как человеческое тело – тело души.

Когда церковь оказалась полуразрушена дьявольским государством, и так же унижены были и искусство, философия, литература, мы почувствовали себя товарищами по несчастью, митрополит не учил поэтов писать стихи, а поэты не мешали ему молиться.

И вдруг вчера все преобразилось. Автократия заключила союз с церковью, и воздвигла гонения на науку. Наступил третий век. Академия наук упраздняется, как некогда, когда глуповский градоначальник *«въехал в Глухов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки»*.

У меня было много учителей, в том числе и в математике, и в астрономии, и в литературе. Но не было ни цензоров, ни цензуры. Советская власть меня не издавала, и антисоветская тоже. Зато я был абсолютно ДУХОВНО свободен, даже когда сидел в тюрьме.

Могу ли я ошибаться в математических рассуждениях? Да. Но Бог дал мне способность мыслить, видеть и слышать, Бог дал мне способность находить ошибки и отличать бесов от ангелов. И вдохновение, которое дает Бог поэтам, выше разума богословов. Я бы посоветовал им больше читать Пушкина, и меньше заглядывать в святцы. Поэзия – это наша «святоотеческая литература», сочинения Пушкина – наше Священное Писание, не меньшее, а большее, нежели то, что было дано в ветхие времена. Или Бог, однажды

явившись на землю, и попытавшись вразумить невежественных рыбаков и сборщиков налогов, с тех пор уже не вдохновляет умы и сердца? Или Жанна ниже папы и инквизиции, и Коперник не прав?

Или Лютер не проклял папу?

Кто-нибудь захочет меня упрекать в неверии и богохульстве, в оскорблении чьих-либо чувств. Если я оскорблю чувства святоши, я буду только счастлив, значит, это удалось не только Мольеру, написавшему «Кабалу святош». Не только Вольтеру. Впрочем, после того, как батюшка велел моей племяннице выбросить на помойку мои сочинения вместе с книгами Даниила Андреева и Льва Толстого, я уже не мечтаю о признании: более высокое признание мне не нужно, я уже в хорошей компании.

Впрочем, если на меня обидится *кроткая душа*, я оболую ее башмаки слезами раскаянья (разумеется, это будет женщина – среди мужчин не бывает кротких душ). И закончу сии пассажи стихами Пушкина.

Отцы пустынники и жены непорочны,
 Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
 Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
 Сложили множество божественных молитв;
 Но ни одна из них меня не умиляет,
 Как та, которую священник повторяет
 Во дни печальные Великого поста;
 Всех чаще мне она приходит на уста
 И падшего крепит неведомою силой:
 Владыко дней моих! дух праздности унылой,
 Любоначала, змеи сокрытой сей,
 И празднословия не дай душе моей.
 Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
 Да брат мой от меня не примет осужденья,
 И дух смирения, терпения, любви
 И целомудрия мне в сердце оживи.

6. *Оправдан ли поэт?*

*Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями
 человеческими уязвлена стала ...*

Александр Радищев.

*Поэтом можешь ты не быть,
 Но гражданином быть обязан!*

Николай Некрасов

Хотя я и не сказал, для чего человек живет, и что есть истина, и хотя все главы моих Записок имеют целью возвеличивание искусства и поэзии и литературы и в самом широком и в узком смысле этого слова, но я нигде не сказал, что поэт или писатель уже одним только тем, что однажды познакомился с музами, *оправдан* и может жить как хочет и не подлежит никакому суду.

Меня и самого уже судили не раз, и не уверен, что совсем несправедливо.
 Предчувствовал такой суд (или переживал его в душе и в уме) и Пушкин.
 Оправданы ли мы уже тем, что мы избраны божеством?
 Достаточно ли одного этого сознания, верно ли, как полагает Поэт (в
 Разговоре книгопродавца с поэтом), что

*«Блажен, кто про себя таил
 Души высокие создания?»*

Или права чернь, требуя от поэта:

Нет, если ты небес избранник,
 Свой дар, божественный посланник,
 Во благо нам употребляй:
 Сердца братьев исправляй.
 Мы малодушны, мы коварны,
 Бесстыдны, злы, неблагодарны;
 Мы сердцем хладные скопцы,
 Клеветники, рабы, глупцы;
 Гнездятся клубом в нас пороки.
 Ты можешь, ближнего любя,
 Давать нам смелые уроки,
 А мы послушаем тебя.

Поэт возражает черни:

Подите прочь – какое дело
 Поэту мирному до вас!
 В разврате каменейте смело,
 Не оживит вас лиры глас!

 Не для житейского волненья,
 Не для корысти, не для битв,
 Мы рождены для вдохновенья,
 Для звуков сладких и молитв.

Казалось бы, спор закончен.

Но нет, в стихотворении «Памятник» Пушкин пишет:

*И долго буду тем любезен я народу,
 Что чувства добрые я Лирой пробуждал...*

А затем, в Пророке, звучат поистине трагические слова о том, что не
 вправе поэт расточать свой талант напрасно.

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
 Исполни волею моей,
 И, обходя моря и земли,
 Глаголом жги сердца людей».

Всякий поэт непоследователен (как женщина). Воистину, женское в
 основании поэзии, и это естественно, ибо вдохновительницы – музы.

Непоследователен (и противоречив) и Пушкин, именно поэтому он не
 прамолинеен, именно поэтому он «гений, парадоксов друг».

Задумывался ли он об Оправдании? А оправдания требует и сам поэт, как человек (мы менее осторожны в своих страстях и злоключениях), оправдания требует и Поэзия. *«Не любите мира, ни того, что в мире... Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская...»* – говорит апостол Павел. Больше всех от этого завета отходят поэты.

Иногда я думаю, что жизнь и обманывает нас, поэтов, больше всех, это о нас слова Лермонтова *«И кто-то камень В его протянутую руку...»* – и не оправдаемся ли мы такими словами? Но нет, вспоминаю и то, что мне говорили в детстве мои учителя: *«Кому многое дано, с того и многое спросится. Действительно ли мы рождены не для житейского волнения, а (только) для вдохновения?»* В это, без сомнения, не верил и Пушкин.

Как рассказывает Гоголь, возражая Державину, Пушкин сказал: "Слова поэта суть уже дела его". И слова эти таковы, что это о них сказано: ***Вначале было Слово...***

Чем оправданюсь я, представ
На Страшный Суд? Грехи? Бог с ними!
Их меньше, чем в великом Риме
Хоть у Овидия. Я прав,
Когда впиваю взглядом страстным
Всю *похоть* мира. Жизнь прекрасна,
Нам красоту и страсть отдав.

Не жду ни чести, ни наград,
Не жажду сна и неги рая,
Всю жизнь пройдя по краю края,
Ненаказанью буду рад
За прихоть грезы страстно-грешной,
За сладость косточки черешной,
За огород, за лес, за сад...

Чем оправданюсь я, приди
И без надежды и без веры
На строгий суд числа и меры?
Я обличал, грозил, судя
Всех: кротких, глупых, злых, ленивых,
Самолюбивых и счастливых
И, несомненно, нечестивых,
Послушных прихотям вождя.

Так с чем я сам приду? С делами?
Но вера прежде, говорят
Те, кто законы лучше знает,
Нас то казнит, то в глушь ссылает...
Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я – не в оре, гаме...
А лучше мы втроем! Меж нами
Пусть только звезды, ночь и сад...

7. *Оправдаем ли мы небо и землю? Царь, поэт и народ.*

«Нет правды на земле!.. Но правды нет и выше!»

После этих Пушкинских слов уже перо опускается, никого не хочется оправдывать.

Хотя насколько нам легче! Оглядываясь назад, мы видим две России. Одна все так же вызывает скорбь и ярость. Но зато есть и другая. И она помогает нам выживать.

Отдавал ли Пушкин отчет в том, что его творчество было важнейшим в строительстве второго мира, мира действительности, ИНОБЫТИЯ мира реального? Во всяком случае, хотя бы и смутно, но чувствовал он именно это. И вот теперь мы имеем этот мир. И всему миру его предьявляем. И есть нам чем перед Европой гордиться.

[Правда, еще в 11-м веке наша княгиня, отосланная на замужество в Париж, будущая королева Франции, писала: *«здесь жилища мрачны, церкви безобразны, а нравы ужасны».*]

У культуры две важнейшие Задачи: создание **ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО** мира и Преображение мира реального. Первая задача успешно решается. Со второй... Если не отчаемся, то еще продолжим борьбу, мои дорогие авторы!

А пока в иерархии ценностей культура значима только для просвещенных. Народ вспоминает царей и завоевателей, и из царей – самых свирепых, и «ния Россия» присваивает худшему чем Чингис-хан. Но, может быть, философ, пишущий о поэзии, смотрит на мир иначе? Вот что он пишет:

«У пророка Исайи мы находим перечень лиц, являющихся "посохом и тростью Иерусалима и Иуды". Кто же входит в этот перечень? "Храбрый вождь и воин, судья и пророк, и прозорливец, и старец, пятидесятник, и вельможа, и советник, и мудрый художник, и искусный в слове."

... [итак] художник, поэт, ученый – необходимая принадлежность мирового порядка. ...[но] в иерархии должностей и званий идеального Царства им принадлежат места 10-е и 11-е. Звание поэта отделено от более важных званий судьи, пророка, народного вождя.»

Литература вмещает в себя и философию и математику, в ней они достигают своего идеального совершенства. Литература – это трансцендентное ИНОБЫТИЕ философии и математики.

Мир ПРОТИВОСТОИТ литературе, Поэт – это ВОИН подлинного мира, ведущий здесь борьбу за души людей – пока безуспешно.

«Князь мира сего» во главе воинства, противостоящего Поэту.

Иногда в своих снах я вижу, что к лобному месту подведены Поэт и Властитель. Кого из них казнить? – спрашивает Судья у толпы.

Поэта казнить, а царя помиловать! – единодушно вопит толпа.

Но приходит новый поэт и продолжает сражение, «не дорожа ни любовью, ни мнением народа, состоящего из черни». Но не с народом он воюет. И даже не с черню.

В центре жизни – ТРАГЕДИЯ. Литература (Поэзия) титсит ее понять, и кроме нее не поймет никто, даже философия. Но и я страшусь взглянуть ей в лицо. А прежде сего мы не пойдем, как нам спасти мир.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Суббота, 7 июля 2013. Сознаюсь, книга эта появилась почти случайно. В связи с текстами, которые мне пришлось в прошедшем году редактировать, я записывал кое-какие замечания, обменивался ими с авторами, несколько заметок решил выставить на всеобщее обозрение в блоге – и неожиданно горячее приятие тремя любимыми писательницами моих заметок заставило меня их продолжить и подчинить определенной системе. Почти все из них я уже и продумывал и даже записывал еще прежде, в последние десять лет, но это именно были заметки по случаю, а теперь они стали выстраиваться в систему. Следовательно, для книги форма важнее, чем содержание, если под формой понимать Целое, а под содержанием отчасти матерьял, отчасти высказывания. Вот так, представьте себе, лежит на площади грома из окон, блоков, стропил, перекрытий, дверей, досок для пола и так далее – будет ли восхищенный взор около них задерживаться? Но в составе Собора они уже, порознь не производя впечатления, впечатлят соединением. Так и Ромео и Джульетта пронзили наши сердца только когда стали вместе, и журнальные статьи и заметки Пушкина – вместе с другим его художественным творчеством, как дополнительная к нему глава.

1. Об уме и глупости и должна ли быть Поэзия глуповата...

Воскресенье, 8 июля. Как и многим, мне хотелось или быть умным, или, хотя бы, им казаться. Но все же и "горе от ума существует", и угонительность и скуку часто ум навевает. (Вероятно, ум делится на некоторые виды, один из них бывает пленителен, а другой несносен).

Что я не слишком умен, узнал я в прогулках с двумя юными товарищами, только что ставшими студентами, когда я, напротив, уже все университетские знания успел позабыть. По своему обыкновению, как обычно в прогулках с девушками, я начал заливаться соловьем, и вдруг один из моих слушателей мне ясно и точно возразил, да так убедительно, что я поперхнулся. После некоторой паузы я продолжил песнь, но он щелкнул меня по носу снова.

Так повторилось в следующей прогулке, затем снова, наконец прогулки наши прекратились, ибо было очевидно, что этот молодой человек и образованнее и умнее меня значительно. (Кстати, обижу ли я кого-нибудь, раздражу или нарушу заповеди паточной всестерпимости, но ощущение умственного превосходства надо мною чаще всего возникает у меня, когда я слушаю или читаю "лицо еврейской национальности". А ощущение беспросветной глупости давит как удушье в разговорах с иными русскими... И, кстати, не испытывает ли кто-нибудь из читателей сходного ощущения при чтении и моих текстов? Хотя я и привожу многочисленные цитаты, но ведь даже в дырявом ведре что-нибудь да задерживается. Или оно слишком дырявое?)

Ну, ладно. Прошло десять лет. Молодой человек этот неожиданно ушел из синагоги и крестился, и как-то зашел в гости ко мне в издательство (в

середине девяностых годов), мы с ним мило поговорили и он неожиданно сказал мне "комплимент": «А знаете, В.И., я очень сильно изменился, я ведь весьма поглупел, став православным, и с тех пор стал Вас ценить и часто Вас вспоминаю».

Я так и не знаю, радоваться или огорчаться его признанию, но так как однажды я слышал о себе и противоположные слова, то по крайней мере шибко не расстраиваюсь.

А противоположные слова я слышал дважды (жаль, я уже этим раньше хвастался, приходится повторяться).

Итак, мне девятнадцать лет, на танцах в общежитии я знакомлюсь с шестнадцатилетней первокурсницей, пленительной красавицей, невинной и наивной как бутон цветов, на котором еще не высохли капельки росы. Мы полночи гуляем, не помню уже, целуемся ли, но на прощанье она восхищенно мне говорит: *Ах, какой Вы умный!* (Значит, мы не целовались, так как остались на Вы).

В другой раз, через пять лет, я готовил к экзаменам в университет двух юношей, за все время нам удалось решить одно уравнение, а остальное время они мучили меня вопросами о том и сем, далеком от математики. Наконец привели знакомиться со мною своих родителей, детьми которых порознь они были. Мать оказалась моим бывшим профессором философии, и она воскликнула: Я не сомневалась, что это Вы, хотя и прошло уже пять лет с тех пор как Вы меня мучили на семинарах, как теперь Вас мучили наши дети! И как я счастлива видеть Вас снова и убедиться, что Вы все такой же! (А я был бы счастлив увидеть снова тех прежних юношей).

Впрочем, ум сам по себе меня не слишком задевал, только когда женщина производила впечатление умницы, я восхищался (а производила ли хотя бы одна из женщин, с которыми я разговаривал, впечатление НЕ умницы? От десяти до девяности семи лет, от маленькой Эли до Капитанской дочки из Бизерты? Разве исключая европейских канцлерш, которые меня пугали своим не женским характером?) Следовательно, женщина меня восхищала ВСЕГДА. Даже ведь и в сказках существуют только умницы, и Марья-краса и Василиса прекрасная... Ну, может быть, только Баба-Яга – дура?

Вот теперь уместно поговорить и по поводу пушкинской фразы *«Поэзия должна быть глуповата...»* – тем более что Поэзия – точно женщина, и вдохновительницы ее – музы.

Но нижеследующее я привожу не ради Пушкина, а ради Ходасевича, в которого я когда-то влюбился по четырем строкам, и читателю хочу напомнить о нем еще и как о знатоке литературы.

«Мудрость поэта скрыта за тем, что "отсюда" кажется глуповатой маской. Бессознательно мы к этому давно привыкли, и от постоянного упражнения у нас выработался известный автоматизм в восприятии поэзии как маскированной мудрости. На этот автоматизм опирается пародия. Пародист искусно подделывает поэтическую маску, с ее условно-глуповатым выражением; мы по привычке принимаем ее за оболочку мудрости – но тут-то и высовывается из-под нее вздор, глупость. На этом построены у нас лучшие

вещи Козьмы Пругкова. Поэзия есть мудрость, которая "глуповата". Пародия есть глупость, которая "мудровата". По Пушкину, она основана именно на "сочетании смешного с важным".»

«Стремясь постигнуть и запечатлеть сокровенный образ мира, поэт становится тайновидцем и экспериментатором: чтобы увидеть и воспроизвести "более реальное, нежели простое реальное", он смотрит с условной, чаще всего неожиданной точки зрения и соответственно располагает явления в необычайном порядке. Все изменяется, предстает в новом обличье. В поэтическом видении уже обнаруживается начало демиургическое; в воспроизведении оно закрепляется: пользуясь явлениями действительности как символами, как сырыми материалами для своих построений, поэт, не искажая, но *преображая*, создает новый, собственный мир, новую реальность, в которой незримое стало зримым, неслышное слышимым. Есть каждый раз нечто чудесное в возникновении нового бытия и в том, как, возникнув, оно обретает самостоятельную цельность и закономерность. (Именно степенью законченности и гармоничности объективно определяется его подлинность.) Чтобы новое бытие не осталось мертво, поэт придает ему движение, т. е. предписывает его элементам законы, столь же непреложные, как законы обычной действительности.»

Ах, дальше не буду цитировать, потому что иначе все свои главы выброшу, и воскликну: Друзья мои, к черту мои разглагольствования! Читайте Ходасевича! Вы получите и наслаждение, и многому научитесь!

Приведу из его поэтического наследия только четыре строки (приводя первую строку в том порядке, в котором она мне помнится, отступая от подлинника – да простит меня поэт!)

Пробочка над йодом крепким!
Как ты скоро перетлела!
Так вот и душа незримо
Жжет и разъедает тело.

Если вспомнить теперь избитое представление о "женском" уме, нелогическом, иррациональном, иногда словно бы глупом, не таком утомительно тяжеловесном, как бывает подчас мужской, не таком важничающем, назидательном... и так далее... – то я позволю себе переписать пушкинские строки по-своему: *Поэзия должна быть женственна...*

Возможно, именно это Пушкин и имел в виду.

И его возлюбленные, и его героини – умны. И когда он Анну Керн обзывает душой, то это в нем кричит глупое мужское уязвленное тщеславие. А не забывайте, что, СБЕЖАВ от престарелого мужа в Петербург, она здесь создала свой литературный салон и была в центре его, и здесь вновь встретилась с Пушкиным, и в него влюбилась (а он разве не уступал самодовольным красавцам, кончая Дантесом? Чтобы красавице влюбиться в не слишком врачного поэта, она должна быть глубокой! Хотя, впрочем, красота женщины – уже гениальность). И не забывайте, что Глинка написал знаменитый романс на Пушкинские стихи, посвященные Анне Керн, влюбившись в ее дочь, а это тоже что-то доказывает!..

Правда, кажется, не все женщины умны, Любовь Дмитриевна Менделеева оставила Воспоминания, о которых Анна Ахматова сказала: «Что бы ей [дуре] промолчать, и она осталась бы в памяти потомков Незнакомкой!» У меня, кстати, есть машинописный экземпляр этих воспоминаний (позже они были изданы с сокращениями), вероятно тот, который читала и Ахматова.

Л. Д. была красива тяжеловесной порочной красотой (хотя мне и такая нравилась), как сладка бывает уже перезревшая груша.

Но не будем "моралистами", судя поэтов и красавиц!

Ирочка Одоевцева, рассуждая об умных мужчинах (а ей в то время, когда мы беседовали, было девяносто пять лет), сказала, что в своей жизни она встретила только трех по настоящему умных. Одним их них был ее муж Георгий Ив́анов, другим, разумеется, я, а третьим ... я позабыл, кто был третьим, возможно, она назвала Мережковского, но в этом я не уверен.

Во всяком случае, читая его статьи, я восхищен его умом (а Ходасевичем восхищаюсь просто так, даже не задумываюсь о том, очень ли он умен, или ровно настолько, чтобы восхищать). Но не потому ли мы проиграли в Революцию и в Гражданскую войну, что наши вожди были слишком умны, и читающих отделила от них пропасть? Интеллигенция зачиталась Горьким и Лениным, а Мережковский и Иванов-Разумник, Волошин и Вячеслав Ив́анов, Рóзанов и даже Бердяев и «Вехи» остались ей непонятны.

Я слышал лестные отклики на мои способности преподавателя, надеюсь, они справедливы. Но почему мне удавалось рассказывать о математике внятно своим слушателям? Да потому, что она мне самому давалась с трудом, я по пять раз перечитывал иные теоремы, чтобы в них разобраться, Аналитическую и Качественную теорию дифференциальных уравнений мне пришлось даже полностью ПЕРЕПИСАТЬ, чтобы их понять и хоть с трудом запомнить. Вот также с трудом я усваиваю философские пассажи, поэтому сам не решился стать философом, а назвал свои Записки на сходные темы полуФилософскими. И пишу я не для умников, сильнее всего меня раздражают глупые, даже тупые, мне хочется им объяснить истину, возразить их беспросветным глупостям, хотя пока в этом преуспеть еще не удалось. Но я еще пытаюсь, пишу и ПЕРЕПИСЫВАЮ...

Так, возможно, Бог не случайно не хочет, чтобы я был чрезмерно умным?

Он тоже еще надеется, что если не апостолы, то хотя бы я донесу до тупых «божественный глагол»?

2. Предательство народа...

«Паситесь, мирные народы!»

«В разврате каменейте смело,

Не оживит вас лиры глас!

Душе противны вы, как гробы.»

«Молчи, бессмысленный народ,

Поденщик, раб нужды, забот!

Несносен мне твой ропот дерзкий,

Ты червь земли, не сын небес.»

Можно ли еще больше обличить народ (или чернь – но часто они неразделимы), чем Пушкин? И чем его современник и старший товарищ Чаадаев? Вот что пишет Пушкин П. А. Вяземскому: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне *свободу*, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и <бордели> – то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне «Онегина» я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно – услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится – ай да умница.»

Отношения русского со своею отчизной все равно что влюбленного с вертихвосткой или мужа с любимой женой, от безумной любви до ненависти; посторонним не следует влезать в наши страсти, чтобы их не опошлить своими гнусными замечаниями. И я признаюсь, что ко многим народам я равнодушен (исключая смертоубийственные войны, так же как и драки с поножовщиной, когда философия умолкает), но чувства мои к евреям колеблутся от любви до нелюби или равнодушия, а к русским – от любви до ненависти. Но когда не прилепившийся ни к одной отчизне писака начинает порочить мою родину, де, мы всегда были только рабами, словно за безумными вождами не шарахались целые народы еще при нашей жизни, словно иные не потерявали даже свой последний храм и последнюю пядь земли, я понимаю, что в нем кричит комплекс собственной неполноценности, как и в наших патриотах и тупых скинхедах, которые в наших собственных гнусностях и бедах винят только масонов и евреев.

И в то же время, как бы я ни ненавидел и не *презирал* свою родину, как бы пристрастно я не ругал и чужих поделом, еще ненавистнее мне космополитическая проповедь *tolerantia*, исключаящая действительную волю по преобразению мира. Очевидно, будучи *tolerantia*, не следует выдергивать на огороде крапиву, презирать болтунов и негодяев, сажать в тюрьму воров и растлителей. Так же я не могу быть *tolerantia* и к немецким нацистам, и к гонителям гугенотов, хотя и сходиллся я с сионистами, украинскими националистами, мусульманами и (хотя и с трудом) фанатками попсы.

Впрочем, моя более истинная Родина – русская культура, и ее я не ругаю, и внутри нее у меня нет этнических предрассудков, хотя вне – есть. Но я не монах, не святой, не женоненавистник и даже не ревнитель общества трезвости. Короче говоря, временами я думаю, что я уже почти идеальный человек, и лет через тридцать достигну совершенства.

В центре американского боевика «Великолепная семерка», поставленного по мотивам фильма Курасавы «Семь самураев», отношения «защитника свободы» и народа. Герои, рискуя жизнью, пытаются защитить крестьян от насилия шайки разбойников. И что же? Крестьяне предают своих спасителей. Герои терпят поражение, но благородные разбойники их отпускают. И тем не

мене герои возвращаются, чтобы или умереть или победить. Атаман разбойников Калвера спрашивает предводителя защитников Криса: ради кого вы рискуете жизнью? Стоят ли они этого ("рабы нужды и забот")? Ведь они вас уже предали, предадут и снова...

У меня есть товарищ, защитник власти и "статус кво". Да, мы – растения, говорит он, мы хотим расти и размножаться, больше нам ничего не нужно, не мешайте нам жить так, как мы хотим, не требуйте от нас, чтобы мы стали "сынами неба".

И что я скажу ему в возражение? Ему мне сказать нечего. Вот почему литература – моя отчизна, вот почему писатели – мой народ, более "чистокровный", чем чернь. Совершенство языка и духовное совершенство – единственные требования, которые я предъявляю *своему* народу, и если он даже не всегда со мною согласен, он меня по крайней мере выслушает, прежде чем выбрать разбойника и отвергнуть Поэта.

3. Красота и единство эстетического и логического

Совершенство – в какой бы области оно ни было достигнуто – производит впечатление законченности и Красоты. Красивы промышленные здания девятнадцатого – начала двадцатого веков, мосты, вокзалы, водокачки. Когда на территории старых заводов появлялась постройка "эпохи победившего социализма", она производила впечатление шрама, кляксы, опухоли, то есть безобразное впечатление – потому что безнравственное не бывает красиво, оно уродливо. И, вероятно, уродливое не может быть нравственным.

Изыяны в эстетическом, то есть в *форме*, сопряжены с изъянами в логике, нравственности, структуре, целостности, целесообразности...

Рассказывают, что академик Крылов увидел в газете изображение грандиозного моста, построенного в США. Скорее телеграфируйте им, воскликнул он, чтобы мост не открывали, он упадет!

На следующий день газеты принесли известие: мост рухнул!

А к такому выводу академик пришел только потому, что мост произвел на него впечатление безобразного сооружения.

Вот так же я прочитал историю России, побывав на выставке Русского портрета последних трех столетий. Казалось бы, портретист стремится приукрасить героя своей живописи – но или честность принадлежит к числу неотменяемых добродетелей художника (в отличие от «историка-христианина» Флоровского), или независимо от субъективных стараний мастера *действительность* пронизает реальный мир и побеждает его.

Во всяком случае, переходя от эпохи Петра Первого с его сподвижниками вороватым Меньшиковым и беспрекословным Ягужинским к блистательной Великой Екатерине, а затем и к девятнадцатому веку, я воочию понял, какой нравственный подъем совершила Россия.

Историю двадцатого столетия мне также удалось увидеть в портретах «птенцов гнезда Ильича», обозревая скульптуры великого Цаплина в подвале Гума (где была его мастерская). Цаплин был верноподанным – но гений неподвластен идеологическим пристрастиям. Он был уверен, что прославляет наших бывших вождей – но он их приговорил к осуждению.

По поводу предыдущих рассуждений уместно напомнить, что стремление к красоте вызывало у многих художников и поэтов, особенно начиная с эпохи модерна, неприязнь. Маяковский высмеивал обывателей с их требованием «сделайте мне красиво» – а требовал ли "обыватель" что-нибудь у поэта? Он – точно такой же миф, как и само искусство (поэзия), миф для оправдания того направления творческой воли, которому подчиняет свою волю творец.

Правда, в известной степени общество ВСЕГДА оказывает давление на художника, даже когда он существует в самых благоприятных условиях, как в наш (и европейский) девятнадцатый век. Существовала цензура, существовала журнальная критика, существовала реакция общества и властей.

Но было и есть одно важнейшее давление, которое наших гениев, и Пушкина, и Лермонтова, и Достоевского раздражало в наибольшей степени: цензура на них давила мало, критика преимущественно тоже была к ним благосклонна, наиболее образованный слой читателей их боготворил, но известность и покупательский спрос определялись толпой, "широкой публикой", "обывателем" – и именно этим отношениям посвящены некоторые важные стихи и высказывания творцов. И когда поэт не заботился о гонораре, читателя он ждал и жаждал, даже если был на него раздражен. Как ведет себя поэт и как он должен себя вести в отношениях с властью, обществом, "толпой", критиком и читателем?

Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы; ...

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья, ...

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,

«Теперь, оставя шумный свет,
И муз, и ветреную моду,
Что ж изберете вы?»

«Свободу.»

«Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.»
«Вы совершенно правы. ... Условимся.»

Да и надо ли писать? Для кого? Зачем? – спрашивает Лермонтов.

Скажите ж мне, о чем писать?..
К чему толпы неблагодарной
Мне злость и ненависть навлечь...

Труд поэта – это не труд поденщика, Поэзия – результат вдохновения,

плод свободной любви между Поэтом и Музой. Поэт никому не должен, ни перед кем не обязан. «Диктует совесть, Пером сердитый водит ум...» – говорит Лермонтов.

Поэт подчиняется только себе, он – в идеале – ни от кого не зависит, – вот декларация русской классики. И когда Пастернак говорит, что «Смысл творчества в самоотдаче», он утверждает то же самое.

Пушкин и Лермонтов невольно (в глубине души?) видели в себе демиургов, творцов подлинного мира, преобразователей и пророков, вот почему их декларации были противоречивы: разочарование в результатах гения жгло их души.

Казалось бы, Некрасов и Маяковский им противоположны.

«Гражданин фининспектор! Простите за беспокойство.

Спасибо... не тревожьтесь... я постою...

У меня к вам дело деликатного свойства:

о месте поэта в рабочем строю.»

«И тянет Меня в холода и в зной.

Бросаюсь, опутан в авансы и в займы я.

Гражданин, учтите билет проездной!

– Поэзия – вся! – езда в незнаемое.»

«А что, если я народа водитель

и одновременно – народный слуга?»

«Поэт всегда должник вселенной,

платящий на горе проценты и пени.

Нет! И сегодня рифма поэта –

ласка и лозунг, и штык, и кнут.»

Перед кем ответствен поэт, каково назначение его поэзии, творится ли "искусство для искусства", для себя, для Бога, для народа – это важнейший вопрос всей культуры, и хотя гении отвечают на него, противореча друг другу и сами себе, отвечают они по существу одинаково.

Не бывает ни буржуазных, ни пролетарских "таблиц логарифмов", культура не только ищет духовную свободу, но именно она ее создает, и поэт ее утверждает. Культура самодостаточна, она не подчиняется ни народу, ни Богу, ни царю. Но творец, математик или поэт, – человек, и ему ничто человеческое не чуждо, и если ему даже больше дано, чем другим, с него больше и взыскивается.

Все на нас влияет, и тщеславие, и голод, и страх. Но любовь, увлечения, страсти, заблуждения влияют более всего.

Преображение мира – самая подлинная страсть поэта, и если она одевает ту или иную земную форму – монашеское рубище, мундир офицера, даже ливрею – это так, житейские обстоятельства... ибо не бывает ни советских, ни христианских, ни придворных поэтов, но есть русские поэты с той или иной степенью таланта. Но, правда, ни в одном утверждении не содержится истина вся, оно справедливо наполовину, вместе с противоположным. А истина в их синтезе.

Вот что говорит Анастасия Попова:

Всё это фикция, что ночи нынче темны.
 Если ты гладишь мне грудь, значит, прощение есть...
 Подай мне одеяло. В нём копошатся сны.
 Бог – наша страсть – это больше, чем Ваша благая весть...

Нет, эти слова не противоречат ни «Я, мать Божия, ныне с молитвою» ни «Одну молитву чудную твержу я наизусть». Поэты не противоречат друг другу, они *дополняют*, как и новые стихи поэта дополняют то, что он сказал прежде.

Поэт! Забудь про суету!
 Как забываешь о ничтожном,
 Когда крылом неосторожным
 Ты будишь сонную мечту.

Доверься жизни и судьбе,
 Не напрягай в полете крылья!
 Что предназначено тебе,
 То обретется без усилия!

говорил я вчера, но не отменяется этими строками и сегодняшнее:

Я стихи пишу без цели,
 Крепы сна во мне просели,
 Даже музы не дают...
 Вдохновенья. Что-то значит
 Только боль. Подруга плачет,
 Но молчит и слезы прячет...
 Все равно меня убьют!
 Что ищу? Надежды, смысла,
 Печки, лавки, коромысла –
 Я – разносчик, водолей?!
 Крыша съехала, провисла,
 Миром тьмы не правят числа,
 Соль прогоркла, масло скисло...
 Дева, дева! Пожалей!

Да, стихи пишу напрасно.
 Все давно всем умным ясно:
 Только деньги – смысл и свет!
 Ну а я живу в канаве,
 Пью вино в мечтах о славе,
 Но во сне и даже в яви:
 Слава близко, денег – нет.

Так что я живу без цели
 Кручи – сверху, ниже – мели,
 И вокруг ни свет, ни тьма,
 Все слова в уме устали,
 Девы даже злиться стали,
 Видно, я схожу с ума...

4. *Любовь к отечеству и Народность*

Я призываю писателей заботиться о языке, совершенствовать его, стремиться к тому, чтобы он был полнозвучен, точен, действен, совершенен, а к чему призывает Маяковский, разрушающий (казалось бы) устоявшиеся поэтические формы?

Да и он призывает к тому же:

Начнешь это Слово в строчку всовывать,
а оно не лезет – нажал и сломал.
Гражданин фининспектор, честное слово,
поэту в копеечку влетают слова.

...Изводишь единого слова ради
тысячи тонн словесной руды.

Нужна воля к взаимопониманию, оттенки в выражениях еще не означают, что мы призываем к разному.

Вот то же самое и в отношении *любви к отечеству*.

Когда слышишь платных пропагандистов, проповедующих с одинаковой легкостью и патриотизм, и государственничество, и верноподданную любовь к начальству, неотделяемую от отечества, и платную любовь ночных фиалок, и любовь к ворам и мошенникам, и к "родной ...ской партии", поневоле беленеешь, и хочется ненавидеть всех. Когда слышишь речи о ненависти к чужим достоинствам и оправдание своих преступлений, грехов и язв, поневоле перегорают всякие чувства кроме злобы – восхвалители собственных пороков убивают любовь.

Никто, вероятно, не ненавидит так мою свинскую страну, нашу государственность, тупой народ и трусливую интеллигенцию, как я. И все же я свое отечество люблю. С ненавистью, болью, но люблю. Возможно, как Рогожин Настасью Филипповну. Люблю и свой Русский народ, как Волгу вместе с притоками, как море с впадающими в него реками, как мою ПОЧВУ, в которой, конечно, есть ВСЁ: и глина, и песок, и чернозем. Часто не люблю русских, особенно когда они начинают похвалиться и подло оправдываться. Если я менее образован и менее художественно талантлив, чем другие, то, все же, я продолжаю совершенствоваться и не падаю духом совсем. И еще, надеюсь, поднимусь повыше. Главное не угонуть в самомнении. В России русские поэты и писатели не только русские (например, и Чингиз Айтматов, недавний наш кумир, и Окуджава – разве ими не стоит гордиться?) – но и они и многие другие – именно РУССКИЕ, я на них даже больше надеюсь в нашем настоящем русском "национализме", в нашем народничестве, чем на тех, кто надевает сапоги и квасит их дегтем. Да я сам на днях, когда достали меня "православные русопяты", объявил, что я иудей. И все поверили! Даже я сам.

Любовь к отечеству как обязанность может отвлечь от отечества свободочувствующего человека, как отвращает требование "супружеского долга". *Давать* все же следует не по долгу, а по любви, и отечество любить – не по обязанности, а ПО ЛЮБВИ, не за почести и не за деньги.

Народность – это свойство писателя (и человека вообще), характеристическая черта, как искренность, медлительность, аристократичность и честность. Но если прилагательные, образованные от искренности и честности, то есть искренний и честный, означают то же, что и соответствующее существительное, то *народный* образуется от «народ» и означает принадлежащий народу.

Но, впрочем, хватит грамматики.

Надо прояснить до конца отношения писателя к Богу, церкви, религии, отечеству и народу, царю, обществу, истории и культуре.

А взаимоотношения поэта-писателя с *народом* прежде всего.

Если это неравнодушие, любовь-страсть, любовь-ненависть, гордость и презрение вместе, если это нерасторжимая привязанность, нечто неотделимое от личности как «пол и характер», то в чем ее истоки?

Не должен ли поэт повернуться лицом к «человечеству», отряхнув от башмаков *народное*?

Ибо разве не безумие овладело немцами, установившими вектор своего духа в одном направлении – выяснении расовой чистоты своих граждан?

Но я думаю, что это следствие чувства своей неполноценности. Проиграв Первую мировую войну, они утратили чувство меры, самоанализа, критического взгляда на себя. Нежелание смотреть на себя в зеркало приводит к переоценке (то есть СВЕРХоценке) собственной личности. Вот также малые народы болезненно воспринимают любую попытку критики в свой адрес, даже этот термин: «малый народ» они потребовали заменить на «малочисленный»; хотя, кстати, тогда мы все уравнины *сравнительно* с китайцами, и немцы и французы и русские и армяне и чукчи – *малочисленные народы*. Однако, как бы то ни было, на театре европейской истории, сменяя друг друга, выступали народы Европы неодинаково, и с этим ничего не поделаешь.

Итак, существует единственный признак спокойного, «нормального» национального чувства: способность видеть собственные язвы, бичевать их и ненавидеть, гордиться только тем, что действительно превосходно, не обвинять в своих язвах и бедах чужих, а если уж и обвинять, то понимать, что все виноватые (если они действительно виноваты) виноваты **вместе** с нами. Так в результате Второй Мировой войны мы потеряли вдесятеро сравнительно с немцами своих граждан. Что мы претерпели столько бед и принесли великие жертвы на алтарь победы, виноваты немцы, развязавшие Вторую Мировую войну (и уж во всяком случае не мы вынуждали их отторгать Судеты у Чехословакии, напасть на Польшу, затем на Францию, затем на Югославию и так далее...). Но что жертвы наши были столь велики, что мы так бездарно воевали, что мы сначала отступили до Волги (и чуть не до Урала), и сдали в плен **всю** Армию сорок первого года, потеряли все самолеты и танки и половину страны – виноваты, конечно, не немцы. И что человек, по ВИНЕ которого погиб цвет нашей молодежи, по вине которого умирали миллионы от голода и ранений, мучаясь, в том числе ДЕТИ, – сегодня кумир для половины народа (кстати, не воевавшего, не терявшего

своих отцов на той проклятой войне, а значит не имеющего морального права оправдывать ЧУЖИЕ жертвы), – в этом виноваты не немцы. Они своего бывшего кумира проклинали.

Но вернусь к национальному чувству. Я русский, русский из русских (как говорил апостол Павел), мой предок вместе с Ермаком присоединил к России Сибирь, которая нынче кормит тот русский народ, который не хочет здраво смотреть на себя, на свою историю и своих правителей, слушается не Пушкина и не поэтов, а всяких самозванцев, по большей части плохо говорящих по-русски (неважно, от каких родителей они родились). Мой отец вместе с сибирскими дивизиями защитил нынешний Петербург от пленения, а значит и всю Россию. Русскость я уже достаточно объяснял, а до меня великий Пушкин. Как вода не бывает химически чистой, а содержит в своем составе и минеральные соли и, возможно, в той или иной мере все, что есть на Земле и в космосе, так и народ. Метафора сравнения народа с водой (даже и родниковой, не говоря уж о той, что мы пьем) не унижает тех, чьи предки пришли в Россию позже Рюрика, так как я не говорю и не знаю, что придает воде вкус; возможно, минеральные соли, то есть "примеси" (сравнительно с H₂O).

Итак, я повторяю, что к русским я отношу всех, кто себя считает русским. И немецкая девушка, приехавшая в Россию изучать жизнь бомжей и оставшаяся здесь жить и захотевшая стать русской – русская вдвойне; и австралийская девушка, изучившая русский язык, чтобы читать Пушкина и Достоевского и объявившая себя русской – русская втройне; и я пытаюсь быть русским, хотя временами мне хочется отсоединиться, потому что я ненавижу раболепие, верноподданность, тиранолюбие, воинствующее невежество, ненависть к другим (в частности, к инакомыслящим) – а таких у *патриотических* русских пятеро из трех.

Я вправе говорить за мой народ, даже если я от него отлеплюсь. А вправе потому, что я сам из племени русских поэтов (помимо того что я сибиряк и математик). А еще более потому, что я ни у кого своего права не испрашиваю и не получаю, даже у самого Бога.

И все эти пассажи написал не для того, чтобы объявить, что справедливо только то, что думаю и пишу я, а чтобы объявить, что справедливо только то, что сообща проповедует русская литература. ИДЕОЛОГИЯ же, исходит ли она из «единственно верного учения всех времен и народов» (недавно единственно верного) или из бесчисленных интерпретаций касты богословов текста Книги книг – идеология всегда вторична сравнительно с литературой, философией и наукой.

А черту под рассуждениями о русскости и России подводит, конечно, Пушкин:

И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Пушкин всех тех, кто его *назовет*, крестит в тот русский народ, подлинно русский, о котором я говорю.

Но разве не он же даже в образованном обществе, к которому принадлежит, даже среди писателей выделяет чернь (причисляя к ней, конечно же, Фаддея Булгарина, а "за компанию" Греча, Полевого и Сенковского)? Следовательно, *народ* раздвоен независимо от тунгусов, татар, ляхов и евреев, в нем есть и *чернь*, которую Пушкину не хочется причислять к народу (и мне, разумеется, тоже), но в нем же есть и большой народ, который тоже "ни при какой погоде" Пушкина уже не читал (после школы), не прочитает и меня и тех авторов, которых я люблю (включая современных).

Что же делать с этим народом?

А я с ними и дружил, и водку пил, и даже иных уговаривал... но умолчу...

Я на этот вопрос вопросов, измучивший меня в течение жизни, полноценно не отвечаю, страсти слишком во мне клокочут. Но русская литература, начиная от Аввакума и до Натали, Наташи и Анны, на него отвечает, и еще предстоит ей о сем поразмыслить.

Но ведь литература противоречива, один из писателей-поэтов в лес, другой по дрова! Так что же верного может проповедовать совокупное учение, исполненное противоречий?

5. Противоречивость живого, литературы в особенности

Человек – единственная во всем божьем мире сущность (или существо?), ну, словом, единственное во всем божьем мире НЕЧТО, что является собою, *идентично* себе только в силу полноты противоречий. И это неоспоримо, самоочевидно и не подвергается сомнению. Ибо и сам язык антиномичен, в нем содержатся все оттенки сущего, все его особенности, все его противоречия и несуразности. Более того, всякое понятие в языке зыбко, текуче, нет почти ничего, что не переходило бы в свою противоположность.

Только сходя с ума, человек делается правильным, теряет противоречивость. Он перестает пользоваться метафорами, речь его становится прямолинейной. На этой особенности психически больного человека основывается диагностика многих психических заболеваний.

«Я человек прямой» – увы, это утверждение справедливо для Скалозуба или параноика. Обыденный человек, даже самый обыденный – не прямой. И "женская логика" – не столько женская, сколько житейская. Только в математических и научных рассуждениях мы пользуемся прямолинейной военной логикой. И женщина, противореча самой себе, здравому смыслу, противореча мужчине, миру, прописным истинам, – утверждает подлинную антиномичную жизнь. Потом она смиряется, устает от противоречий, да еще рождает детей, и становится консервативной, такой же, как все мы.

Вот такова же и литература. Она, как я уже говорил, женственна. Не говоря уж о том, что героиней романа является именно женщина. Из нее истекает завязка, интрига, развитие сюжета.

Гений и герой – две ипостаси высокого мужского начала, словно бы инобытие красоты. Мужчина стремится стать гением или героем, женщина мечтает быть красавицей. Ахилл и Елена, Одиссей и Пенелопа, Тристан и Изольда, Лознгрин и Эльза, Наташа и Болконский... – Тезис и Антитезис. Но синтеза нет, и в этом трагедия мира.

6. Свобода и зависимость

От царя, как и от народа, писатель (поэт) стремится быть свободным: "Зависеть от царя, зависеть от народа – Не все ли нам равно?" – говорит он устами Пушкина.

Представим себе юношу (или мужчину), ухаживающего за юной *красавицей*, являющейся, как ей и положено, кокеткой, вертихвосткой и насмешницей.

Он, возможно, и клянется ей в вечной любви, дарит комплименты и подарки, но она ему еще НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ, она свободна, и пока она еще не вышла замуж, еще не его жена, то она еще и не «вещь для него» (по Канту), еще «не его», она еще сама по себе, сама для себя. И ее любовь еще – только для любви, как *искусство для искусства*.

Но поэт никогда не выходит замуж ни за царя, ни за народ, ни за Бога, ни за государство – он принадлежит... нет, он, кажется, ничему не принадлежит, хотя к жертве он готов, даже больше тех, кто *принадлежит*.

Во имя свободы и чести, за друзей и за отчизну он готов умереть – но это его собственный выбор, а не посторонний приказ.

Чаще всего отвлеченные идеи (или кажущиеся отвлеченными) противопоставляются *жизни* как подлинности, как единственной реальности и единственной ценности. Вдохновение, любовь, свобода, честь, культура – это «идеалы» (то есть отвлеченные идеи), это бесплотность, а подлинная *жизнь* состоит ... да, кстати, тут сразу тоже возникает затруднение для глашатаев подлинной *жизни* – в чем же она состоит? В чем-то, что совсем не включает в себя вдохновение, любовь, свободу, честь и культуру?

Но когда реальность включает в себя идеальное, то она приобретает полноту бытия, она становится *действительностью*. Вот так же в нашем мире души не живут сами по себе, без тел, но ведь и тела без душ только прозябают. Поэтому и *реальность* в «чистом виде», отдельно от культуры, традиций, воспоминаний, верований или хотя бы суеверий не существует даже в самом диком обществе.

Поэт не нанимается на службу, не продается (в своем идеальном бытии, поэт как *избраннык*, как воплощение вдохновения, как воплощение Духа), он существует так же, как существует *красавица* – он кумир толпы или общества, или и того и другого. Толпа ему поклоняется, рукоплещет, клянется в вечной любви, дарит комплименты и подарки, но поэт никому НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ, он свободен, он еще не «вещь для всех», он еще сам по себе, сам для себя.

Итак, независимость поэта – это не миф, это форма его творчества, без независимости вдохновение не истекает на землю от неба, «рабы божьи» к творчеству не способны, они только охранители каменных скрижалей прошлого.

Итак, поэт независим от тех форм жизни, которые мы уже перечислили – но независим ли он от жизни? Разве он не чахнет в тюрьме как все, не умирает от голода, не умирает на дуэли, не умирает от несчастной любви и от старости? Не заключает договор с издателем, не получает от него деньги, не

спорит с редактором, не пытается переписать иные страницы текста по требованию цензуры, не сжигает, в конце концов, в отчаянии свое творение? Ну разумеется! И поэт человек. И он «продает рукопись», хотя и «не продается вдохновенье», как говорит Пушкин.

Дух существует через культуру, в частности, через математику, а математика существует, в частности, через теоремы, например, через утверждение, что прямая, перпендикулярная двум пересекающимся прямым, перпендикулярна плоскости, образованной ими.

И ни царь, ни толпа, ни партия, ни орден с этим поделаться ничего не могут. Они могут убить ученого, учителя, даже их учеников, но теорема уже не истребима. Вот так же поэзия – это функция. Человеческое есть и в поэте, и в нем же есть божественное. Вот это божественное неподвластно ничему. Как, кстати, и любовь. Хотя мы знаем, к несчастью, что и красавицы поддавались силе или злату – но они не могли *полюбить* ни насилие ни богатство.

Так что же, поэт служит только себе, небу, музам, вдохновению? Или как ветер «свободно веет», ни для чего, ни для кого?

Нет, как я уже сказал, он создает культуру и преображает жизнь. Он преображает реальность в **ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ**. Он крестьянин, который готовит пашню к тому, чтобы она могла плодоносить. Без него пашня превращается в бесплодный камень.

Впрочем, истина трагичнее. Если и вправду дьявол с Богом борются, то поле битвы – это не сердца людей, а только страдающее сердце поэта. Человек, по выражению моего земляного товарища, это растение, которое хочет только одного – чтобы ему не мешали расти, укореняться, пить воду и воздух, производить и разбрасывать семена для произрастания других таких же растений. Вы, поэты, не только нам не нужны, но вы мешаєте нам жить, вы наши враги, вскричал мой товарищ.

Великий поэт – камертон. Через него звучит музыка духа и мира. Он не только землепашец, он прежде всего воин. Он сражается с силами тьмы и зла, даже если не сознает этого, даже если не хочет этого. Трагедия мира осознает себя только в его творчестве, он глаза, которыми мир всматривается в себя, он уши, которыми мир слышит, он сердце, благодаря которому мир живой, он орган сознания. Иначе мир был бы только лугом, на котором росла бы сорная трава.

Почему идет битва? Зачем? В чем ее смысл? На эти вопросы литература и должна ответить, я не единственный учитель, да я, собственно говоря, и не учитель, я только жалкий ученик, который видит и знает еще так мало...

Об отношении искусства и жизни писалось многое, противопоставляя одно другому. Если их уподобить мужу и жене, то неужели только через подчинение они могут сосуществовать? А согласие, жертва, любовь?

Мережковский спрашивает: «Что выше: искусство или жизнь, написать поэму или накормить голодного? В этом вопросе мало любви к искусству и к жизни: кто совершенно не способен отказаться от поэмы, чтобы накормить голодного, тот никогда не напишет прекрасной поэмы. Если нет в жизни такой святости, ради которой стоило бы пожертвовать искусством, то оно само немногого стоит.» К этому можно было бы добавить, что если мы не

способны пожертвовать жизнью ради идеальных ценностей – ради любви, культуры, науки, философии, революции, веры, родины – то и жизнь немногочисленного стоит.

Когда Сатана предложил Христу превратить камни в хлебы, чтобы накормить голодных, Тот ответил: *«Не хлебом единым жив человек»*.

Но Он же, когда остался в пустыне с толпой, которая последовала за ним, чтобы слушать Его проповедь, «взял семь хлебов и рыбу, произнес благодарственную молитву, разломил и стал раздавать ученикам, а ученики – народу. И все ели, насытились и еще набрали семь полных корзин оставшихся кусков».

Вот почему Пушкин, призывающий «не дорожить любовью народа», вслед за тем надеется, что:

«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.»

7. Поэт и Бог

«Веленью божию, о муза, будь послушна» – говорит Пушкин в стихотворении "Памятник". А в стихотворении "Пророк" добавляет:

«И Бога глас ко мне воззвал:
"Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей".

Ни от кого не желал зависеть Поэт, ни от власти земной, ни от народа, только что мечтал он ("Никому Отчета не давать, себе лишь самому Служить и угождать") – но не провозглашает ли он теперь зависимость от Власти небесной?

У отношений человека с высшими силами не много свидетелей, даже его собственное свидетельство не всегда достоверно. К тому же, высшие силы зримо не участвуют в нашей жизни, место их заменяет обычно церковь или государственная власть, в крайнем случае общество. Верует ли поэт в Бога, и как верует, глубже всего выражено в его художественных произведениях, но и в них не обязательно вся полнота его личных чувств. К тому же, у общества и у Поэта – один ли и тот же Бог? В одинакового ли Бога верует Поэт и православный батюшка?

А личный Бог Поэта – это не тот Бог, рабом которого спешит стать христианин, нет, это, скорее, его собеседник, наставник, вдохновитель, это Сущность, соединяющая в себе Демиурга, Аполлона, Музу, это Даймон Сократа и Лейбница, святые девы-вдохновительницы Жанны Д*Арк, космический источник постижения, открытый Даниилу Андрееву и Вернадскому.

Отношения с этим Богом несомненно не отношения зависимости и угождения, даже напротив, в Нем поэт ищет опору для своей абсолютной свободы. Поэт ожидает от Него помощи, но не требования отречься от своей творческой воли для воли божества. Бог поэтов – это Поэзия и Культура.

Читаю предреволюционные критические статьи Мережковского, значительное место в них занимают рассуждения о религии и освобождении России, то есть о революции. Много внимания Мережковский уделяет при анализе творческого пути того или иного писателя его религиозности и отношению к освободительному движению. В 1901-м году в Петербурге при его важнейшем участии открылись Религиозно-философские собрания, закрытые через два года Победоносцевым.

Верит или не верит поэт-писатель в Бога, верит ли в Бога сам Мережковский? Уж это-то кажется несомненным! А между тем неопределенные смутные религиозные настроения и Вера, такая, о которой пишет апостол Павел, имеют в себе мало общего. В отрочестве мы испытываем смутные чувства влюбленности – влюбленности "вообще" – к природе, миру, родным, друзьям, потом вдруг, как молния, нас поражает *первая любовь*, и оказывается, что это девушка, наша ровесница, соседка, одноклассница, и не неопределенный образ женственности, девичества, не греза, мечта, не сон, а живая и конкретная, с именем и плотью.

Вот так подавляющее число людей, верующих в Бога, принадлежит к той или иной религии, христианству, исламу, буддизму, ходит в церковь и верит именно так, как верит священник, а тот верит так же, как церковное начальство. Сказано: Отдай Богу Богово, а Кесарю Кесарево, и этот завет неукоснительно выполняется – пока в земной церкви не происходит раскол. Тогда одни продолжают верить, например, как папа Римский, а другие – как Лютер. Итак, земная вера очень конкретна и мало отличается от отношений солдата и капрала.

Верующий – раб Божий, и он должен повторить за Христом: Но да будет воля Твоя, а не моя! Но этот завет распространяется только на монахов, иначе бы остановилась обычная земная жизнь, и крестьянин бы не знал, сеять ли ему или жениться.

Есть еще третий Завет, состоящий в том, что человек, по учению апостола Павла, оправдан верой, и только верой, но не делами, а по учению апостола Петра, вера без дел мертва. Разрыв между этими двумя заветами больше, чем разрыв христианства и буддизма.

Есть и четвертый завет, по которому улицы Афин уставлены идолами, а следовательно художественное творчество (а затем и научное) от бесов. А следовательно верующий не должен писать книги, ибо его творения символически те же идолы. Не говоря уж о том, что претендует писатель не менее чем на изменение мира, а верующий должен принимать мир таким, как он создан Богом, и спасать свою душу.

А вывод из этих поневоле пунктирных пассажей тот, что писатель НИКОГДА не может быть религиозным в том смысле, в каком религиозен церковный служитель и даже ревностный прихожанин, и если Победоносцев только запретил писательские собрания, то Торквемада или епископ Николай из Мир Ликийских этих участников их поспешно бы сжег. Вот в середине 17-го века в Москве создается общество Ревнителей веры, куда входил и Аввакум и Никон, и далее церковь раскололась надвое и запылала костры.

Можно написать целую книгу о религиозных воззрениях Достоевского, но мало отношения она будет иметь к его творчеству. Хотя это кажется странным.

В какого Бога верит поэт? Об этом можно размышлять, иногда можно исследовать, но не всегда такие исследования прибавят что-то важное к пониманию поэта и писателя.

Писательский роман посвящен отношениям героев между собой и с государством, но не роману их с Богом. Уже одним тем, что писатель пишет книги, он выходит за церковную ограду. Хотя ничто ему не мешает иметь свой образ Бога и свой образ Храма.

Таким строительством собственной церкви занялся Толстой, и неудивительно, что был отлучен от церкви православной.

Метафорически можно сказать, что образом церкви (скажем, русской православной, но это справедливо и для всякой другой) является неизменный небесный свод, интерпретируемый по Птолею, но не по Копернику. Но мы ныне живем в *текущем* мире, возделываем (culture) его, вместо того, чтобы молиться... Иные полагают, что это можно сочетать. Три наивных девочки попытались возделывание и молитву соединить (если верить, что они именно христианки, как они уверяют). Еще не затихли проклятия, источаемые в их адрес проповедниками любви и всепрощения. Правда, проклинаящие были правы: они верили, как их патриарх (а разве можно верить иначе?)

После уже четырех русских революций, после того как русская история сначала совершилась как трагедия, а теперь совершается как фарс, религиозные высказывания писателей предреволюционной поры очень наивны. Но их творчество в целом современному писателю необходимо знать, если мы не хотим строить над пропастью.

Нет, поэт независим даже от Бога.

Если крикнет рать святая: "Кинь ты Русь, живи в раю!" Я скажу: "Не надо рая, Дайте родину мою".

8. Быть может, "слова мои тщетны"...

Еще одно, последнее сказанье –
И летопись окончена моя...

Разделив народ на три народа, на аристократию, чернь и "людей-растений", я свою душу отдал аристократии. Но значит ли это, что сердце мое перестало болеть, и всех, кроме избранных, я отринул? Нет, беспутное дитя даже дороже матери, чем пугавое, и плачет она, убивается над беспутным дитем. *Что делать и кто виноват?*

Кто, кроме литературы, ответит мне на этот вопрос?

Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, говорит апостол Павел. Если я никого не подвинул работать над совершенствованием, то слова мои, расточаемые в этих записках, тщетны вдвойне. Тем более что и расточаю я их с сомнением. *Язык – душа народа.* Ну, хотя бы моего народа. А я принадлежу к писательскому племени, так уж не этого ли племени душа – язык?

И его надо оберегать от тлетворных воздействий, как оберегаем мы праздничное платье, как оберегаем возлюбленную, как дрожим над малым дитем. Что же в языке важнее всего?

СТРОЙ.

Слова взаимозаменяемы. Хотя и надо их беречь и чувствовать, но как и в музыке, мелодию создает сочетание звуков, «расположение слов в наилучшем порядке». К сожалению, мои заклинания почти не действовали на авторов, пишущих небрежно, они пытались меня убедить, что так говорят на улице, так говорят их герои. Но зачем они таких дурноговорящих героев тащут на страницы книг? Да и не перекладывают ли на героев свою собственную вину? А что и современный сленг может приводить в восторг, несомненно, вот такова речь Таи (в романе "Обнаров" Натальи Троицкой) на вступительном экзамене, такова речь героев Страны падонкаф, речь футбольных фанатов в повести Первый курс. Надо помнить, что Маяковский изводил "единого слова ради тысячи тонн словесной руды", а мы не только нелюбопытны, и перестали читать, но и ленивы (перифразируя Пушкина).

Сегодня в России наступила эпоха разрушения и упадка. Упала промышленность, пало воспроизводство нации, пали нравы, падают культура, наука, образование. Не в языке ли последние скрепы российского мироздания? Падают и они.

Но уж мы, писатели, не должны быть виновниками падения духовных скреп!?

*Евангелие от куста жасминового,
Дыша дождем и в сумраке белея,
Среди аллей и звона комариного,
Не меньше говорит, чем от Матфея.*

Так говорит замечательный современный поэт Александр Кушнер. А кстати, не подчеркивают ли его слова, что у поэта не только канонические евангелия, но и неканонические, и даже вся природа – его *Евангелие*? (Это к слову об истоках религиозности).

Что из себя представляют мои Записки? Ставил ли я целью учить писать? Нет. Я и сам этого не знаю. Я только хотел поговорить о том, как мы пишем, одни хуже, другие лучше, что нам следовало бы учитывать, чему учиться у великих. Термин Редактор я применяю расширительно, включая в это понятие Редактора журнала, литературно-художественного редактора, литературного критика, отчасти публициста, отчасти корректора. Часто бывает так, что редактором становится тот, кому не удастся стать писателем. И его советы могут быть даже опасны, особенно начинающим. Я пытался не быть самоуверенным, всегда готов был обсудить с автором мои претензии. Правда, не все их слушали.

Что великого в Толстом? Это ПРИРОДА, преображенная в красочный и пахучий сад. Это обыденный мир обычных людей, в каждом из которых ничего поучительного. Это МОЩЬ языка (даже с его неправильностями). Но это не религиозное УЧЕНИЕ, не философия. *Обычное, доведенное до совершенства.*

А Достоевский? Его герои тоже из нашего мира, они тоже не «герои» в романтическом смысле, не герои драм Шекспира, Шиллера и Гете.

Что же тогда отличает его от Толстого?

Мережковский об этом говорит ясно и глубоко, и я отсылаю читателя к его книге «Толстой и Достоевский».

И на прощанье перепишу из него прекрасные строки:

«Существует в поэзии четыре рода понятного и непонятого.

Первый род, вечный и прекрасный: понятное о понятном. Художественный реализм "Одиссея", "Капитанской дочка", "Войны и мира".

Второй род, столь же вечный и прекрасный: непонятное о непонятном. Мистический романтизм второй части "Фауста", Эдгара По, Новалиса...

Третий род, редчайший, труднейший и прекраснейший: понятное о непонятном. Мистический реализм, до которого возвышаются греческие трагедии, Данте, иные религиозно-философские воззрения Гете, некоторые страницы Достоевского, Ницше, некоторые стихи Тютчева и Лермонтова.

Наконец четвертый род, легчайший и никуда не годный: непонятное о понятном.»

Иногда я говорю «Поэт и Поэзия», имея в виду художественную литературу и ее создателей. К ним я отношусь очень серьезно. Это не способ развлечь скушающего читателя. Это огонь, низведенный с неба, о котором говорит Христос. Но сие не значит, что не относится к высокой литературе приключенческий или фантастический роман. Истина может принимать разные формы, только она должна быть Истиной.

Что нужно, чтобы писать хорошо?

Чтобы писать стихи, надо влюбиться, увы, несчастливо, счастливому влюбленному не до стихов.

Чтобы написать трагический роман, надо страдать.

Что нужно, чтобы написать искрометную Рыжую Мэри, надо спросить у Анны Бартовой, я не знаю.

9. Миссия и Мессия

Жаль расставаться с воображаемым читателем (если, конечно, он есть). Кстати, а для чего и для кого мы пишем? Стихи я начал писать, как и Пушкин, «для вас красавицы, для вас одних», а потом... вероятно, это особого рода болезнь, страсть к писанию, и не хочешь, а пишешь. Иногда мне кажется, что пишу я вместо стенаний...

Намеревался написать отдельную главу *О трагическом...*, но серьезный разговор требует книги, а не главы. Поэтому подожду более трагического времени, обнимающего не отдельные только судьбы, а судьбу России. А оно уже близко. Хотя, скорее всего, это задача писателя-художника, а не публициста, философа, ученого.

Поэтому в окончании своих Записок ставлю последний вопрос (перефразируя Станиславского по поводу театра): **В чем Сверхзадача Романа** (и литературы в целом)?

Как оказалось, Апокалипсис откладывается, да я и все равно не успел завершить Записки, поэтому их завершение отложу дней на несколько – теперь спешить не надо. И я напишу о том, что литература – это особая форма математики, а тогда смогу ответить и на последний вопрос. Но чтобы не быть надоедливым, надолго задерживаться все же не буду.

Ибо рассуждения о литературе чаще всего вторичны. Впрочем, и сама литература не всегда совершенна, она тоже постоянно скользит на обочину: в творчестве отдельного писателя, направления, эпохи. Художник, направление, эпоха не всегда чувствуют, когда надо поставить точку.

Вот и кстати спросить, как становятся редактором?

Возможно, с отчаянья...

Но:

Не пора ли перестать волочиться за музами,
Сделать перерыв хоть лет на триста?
Веники рубить для бани, связывать,
Детям полюбить басни рассказывать,
Старым ледоколам стать пристанью?

*Поэзия, говорят, езда в незнаемое,
А знаю ли я даже то, что известно,
Платья обветшалые за всех донашивая...
Что в стихе сказуемое и что осязаемое?
Синтез откровения и общего места...
Может, зря дорожки я к ним прокашиваю...*

У литературы есть своя миссия, но так же и у писателя. Возможно, есть она и у редактора. Писатель, поэт, философ стремятся достигнуть совершенства не только в форме своих творений, но и в содержании. Они словно поднимаются на гору, их творчество не только обращено к читателю, но, возможно, в большей степени является способом их личного восхождения.

Целью творчества для творца является достижение особого состояния, в котором открывается истина, а сам творец становится пророком.

Это состояние называют Благодатью Божией, Самадхи, Духовным преображением, состоянием *Откровения* или Вдохновения.

И именно в этом состоянии литература раскрывается как *Миссия*, а автор возвышается до *Мессии*.

Гений – это Дух. Но "Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон, В заботах суетного света Он малодушно погружен; Молчит его святая лира..."

Значит, поэт – как все... И *гениальный* поэт – тоже. И только тем от всех отличается (и от других *талантливых* поэтов), что возносится в особое состояние, "лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется"...

Литература – это ОТКРОВЕНИЕ о мире и человеке. И только литература достигает *откровения*. Вот почему гениальный поэт ВЫШЕ – царя, воина, судьи, священника...

Но какова форма этого *откровения*, я скажу в последних страницах.

Мой конвой устал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Литература как Математика**1. Учения о мире и жизни**

Среда, 24 июля 2013. В центре каждого Учения о мире (и жизни) лежит некая все-объемлющая Идея, из которой именно вытекает и устанавливается смысл жизни человека и человечества. Но так как и человек и мир исполнены противоречий, то дело не ограничивается одной идеей, ее дополняют еще многие, нельзя сказать, чтобы и второстепенные идеи, ибо иные из них претендуют даже на то, чтобы занимать в Учении центральное место, и иногда занимают, и именно в связи с ними оно разделяется на множество часто противоположных Учений, сторонники которых разрешают свои противоречия в том числе в кровопролитных войнах.

Вот почему не удастся не только исчерпывающе, но даже хотя бы отчасти убедительно ответить на вопрос: В чем сущность христианства, марксизма, буддизма? Национализма (народничества), космополитизма, глобализма, евразийства и прочее...

Христианство, как оно видится через Евангелия, возвестило о *Спасении* человека через смертную жертву Бога, воплотившегося для этого в человека, о спасении, которое **ОДНОВРЕМЕННО** должно было включать в себя грядущее воскресение, преобразование мира, а в настоящем указывать Путь к этому грядущему.

Но:

Идея Спасения должна была обуславливаться мифом о предшествующем сверхъестественном грехопадении человека, в результате которого исказился, извратился весь АКТ творения, так что для Исправления мира оказалось необходимым прибегнуть к Сверхмере: Распятию на кресте Сына Божия.

Кроме того, возможность такого спасения должна была вытекать из безграничной любви человека к Богу, Веры в Бога и решимости ожидать исполнения Завета Спасителя, так как Преобразование и окончательное Спасение откладывалось до Его Второго пришествия.

Сократ и его предшественники учили: *Познай самого себя*, и ты познаешь всё – что предполагало, что в личности человека уже заключены ответы на все вопросы, так сказать, все концы и все начала мировой загадки. Однако, когда пришел его смертный час, он над Собою, над своим своеволием, даже над собственной жизнью поставил Закон, обычаи, Афины.

Смысл жизни христианина в спасении своей собственной души. «Спаси душу свою и тем самым тысячи вокруг тебя спасутся», учил Серафим Саровский. Но для того ли надо спасаться, чтобы эти тысячи спаслись, или для себя? Все же СВОЮ душу надо прежде спасти или сначала надо позаботиться о жене, детях, ближних, Родине? Ибо в Священном Писании говорится еще и о том, что *после Бога* человек должен любить своих ближних (хотя, правда, когда первые христиане объединились в общину и принесли в

нее свое имущество – как о том рассказывается в Евангелии, – тот, кто оставил часть имущества своим детям, утаив от ревнивого Бога, пал бездыханным. А потом и жена его, его пожалевшая).

А ныне по улицам ходят проповедники и учат, что Христос нас *любит* и мы УЖЕ спасены, забывая, что в Евангелии сказано, что когда Он придет, то только малый остаток всех нас спасется, а для остальных настанет мрак и скрежет зубовой...

И все же христианское Учение по преимуществу обращено к СВОЕЙ душе (как и Учение Сократа), которую надо всемерно спасать, для чего надо оставить и детей, и семью, и Родину, и даже возненавидеть весь мир и собственную плоть.

Хотя, правда, достаточно ли собственных усилий человека для спасения, сомнительно, если христиане проповедуют, что наша "святость" – даже святого – смердит перед Господом и все мы, следовательно, так вопиюще и мерзко грязны, что в спасение нас пускать еще рано...

Вот так и в центре марксизма тоже все замечательно, "*всё для человека и во имя человека*", и «чучка видел этого человека в Кремле». Только тот человек, для которого *всё*, должен был быть человеком с Большой буквы, а когда с маленькой, то его можно было пытаться жечь и топить и в европейском христианском средневековье, и в советском большевистском средневековье, и в культурных революциях от Китая до Камбоджи.

Я – идеалист и романтик. Всеобъемлющего учения о мире у меня нет, хотя я имею перед мысленным взором ИДЕАЛ и пытаюсь мыслить, чувствовать и действовать в соответствии с этим идеалом. Правда, что является моим идеалом, я не знаю, у меня предчувствие идеала, смутная греза о нем, настолько смутная, что, возможно, идеал этот вовсе не Дон-Кихот и даже не Пушкин, а прекрасная девушка... может быть, Жанна Д*Арк...

Христианский призыв возлюбить *ближнего* (после Бога) всегда находил отклик в моей душе, но возникало еще сомнение, что не надо ли возлюбить и всякого (как полагают иные, и как в порыве сострадания мне тоже иногда казалось)? Хотя этому порыву в моей страстной душе противоречило стремление *судить* по делам и намерениям и делить народ (и ближних в том числе) на чуть ли не враждебные друг другу части.

Вот так же Пушкин любил своих товарищей, восторгался талантливыми поэтами, но они составляли меньшинство, а большинством (при этом речь шла о культурном сословии, НЕ о крестьянах) являлась Чернь. (Именно ее теперь называют часто Быдлом. И этим словом в сердцах и я крещу окружающий меня народ).

Кстати пояснить, что **чернь**, или толпа (*οχλος*), были и в Афинах и, по Полибию и Аристотелю, власть черни называлась *охлократией* (или *вырожденной демократией*).

Как и Пушкин, *черню* и я называю не крестьян и рабочих, которые мои книги НИКОГДА не возьмут в руки и не прочитают, а худшую часть образованного общества, но *подавляющую*, правда, часть.

Быть черню, быть толпой – это и определяющий, характеристический признак современной интеллигенции (а о ней я и говорю), и ситуативный признак. Все мы способны стать и быть черню. Академики, проглатывающие начинания правительства по уничтожению Академии наук, чтобы не потерять свои сребреники, даваемые за лояльность, и свое положение – из трусости, – та же *толпа, чернь, быдло*. Все, кто видение окружающего мира получает из рук и уст Начальства (царя, чиновников, патриарха, священников, правительственных публицистов) – быдло.

Сегодняшнее раболепие интеллигенции удивительно, ибо царская власть еще не до конца выкристаллизовалась в Тиранию, и нынешнюю форму правления уместно считать смесью из автократии, тоталитаризма, охлократии, олигархии, тирании.

Сегодня пока еще смесь. Но завтра будет тоталитарная Тирания.

И виноват в этом будет ВЕСЬ народ, который состоит из нескольких частей. Рабочие и крестьяне – это просто болото, на котором может вырасти что угодно. Не они главные виновники вырождения и падения России. Хотя им до России сегодня как до оперного театра. Но не они виноваты ни в падении России, ни в падении Культуры. У них была своя, народная культура, и они ее лишились по таким же обстоятельствам, по каким мы лишились лесов, лугов, ухоженных пашен, памятников архитектуры. Их надо было поддерживать, и это преимущественная обязанность национального государства и национальной церкви. Но *эти* сегодня заняты грабежом.

Не народ виноват, но КАЖДЫЙ и среди них виноват – индивидуально. И спасает он Россию или губит, каждый пусть ответит себе на этот вопрос сам. (Правда, чиновники Россию губят, и отвечать на вопрос об их вине должен суд).

Творческая часть народа – его меньшая часть, так называемый *малый народ*. Это не интеллигенция, это те, кто приобщен к духовному творчеству. Ну, хотя бы читает книги и слушает музыку.

Болото, чернь, интеллигенция, служащие, чиновники, партия жуликов и воров, царский двор, опричники (то есть менты и так называемые *правоохранители*)... – все это вместе составляет *Большой народ*. И именно он определяет характер государственной власти в России. А ДОЛЖЕН ее определять ТОЛЬКО *малый народ!*

Писатель принадлежит к *малому народу*, независимо от степени своего таланта. Он может быть гением и графоманом, даже это не важно. В каждом писателе содержится некое священное пламя. Книга не всегда отображает именно пламя. И не обязательно через Книгу тот, кто сегодня пишет книги, *вместо того чтобы спать на склоне у телевизора*, сможет повлиять на пожар, пожирающий Россию. Не обязательно он сможет повлиять на этот пожар и потому, что прочитает меня. Ибо и у меня еще *«язык и празднословный, и лукавый»*, но не *«жалю мудрью Змею»*. Я, возможно, только фермент, только катализатор, и надеюсь на это, продолжаю писать свою пока еще *празднословную* книгу.

Но кое что важное, важнейшее рассказать смогу только я.

Во-первых, то, что *творец* отвечает только перед теми, к кому он *принадлежит по духу*, а не по крови, не по рождению, не по гражданству, проживанию, вероисповеданию, партийности, социальному положению, профессии и тому подобному.

Хотя, увы, он еще ОТВЕЧАЕТ и перед всеми теми, к кому он *НЕ принадлежит по духу*, то есть и перед блудницами, наркоманами, пьяницами, равнодушными, невеждами, глупцами... да, к несчастью, и перед ними...

(Только, конечно, не в том смысле, что он у них будет спрашивать, что ему делать и как писать).

И кроме того, только я смогу объяснить характер художественной литературы в одном важном смысле, то есть в связи с подобием ее математике.

2. Оправдание математики

Понедельник, 23 июля 2013. У физики есть свой предмет, свои законы, описывающие отношения в ее мире. Но почему-то, не удовлетворяясь словесными формулировками, физика переходит на язык математических формул. Более того, даже метод исследования она перенимает у математики. Ньютон предлагает аксиому движения, заключающуюся в том, что ускорение пропорционально массе и силе; интегрируя указанное равенство, мы получаем Законы движения. Бросать предметы с Пизанской башни, как это делал Галилей, уже не нужно, физика становится частью математики.

Но что из себя представляет сама математика?

Она – совокупность теорем, то есть фундаментальных утверждений, представляющих вместе ее содержание.

Теорема состоит из трех частей: из условия (в которое входят исходные данные, совокупность предыдущих теорем и аксиом и, разумеется, язык безо всяких исключений, тот же язык, что и в литературе); затем из вывода, то есть "формулировки" теоремы (обычно под этим словом и понимают только сам вывод); и доказательства, то есть последовательности силлогизмов, устанавливающих согласие вывода с исходными положениями (включая и сами законы их построения, то есть логику).

Некоторые теоремы являются *следствиями*: непосредственно вытекают из полученного утверждения, так сказать, уже содержатся в нем.

Поэтому даже великий Анри Пуанкаре в недоумении говорит: "сама возможность математического познания кажется неразрешимым противоречием. ... Если ... все предложения, которые она выдвигает, могут быть выведены одни из других по правилам формальной логики, то каким образом математика не сводится к бесконечной тавтологии? Силлогизм не может нас научить ничему существенно новому, и если все должно вытекать из закона тождества, то все также должно к нему и приводиться. Но неужели возможно допустить, что изложение всех теорем ... есть не что иное, как замаскированный прием говорить, что А есть А?"

Но в действительности *доказательство не является выводением* нового утверждения из уже известных, а только *показывает*, что оно им не

противоречит. Само же "новое утверждение" обусловлено предшествующим содержанием математики так же, как новое событие в нашей жизни обусловлено тем, что с нами происходило прежде. В этом смысле автор уже не сочиняет жизнь своего героя, а словно следует за ним. Достоевский признавался, что герои с известной черты переставали ему подчиняться, он уже не был своеволен, он уже словно бы вслушивался в *нечто* вне себя, что нашептывало ему следующие страницы романа.

И в то же время жизнь меняется, дополняется, развивается, так же меняется "математический роман", *новое* иначе, непредвиденно, не известным образом дополняет его уже известное содержание, а *не заключено* в нем.

Новая теорема не вытекает из совокупности предыдущих теорем, математик не извлекает ее из них, он совершает непостижимое творческое действие, находя ее в своем уме и *прибавляя* к математике.

Но, по-видимому, образ математики уже содержится во *всеобщем* уме (уме Бога), поэтому та теорема, которую открывает ученый, не произвольна (или произвольна только отчасти), она уже есть, она заключена в идеальной математике, уже содержащейся в идеальном уме.

Так Колумб, несомненно, *открыл* Америку, хотя, несомненно, она уже все же была, и не он ее создал.

Обычная Аристотелевская логика, в которой справедлив Закон исключенного третьего и два взаимнопротивоположных утверждения не могут быть справедливы одновременно, оказывается несправедливой.

Таким образом, *новое и дополняет известное содержание, и уже содержится в нем.* (На этом и основывается предсказание будущего).

3. Литература и Математика

Но что такое *литература* (в частности, роман)?

Какое отношение она имеет к *математике*?

Возможно, весьма непосредственное, как и музыка. Что музыка и математика родственницы, это-то несомненно и давно известно, и удивления не вызывает, начиная от нотного лада, который организован математически, подобно натуральному ряду чисел. Порядок звуков, их согласованность, чередование повышений и понижений производят впечатление сложной прогрессии, в которой кроме *числа* присутствует *время*. Это словно бы ожившая прогрессия. И в то же время музыкальная мелодия или композиция более абстрактны, чем теорема, которую можно передать словами – музыку же словами не передашь: так что еще не ясно, математика ли оживает в музыке или музыка становится более конкретной, приобретает способность говорить – в математике.

Примем за некую условность, что *Музыка – это инобытие Математики* (хотя, возможно, более справедливо наоборот).

Биссектриса внешнего угла треугольника делит продолжение противоположной его стороны на отрезки в том же отношении, в котором находятся две его другие стороны (считая в направлении продолжения) – разве это не музыка?

Но важнее другое: данное *утверждение*, справедливое в силу известных *условий* (треугольника, биссектрисы, отрезков, отношений и всего исходного количества понятий и самого языка) требует *доказательства*, которое представляет из себя развернутую последовательность других положений (силлогизмов). Только после завершения такой последовательности теорема представляет из себя законченное, состоявшееся произведение математической мысли.

Соната – это последовательность мелодий и композиций, их взаимодействие, сотрудничество и противоборство, результатом которого становится подтверждение некоторого исходного музыкального высказывания, формулируемого не словами, и даже не звуками, а образами и *синтезом образов*. Это высказывание возникает в воображении музыканта и средствами музыкального лада представляется слушателю. Более того, оно представляет из себя не зрительный образ, не описание, не картину, а обобщенный метафизический символ, существующий динамически (как и философское утверждение). Соната вырастает из него, как растение из семени.

Итак, в основе всякого художественного произведения находится некий обобщенный *метафизический символ*, синтез образа, чувства и мысли. Но читатель, слушатель, зритель воспринимает эту мысль не в форме мысли, а в форме ПЕРЕЖИВАНИЯ.

Так и стихотворение заключает в себе *сообщение, возвышенное до метафизики*.

И так же роман – это *теорема*, которая высказана и доказана средствами художественного творчества. Но утверждение этой теоремы не может иметь другой формы существования, кроме данного романа. Дело в том, что всякое словесное утверждение односмысленно или двусмысленно. *Утверждение художественного произведения – многосмысленно, иногда – бесконечно смысленно*.

Литература – инобытие математики и философии вместе.

Чтобы это увидеть, рассмотрим подобие, которое проявляется в построении сонаты и теоремы.

Что мы и сделали.

Художественное произведение, например роман, представляет определенный срез бытия, это повествование о делах давно или недавно минувших, это описание или воспоминание, как "Оглянись, одинокий прохожий!" Степанова.

Это нравоучение, как "Недоросль" Фонвизина. Это философская притча, как "Кандид" Вольтера.

Это развлечение, как "Остров сокровищ" Стивенсона и "Рыжая Мэри" Анны Бартовой.

И все это верно.

Но в основании всех этих произведений лежит еще и НЕЧТО, то есть мета-физическая, мета-математическая Идея-Символ. Текст произведения создает его тело. Но нужна еще душа. Она и разлита в теле, оживляя его, если

произведение художественное. Она-то и делает произведение великим. Кроме рассказа, сообщения о происшествиях, случившихся с героями, мы узнаем еще и то, что узнается только в *Откровении* – а состоявшийся роман – это *Откровение о жизни*. На поверхности он, быть может, рассказывает о том, что всем нам известно, но... *"так поздней осени порою бывает день, бывает час, когда повеет вдруг весною и что-то встрепенется в нас"*...

Так, прочитав "Оглянись, одинокий прохожий", я болезненно вдруг ощутил, как вытекает из нас происходящее, и поехал за тысячу километров от дома на юбилей своего друга. Поехал отчасти в прошлое, которое для меня ожило... Отчасти и в будущее.

Творчество значительного автора – это целая математическая теория, а литература в целом – Метаматематика и Метафилософия.

4. Взгляд на литературу извне

Редактор – это критик и советчик, но это и учитель, и корректор, и пристрастный читатель. Редактора надо слушать и слушаться, его замечания во благо, особенно если между ним и автором устанавливается взаимопонимание (хотя бывает и любовь).

Но при этом (не говоря уж о плохих редакторах) не дай бог быть послушным и слепо довериться даже хорошему редактору! Его надо принимать с осторожностью, как микстуру – как бы не отравиться! Редактор полезен, чтобы автор с его помощью увидел свои ошибки – но автор их непременно должен увидеть и сам!

Редактор – то же, что подруга, перед которой, как перед зеркалом, вертится модница. Подруга может дать советы не кстати, но все же без нее нарядиться труднее. Зеркало беспристрастно, тем и плохо. Тем плохо и все объективное в литературном пространстве, субъективное в нем важнее.

Учу ли я, как надо писать? Нет. Не умея писать, я и стал редактором. Если бы писать я умел, я бы писал собственные романы.

И все же, так как со стороны часто виднее, редактора надо внимательно слушать, ибо Редактор – это читатель, уже научившийся читать, а не глотающий картины и фразы.

Это собственник Рембрандта и Тициана, а не торопливый вор, срывающий полотно со стены, не успевая его разглядеть. Это "Скупой рыцарь", наслаждающийся своим богатством. Это нетерпеливый любовник, а не скучающий ловелас. Это жадный ученик, жаждущий постижения истины, а не скептик-семинарист...

Досадно, что то, чему мы пожертвовали громадное время своей жизни, сами мы не в состоянии прочитать, увидеть, услышать как должно. Воистину, лицом к лицу со своим творением лица его мы не видим.

Вот отчего я так часто впадаю в отчаяние, открывая собственные книги, почему и не спешу резать даже того автора, которого хочется резать (правда, я себя тут же успокаиваю: но ведь иначе он, со своей энергией, стоял бы в подворотне с кистенем или ножом!)

Всякий автор оправдан, как и всякий читатель, и почти всякий зритель – кроме зрителя телевизионного ящика. Этим оправдания нет!!!!!!!

5. Рациональное и иррациональное

Хотя и справедливо, что РОМАН – словно бы некая Теорема, но есть от нее существенное отличие: "теорема о биссектрисе" справедлива для всех треугольников в нашем "евклидовом" пространстве, а у автора романа свой собственный мир, не тождественный миру за пределами его художественного воображения. Это и не тот объективный мир, который воображаем мы сами. Роман не обнимает своим образом-символом *всеобщее*, даже если это Роман о тоталитаризме, то есть об *одномерном мире*, созданный художником. В его теореме *всеобщее* становится только частностью живого противоречивого многообразного мира. Мир "Войны и Мира" – это и весь мир, и мир только частичный, в него не входит Большой народ, сколько бы Платонов (или Невтонов) Толстой ни ввел в ткань произведения.

Да живой, не тоталитарный мир и нельзя "сформулировать", формулы – удел публицистов, дрянных философов вроде Ульянова и вторичных богословов вроде современных дьяконов.

Но хотя воображаемый романский мир и не тождествен "миру как таковому" (хотя мы уже знаем, что "такового" мира нет, мы только научаемся созидать более полный образ мира в результате культурного, духовного и житейского опыта), но Откровения о мире художественное творчество достигает. Дыхание его не раз касалось меня при общении с великими творениями культуры.

Однако ни писатель, ни поэт, ни композитор не формулируют в словах тот синтетический *образ-символ*, из которого рождается произведение, и который в нем, кристаллизуясь, означает словно бы формулу теоремы. Сущностью творчества является интуиция, слово и порядок слов мучительно выбираешь, повинувшись только интуитивному чувству. Ремесло его не заменяет. Именно поэтому и не может существовать всерьез пособия по сочинению стихов и романов. Именно поэтому не самонадеянный редактор не заменяет видение, образный строй, сюжет, даже манеру говорить художника собственными манерами. ("И все же, все же, все же..." художник – ДОЛЖЕН... **Художник должен, прежде всего, языку, затем НАРОДУ** – да, тому самому народу, который на девять десятых состоит из *болота*... Но, как сказала великая Жанна, возражая христианской идее о мерзости человека: *Да, он мерзок... НО он бросается наперерез лошади, чтобы спасти ребенка, и погибает!*)

Другого народа у нас нет, кроме этого, и мы должны, не оправдывая его вины и слабости, не сюсюкая перед ним, ПОМОЧЬ ЕМУ ВОСКРЕСНУТЬ к подлинной духовной жизни.

После инвектив Герцена, Иванова-Разумника, Горького и Маяковского в адрес обывателей-мещан мы уже верим, что в них сосредоточено все вселенское зло, что в этих людях-растениях, производящих побеги и "*вещный мир*", кроме "мурла" ничего нет, а все прекрасное сосредоточено в племени поэтов и писателей. И несомненно, что это лучшие, это избранные. Это вам не какое-нибудь быдло!

Вот, например, Маяковский, великий пролетарский поэт. Это, конечно, не Ленин, надевший хомут и кандалы на Россию, создавший теорию и практику

невиданного в истории человечества тоталитарного режима. Это не невежественный злобный хам, возомнивший себя пророком и не только истреблявший пророков в России, пока шла Революция и Гражданская война, но и после войны выславший их от нас целыми пароходами!!! (А, кстати, лучше ли наше хамское время того злобного? Позавчера реабилитировали чекиста, претворявшего в жизнь указания вождя, расстрелявшего Гумилева и множество других достойных, организовавшего тот самый "философский" пароход!!!) Итак, что, если бы именно Маяковский стал главой государства, поводырем и водителем? Все таки гений! Но прочитаем, например:

Единица – вздор,
 единица – ноль,
 А если
 в партию
 сгрудились малые –
 сдайся, враг,
 замри
 и ляг!
 Партия –
 рука миллионопалая,
сжатая
в один
громящий кулак.

Да этот как бы не истребил больше, чем Коба!

(Хотя и предполагал, сомневаясь, Пушкин, что гений и злодейство все ж несовместны – но, в то же время, не он ли так немилосердно говорил о поэте: "Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон, ... [то] ... *меж детей ничтожных мира, Быть может, всех ничтожней он.*"

Когда стихотворение рождается *безотчетно*, не испытываешь сильных мук, и стихотворением восторгаешься. Если же в основе его предвзятая мысль, то пока ее не закопаешь глубоко в землю, только муки в нем и видны. Так что формула противоположена художественному творчеству, в основе его безотчетное чувство, интуиция, *иррациональный образ*.

(Но возражу избитому понятию *образа* в противопоставлении его *мысли*. Мысль то ведь тоже не обязательно рациональна! Если проза не интеллектуальна, то она художочна! Хотя и сказал апостол Павел: *будьте дети душой*, но он же добавил: *но по уму будьте совершеннолетни!*) Писатель – тем более!

Зрительный образ, "картинка" – только дополняют мысль.)

Художественный образ – это непременно синтез, это символ. Что в нем есть и чего нет, это ведомо только художнику, а мы узнаем, когда прочитаем его книгу.

Говоря о рациональном и *иррациональном*, я хочу только поставить предел критическому анализу. Исчерпывающе *объяснить* произведение (как того хочет школьный учитель) нельзя. Только плохое произведение всецело подчиняется анализу. Критик и редактор говорят что-то иное, чем автор, чего,

возможно, в романе и нет, они поют собственную песню, вдохновенные песнью автора. Так бывает, что запоет соловей, и начинают ему подпевать не только соловьи, но и синички. Вот и я такая синичка, так что не обольщайтесь, я не поймаю роман в тенета математических формул. Но что-то интересное, возможно, открою и я.

Вот так, возвращаясь к романам Толстого, мы с удивлением устанавливаем, что автор не превосходит и нас своим интеллектом, и герои его заурядные люди – а чем же тогда трогает нас этот роман? Отчасти именно этим, не производит он впечатления, что написан умником про умников, но одним из нас о таких же, как мы.

Воздух в нем тот же, которым дышим и мы, стихи и он писать не умел, Наташа тоже *хотела*... И в Анне Карениной даже деревенская баба узнавала себя... Это, конечно, не значит, что надо вот брать с него пример и писать так же, как он. Нет, надо писать самому. Как *самому одному жить и умирать*, как горестно он говорил.

Ибо сколько бы мы ни смотрелись в зеркало, нам этого не достаточно. Узнавая себя, мы жаждем узнать что-то еще. Вот почему, при всем нашем рациональном знании, мы еще идем к волхвам и цыганкам, как и Пушкин, и у них спрашиваем тайны жизни и смерти. У них мы ищем *магическое*, которого нет в обыденном. Ищем мы его и в литературе.

Ищу его и я – не из праздного любопытства, а так, как ищет сновторное страдающий от бессонницы, как ищет обезболивающее страдающий от боли.

Магическое может найтись и в кусте жасминовом, и в разговоре с десятилетним ребенком, и во сне, и в случайностях повседневного, а уж тем более в случайностях ночного...

Раннее утро, еще не заря...

Да, четыре часа ночи. Я пишу эти строки и исполнен удивления: вот как странно все совпало – то, что в своих Записках я дошел именно до этого важного пункта, который не хотел миновать, и то, что ночь готовится уступить свою власть летнему утру, но пока еще властвует, как властвует надо мною пока боль, отступая. Где-то в другом городе, за тысячу километров от меня, возможно, как и я, не спит от боли женщина-писатель, от нее я получил письмо несколько часов назад со словами сочувствия и с рассказом о себе в начале этой странной утомительной ночи.

Я уже давно намеревался написать о трех не похожих друг на друга писательницах, с романов которых мне посчастливилось сдуть пыль. Хотя они очень разные, но одно в них совпадает: сквозь обычное и необычное в их романах проступает иррациональное и *магическое*. И это именно магическое, а не мистика и не чудо, которое тоже присутствует в их романах, даже среди "житейской суеты"... они меня задели, занозили, как может занозить взгляд роковой женщины, и теперь я до конца понял, чем же сильнее всего.

Это романы Натальи Троицкой, Натальи Ефремовой, Елены Лобановой: Обнаров и Сиверсия, Осколки памяти, Семейные ценности.

Но я теперь как студент или собака: все понимаю, а сказать не знаю как... может быть отложить рассказ до позднего утра... боль, кажется, задремала, попытаюсь и я задремать.

6. Иррациональное и магическое

Среда, 25 июля 2013. Иррациональное определяет жизнь в наибольшей степени: иррационально само ощущение жизни, это непосредственно понимаешь, переходя от яви к сну – то есть, точнее говоря, совершенно не понимаешь, и только возвращаясь от сна к яви, осознаешь пост фактум. Иррациональны чувства, притягивающие нас к женщине, прежде всего *любовь*. Ее суррогаты отталкивают и в жизни, а в литературе вызывают отвращение. Иррационально ощущение семьи.

Обнаров, Осколки памяти, Семейные ценности – и посвящены – каждый роман в наибольшей степени своей особенной идее – иррациональным основаниям *жизни, женщины, семьи*.

Но именно потому, что эти основания *иррациональны*, мы не вычитываем из них знание в том же смысле слова, как из учебника ботаники, но переходим словно некоторую границу бытия, разрываем тот "*полог [который] Надвое мир разделил. [и] Сердце томит ожидание. Долог, Господи, взмах Твоих крыл!*"

Тайна и Чудо невидимы [по-прежнему], но сердце испытывает вдруг потрясение перехода в *инобытие*, так что слезы готовы прорваться из глаз – и прорываются...

Да, именно переход через *полог* на ту сторону. Это может быть приключенческий роман, романтическая повесть о Капитанской дочке, почти публицистика "Записок из Мертвого дома", героическая "Пармская обитель", романы Толстого... и вот, после долгого перерыва, один за другим на меня обрушились три современных романа (как буря, как ливень, как февральская метель): о страдании и преображении; о любви; об обретении тверди земной в родовых и семейных скрепах.

Я ничего не понял в жизни того, что еще не знал – но для того ли роман, чтобы мы стали больше *знать*? Нет, он для того, чтобы мы стали сильнее чувствовать и чище страдать.

Поэтому ничего глубокомысленного по их поводу я не хочу и не пытаюсь теперь сказать, я только стараюсь удержать испытанное впечатление. Я напоминаю себе человека, вышедшего из Концертного зала после ... ну, вот недавно я слушал Вивальди и Гайдна, неизвестного мне Вивальди исполнял Римский квартет, я вышел на улицу, кто-то стоял передо мной и мы стали смотреть друг на друга, потом она печально улыбнулась, я понял, что мы, помолчав вместе, сказали друг другу все, что могли.

Магическое изменяет и окружающий мир и саму сущность человека. Только после столкновения с ним появляется способность к восприятию откровения. Однажды я ехал в поезде, возвращаясь из Москвы, поезд пересекал Мсту, разгоралась июньская заря в полнеба, я стоял в коридоре вагона и смотрел в окно, и словно бы вспомнил что-то, что происходило со мной чуть ли не сто лет тому назад – происходило это не со мной, но я пережил это так, будто вспоминаю давно бывшее. Я написал две странички о том, чьей душой, как мне казалось, я вспоминал прошлое.

«Сердце болело все сильнее, но просыпаться не хотелось. Вдруг что-то толкнуло в бок, и он сел в постели, опустив ноги на теплый пол.

Сначала он вспомнил то состояние необыкновенного духовного подъема, которое испытал почти сорок лет назад холодным январским утром на Петербургском вокзале в Москве, и которое попытался позже описать в "Анне Карениной"; потом воочию увидел, как ранним июльским утром разгорается заря над Мстой. Не спалось, он вышел в тамбур покурить (возвращаясь из Москвы), и вдруг словно запели Одиссеевы сирены, плотное сияние заполнило душу и тело и весь мир, и он чуть не закричал от восторга, но, сдержавшись, заплакал.

Тогда он пережил неизъяснимый восторг, поднимающий над жизнью, но ум молчал; а сегодня вместе с радостью стало проступать *понимание*.

В прошлом году он пытался перечитывать Ибсена, снова споткнулся на фальшивой дилемме – "*Будь самим собой!*" или "*Будь самим собой доволен!*", будто бы решавшей задачу поиска смысла жизни и цели существования, исходившей из того, что в человеке изначально уже два человека – истинный, которым и надлежит быть, и ложный, самодовольный, которого следует отвергнуть. Но точно ли истинный человек уже в нас заложен, и он главный, и надо им стать? Да может быть он в нас и есть, но не махонький ли сбоку ручеек, приток в полноводной реке, которая как раз и составляет в нас главное, и которою быть не надо? А потому надо ли *быть собой*? А не надо ли *себя отвергнуть*?

Он попытался было представить себе этот *путь отвержения*, написал целый роман "Воскресение", явно вывел в Нехлюдове самого себя – но роман получился слабым, как и все, что шло от ума, а не от сердца. Вот "Война и Мир" лились через него как водопад, не успевал облечь в слова и сцены, а при писании "Казáков" даже сам растворился в природе, даже слова забывались, и результатом он был доволен.

Нет, "*быть самим собой*" не надо, в этом тезисе уже заложено восхищение собственным Я, самолюбование, и ничего уже к нему не добавляет словечко "*доволен!*", обе эти "истины" – и "*будь собой*", и "*будь собой доволен*" – одно и то же.

Потом он вспомнил другое учение об Истине, так же кратко изложенное в нескольких словах, кажется, оно принадлежит Шопенгауэру. *Иметь* или *Быть*? – задает философ свой основной вопрос бытия, почти тот же, что Гамлет в Шекспировской драме, но только после того, как тот уже ответил бы на вопрос "*Быть* или *Не быть?*" в пользу "*Быть*".

Да, конечно, лучше *Быть* чем *Иметь* – и все же, – кем *Быть*? Да и есть ли уже тот, которым надо *быть*? Если бы он был, разве вставал бы вопрос: *иметь* или *не иметь*, стремиться ли к *имению*?

Никакой истины нет ни в том, который якобы хочет *быть* только *самим собой*, *не довольствуясь собою*; никакой истины нет в том, который хочет *быть* вместо *иметь*, не имея кем *быть*.

Надо еще сначала стать человеком, а потом уже оставаться им.

Со стыдом он подумал, как много врал, особенно в последние годы, поучая человечество, расточая ему знание истины, которой сам не имел ни

на грош, рассказывая всем о Боге, но в Бога не веруя, и никогда Его не чувствуя в своей душе, кроме, может быть, детства и ранней юности.

Чем он отличался от остальных людей? Даже и обычных знаний у него было немного... Был, правда, талант – воображать и писать, представлять подлинную жизнь, как живописец, на полотне романа. Да, в этом с ним сравнить кого-либо трудно, только Бальзак с ним рядом – но талант не давал знания истины.

Так, может быть, истина и состоит в том, что *надо стать человеком?*

Не то чтобы стать умным, красивым, сильным, великодушным, талантливым, богатым – нет, все это еще не делает человеком... даже недостаточно стать человеком добрым... Формула – *Надо стать человеком!* – поэтическая метафора, содержание ее каждый почерпнет в своем сердце, но понимание того, что требуется, заложено в нас как способность дышать, как понимание того, что хорошо и что плохо.

Я жил фальшивой жизнью, я врал себе и другим! – сказал он себе. – Теперь предстоит самое простое и самое сложное – убежать из этой фальшивой жизни, пожертвовать своим уютом, благополучием, признанием, славой, обречь себя на жизнь изгоя, посмешища, бежать, как император Александр Благословенный бежал из Таганрога, из гроба, и стал старцем Федором Кузьмичем.

Пожертвовать... Да, вот она, формула истины, которая обнимает собою смысл человеческой жизни и любви, объясняет, почему и самая бедная и безграмотная крестьянка может подняться выше прославленного графа – ЖЕРТВА!

"Быть собой", *быть* вместо *иметь*, даже "стать человеком" – все это основано на эгоизме, все это пестует в человеке его самогó, во всем этом, как во всяком философском словоблудии, – сам человек, его довольство собою – и есть его цель для себя!

А надо собою жертвовать, надо жить для другого! Может быть, не только для другого, но по крайней мере не только для себя.

Лев Николаевич вспомнил, что еще с вечера он приготовил и одежду, и котомку, и посох, и уже все обдумал, и проснулся перед рассветом для того только, чтобы исполнить задуманное.

Он встал, не зажигая света, оделся, тихонько, стараясь никого не разбудить, открыл дверь и вышел из дому. Путь его лежал на станцию... а дальше лежала вся Россия, и новая подлинная жизнь!»

Литература *преображает* душу читателя. Преобразование происходит, если в романе заключено *магическое*. В той или иной степени оно есть у каждого честного автора. Разве не для проявления *магического* мы пишем? – хотя мы многого пытаемся добиться, а иногда и не знаем точно, чего... Но главное, кажется, объяснить я смогу: мы пишем, чтобы не до конца отчаиваться. Если мы и не победим, то все же и я и они не одиноки, мы хотя и отступаем, но еще есть куда отступать. А потом кто-то из нас (или такой же как мы) напишет роман, после которого произойдет Преобразование мира (как на это надеялся Скрябин, когда создавал Мистерию).

7. *Магическое как символ, метаобраз и инобытие*

Магическое входит в ткань культуры, входит в ткань даже жизни, оно является источником вдохновения и творчества.

Но мы его и созидаем.

Магическое приходит к поэту в образе *музы*.

“В те дни, когда в садах Лицея я безмятежно расцветал... весной при кликах лебединых... *являться муза стала мне*”.

Вершиной, квинтэссенцией *магического* является Бог.

Ибо хотя мы получаем уже готового Бога – через рождение, традицию, церковь, Священное Писание, культуру – но когда-то наступает момент, когда, неудовлетворенные Богом, полученным от других, мы пытаемся создать его сами.

Достоевский Бога взял у христианства, но он его пытался *объяснить* и, так сказать, «одомашнить».

Толстой Бога тоже взял у христианства, но он его *интерпретировал*.

В начале двадцатого столетия кружок Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Вячеслава Иванова, Розанова – Бога искал уже шире, в культуре в целом, поэтому они его пытались сделать частью культуры.

Наша задача ныне состоит в том, чтобы, соединяя в себе всю предшествовавшую европейскую культуру (а, может быть, и не только ее), СОЗДАТЬ нового русского Бога из магии нашей русской трагедии. *Этот Бог уже как зарево зари глядит на нас из современной русской литературы.*

8. *Национальное (народное) как магическое*

Но чем-то, значит, весьма существенным отличается наше время от того, которое окончилось в начале двадцатого столетия, в эпоху трех русских революций. Так, что изменились коренные жизнеопределяющие понятия, и народ, вера, Бог, родина, культура, государство и правящее сословие значат теперь нечто совершенно иное, нежели сто лет назад.

Прежнее правящее сословие (даже сумма нескольких сословий, так что лучше сказать *правлящий культурный слой*) в результате большевистского переворота не только был отстранен от власти, но и частично уничтожен физически, затем изгнан, затем в последующие десятилетия продолжал уничтожаться во всех своих остатках вместе с почвой, на которой он мог бы отчасти прорасти. И был он заменен новым СЛОЕМ, представляющим инородное прежнему слою и социально и этнически и духовно.

В государственные и партийные управленцы, в чиновничество и в карательные органы пришли "кадры" из крестьян, пролетариев, революционного сброда (в том числе из "матросни"), отчасти из старого офицерства, часть которого, не менее половины, пошла по разным обстоятельствам в услужение большевизму, из полуинтеллигентной смеси профессиональных революционеров (большевиков, меньшевиков, эсеров, бундовцев), из национальных организаций двенадцати российских народов, то есть из *инородцев* и *евреев*. В некотором отношении и расколовшееся казачество вело себя как инородческий слой. За каждым термином в этом кратком перечне стоят имена действительных деятелей Революции, Гражданской войны и последующей

казарменно-лагерной жизни в СССР. (Но перечислять имена и символы советской жизни я не буду).

Напомню только мой собственный выстраданный взгляд на русскую историю и культуру: независимо от этнического и социального происхождения тех или иных деятелей культуры и исторической жизни, пока существует Россия, то есть доньше, русская история является РУССКОЙ и русская культура является РУССКОЙ. Национальностью Пушкина, Фета, Надсона, Блока, Мандельштама, Даля и многих других является ЯЗЫК и органическая принадлежность к культуре, на ПОЧВЕ которой они произрастали и творили. Так и революция, сколько бы евреев в ней ни участвовали, является РУССКОЙ, и каяться в ней должны ПРЕЖДЕ всего мы сами, а чехи, латыши, евреи, молдаване, грузины и прочие – по собственной духовной потребности. Впереди у нас возрожденная Россия или догнивающий сброд, как радостно, почему-то, кажется иным, поэтому каждый живой человек, не отделивший себя от истории России, решает сам, к чему примкнуть.

Так как вне *народа как исторической личности* культура невозможна.

Душа народа... Что она такое, какими болезнями болеет, как зависит от всего, что с народом происходит – не удел философского, этнографического, научного, политологического, социологического выведения. Все мы можем рассуждать о душе, как и о любви, только понятие ее должно оставаться *интуитивно* предустановленным, а не силлогически выведенным. Пока мы существуем внутри русской культуры, до тех пор и под *душою народа* будем понимать то, что этой культурой в целом переживается как душа. Можно будет тогда говорить о различиях в том, как переживали народную душу Толстой, Лесков, Пушкин – и хотя Пушкину я отдаю первенство, но и у него не ишу исчерпывающего определения народной души.

К счастью или к несчастью, почти все мы русские, из тех, кто в русской культуре подвизается, даже те, кто затаенно или почти неприкрыто Россию и все русское ненавидит. Да ведь и я, сознаюсь, многое русское ненавижу, хотя у меня нет ни Кавказа, ни Израиля, ни Европы, ни Америки. Есть, правда, Сибирь, но пока еще я не противопоставляю ее России.

Уместно о собственном моем народно-национальном, почти в рамках мифологии, теперь еще напомнить. Предок моего отца вместе с Ермаком (будучи его заместителем) Сибирь к России присоединил, затем растекался по ней, то в казаках, то в крестьянах, и дед мой был крестьянином. Отец начинал свою жизнь как пастух крестьянского стада, а окончил командиром минометного взвода на Безымянной высоте в Карелии.

Мать моя родилась в Белоруссии. Так как белорусский народ тоже этнически многосоставен (как и русский), и имеет сложную историческую судьбу, входя попеременно то в состав Литвы, то Российской империи, то и белорусы не все белорусы. Проживающие вдоль реки Припять называли себя *полеиуками*, и одни из них отнесли к белорусам, другие к малороссам, хотя часто были в родстве, смотря по тому, с какой стороны реки произрастали. К тому же при царе они были русскими, и у деда так было в паспорте, а по семейной легенде среди наших предков были Полоцкие князья, хотя потомки их оказались крестьянами. Но гордость это питало, и бабушка моя сочиняла

песни, даже не умея читать, а дедушка пошел в партизаны, чтобы воевать за народ, но отец его остался верен "царю и отечеству", и новая народная власть их не расстреляла, а сослала в одну сибирскую деревню. Там дедушку было посадили в Иркутскую тюрьму, откуда его вызволила моя мать, поразившая своей красотой даже прокурора (потом его все таки расстреляли).

В конце концов прадедушка умер от голода, дедушка умер сам.

На родину матери я приезжал не раз и удивлялся, что местные жители по белорусски говорить не умеют (кроме библиотекарки); при этом старшее поколение продолжало считать себя русскими.

В Сибири в школе учился я с западными украинцами, немцами, евреями, литовцами, сибирскими татарами – но все мы были *русскими*, и даже не спрашивали друг друга об этом, так как это разумелось само собой. Русский язык и литературу преподавала нам тощая немка, променявшая на них, как кажется, всех своих кавалеров.

В России *народное* всегда было основой государства и культуры. В официальной государственной политике оно принимало форму православия (русской веры) и самодержавия (русского царя); в народном сознании – защиты русской земли и народных традиций, при этом "вера" преимущественно была "народной верой", соединявшей в себе кроме церковного православия целые пласты славянского язычества.

Современность поражает сочетанием несообразного: *народность* как основа жизни все семьдесят лет советской власти изгонялась и у русского народа и у региональных народов, вместо них проповедовались интернационализм, новый общий "советский народ" и диковинная "дружба народов" (ну, а недавно мы разглядели ее как следует). Православие отчасти заменило тогдашнюю "любовь к родной коммунистической партии", служба в церкви – партсоборание, страсть к наживе – строительство коммунизма.

И все же то, что мы видим, это свалка истории, мы стали жить на свалке, и поля и души засыпаны мусором. Но остался ли человек среди этого разора и мора, мы пока не знаем.

Остался ли народ, тоже не до конца видимо. Так бывает, что костер уже погас, но вдруг подул ветер и – полыхнуло.

9. Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что!

Надо еще дообъясниться по поводу народа. Культура девятнадцатого столетия была культурой дворянской, и обличая *чернь*, Пушкин обличал собственное сословие, но не купцов, крестьян и духовных.

Говоря о *черни* сегодня, я также не имею в виду крестьян и рабочих; и хотя мои деревенские мужики почти все сплошь пьяные, их я ни в чем не виню. Сословие, к которому я принадлежу вместе с читателями (или думал, что принадлежу), это интеллигенция. Вот из нее то большая часть и является чернью, а меньшая (значительно меньшая) входит в состав "малого народа" (куда, естественно, входят и наши писатели, начиная от тех, кто меня любит и заканчивая теми, кто подает на меня в суд за чрезмерное редактирование – они тоже мои братья и мне симпатичны!)

Но не буду тонуть в христианской патоке всеобщей любви – апостол

Павел обещал своим соплеменникам, что при Втором Пришествии будут мрак и скрежет зубовой и спасется только малый остаток избранных, то же ждет и моих "неизбранных". И каждого поташут на суд, даже тех, кто не умеет читать. Человек рождается, обремененный ДОЛГОМ. Дано ему всё, чтобы не только научиться читать, но и научиться писать и даже стать гением! Если уж проповедуется, что все народы равны *по способности*, то не стоит удивляться тому, что и люди равны по способности тоже.

Я преподавал математику и в городской и в деревенской школе и пришел к выводу: если бы в Пушкинский Лицей набрали учеников из крестьянских детей совсем наугад и учили их как и Пушкина, то мы бы имели таких же Горчакова, Дельвига, Кюхельбекера и, возможно, и Пушкина. А я, дополнительно, воспитал бы в этом Лицее еще двух Аньези.

Пробуждение в личности "сверхличности" – это и чудо и случайность и обыденность. Христос избрал себе учеников из тех, кто ему встретился по дороге, и мы видим, что и в Симоне-Петре не было ничего выдающегося, и он, быв простым рыбаком, стал, по велению Спасителя, "ловцом человеков", и Савл, обличавший христиан, был не лучше нынешних судей, осудивших промышленника, журналистку и учителя на немыслимые тюремные сроки за то, что они одни из самых честных – но повелел ему "Царь Иудейский" *не переть против рожна* – и стал он апостолом Павлом, Отцом Церкви...

Правда, я повелеть мог бы только ребенку, которого судьба столкнула бы со мною в классе, пока не окостенел в его душе источник магического. Эта уверенность во мне была так сильна, что я всю жизнь мечтал о создании собственной школы, в которой, как на моем деревенском огороде, произрастали бы Эсхил и Пифагор, Архимед и Зенон, Платон и Аристотель. Но "бодливой корове Бог рог не дает", и ни Бог, ни государство и ни один из богатых школой моей не озаботились.

Я еще мечтал об издании журнала, который бы мог повлиять на взрослых, журнал такой я создал, но ни на кого не повлиял. Правда, мне при этом удалось (вкусе с другими) издать русскую Радзивилову летопись, за это меня посадили.

Конечно, я мечтал повлиять и на мой народ – но ведь даже апостол Павел отказался, в конце концов, от надежды повлиять на *свой* народ (перечтите его Послание к евреям), так что надо от этой надежды отстать и мне.

В течение жизни большинство забывает то, что получило при рождении: *устами младенца глаголет истина* не случайно, ребенок к ней еще восприимчив, с возрастом на душе нарастает нечто вроде ржавчины. Мне повезло: хотя я ничего не добился из того, о чем мечтал, мне удалось кое что понять, ржавчина еще не покрыла меня так сильно, чтобы я уже не слышал голос муз или голос Бога – правда, они ленятся со мной разговаривать.

И все же я теперь вижу кое что сверх того, что начал видеть в детстве, когда *магическое* со мной заговорило впервые.

Я еще на что-то надеюсь. Необходимо создать Бога, и если Он нам в этом поможет, то мы его создадим. Древний Бог уже обещал. Что для этого нужно сделать, я не знаю. "Необходимо пойти туда, не знаю, куда, и принести то, не знаю, что" – это единственный Путь к МАГИЧЕСКОМУ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Автор и миф. Жизнь и творчество**1. Роман как жизнь или жизнь как роман?**

Суббота, благословенный день. 27 июля 2013. Спал плохо, болела рука, и теперь еще болит, но – *утро разгорелось во всю мощь, и я с женой еду в деревню.*

Теперь она у меня отчасти вместо сиделки, но в деревне я воскресну, буду работать на огороде (правой рукой), затоплю баню... И мы еще повоюем!!!

А пока продолжу записки, чтобы не совсем раскиснуть от долгой и утомительной поездки в электричке. Современный русский писатель ближе чем за 270 км огород приобрести не может – но зато у меня даже есть компьютер.

Итак, чтобы читатель отдохнул от моей глубокомысленности и философствования, стану проще, расскажу еще немного о своей жизни и о том, почему я такое большое внимание уделяю Пушкину, что он значит в моей жизни, и должен ли он столько же значить и для других.

Главный вопрос всей моей жизни – к чему стремиться, что избрать как направление жизни? Спасение души, духовное преображение, одухотворение (то есть духовное возвышение), обретение знаний?

Один мой товарищ студенческих лет уверял меня, что необходимо высидеть настолько, чтобы почти ничто не происходило случайно, чтобы даже кирпич не мог внезапно свалиться на голову. Он или устыдится или пролетит мимо. Почему? Высшие силы не позволят ему причинить тебе вред.

Я тоже думал, что нужна воля и сила духа, всегда был безвольным и духом падал слишком быстро. Но сколько я ни стремился к духовной силе, мне она не помогала. Тогда в десятом классе я вступил в школьную секцию бокса, задиры ко мне больше не приставали, я даже мог защищать тех, кто слабее.

Однажды на меня напали разбойники, налетели сзади и ударили кастетом: кирпич все же свалился с крыши и упал мне на голову.

Я стремился быть мистиком, убеждал себя верить в чудо, но и чуда не было, и *магическое* не просвечивало сквозь жизнь.

Мне было сорок лет, когда я пережил серьезный духовный кризис. Для его преодоления я поступил в школу Восточных единоборств. В основном в ней была молодежь, меня там все время били, но прежде всего потому, что я не мог ударить противника. Я уклонялся, защищался, но ударить не мог. Правда, оказалось, что я очень долго могу находиться в состоянии, когда меня бьют, не сдаваясь. Более того, я ходил по улицам в абсолютной уверенности, что на меня никто не нападет. Через несколько лет это чувство начало гаснуть, и на меня снова напали разбойники, их было трое. Наконец они устали меня бить и взмолились: но ведь мы же тебя не убить хотим, а только ограбить!

Я отдал им то немногое, что у меня было, чувствуя, что я победил.

И тут произошло чудо: их предводитель начал оправдываться.

Ты и нас пойми, заявил он, работы нет и нечего есть.

Но я мечтал о большем, я мечтал о победе над разбойничьим государством. Христианство запрещало мне с государством сражаться, оно велело ему покориться, а дзен-буддизм советовал пройти мимо.

Увы, мимо проходить не удавалось, я попал в плен (но теперь я понимаю, насколько все это было необходимо, чтобы хоть немного возвыситься)

Но одновременно я понял, что духовного совершенствования недостаточно, необходимо нравственное улучшение.

Да и сверх того необходимо еще многое, в частности, необходимы образование, культура и ум.

Недостаточно «слышать, как говорил Ленин, чтобы знать всё», как полагал народный трибун. Недостаточно веры, добродетели, духовного возвышения, праведной жизни.

И тогда я вернулся к Пушкину. Оказалось, что обо всем, что меня когда-нибудь волновало, он тоже думал и написал. Бог и церковь, царь и народ, женщина, семья, друзья, слава, деньги, свобода, любовь, ненависть, разочарование, страх... признание и память...

Самое удивительное состояло в том, что Пушкин не стремился в "своем человеческом" отступить от общества, он разделял его тщеславные стремления, его страсти, его слабости. В отличие от Лермонтова, противопоставлявшего себя обществу, Пушкин противостоял только *черни*.

Он оказался *всеобщим* и как личность и как поэт.

Поэтому такое удивительное совпадение тем, идей, положений, обстоятельств его личной жизни и его творчества.

Он, кажется, совершенно не стремился возвыситься, не мечтал ни о святости, ни о спасении души, ни о духовном совершенствовании. Более того, исключая период увлечения идеями его друзей-декабристов, он не мечтал даже о преобразении общества и государства.

Это я объясняю следующими причинами: сравнивая современную ему эпоху с предыдущими столетиями смут, потрясений и подавления культуры и личности, а также с эпохой французской революции, он видел все преимущества просвещенного абсолютизма сравнительно с властью черни, хаосом и деспотией.

Главное дело его жизни было дело культуры, и в его успехе он мог не сомневаться.

Сравним же с Пушкиным Шаламова и Солженицына – их жизнь протекала на минном поле и в татарском плену.

Не говорю уж о том, что меня можно сравнить только с партизаном, прячущимся от карателей на болоте, в то время как на культуру наступают танки.

И, однако, сравнивать коллизии жизни и творчества крестьянского сына, сына Ивана, – и великого дворянского поэта, ставшего своим и для крестьян, для меня поучительно. Жизнь Пушкина, словно осененная защитой высших сил, в том числе муз, словно переливалась в его творчество. Я, напротив, пытался формировать свою жизнь по образцу моих литературных идей.

2. Пушкин как этнограф, историк, критик и редактор.

Итак, я увлекался Лермонтовым, Гете, Гюго, Стендалем, Ницше, апостолом Павлом, протопопом Аввакумом, Айвенго, Робин Гудом, корсарами и революционерами. Пушкин смущал меня своей все-общностью, тем, что он для всех и обо всех, и даже в сердцах я однажды воскликнул, что он гений обыденности.

Очнувшись в больничной палате после воскресения из мертвых, я попросил Пушкина. Я и до этого читал у него все, но теперь начал внимательнее перечитывать. Во мне открылось вдохновение ЧТЕНИЯ.

После стихов я взял Пугачество в Арзрум, потом Историю Пугачевского бунта, потом открыл издаваемый Пушкиным журнал Современник. Пушкин – редактор и критик – такой Пушкин не удивительнее ли даже Пушкина-поэта?

Вот, например, он пишет об американских писателях Торо и Эмерсоне в 1835 году – а мы их прочитали только через сто пятьдесят лет после него!

Отзывчивость его к важнейшим событиям европейской (и американской) культуры поразительна; все, что и сегодня мы знаем как выдающееся в современной ему эпохе, было им замечено и нашло отражение в журнале.

А в русской литературе он не пропустил ничего достойного, и нет авторов, которых мы сегодня оценили бы иначе, чем Пушкин.

Но зачем ему была нужна такая широта взгляда, восприятия и отзывчивости?

Единственное объяснение состоит в том, что Судьба его писалась на небесах. Необходимо было, чтобы он превосходил рамки поэта и прозаика, он должен был быть равновелик культуре в целом!

3. Двойник.

В русской литературе тема двойничества, раздвоения личности, ее нецельности существенна у Гоголя и Достоевского; но если мы посмотрим не только на ее отражение в литературе, но и в самой жизни художника, то начинать надо с Пушкина.

В поэзии он избранник муз и богов, он это знает и не сомневается в своем призвании. Но странным образом он им не удовлетворяется, он не растворяет свою жизнь в литературе, он хочет быть одновременно и небожителем и вполне земным человеком, почти со всеми земными страстями. Если Христос, будучи небожителем, даже больше – Сыном Божьим, став человеком, стал им не вполне, не до конца, во всем, кроме грехов (а, вероятно, и кроме слабостей – комплиментарное богословие... нет, более того, чрезмерно верноподданное богословие просто не решается о многом даже помыслить, тем более рассуждать, и об этом нам ничего не говорит), то Пушкин, родившись человеком и став небожителем, пожелал оставить в себе почти ВСЁ человеческое, многие слабости и даже грехи (стрелять в человека в надежде его убить, хотя бы и в эльзасского прощелыгу – все же грех). А из слабостей существенное значение имели в его личности тщеславие, увлечение прекрасным полом, уныние... да, пожалуй, и все. Но это двойничество, право

поэта быть одновременно и обыденным человеком, даже чуть ли не "*меж детей ничтожных мира, Быть может, всех ничтожней*" – не могут объясняться ничем иным как желанием сохранить отдельность человеческого и поэтического, автономию человеческого в нелегкой судьбе избранника.

Хотя он и защищает свое человеческое от нападков и подозрений в том, что оно такое же как у других: нет, врете, подлецы, я и слаб и низок не так как вы! – в ярости восклицает он.

Итак, Пушкин – двойник, он человек и Поэт, как поэт он выше всех, он даже главою непокорной вознесся выше Александрийского столпа, он даже Царь – но его человеческие претензии скромнее, иногда они сужаются до "обитатели дальней трудов и чистых нег".

Столкновение двух сущностей, поэтической и человеческой, отражаются и в творчестве и в жизни, самый характерный пример – роман с Анной Керн. «передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, как гений чистой красоты» в стихах, а в частных письмах: «Что слышно о нашей вавилонской блуднице?» (письмо А. Вульф). «Вчера с божьей помощью я ее ...» – в письме Соболевскому.

Да, воистину ничто человеческое ему не чуждо...

Но быть Гриневым, Капитанской дочкой, Дон-Жуаном, Моцартом и Сальери одновременно возможно ли, не вмещая в себя всё человеческое, за исключением зависти, предательства, неблагодарности, неверности в дружбе, равнодушия к отчизне, в чем Пушкина упрекнуть нельзя.

Пушкин лицедей, актер, он одевает на себя маски-роли, и они с ним срастаются. Иногда кажется, что героическое как форма личности ему чуждо, он ценит и изображает героическое в обыденном... да и не все ли он ищет и отыскивает только в обыденном? Словно он хочет доказать, что почти всякий человек способен стать кем угодно... кроме Моцарта. Об этом мы имеем свидетельство талантливого Мастера, Сальери, стремящегося достигнуть тех же высот, что и Моцарт, но не способного перешагнуть черту, отделяющую земное от небесного, обыденное, рациональное от магического.

Сальери соревнуется с Моцартом и обречен на поражение, ибо «нет правды на земле. Но нет ее и выше!» (Естественно, что он так думает. Но так ли думает Пушкин?)

Все мы, читатели и поклонники великого поэта, на стороне гения, которому даром все дается (как Христос, по мнению Тарсянина, *даром нам дает искупление грехов и воскресение из мертвых*), на стороне гуляки праздного, который не знает, что значит «выстрадать свое богатство.... Стал бы он его потом расточать?»)

Но точно ли так и Пушкин? Точно ли он Моцарт, а не Сальери? Хотя бы отчасти Сальери?

Он двойник. Он и Моцарт и Сальери, поэтому так остро чувствует драму противоположения гениальности как дара и гениальности как муки, труда, обретения в результате горестного подвижнического стяжания.

Я не испытывал к Пушкину зависти, с семи лет он моя любовь, во всем я его оправдывал (находя часто в нем самого себя), испытывал иногда те же положения и чувства и мысли, что и он, при всей противоположности

происхождения: рожденный в Лицее – и в деревенском чужом и враждебном доме, откуда матери моей потом пришлось ночью бежать, захватив с собой только узелок; потомок славного некогда рода, впитывающий изысканнейшую европейскую культуру, живя в ее центре, среди ее творцов – и сын крестьянки, учившийся читать при свете лучины, наблюдающий театр через колючую проволоку Зоны, хотя и со свободной стороны. С Пушкиным я себя сверял. Крестьянское дарование я соразмерял с дворянским, и с Пушкиным словно соревновался в духовных и литературных достижениях.

Чувство избранничества меня не покидало, но ни мастерства, ни вдохновения, сравнимых с пушкинским, я не получал ни даром, ни с трудом, ни со страданием.

Воистину, будучи математиком, и даже доказав математическую теорему, которая когда-нибудь войдет в учебники анализа, я с большим правом, чем Сальери, мог воскликнуть, что музыку я разъял как труп – но, увы, при всем сочувствии ко мне Александра Сергеевича он оставался Моцартом, а я Сальери.

Удивителен пример двойничества в судьбе Глеба Успенского (как о том пишет Мережковский): он разделился на Глеба и Ивановича, в одной личности сосредоточивалось все мерзкое, в другой – святое.

Нет, разделенность Пушкина оправданнее, она – условие его творчества, той его стороны, которую можно было бы назвать *всеобщностью*.

Пушкин – обо всех и для всех. Он призывает поэта жить в одиночестве, уверяет, что поэт – это царь, и в то же время, будучи аристократом (прежде всего в духе), уподобляется и барышне-крестьянке, и Балде, и разбойнику-Дубровскому, и Дон-Жуану, и Борису Годунову и Гришке Отрепьеву...

Нет, я не таков. Я всю жизнь мечтал о возвышении, я спорил с Богом, я требовал у Бога Высшего поэтического дара – не даром, а в крайнем случае, в обмен на страдания... Но Бог молчал.

4. Так что же такое литература? Тоталитарный роман.

"Не любите мира, ни того что в мире!" – к кому обращено такое христианство? К крестьянину, которому надо родить и вырастить детей, отработать на барщине, построить дом себе, сыновьям, выдать замуж дочек, воспитывать внуков, да еще идти зимой на заработки в город строить храм?

Но и Гете, говорящий: "Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них идет на бой!" – к кому обращается?

Надо ведь ходить на службу, иногда выпивать с друзьями, читать книги, посещать театр, бывать в гостях, в путешествиях – когда же на бой идти? Да еще каждый день?

Так, может быть, и не удел ни литературы ни философии – ИЗМЕНЕНИЕ мира? А только как-нибудь *развлечь* читателя, отвлечь от горестных мыслей, и того довольно? Так что, может быть, литература – род кукольного, балаганного представления, где куклы или проливают ненатуральные слезы, объясняясь в надуманной любви, или сражаются бумажными мечами, а зритель вытирает слезы от смеха? Иногда я спрашиваю в метро или электричке, что читает сидящий рядом, и он (она) листают книгу к началу,

чтобы выудить название и имя автора; на вопрос же "зачем" отвечают не задумываясь: *чтобы время скорей прошло!*

Тут беспокоишься тем, что жизнь коротка, что не успеваешь дышать (это со мною часто происходило на уроках, когда близился звонок, и я спешил сказать ВСЁ и даже задерживал дыхание) – а читателю время главное зло и надо его как крапиву выдергать и выкинуть с огорода жизни.

Послания апостола Павла представляют собою роман, в нем есть онтология и телеология, последняя выявлена резче всего.

Христос несколько раз повторил, что *Он пришел спасти Свой народ*. (И слушающие думали, что конец мира вот он, *при дверех*). Но и конец мира не наступал, и соплеменники отказывались приходить в новую церковь, а хранили верность *синагоге и ветхому Завету*.

И сюжет и целеполагание романа постепенно меняются, видимо, как проступает в нем новая цель: доказать, что Христос пришел и к иудеям и к язычникам, а наконец – ТОЛЬКО к язычникам.

Как сущность кривой и дифференциального уравнения мы постигаем *только* в особых точках и в особых решениях, так сущность литературы проявляется и постигается в сверхРомане, и к ним очевидно относятся Метафизика Аристотеля, "Новый Завет", "Капитал", "Записки из Мертвого дома".

Всякое сверхобъемлющее понятие содержит в себе и *становление*, разные возрасты понятия, как у человека. И в философию входит то его состояние, в котором оно совершилось, достигло зрелости и полноты. (Как яблоня обнимает собою не только саженец, не только цветущее дерево, но и дерево, усыпанное зрелыми плодами). Вот почему литература вбирает в себя и сказку и водевиль, но что она такое в ПОЛНОТЕ, видимо лишь через ее вершины. И мы никогда бы не узнали, что такое поэзия, если бы не было явления Пушкина (словно Северного сияния, преобразившего небо нашей жизни) и гениальных всполохов света у других наших великих поэтов.

Снова и снова рождаются глупые, бездарные, жестокие и жадные – и начинаешь верить, что усилия культуры тщетны. Но нет. *Культура не изменила мир тьмы, но она меняет мир света*. И нам, осужденным жить в мире, где низкие стремления и низкие характеры преобладают, было бы совсем невыносимо, если бы не культура, где бы мы ни находились. Культура преображает и поднимает тех, кто вырастает на ее почве.

А как же мир? Можем ли мы изменить мир с помощью культуры?

Маркс был озабочен изменением мира к лучшему (как и Платон). Платону и Кампанелле свои казармы построить не удалось, Маркс свою казарму построил. Мы только что жили в этой казарме, проектируемой и строившейся по их чертежам, но что за казарма и сегодня вокруг нас, какие стражники заставляют нас маршировать по их правилам и верить в их веру?

"Войну и мир" Толстого я предпочитаю "роману" Клаузевица "О войне" – а, следовательно, надеясь на изменение мира к лучшему, уповаю на художественную литературу, а не на политическое и военное искусство и даже не на философию. Но в художественной литературе заключено всё – по крайней мере, все самое важное.

Много времени я посвятил тому, чтобы доказать онтологическое родство математики и литературы, и вот пришла пора высказаться об их существенном различии. Удивительно, но для этого придется начать воистину *ab ovo* – от яйца, и да простит меня читатель за отклонения!

Что самое существенное отличает живое от неживого? Движение, изменение, размышление?

Но движутся и предметы и жидкости, и камень катится с горы и вода течет, растут и кораллы и горы, размышляет, как кажется (а теперь в это многие верят) бездушный компьютер... Но причина всего, что совершается с неживым, находится вне, предметы и даже вспышки молний причинно обусловлены, а живое – свободно, хотя бы отчасти, даже в тюрьме, даже в современной России. *Свобода воли* – пропасть, разделяющая мир и бытие надвое, притом на две противостоящие части.

В различных формах общественного устройства существенным является *мера свободы*, мера, которой общественное устройство отстоит от принципов организации материального мира. Тоталитаризм – способ существования, максимально приближенный к неживому. Свобода воли, а тем более *свобода воли* частного человека, сводится при тоталитаризме к нулю. Философские и религиозные доктрины и математика, – это романы о бытии, в котором нет частного человека, нет индивидуальности – а значит, и нет свободы.

А, следовательно, то духовное преображение мира, о котором я мечтаю, недостижимо при помощи учений, в которых место живых людей занимают абстракции. Что относится к *всеобщему*, лишено свободы.

Поразительно в этом отношении различие между населением, толпой – и НАРОДОМ. Толпа не обладает индивидуальным, она тоталитарна, она опора диктатуры, а *народ* – это *личность* (среди других народов-личностей). *Космополитизм, интернационализм, глобализм* направлены не только против *народного*, но и против *индивидуального* во имя всеобщего.

Но как же я сам постоянно подчеркиваю значение философских и математических рассуждений? Они – фундамент бытия. Они, если можно так выразиться, *плоть духа*, а литература – душа духа (да простит меня читатель за эти метафоры).

Но ведь и религиозное учение тоталитарно, и монастырь – казарма!? Да, в такой же степени, как и математика. Все дело в двойственной природе личности: в личности содержатся индивидуальность, "пол и характер", национальность. Но в личности находится и ВЕСЬ МИР, хаос и космос, материя и становление, история и *метаистория*.

Устранение из личного сверхличного приводит к оскудению личности; устранение из личного особенного, собственного, отдельного приводит к умерщвлению (или иссушению) личности.

То же самое и с народом.

Метафорически снова скажу: мы синтез "физического" и метафизического, земного и небесного. Не поднимая взор к небу, уподобляемся растениям, не глядя на землю, теряем человеческое.

Разве для того была проповедь Спасителя, чтобы земля польхала

религиозными войнами, чтобы горели книги и прекрасные здания, ученые, писатели и просто невинные люди, осмеливающиеся иметь собственное мнение? Жить, не зная хотя бы приблизительно истинного – темно. Жить в упоении, что ВСЯ истина возведена и мы ею уже владеем, и мы ЖРЕЦЫ этой истины (а на полноту истины претендовали и древние религиозные доктрины, и христианство, и марксизм... об иных умалчиваю, чтобы не встрепенулся взор фанатика) – часто даже преступно.

Литература отделяется от философии тем, что в ней в центре – отдельная личность, нечто особенное, и чем более особенное (вроде *особых* точек кривой) тем произведение значительнее и глубже. Так при исследовании функции *типичная* точка кривой ничего существенного о кривой не говорит, в отличие от *точек перегиба, разрыва, симметрии* или, например, *угловой точки*). Так и при решении дифференциального уравнения мы ищем *особое* решение не на "столбовой дороге современности", а "вдали от проезжих дорог".

Чем герой необычнее, тем интереснее: Дон-Кихот, Дон-Жуан, Настасья Филипповна, Раскольников, Ставрогин... В художественное произведение повседневная жизнь с ее банальностями входит не так, как в газету, *банальности* из нее существенно вымываются и она оседает как золотосодержащий песок. Но из философии и религиозного учения вымываются даже *жизнь* и *история*, остается метаистория, мир которой мало похож на повседневный мир, в нем и время другое и завершение времени. Жизнь отдельного человека, история и роман сходны в том, что течение времени соединяет события в некоторую связанную последовательность, через которую и живут так называемые "действующие лица", а, например, в христианстве вместо отдельного человека действуют символы: Адам и Ева, Бог и дьявол, грех и грехопадение, обетование и спасение. В Метаистории не существенны культура, наука, прогресс, справедливость, "познание и заблуждение", оскудение или совершенствование личности и т.п.

Жизнь не существенна и даже сюжет истории отменен.

Литература не воспроизводит мир и бытие как целое, но только как частное, и время проявляется в ней не как вечность, а как сиюминутное, в котором живет и дышит судьба. Но именно в ней жизнь предстает, в большинстве творений, глубоко и красочно. И произведения современной литературы, с которыми мне посчастливилось иметь дело – глубже и разностороннее философских и богословских сочинений последних десятилетий.

5. Онтология христианства.

"Ищите, и обрящете, толщете, и отверзется!" говорится в Евангелии от Матфея (7, 7-8) – и я ли не стучал более полувека, томимый духовной жаждой? А ведь не мои собственные заботы меня терзали, но духовная болезнь России. Только Бог по-прежнему был безучастен к земным делам. Помогал ли Он Корнилову, русским беженцам, миллионам гонимых крестьян, умирающим от голода узникам осажденного города?

Бог не милосерден, и нашими грехами оправдывать Его суровость я уже устал. С теми, кто смысл своей жизни находит в рамках библейского мифа, я спорить не буду. Но данная мне от Бога (возможно, это другой Бог, Бог эллинов и латинян?) способность к творческому постижению мира плодотворна только на ниве *культуры и сострадания к земной жизни*. Вот почему я разговариваю о Литературе и Математике и ссылаюсь на Пушкина как на высший авторитет.

Творчество мифологично. Мифом является и культура в целом, и даже наука, как об этом говорит Пуанкаре. И религия – всеобъемлющий миф, вовлекающий в свое пространство и историю, и бытие и культуру.

Сущность мифа я уже определял, ссылаясь на Потембю и Лосева, и пояснять его не буду, так как яснее не сделаю. И хотя и действительность и история предстают в значительной степени в форме мифа, но речь не идет о мифе как иллюзии. Описывая новооткрытую землю и создавая роман о приключениях Робинзона Крузо, человек в обоих случаях творит новую действительность. Но описание новой земли и приключения островитянина принадлежат к разным мифам.

То, в чем стремится убедить своих читателей апостол Павел, так же ли объективно, как география и астрономия (хотя, увы, объективны ли черные дыры, большой взрыв, Атлантида и Земля Санникова, тоже бог весть) или, напротив, столь же субъективно, как то, в чем стремится убедить своих читателей Лев Толстой в "Войне и Мире"?

Христиане не случайно неотъемлемой частью религиозного христианского мифа делают идею о Богодухновенности Священного писания, а значит независимости его содержания от воли писателя, апостола или евангелиста. Ибо христиане стремятся сделать христианский миф столь же достоверным, как и математика. Они его стремятся превратить в новую математику, в теоремы которой надо *ВЕРИТЬ*, но в то же время не сметь сомневаться в них, как если бы они были *ДОКАЗАНЫ*.

Отношение Пушкина к мифологии христианства существенно для понимания его личности, истоков его творчества, для понимания девятнадцатого столетия, в котором КУЛЬТУРА заняла место КУЛЬТА.

Но еще важнее нам, современным читателям и писателям (в России), разъяснить для себя онтологический смысл христианских мифов в новом столкновении сомнения и веры, данном нам историей. Крещение Руси совершается ныне второй раз, заново разыгрывается драма искупления, и мы, волею судьбы, *метаисторически* оказались современниками апостола Павла. К кому пришел Христос, к иудеям или язычникам, уже не актуально, уже и иудеи и язычники успокоились в своем разделении по принадлежности к Заветам, Ветхому и Новому, разве что евреи, отпавшие от веры отцов, но не приставшие к новой вере, бунтуют внутри себя. Но онтологически это иной бунт, нежели тот, что претерпеваем мы, потомки эллинов. Остаться ли в вере отцов, все еще актуально для них. Принять ли синтез грехопадения и искупления, вновь стало актуально для нас. Феномен Розанова, мечущегося между иудаизмом и христианством, и даже затем между юдофобией и юдофилией, словно предъистория наших современных терзаний.

6. Миф о непорочном зачатии.

Начиная с Вольтера – век матушки-Екатерины (и отчасти ее сына), Александра "благословенного (?)", Николая "Палкина (?)" – вот тот век, который явил нам новую действительность, в которой культура и культ были уже разделены. Пушкин и его современники творили в рамках новой культуры, независимой от того христианства, которое прежде было растворено в истории, государстве, частной жизни, культуре. Теперь у мыслителей был собственный Бог, Бог Лейбница и Ньютона, Вольтера и Гете, Гаусса и Лобачевского. Этот Бог, несомненно, был ближе Пушкину и Лермонтову, нежели Бог протопопа Аввакума.

Итак, поучительно разговор о старых мифах начать с юного Пушкина. Борьбы, столкновения веры и сомнения нет в его душе и творчестве, тем отчетливее предстает перед нами та вера, которая была не только его личной верой, но и верой просвещенного общества в России (и отчасти в Европе после Реставрации).

Хотя, конечно, еще важнее было бы выяснить наше собственное отношение к основным онтологическим мифам христианства. *Необходимо ли христианство, как оценить его роль в истории Европы и можно ли историю продолжать без него* – вот на какие вопросы актуально вновь отвечать моим современникам.

Но чтобы разговор был существенным, не ограничивался ничем не стоящими общими местами, автору необходимо дерзнуть на ряд отчаянных сопоставлений, многие из которых вызовут обвинения либо в кощунстве, либо в гордыне.

Но я философ, и либо философия ущербна, одностороння, не претендует быть всеобъемлющей философией, а только, следуя примеру "историка-христианина", объявляет себя философией-христианкой, то есть раболепной служанкой христианства – нет, даже не христианства, а христианской идеологии, вогосударственного института церкви, обладающего властью карать и миловать; либо отваживается быть вполне философией и рассматривает все "*видимое и невидимое*" – и невидимое постольку, поскольку существование его чем либо в человеке удостоверяется, а, значит, может и исследоваться. И у меня есть великие "оправдатели", понимаю я, и первый среди них Коперник, дерзнувший переставить местами небо и землю Богом установленного мира, поколебавший почти половину Учения церкви об устройстве мира и библейский миф о его сотворении. Ибо верили и иудеи и христиане, что Солнце обращается вокруг Земли, и не этому ли учила церковь в течение шестнадцати веков, не за несогласие ли сожгли Джордано и чуть не сожгли Галилея, а сочинение Коперника было запрещено до вчерашнего дня? (Но я не удивлюсь, если наш патриарх запретит его снова).

Кстати теперь вспомнить об Иисусе Навине, остановившем, согласно Библии, на небе Солнце и Луну: «*Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!*» (Нав.10:12).

Современные ученые в рясе стараются хитроумно оправдать это чудо, приводя удивительные исторические и космологические свидетельства и

осмеивая неверующих – но над кем они смеются? Вот я и не сомневаюсь в том, что чудо возможно, и что оно возможно даже в том случае, когда моление о нем невежественно и антиномично. Чтобы остановилось солнце над Гаваоном, надо было остановить вращение Земли, и Господь это несомненно знал и так и сделал – но знал ли об этом Иисус Навин? Знали ли об этом верующие христиане и судьи инквизиции, отправлявшие ученых и ведьм толпами на костер? ["*И я знаю, что я не зерно. Но знает ли об этом курица, которая нас клевала почти две тысячи лет?*"]

Если Коперник, не сомневающийся в бытии Божьем и не меньший христианин, чем папы Римские (многие из которых были растленны), *посмел* поменять Солнце и Землю местами, ибо не сомневался также в истине астрономии (ибо было бы воистину чудовищно, что послания апостола Павла *богодухновенны*, а математика, как учил Ориген, внушена бесами), то это дает мне достаточные основания, чтобы мыслить и задавать вопросы, и тогда ко мне явится "шестикрылый серафим" с большей вероятностью, чем к "нищим духом".

[Но не миновать отклониться в сторону, чтобы в связи с верой в чудо сказать о сущности христианства, сущности, сердцевинной которого является чудо. Апостол Павел восклицает: *если Он не воскрес*, значит, Он не сын Божий, и *вера наша тщетна*. Да, в этом-то все и дело, и я тоже надеюсь на воскресение Христа. Но двадцать веков христианства были почти зря или даже пагубны, потому что НЕ ВЕРУЮЩИЕ в воскресение христово подменили сущность христианства смирением, нищетой духа, преданностью церкви, папе, патриарху, царю, ненавистью к науке, культуре, ученым и писателям. Это разве *верующие* в Христа гонялись за девушками вокруг аналоя, таскали их за волосы и осудили пуще многих явных убийц? И Христа, переворачивающего скамьи в синагоге, не они ли распяли? Так могут ли они в него верить? Если бы верили, то побоялись бы заводить особняки и Кадиллаки и ненавидеть чувство и мысль!]

Итак, я думаю, философия моя со стороны самомнения и гордыни оправдана, и я вправе продолжить дело Коперника, Лейбница и Вернадского.

Но как оправдаться в кощунстве?

И здесь мне на помощь приходит Пушкин, написавший шуточную Гавриилиаду, и хотя не нападавший на Миф о непорочном зачатии, но над ним пошутивший. Мы его простили? Да.

Ах, закричат мне, разве позволено тебе то, что извинили мы в Пушкине?

Ну и что? Пушкин выделил в "благородном сословии" во-первых *близких ему по духу*, во-вторых *чернь*, и затем еще тех, коих не относил ни к тем, ни к другим. Если я близок ему по духу, на что я надеюсь и о чем смиренно прошу Господа (как сказала святая Жанна на вопрос о благодати Божией), то уверен, что Пушкин не возразит против того, чтобы мне было позволено все то, что и близким ему людям, хотя (уверяю робких) в духовной области цензуры нет, это не "Священная конгрегация", не Синод, не Епархиальное управление и тем более не та нищая духом православная братия, которая не только Коперника, не только Библию, но и Пушкина то не читала, а умеет только гоняться за верующими феминистками по отмашке церковного начальства.

Пушкин меня защитил от царя и народа, защитил он меня и от святош, своей эпиграммой:

Благочестивая жена
 Душою богу предана,
 А грешной плотию
 Архимандриту Фотию.

Я не восхваляю то, что он в Гавриилиаде так легкомысленно и непочтительно отнесся к важнейшему христианскому мифу *о непорочном зачатии*, но несомненно, что здесь промысел Божий, ибо так как Пушкин *наше всё* – по крайней мере для поэтов (боюсь, что народная чернь на «наше всё» уже выдвинула большинством голосов "святого Иосифа"), то племя поэтов и философов перед цензурой уже оправдано в непочтении. А Бог с нами Сам разберется, без посредничества невежественной черни.

К юбилею 1937 г. Владислав Ходасевич подготовил книгу "О Пушкине", которая была посвящена большей частью самоповторениям, то есть совпадениям отдельных строк и строф в стихах и письмах Пушкина.

О Гавриилиаде он даже заметил, что это "один из больших бассейнов, куда стекаются автореминисценции и самозаимствования из более ранних произведений. В свою очередь, она питает позднейшие".

Таких выразительных самоповторений так много, что попытки отрицать авторство Пушкина в Гавриилиаде не только неуклюжи, но и еще более легкомысленны, чем сама поэма. А посему приведу, чтобы не быть совсем голословным, только один пример таких повторов.

Из Гавриилиады:

Я узнаю того, кто нашу Еву
 Привлечь успел к таинственному древу...

Из Евгения Онегина:

О люди! все похожи вы
 На прародительницу Еву:
 Что вам дано, то не влечет;
 Вас непрестанно змий зовет
 К себе, к таинственному древу...

Надо сказать, что легкомысленных и непочтительных строк и строф у Пушкина немало, Ходасевич их даже выделил в несколько групп, одну из которых назвал «Кошунства».

Приведу пример такого рода «Кошунств» (стихотворение, посвященное, предположительно, кн. Хованской):

Ты богоматерь, нет сомненья,
 ... Не та, которая Христа
 Родила, не спросясь супруга.
 Есть бог другой, земного круга –
 Ему послушна красота,
 Он бог Парни, Тибулла, Мура,
 Им мучусь, им утешен я,
 Он весь в тебя – ты мать Амура,
 Ты богородица моя.

Анализируя природу и причину Пушкинских "Кошунств", Ходасевич замечает, что они "*связаны только с влечением к пародии*". И о "Гавриилиаде" далее пишет: «В ней больше жизнерадостности и веселья, чем яда. ... сквозь соблазнительную оболочку кошунства увидим в ней равномерно и широко разлитое сияние любви к миру, благоволение и умиление».

Правда, в рецензии на книгу Ходасевича "О Пушкине" Г. В. Адамович возражал против его вывода о пушкинских кошунствах, полагая, что хотя «Пушкин действительно не "боролся с религией". Но *был к ней холоден*».

Естественно полагать, что характер этой блестящей эпохи, называемой Пушкинской, определяется *лирической поэзией*, прямой наследницей *лирической поэзии* Античности (по крайней мере до 1831 года), именно поэтому отношение к некоторым сторонам официальной религии у аристократического общества было хотя не враждебным, но *ироническим*. Основная тема поэтического творчества – ЛЮБОВЬ. Монашество и обет безбрачия и *Миф о непорочном зачатии* восторгов и даже понимания вызывать не могли. Нет, ни Пушкин, ни поэты его круга не были атеистами в якобинском французском стиле, – даже в молодости – но у них была своя *религия, порождаемая литературой*, и свои особенные Боги, более похожие на ВЕСЬ пантеон античных богов, чем на христианского Бога-отца. Это прежде всего Амур, бог любви, и Аполлон – бог наук и искусств, бог-покровитель муз, дорог, путников и мореходов. И в любви эта поэзия находила и воспевала преимущественно один ее вид – чувственную любовь.

Поговорим о странностях любви
(Не смыслю я другого разговора),
В те дни, когда от огненного взора
Мы чувствуем волнение в крови,
Когда тоска обманчивых желаний
Объемлет нас и душу тяготит,
И всюду нас преследует, томит
Предмет один и думы, и страданий –

.....

Когда же мы поймали на лету
Крылатый миг небесных упоений
И к радостям на ложе наслаждений
Стыдливую склонили красоту,

Это еще юный Пушкин, 1821 года, автор Гавриилиады. Но не тот же ли он и через пятнадцать лет?

ИЗ АНАКРЕОНА
(отрывок)

Узнают коней ретивых
По их выжженным таврам,
Узнают парфян кичливых:
По высоким клубукам;
Я любовников счастливых

Узнаю по их глазам:
 В них сияет пламень томный –
 Наслаждений знак нескромный.
Перевод: 1835

Впрочем, в стихотворении 1830 г. "*Мадонна*", посвященном *Наталье Гончаровой*, Пушкин предстает нам другим, казалось бы вполне почтительным христианином, воспевающим одухотворенную красоту и возвышенную любовь. Однако, ревнивый духовный цензор и за это стихотворение вправе был бы обвинить поэта в кощунстве, ибо кощунством считалось всякое уподобление высоких религиозных мотивов и низких земных:

Исполнились мои желания. Творец
 Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
 Чистейшей прелести чистейший образец.

Оправдавшись Пушкиным, я теперь вправе анализировать оба мифа: и *Миф о грехопадении* и *Миф о непорочном зачатии* в рамках Мифа культуры и нашей человеческой жизни как СИНТЕЗа реальности и действительности – не боясь обвинений в кощунстве.

7. Онтологические основания бытия.

Миф о грехопадении и Миф о непорочном зачатии.

*"Мой совет: до обручения
 ты не целуй его."*

Гете. Фауст.

Как невозможно противопоставлять культуру жизни, так не противостоят друг другу жизнь и религия. "Ультрареалистический" взгляд на вещи, исходящий из так называемой "объективной реальности" как из единственной реальности, напрочь отбрасывает движение бытия, диффузию его различных форм, словно подлинные события – это только неизменные матерьяльные вещи, а все остальное – призраки вещей. Но жизнь состоит из событий, а не из вещей, а что в событии объективно, что субъективно, даже следовательно не всегда способен различить, мы только поэт и философ.

И религиозный миф вырастает из житейского или наоборот, не умаляет значение ни того ни другого, они взаимозависимы. С тех пор как Господь связался с нами, мы вместе, даже если Он временами про нас забывает, как беспутный любовник забывает своих внебрачных детей. [Видите, как я теперь смело пишу – оправдавшись Пушкиным?]

Непорочное зачатие присутствует только в христианстве, следовательно, здания мировых религий могут обходиться без него (а, например, геометрия, Евклидова она или нет, *необходимым образом* основывается на Аксиомах).

Непорочное зачатие чуть ли не сердцевина самой обыденной жизни и самой обыденной судьбы – мы ведь также не обходимся без воздуха, которым дышим, но спроси нас, какое главнейшее физическое условие жизни, и мы сразу не сообразим, что это дыхание, хотя и без воды и без пищи можем обойтись чуть ли не вечность в сравнении с ним.

Рождаемся мы все одинаково, через грех, с христианской точки зрения (ибо "высшее состояние человека – *девственность*; брак и рождение детей – только *неизбежное зло*", говорит апостол Павел.)

Следовательно, всякое зачатие – грех, кроме непорочного; хотя, впрочем, я догадываюсь, что еще больший грех – те "радости на ложе наслаждений", к которым поэт "стыдливую склоняет красоту", независимо от зачатия.

Профанное отношение к *религии* как к "поповской выдумке" или невежественной попытке объяснения явлений физического мира, отмахивается и от Идеи Греха, и от той бездны, которая связана с противостоянием и соединением полов. Эта *бездна* – источник так называемой "плотской" любви, а значит источник и всей культуры и всякой жизни на Земле. Не было бы греха, то и ничего бы не было, а жили бы в монастыре апостол Павел и горстка избранных. Но почему в "ложе наслаждений" заключен грех, почему его надо стыдиться и его избегать – по крайней мере, невинной девушке – от этого и христианство отмахивается, вместо объяснения только потчует нас мифом о том, что дьявол соблазнил Еву сорвать плод с дерева и угостить им Адама (боюсь, не угостила ли она им и Змия перед тем?), и в результате произошло такое разрушение всех основ мироздания, что и Сына Божия пришлось отправить на смертную муку, и все еще мир не восстановлен в своем первоначальном замысле, и мы *вследствие этого* смертны.

"В ложе наслаждений заключены только наслаждения, и надо к ним стремиться!" – таков символ современной эпохи, от Аляски до Антарктиды, и если еще при моей молодости только юноши пренебрегали всеми заветами, и в том числе призывом Мефистофеля к Маргарите *не целоваться до обручения* (а почему вдруг Мефистофель, *соблазнивший Еву*, старается *от соблазна уберечь Маргариту* – поразительно и необъяснимо!), и спаивали неискушенных девиц, прельщая их сладостью ложа, то сегодня мир опрокинулся, и уж не чаще ли сами девицы уговаривают кавалеров отведать сладкое яблочко?

Но метафизическая бездна не объясняется и не преодолевается изменением нравов; при сумасшествии изменяется даже и логика, но это не значит, что геометрия Евклида поколебалась, и солнце побежало вокруг Земли.

Литература девятнадцатого века воспевала возвышенную любовь, воспевала верность, прежде всего супружескую, и Татьяна Ларина возгласила как вечный завет: "Но я другому отдана и буду век ему верна!", хотя и сомнительно, чтобы его любила в том смысле, в каком сам Пушкин любил хотя бы Анну Керн.

А Толстой за измену прекрасную и добрую женщину даже приговорил к смерти, при том, что сам был далеко не образцом добродетели.

Но удивительно то, что ни богословие ни литература не дерзали хотя бы пытаться объяснить, ПОЧЕМУ нельзя с кем попало и когда попало, и еще удивительнее, что наказанию за прелюбодеяние или даже легкомыслие подвергались только девицы, а их кавалеры иногда и выигрывали в общественном мнении! [Поразительно и то безумие, которое обуюло поклонниц Пушкина, едва ли поклонниц его как поэта, и самих отнюдь не

являющихся примерами добродетели, которые стали во всю силу своего поэтического таланта воспевать Пушкина именно и прежде всего не как великого поэта, а как соблазителя – от ... (имя ее забыл) до Марины Цветаевой (смотри "Мой Пушкин") и Анны Ахматовой!]

Табу, запрет на внебрачные отношения распространялся преимущественно на слабый пол, сильный пол имел право грешить и судить, но не должен был искуплять совместную вину. И только в библейском мифе Ева пострадала *вместе* с Адамом.

Я полагаю, что этот запрет устанавливался в народной традиции, независимо от религиозной принадлежности нации. Источник его в том числе в *Треугольнике ревности*: Отец, юная дочь, соблазнитель. Или: Муж, неверная жена, соблазнитель.

Изгнание Евы из Рая – это то же, что изгнание дочери из родительского дома и, скорее всего, библейский миф о согрешившей дочери возник на основе распространенной семейной коллизии.

Но одною ревностью объяснимо не всё. Само *грехопадение*, решимость к нему и мистический страх перед ним связаны некоторой непостижимой тайной, и я надеялся, что именно литература ее хотя бы отчасти прояснит.

Девственность – это *мирской* аналог *непорочного зачатия* в *сакральном*.

Идея *девственности* как мистической чистоты проходит сквозь всю историю христианского мира, она противопоставляется *женственности* как белое черному, как невинность противопоставляется греху и скверне, неотделимым от женского настолько, что средневековые объявило женщину сосудом Дьявола, велись споры о том, есть ли у нее душа. Законы ставили женщину в безусловно зависимое положение от мужа.

Насколько мистически *девственность* воспринималась средневековым, показывает история Жанны Д*Арк: восхождение ее было обязано распространившейся по Франции легенде, что женщина Францию погубила, а дева ее спасет.

«*Пушкин – "эхо" всех звуков, красок и цветов*», говорит Розанов; «творчество Пушкина жизнеутверждающе», смею я добавить к сему. Не удивительно, что в его жизни и творчестве идеи о *грехопадении* и о *непорочном зачатии* проявились и мистически и язычески. Он над ними подшучивал, но его вел инстинкт освобождения человеческой личности, ее достоинства из пут чрезмерной мистической христианской вины. И все же, стремление только к "радостям на ложе наслаждений" [не знаю, впрочем, что здесь имеется в виду] не исчерпывает метафизику человеческой души, ту тайну пола, от которой литература девятнадцатого столетия устранилась (хотя не устранилась жизнь: тайна пола сыграла трагическую роль и в жизни Достоевского, и Толстого, и Розанова – не смею обрушивать на читателя слишком много отвлечений; и особенно трагическую роль сыграла она в жизни и смерти Пушкина).

В нынешнем столетии мы неожиданно возвращаемся к размышлениям над древними загадками; век позитивизма не исключает удивительных мистических прозрений; в связи с этим несколько слов хочу добавить к тому, что я говорил уже о романе Натальи Ефремовой «Осколки памяти».

Движение моих чувств и мыслей определилось последовательностью встреч: сначала я прочитал сочинение ультрасовременного автора, доказывающего, что в "ложе наслаждений" надо превратить весь мир, что человек должен только пить из "бездны" и быть почти бессловесным, оставив в языке лишь слова по возможности наиболее вульгарные. По старой учительской привычке я пытался автора немного смягчить, он обвинил меня перед судом в посягательстве на его талант, но меня оставили на свободе. Барков оказался мне после сего довольно литературен.

Затем я прочитал повесть Рустемова «Случайная любовь», в которой живописалось, как два юных создания в восторге сладострастия, стоя по разные стороны "бездны", устремились навстречу друг другу. После Бальзака мне еще не приходилось читать столь целомудренной прозы об эротической любви, которая все же, как показал это автор, была не любовь, а соскальзывание на ложе наслаждений неокрепших душ. Впрочем, я окончательно понял, что в одиночку человек не может идти так, как *должно*, что нравы определяются обществом, что плывущие против течения слишком исключительны. Но странно, какую силу имеет человеческий гений: можно писать и о "радостях на ложе наслаждений", и оставаться чрезвычайно поэтичным, избегнуть даже намека на вульгарность.

Бог, как видно, любит меня: и в том, что бьет (а читатель еще не все знает, *плечо* только мелкие цветочки на nive истязаний, имеющих целью наставить меня на путь истинный), и в том, что позволяет мне сталкиваться и с удивительными людьми, и с удивительными, чистыми и вдохновенными произведениями искусства и литературы. Так я раскрыл роман Натальи Ефремовой.

Почему, стоя на краю, замирая от ужаса и восторга в погибельной притягательности бездны, мы отшатываемся? Почему мы ненавидим того, кого любим (примеров этого немало в мировой литературе)? Почему мы должны «сперва измучившись»... За что? Что мы делаем не так?

Ни на один из этих вопросов я не получил ответа, но только потому, что прозрение автора было значительно глубже, чем обычно бывает, когда ответы – это общие места, и все они ложные. И все же главное, из-за чего я снова и снова мыслью и чувством возвращаюсь к этому роману: чувство соприкосновения с сердцевинной тайны, близкое *откровению*.

Все хорошо кончается, и почему-то из-за этого, как пишет автор:

То ли верить хочется,
то ли удивиться...

Все хорошо кончается, но...

Но разум – мой давнишний враг,
Загадочный магнит.
В ушедших лет глухой овраг
Мучительно манит.

И в череде размытых дней
Я за собой влеку

И горечь памяти моей
И черную тоску.

Литература все же не математика в буквальном смысле этого слова, которая единственная противоположна мифу как неизменяемая действительность, несмотря на то, что мы *живем* (а не пребываем вне времени) в той действительности, в которой *справедлива нетождественность тождества, справедливо, что всякое утверждение не до конца верно, но только вместе со своей противоположностью*.

И хотя автор с горечью возражает математике и математикам:

"Мне трудно понять Ваш бессмысленный гений,
Меня Ваши мысли лишают свободы..."

но... возможно, именно математика помогла Наталье Ефремовой достигнуть в своей прозе иррационально-философского знания. И несомненно, что через ее роман я узнал очень многое, и о женщине, и о самом себе, хотя знание это иррационально. Теперь мне остается только узнать умом, что именно я узнал в безотчетном чувстве.

8. Миф о непорочном зачатии. Автор как миф.

Возможно, в моей мужской душе слишком много женского, и поэтому так остро я чувствовал «и гибель бездны на краю» и мистический ужас перед "ложем наслаждений". Но философ и должен вместить в себя противостоящее, иначе он не поймет полноту мира.

Непорочное рождение (даже без зачатия) играло выдающуюся роль в моей жизни. В семьдесят третьем году, освободившись из неволи, я любил ходить на вокзалы и там приставать с разговорами к красивым девушкам. Вот так на Финляндском вокзале заговорил я с двумя молоденькими красотками, при этом на каждое мое слово одна из них заливалась смехом, другая становилась все мрачнее, и вдруг зарыдала, затем повела меня на платформу, мы отошли подальше, где никого не было, там она встала на колени и поклялась, что поступит так, как я ей скажу. А речь шла о том, что она оказалась в положении, в семнадцать лет.

Я, конечно, был идеалист, и велел ей рожать, сначала, говорю, ты будешь меня проклинать, а потом благословишь.

Если она все-таки родила, то, думаю, имею я право считать себя причиной рождения ребенка, притом причиной совершенно *непорочной* в известном смысле этого слова.

Но еще до посадки случилось еще нечто в этом же роде: пришла ко мне подруга и пригласила с женой на крестины ребенка. Ребенок спал в колыбели, мы распили бутылку и выбрали имя (в этом и состояли крестины). "Заполняя метрику, я должна была выбрать ребенку отца. Ну не могла я записать моей дочурке этого мерзавца! – поведала нам счастливая мать. – И я решила в отцы выбрать святого!"

Что-то, видно, было во мне в юности особенное, что наивными воспринималось как святость. Правда, это особенное я замечал во многих, не был я тут исключением.

И, наконец, октябрьским вечером семьдесят третьего года на набережной Невы записал я номер телефона девице, примерявшейся угопиться, велел позвонить моей жене, если станет немоготу. Она ночевала на столе в туалете Московского вокзала, куда ее пускали из жалости. Немоготу ей стало уже назавтра. Она позвонила и сказала так: *Здравствуйте! Вам звонит та бедшенькая несчастенькая девушка, которую подобрал Ваш муж.*

На следующий день неожиданно для меня девица родила ребенка. Думаю, что мое участие в этих родах тоже было *непорочно*.

9. Первородный грех. Онтология христианства.

9 августа 2013, 6-13. Спал плохо, болит рука, но – *утро разгорается во всю мощь*, и вечером мы с женой едем в деревню.

Яблоко раздора, яблоко соблазна... *Удивительное древо* и удивительная Ева, из-за которой обрушилась вся конструкция мира... «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нём все согрешили» – говорит апостол Павел.

Это наследственный, "первородный грех", он в нас всех без изъятия, в старцах и детях, в разбойниках и святых, собственными усилиями от него освободиться нельзя, посему необходимо было распятие Спасителя на *Древе смерти* и затем Воскресение для нашего грядущего спасения.

Вот это и есть Христианство, недостаточно только веры или еще и дел, о чем спорили Павел и Петр, недостаточно распятия и воскресения, но необходима еще завязка всей драмы, тот день, в который по наущению Змия сорвала Ева яблоко. И мы стали прокляты.

И, следовательно, мы должны верить в нашу онтологическую порчу (а тогда что уж аристократия или чернь, Пушкин или Булгарин, гений или злодейство, культура или невежество – все это совсем неважно...)

Пушкина надо принимать или отвергать вместе с Гавриилиадой, Анной Керн, аристократизмом и ненавистью к черни, принимать как «"эхо" *всех звуков, красок и цветов*»», вместе с поэзией и культурой Античности и Нового времени, вместе с Амуром, Аполлоном и музами – но без той вселенской порчи, которая нас всех без различия делает омерзительными. Пушкин и верил и ждал – чего? Того, что *"взойдет она, заря пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна!"* Разве не в этом смысл и нашего творчества?

Удивительно, но он вошел в нашу жизнь не только своей поэзией, но гораздо обширнее, с ним и его друзья, и Арина Родионовна, и все поэты его круга, и его возлюбленная, *"гений чистой красоты – Вавилонская блудница"*, и жена – *"чистейшей прелести чистейший образец"*, и Бенкендорф, дающий ему грамоту о благонадежности перед женитьбой, и император, оплативший его долги и заплативший за издание Собрания сочинений.

Но если не Пушкина ВСЕГО вместе с его удивительной эпохой, то и его не понять, и не понять слова Аполлона Григорьева, что он "наше всё". А я о нем сказал еще мало, я не написал: Пушкин и Чаадаев, Пушкин и национализм, Пушкин и декабристы... Но об этом глубоко и исчерпывающе написали другие.

Так христианин я или нет? И позволительно ли читать мои Записки тем моим читателям, которые считают себя христианами?

Еще между апостолами Павлом и Петром разгорелся спор о том, ЧЕМ человек спасается: только ли верою или верою и делами (а это немаловажный спор, из него потом и выросло разделение церкви на католичество и протестантизм, и кто со стороны осмелится сказать, какая из сих конфессий истинна? А из приверженцев их каждый считает истинным свое учение. Начиналось с того, что папа пытался сжечь Лютера, да не смог, а кончилось тем, что они друг друга прокляли: кто же из них будет в аду гореть?)

И еще у Петра и Павла было расхождение по вопросу о том, к кому пришел Христос: к евреям или к язычникам? И спасутся ли иудеи, придерживающиеся веры отцов, в Судный день?

В России сожгли Аввакума, а после противника его, патриарха Никона, тоже подвергли гонениям, заточив в Кирилло-Белозерский монастырь. Оба ли они правы или не правы оба? А за Аввакумом тогда пошли более половины православных и только гонения правительства привели к тому, что разбрелись они по всей земле, и даже до Канады, Аргентины, Австралии и Кавказа. Но все же и те и другие христиане, и даже православные.

Но читать ли мои записки, разве зависит от ответа на вопрос, христианин ли я? Мой читатель, возможно, недавно был атеистом или читал Толстого, отлученного от церкви, Бердяева и Булгакова (о. Сергия), не признаваемых церковью за правоверных христианских писателей, читал, надеюсь, Пушкина и Лермонтова (а последнего некоторые христианские исследователи тоже пытаются отлучить и от церкви и даже от поэзии) и вот, читая сих, не вполне благонадежных, надеюсь, он в своей вере не поколебался. Думаю, он может дочитать и мою книгу, я его веру тоже не колеблю.

Прежде всего, я хочу уяснить сам для себя, что такое христианство. Хочу, чтобы и читатель сам для себя уяснил то же самое. А то он, возможно, верит в Будду, под именем Христа, или в Иегову, и обличая меня, обличает прежде всего себя.

Но христианин ли я?

На этот вопрос я отвечу в конце Записок.

По учению Аристотеля каждая вещь обладает материей, формой, причиной (происхождением) и назначением (целью).

Материей физических предметов является *вещество*; если же речь идет о нематерьяльных вещах, то вместо материи надо мыслить нечто, являющееся матерьялом для формы; например, в литературном произведении это ТЕКСТ. Понятие матерьяла можно использовать как более широкое понятие и по отношению ко всем предметам матерьяльного и нематерьяльного мира. Итак, в художественном произведении это все то, о чем автор пытается поведать читателю (то есть, в определенном смысле, содержание произведения, сумма происходящих в нем событий), а форма – как он это делает.

Что же относится к матерьялу христианского учения?

Миф о сотворении мира и человека. История грехопадения (первородного греха и изгнания из рая).

Пришествие Спасителя, Его земная жизнь, Распятие (искупление Первородного греха).

Воскресение. Обещание Второго пришествия и Страшного суда. Обещание прежде праведным и праведному остатку жизни вечной.

Что является завязкой, завкаской, источником сюжета в художественном произведении, по крайней мере, в приключенческом? В Рыжей Мери, очевидно, встреча пиратки и лорда и вспыхнувшая между ними любовь, в Робинзонаде – кораблекрушение, в Дон Кихоте – безумное намерение отправиться на совершение рыцарских подвигов. То, что герои существовали, были именно таковы, разумеется, определяет и сюжет и содержание, но все же будем под завязкой понимать некоторое происшествие, намерение, некий исходный толчок для всего последующего. То, что Бог сотворил мир и человека, является неким фоном всего, общей причиной бытия, но не особенных коллизий в бытии.

Итак, Адам и Ева созданы, пребывают в раю, им обещана вечная жизнь, они обладают душой и плотью, невинными и неискушенными. Это полотно, на котором предстоит предвести драму.

Есть Бог и Дьявол, Змий-искуситель, есть, вероятно, и ангелы, но они зримого участия в предстоящей драме не принимают.

В тот злополучный день для всего человечества Адам и Ева гуляли по саду, Змий стал нашептывать Еве обольстительные слова.

Завязка напоминает то, что произошло в прологе Отелло. Отелло и Дездемона любили друг друга, были счастливы, но злой завистник Яго внушил ревнивому мужу мысль об измене жены, и мир рухнул. Ревность Отелло, сводящая его с ума, была не меньшей причиной всего последующего, чем клевета Яго. Да, по существу, именно она и была ПРИЧИНОЙ. А клевета Яго – катализатором, искрой, включающей реакцию.

В Эдеме почти все происходило так же. Что было почвой, на которой могли взойти семена Змиевого искушения, что было именно главным Условием, чтобы все пошло так, как замыслил Змий? Причины недостаточно, она действует только вместе с условиями. Или, как и для Отелло, понятие причины и надо мыслить с условиями, и тогда очевидно, что причиной всего был ПОЛ.

Бог, разумеется, создал Адама и Еву совершенными, но пол в них еще спал, как и в тринадцатилетней Джульетте, пока она не встретила своего Ромео. И пол проснулся.

У Евы «Ромео» уже был, но она еще родилась недавно, была слишком юной, пол спал в них обоих, пока не появился Искуситель и злополучное яблоко.

Что бы мы сказали о родителях, оставивших детей одних дома, даже без Искусителя, и наказавших им не чиркать спичками, которые бы они положили на видное место? Мы бы предположили, что это провокация.

А что же тогда происходило в тот день в Саду? Дерево, на котором росли яблоки, пробуждающие Пол, было указано (хотя и велено лицемерно яблоки те не есть), да и взрослый развратный дядюшка гулял по саду...

Юную девицу словно заманивали к совершению греха.

Если же это Древо и воистину было Древом познания Добра и Зла, то очевидно, что поскольку через него пробудился Пол, то именно Пол вмещает в себя и добро и зло, и Культуру (она вырастает из пола, ибо и народ вырастает из пола) и всю жизнь человечества (которого, впрочем, и не было бы, если бы отсутствовал ПОЛ.)

Я сначала думал, что вкушение плода недостаточное основание для столь грандиозных последующих событий – но ведь и спички, через которые дети могли сжечь родительский дом, тоже кажутся не величественными и не достаточными.

Но иногда и бутылки вина достаточно, чтобы девушка потеряла осторожность.

Итак, события, происшедшие в Эдеме, вызывают много вопросов, на которые я не знаю ответа, а Богословие (то есть литературная критика ветхозаветного мифа) молчит.

Пол пробудился, жизнь вечную мы потеряли – либо за вину Адама и Евы, либо потому, что иначе слишком быстро стало бы уже тесно не только в Эдеме, но даже и на Земле. Но есть ли ВИНА? Дети, сжигающие дом, не виновны, ибо у них не было преступного Умысла. Виновна ли Ева? И справедливо ли ей вменить вкушение яблока и пробуждение пола в ВИНУ, притом настолько чудовищную, что проклято и все потомство ее, включая и нас с Вами, читатель? И не низко ли затем объявить нас настолько порочными, что и житие в пустыне уже не в состоянии нас очистить?

Что значит быть христианином?

Если это значит верить в Бога (как полагает большинство), то такое христианство неотлично от любой другой веры в Бога.

Или же христианство – в ожидании конца света и второго пришествия Спасителя (со всей мифологией, сопутствующей сему)?

Итак, я не могу ответить на два основополагающих вопроса: в чем виноваты Адам и Ева и мы все, их потомки.

Что будет с нами после воскресения, останемся ли мы как мужчины и женщины, а значит и иудеи и еллины, а значит и с евклидовой геометрией и античным искусством, а значит и с Пушкиным? Или и очаровашек больше не будет, и Анны Керн, и Пушкина, и в моих стихах отпадет надобность?

Хотя смерть, особенно когда она показывает жало, и мне страшна. Но всё ли я могу отдать взамен, чтобы она не жалила?

Апостол Павел уверовал в Христа. Я знаю, почему случилось сие, ему было видение по дороге в Дамаск.

Я помню, почему и я когда-то уверовал в Него.

Но какова цель нашей ВЕРЫ?

О себе я скажу: меня волнует поэзия, культура, волнуют близкие, волнуют очаровашки, я страдаю из-за духовного и физического падения России больше, чем из-за возможной собственной смерти.

Вот так отец мой в августе сорок четвертого года на Безымянной высоте приказал своим солдатам отойти в тыл, чтобы им спастись, а сам остался умереть, чтобы прикрыть их отход. Был ли он христианином, я не знаю. Но он

был несгибаемым русским человеком, тонким и добрым, и жизнь России, его близких и его друзей были дороже ему, чем жизнь своя.

Если я смогу поступать так же, как он, то мое восхождение в гору – правильно.

Жертва Христа во имя человека меня восхищает. Если Он Сын Божий, то в такого сына я верю. Если он пророк, за таким пророком легко пойти.

Но я не могу принять такой ярости в обличении человечества, не могу согласиться с проклятием рода человеческого. Моим предкам вменили вину без достаточных оснований: если они «не ведали, что творят», то в чем их вина? И на вопрос, признаю ли я себя виновным вместе с ними, я отвечаю: Нет, не признаю!

А христианин только тот, кто согласился признать и себя и человечество *виновными* в том стародавнем событии. Веровать в Христа как в Бога, не понимая или не принимая, ЗАЧЕМ Он приходил, слишком наивно. Это то же самое, что верить в Будду, не зная, кто это такой.

Но понимают ли принимающие христианство, что тем самым они соглашаются с Первородной виной, с осуждением Адама и Евы и проклятием человечества? Что тем самым они соглашаются держать голову низко и потуплять очи, как напроказившая кошка? Человек должен жить в гармоническом соединении гордости за все прекрасное, что мы или наши близкие делаем, и стыда за те мерзости, которые делаются рядом с нами, а мы или не умеем, или боимся им противостоять.

Как надо жить?

Мой товарищ говорит мне: надо молиться.

А героиня романа «Фамильные ценности» исправила свою жизнь, отношения с близкими, поставив в ОСНОВАНИЕ благих изменений родовую гордость и народную нравственность. Если она христианка, то такое христианство я приемлю, но не могу принять, что Иисус из Назарета не вышел встретиться со своей матерью и братьями и сестрами, когда они пришли его навестить, сказав, что братья его и сестры – это ученики его.

В творчестве Пушкина, откликнувшегося на все значительные идеи античной и европейской культуры, нет отклика на идею первородного греха, злополучное древо упоминается лишь как соблазн. Пророк навеян Кораном. Мадонна предстает как символ чистоты, не умаляющей человеческое в человеке. Да, это главное: *Пушкин не умалял и не осуждал человеческое в человеке*. И в отличие от меня смерти он не боялся. Он твердо знал:

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Если *воскресение* – это основная цель христианства, то как она соотносится с нашими земными целями и, в частности, с целями литературы?

И как соотносится литература с религией и Откровением? Или она сама – Откровение о жизни – ВМЕСТЕ с философией, наукой, религиозными мифами?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Система ценностей как основание жизни**1. На чем сердце успокоится?**

Понедельник, 12 августа 2013. Возвращаюсь из деревни.

Что меня часто раздражает? Глупости, которые приходится слушать в разговоре или читать. И необязательно, чтобы глупости говорил или писал непременно глупый человек. В политических статьях, например, автор, возможно, обрабатывает свои тридцать сребреников.

И вот что удивительнее всего: в разговорах с детьми меня ничто не раздражает, они глупостей не говорят. Они говорят, что думают, что чувствуют, что знают, иногда рассказывают свои предположения и фантазии, но то, что они говорят, собеседнику всегда интересно. Как только они достигают границы, за которой разговаривать стало бы неинтересно, разговор исчерпывается, и мы замолкаем.

Иногда я сам им рассказываю что-нибудь, и почему-то не приходит мне в голову ничего такого, что нас никак бы не связывало и им было бы совершенно не интересно. Например, я спрашиваю, как дела в школе, читают ли они книги, с кем они дружат, и ответы их всегда умны. Разговор может быть пространнее: если моя собеседница девочка, то она расскажет мне о любви и дружбе и даст дельные советы, как мне любить самому.

Если же собеседник взрослый человек, причем мало образованный, например, деревенский старик, то мы можем поговорить о земле, огороде, лесе, рыбалке, семье, здоровье, даже о Боге. Человек необразованный если и говорит что-нибудь об «отвлеченных проблемах», о Боге или смысле жизни или о любви, то это все им глубоко продумано, или отложилось в нем так, как постепенно откладывается чернозем в почве. Ведь не может быть, чтобы почва притворялась черноземом, выдавала себя за него – нет, она или является им, или не является. Вот таких людей, говорящих *своё*, я называю *естественными* людьми. И деревенский необразованный человек *естествен* и подобен в чем-то ребенку. Если, конечно, он не пьян.

Когда-то я написал статью о дилетантах и профессионалах, тогда меня сильно раздражали профессионалы: профессиональные политики, "жрицы любви", профессиональные воры (или, иначе, "воры в законе"), профессиональные философы. И я приводил примеры русских литераторов (Чаадаева, Киреевского, Кюхельбекера), которых ценили великие европейские философы.

Но потом меня стали раздражать невежды...

А теперь раздражаю я сам себя, и как бы не показался я читателю человеком, который стремится всех поучать. Но я не забываю, что не знаю я гораздо больше того, о чем дерзаю судить.

В математике я избегаю суесловия, потому что в математике всякого такого красная сразу выводят на чистую воду. Хотя, бывают и в математике

исключения, особенно там, где она выходит за *пределы* самой себя, в частности, в теории *числа и предела*.

Так, *предел* определяется через *число*, к которому неуклонно приближается числовой ряд, а (иррациональное) *число* определяется как *предел* последовательности. Надеюсь, читатель понимает, что это бессодержательные определения.

Вот поэтому, зная, что и в математике случаются (и до сих пор держатся в основаниях анализа) такие логические несообразности, я стараюсь не совершать ошибок в собственных рассуждениях. Пусть уж они будут хотя бы не ахти как поучительны, но по крайней мере *сообразны*.

Заканчивая свои Записки, задаю себе еще несколько важных вопросов. Во-первых, к кому обращены сии Записки, стремился ли я поучать читателя или что-то объяснить себе самому? Вероятнее всего, это разговор, который я случайно затеял, как в электричке, с попутчиками. Попутчиками оказались три современных писательницы, не избалованных, как и я, вниманием публики, поэтому они меня внимательно слушали и даже комментировали мои рассказы. Только благодаря их вниманию я говорил так долго.

Во-вторых, все-таки, возможно, это объяснительная Записка, диалог или разговор с самим собою, хотя у него и были слушательницы. Нет, я не столько стремился объяснить нечто мне уже известное себе или другим, сколько ответить на множество вопросов, которые накопились в моей душе даже не сформулированными, или хотя бы наметить пути разрешения этих вопросов. Я хотел узнать, для чего существует литература, какие главные цели она ставит, для чего я сам пишу свои книги. Для чего я живу, что питает мое творчество, есть ли некая живительная почва, на которой произрастает моя жизнь.

Да, есть, ее я и называю *системой ценностей*, каковое понятие и поставил я в заглавие последней главы.

У жизни есть рациональные основания (например, идеология, традиции) и иррациональные (магические). В сакральном пространстве религиозное учение стремится стать единственным основанием жизни, Бог является высшей и единственной ценностью, из которой истекает все, и в этом своем качестве единственного основания Он уже отрицает понятие ценности (так, если бы существовал только один красный цвет, то цвета как явления уже не существовало бы, и даже красного цвета тоже, ему не с чем было бы сравниваться, не от чего отличаться).

Чтобы возникло понятие «ценности», необходимо, чтобы религия была не единственным источником, оправдывающим, объясняющим, мотивирующим и предлагающим цели для жизни.

Следовательно, понятие жизненных ценностей возможно в пространстве бытия, в котором жизнь не сакрализована тотально.

Мне необходим был собеседник или хотя бы слушатель, чтобы разобраться в самом себе и в том, на чем я хочу достаточно основательно стоять. Я нашел даже трех собеседниц, и сердце мое почти успокоилось.

2. «Фамильные ценности». Семья и род

Писатель разговаривает как ребенок или как человек *естественный*, он говорит только *свое*, в этом отношении он полная противоположность авторам диссертаций, монографий, критических и некритических статей, и философий. Он противоположен и мне, представшему в этой книге в качестве компилятора поучительных сочинений других, близких мне авторов эссе и критических статей. Правда, к счастью, кое что я чувствую и мыслю и сам по себе, независимо от других, и в этом отношении я все же напоминая писателя, к тому же в этой книге представляю даже отрывки из своих собственных стихов.

Так как я не только подлинный, реальный человек, но и **миф** (как и всякий писатель), то и я иногда разговариваю как ребенок. И поэтому дети со мною разговаривают охотно и откровенно. И поэтому судьба дала мне возможность прикоснуться к их интересному и поучительному миру. Дети – это не начинающиеся взрослые, а самостоятельное бытие. Чтобы стать взрослыми, с ними происходит метаморфоза, они переходят из одного состояния в другое, и это не значит, что они становятся опытнее, образованнее, умнее. Нет, часто переход от детства к взрослости представляет собою *снижение*.

Они меня часто поражают инаковостью своих оценок и суждений сравнительно с взрослыми. Так, взрослые думают, что я устойчив, целеустремлен, редко унываю и уверен в своих жизненных устремлениях. А недавно знакомая десятилетняя девочка, с которой я встречаюсь два-три раза в год, но уже давно знаком, лет пять, сказала мне (а перед этим мы ехали вместе в автобусе и переглядывались, потом, выйдя на своей остановке, она подошла к незакрытым дверям автобуса, чтобы я мог ее увидеть, и помахала мне рукой): Мне кажется, сколько я вас знаю, Вы всегда печальны. Не грустите, в жизни бывает много хорошего!

Она жила в детдоме, потом ее взяла в семью женщина из соседней с моей деревни. (Кстати, на выходные к ней приезжает подруга из города, из того детдома, и я думаю, что все это гораздо выше монашеской святости).

Итак, дети не хуже нас, взрослых, понимают жизнь, хотя, говорит ли их устами истина и знают ли они ее, я не знаю. Но что они лучше взрослых, менее испорчены, это несомненно.

Во взрослой литературе дети занимают не много места, их труднее вместить в миф романа. Но прекрасные их образы общеизвестны: Козетта и Гаврош, Алиса, герой Толстовского Детства, Гаршинский Тёма, образы сказок Гофмана.

И вот читаю роман Натальи Троицкой «Обнарво», слишком серьезный, слишком наполненный грубой жизнью, чтобы в нем поместился ребенок, и вдруг, как «луч света в темном царстве», появляется маленький мудрец. Уж я ли не видел удивительных детей, я ли и сам не был удивителен в детстве, но этот ребенок заставил меня усомниться в моем понимании мифа. Возможен ли он как действительность? А ведь миф в романе оправдан до конца лишь тогда, когда он проникает в мир и становится миром. Как Козетта и Гаврош у Гюго.

Но тут я вспоминаю его маму Таю, *женщину-дитя*, и чувствую, что ребенок ее продолжает, и она оправдывает своей непостижимой до конца пленительностью, возвышенностью его понимание жизни.

Мир взрослых неполон без мира детей, без них не существует ни истина, ни царствие Божие, и если даже через них она не глаголет, то без них она неполноценна. А ведь христианство отвергает детство, обходится без него, не вмещает его в свое Учение о Первородном грехе и Искуплении, хотя и обмолвился апостол Павел, что надо быть детьми душой.

К слову, до девятнадцатого столетия не существовали в Европе ни детские игры, ни литература для детей, и дети не выделялись в жизни как нечто особое, само в себе ценное.

Только что смотрел в электричке, как девочка с папой играла в шашки, как они уличали друг друга в обмане, проказничали, смеялись, она его шлепала по руке, в которой он прятал шашку, и глаза ее светились блаженством... а мои маленькие подружки все без очков, и я у них единственный взрослый друг, и дедушка, и папа, и иногда даже «мужчина моей мечты», бессознательно для самих себя...

Нет, без ребенка культура неполноценна, неполна, ущербна, и не бывает Истины, которая не может прозвучать и из уст ребенка – истины не конкретной, прикладной, а художественно, духовно обусловленной.

Но как же тогда философские и религиозные учения? Значит, и их истина не полна? Как не полна сама жизнь и без всего того, что ее расширяет, и даже без того, что ее ограничивает, как не полон мир без войны и живое без жала смерти, умирающее без рождающегося. И я понимаю, что философию питает не только математика, как я утверждал, но и литература. Да, может быть, *русская философия и есть преимущественно литература?!*

Многие нас упрекают, что у нас нет такой философии, как у немцев. Да потому и нет, что мы шире.

Дети, конечно, существуют не сами по себе, а через семью, через пол и через эротическую грешную любовь, осужденную христианской мифологией. Но и все другие учения, претендующие на тотальное обоснование мира, даже противоположные христианству, выселяют их на задворки жизни, да даже и саму жизнь превращают в нечто вторичное.

Отчасти иудаизм, с его призывом к размножению (как пишет Розанов в «Людах лунного света»), противостоит христианству, враждебному семье и роду, проповедующему безбрачие и *прекращение истории* человечества (а вы не задумывались, откуда каждый год всплески ожидания конца света?)

Пуританская (христианская) Англия смотрела на детство почти как на болезнь, *недоразвитие*, замечательно изображает ущербность таких отношений взрослых с детьми роман Диккенса «Домби и сын».

Впрочем, не лучше и тоталитарный атеизм, с его лицемерным призывом «Все лучшее – детям!», но с практикой Гулага по отношению к ним (в тюрьмы и лагеря детей при людоедском режиме начинали сажать уже с двенадцати лет).

Ошельмованный девятнадцатый российский век в крайнем случае

поучителен. За дворянскими детьми бегали немецкие бонны, французские учителя и русские няни, крестьянские дети хотя и рано приобщались к труду, но даже из дворянской литературы, обличавшей язву крепостничества, видно, что положение русских детей в больших патриархальных крестьянских семьях представляется идеальным сравнительно с прозябанием Козетты и Гавроша во Франции.

Бедствия семейства Мармеладова вызваны пагубной страстью главы семейства, Чеховский Ванька жил уже при начинающемся городском капитализме (но знаете ли вы о бедствиях трех миллионов беспризорников в девяностых годах двадцатого столетия? Возможно, за всю предшествующую эпоху дети не перенесли столько бедствий...)

Характернейшей чертой нынешнего времени и в России и в Европе является распад связей: социальных, сословных, семейных, духовных, национальных. Слово раковая опухоль точит наши народы. И тем отграднее было читать мне «Обнарова» и «Фамильные ценности», на фоне драматической современной жизни глядяваясь в лица ... нет, не святых... но таких милых, родных, традиционных русских людей, идеальных жен, беспутных мужей...

3. *Нация и народность.*

Я не ссылался на современные журнальные статьи, слишком многие из них поверхностны или написаны по заданию правительства или написаны по велению «чистых рук и холодного сердца» (определение чекиста).

Но есть, есть и честные, умные, мыслящие журналисты, уже если и не решающиеся произнести слово *национализм*, то уже смеющиеся произнести слово *нация*. [Правда, казалось бы, разве это не то же самое, что *народ*? Но, оказывается, нет. В русском языке *народом* называлось и податное сословие в отличие от дворянства, то есть "простой" народ, и население страны, но без отличительного национального признака, национальной *субъективности*. Даже и в табеле-календаре за 1917 год, перечисляющем *племена* и сословия, племена как раз и не перечислялись, а только вероисповедания, то есть количество православных, мусульман, буддистов, иудеев, католиков, протестантов и даже язычников, а сколько среди православных собственно русских, не говорилось. Да что говорить, я как-то в одном собрании произнес слово *национальность*, и на меня посмотрели с осуждением, а одна дама сказала, что вот вроде бы и приличный человек, а оказывается, в интеллигентное общество меня допускать нельзя. И только сионист Файнберг, возражавший против ввода советских войск в Прагу (так что за это его посадили на целых пять лет), против меня *не возражал*.]

И вот Юлия Латынина пишет про нацию, что во-первых, «это – приличное слово, если не отдавать его на откуп нацистам, а во-вторых, надо думать о том, как эту нацию сохранить.»

А далее ее несет еще далее.

«Позвольте мне быть политически некорректной. У России есть национальная проблема. У нее вообще куча проблем, в том числе и национальная. Точнее –

целых три национальных проблемы. Мигранты, жители Северного Кавказа вообще и чеченцы в частности.

Национальный состав России меняется. Меняется в худшую сторону: из нее уезжают миллионы тех, кто хочет свободы, и приезжают миллионы тех, кто согласен на рабство.

Национальный состав России меняется в результате сознательной политики властей по отношению к собственному населению.

На пропаганду «пользы миграции» брошены гигантские ресурсы. Обратите внимание, как часто вам встречаются статьи и «мнения экспертов» о «дефиците рабочей силы на рынке труда».

На самом деле «дефицита рабочей силы на рынке труда» не может быть по определению, так же, как не может быть «дефицита туалетной бумаги на рынке туалетной бумаги». Если дефицит есть – значит, рынка нету.»

Язык – национален, он, к сожалению для иных, то русский, то французский, то даже арамейский. Есть, конечно, эсперанто, но "простой" народ на нем говорить не умеет. Писатель – национален тоже, хотя бы потому, что язык уже и является его национальностью. Он еще и народен, даже если между ним и народом существуют противоречия, как у Пушкина или Лермонтова или Чаадаева (и меня грешного), даже если он временами и восклицает «как сладостно Россию ненавидеть!», как Печерин (через е) или «жалкая нация...», как Чернышевский. Заискивать перед народом пошло, ибо «поэт, не дорожи любовью народной», но еще пошлее народ унижать, тем более к нему не принадлежа. Народ не обязательно и любить, но «за веру, царя и отечество» (это метафорически говоря) сложить свою буйную голову достойно и Пети Ростова, и князя Багратиона.

И Юлия меня порадовала (хотя она и давно уже меня радует), тем более что... да... хотя для меня это совершенно естественно...

Итак, не только «пол и характер», семья и дети, но и национальное принадлежит к числу необходимых ценностей «полноценного» человека.

4. Поиск новых оснований. Добродетели

В дополнение к миру вещей мы нуждаемся в некой духовной субстанции, которая их обнимает, и которую мы чувствуем и мыслим. Но в своей абстрактно-бессодержательной форме это *магическое духовное нечто* почти ничего не добавляет, почти ничего не добавляет к голому миру вещей. Оно должно предстать в форме конкретно-содержательного мифа: христианства, буддизма, ислама, зороастризма или хотя бы верований полинезийского дикаря со священными животными и деревьями.

Реальность – это мир вещей в себе. *Действительность* – это соединение мира вещей с культурой, это взаимопроникновение двух миров.

«Верить в Бога» можно почти так же, как в инопланетян или в обитателей обратной стороны Луны; личное содержание веры определяется тем, насколько проработан религиозный миф, каково понятие Бога и Веры. Есть Бог авторов Нового Завета (евангелистов и апостолов), Бог Отцов церкви, теологии, Инквизиции, папы Римского и Священного синода, Бог духовенства

и мирян – и в той или иной мере это тот Бог, каким он предстал большинству верующих в третьем веке христианской веры. Но есть Бог мыслителей и ученых, то есть рассуждающих интеллигентов (ибо есть Бог и у нерассуждающих интеллигентов, и он бессодержательнее, чем даже у плебса).

К мыслителям и ученым принадлежит Мережковский с участниками его Религиозного общества. Насколько глубок и интересен Мережковский в своих литературоведческих статьях, настолько же он запутывает себя и читателя в религиозных исканиях. Анализируя творчество Леонида Андреева, его повести Иуда Искариот, Жизнь Василия Фивейского, Савва, он показывает беспомощность его героев и в религиозных отрицаниях, и в утверждениях, даже их религиозное невежество и глупость. Но как только он сам начинает ИСПРАВЛЯТЬ христианство, то оказывается, что и он недалеко ушел от героев Леонида Андреева.

Мережковский отвергает первородный грех, метафизическую вину и необходимость смертного искупления ее, он думает, что в МИФЕ одно можно принять, другое отвергнуть. А о чем же тогда спор Аввакума с Никоном и трехсотлетние гонения на миллионы староверов, пытки и казни, оправдан ли раскол на католичество и православие из-за такой «мелочи», как нисхождение святого духа только от Отца или и от Отца и от Сына?

МИФ или принимается или отвергается – целиком, а не частями. Как и в браке нельзя жениться только на женской душе, не принимая и не желая ее тела, и надеяться в браке с душою иметь детей.

Мережковский пытается соединить гуманизм и христианство, пытается осовременить христианство, возвысить его до человеческих забот, и недоумевает, что и общество его не хочет понять, и синод разгоняет их собственное общество; недоумевает несоединимостью христианства с гуманизмом – но, видимо, никакая религия не соединяется с гуманизмом, ибо Бог не соглашается иметь только часть, он требует от человека ВСЕГО.

И все же началась Новая эпоха, сначала в 18-м веке во Франции, затем в 19-м в России, когда почудилось, померещилось, а иные и воочию увидели, что старый *Бог умер* (как сказал Ницше).

Богоискательство кружка Мережковского (куда входил и Розанов, кстати) – это разлом эпох.

Сегодняшняя религиозная реставрация в России – даже если она с помощью государственного давления утвердится и надолго, – не отменяет смену эпох. Как ни была хороша Уваровская триада (*самодержавие, православие, народность*) в 19-м веке, в 21-м их органическое соединение уже невозможно.

В культуре продолжается тот самый процесс поиска новых оснований, который начался сто лет назад и был насильственно прерван.

Сегодня он восстановился, и хотя его снова можно прервать, как и отменить книгопечатанье и запретить мыслить, даже уничтожить Россию и русский народ, но при живом народе культура будет продолжаться начиная с разрыва, то есть с 10-х годов двадцатого столетия, и нам надо перечитывать Розанова, Мережковского, Иванова-Разумника, Волошина,

Вячеслава Иванова, Георгия Ива́нова и тех русских авторов, талант которых развился в изгнании.

Возможно, скоро перед нами будет иная страна и иная Европа, для которых наши книги будут уже не актуальны... Но если Апокалипсис культуры не наступит, то именно нам надо будет утверждать новую систему ценностей, в которой литература, философия, государство и личность будут чувствовать себя уверенно и жизнеспособно...

Согласно этике Аристотеля, я стражду о *достойном* человеке. Отчасти и сам стараюсь стать достойным, а *отчасти* потому, что не все *Правила достойной жизни*, которые я предлагаю вместо *Заповедей Моисеевых*, я сам умею исполнить. Привожу их из «Записок на пальме»:

1. *Будь верен своей семье, друзьям и близким*, помогай им и защищай от напастей, как и в них черпай душевную твердость.

2. *Храни память предков*, продолжай праведно род свой в детях и внуках.

3. *Люби Родину*, умножай ее красоту и силу, духовное и телесное величие, спасай ее в бедствиях, но не слепо люби, а обличай пороки и исправляй пути, чтобы славился родной народ среди других умом, великодушием, воспитанием, честностью, справедливостью, культурой.

4. *Охраняй природу*, поля, леса и реки, как всякий человек охраняет жилище свое, как заботится о теле своем, чтобы мир Божий стал подлинным садом, чистым и благоухающим. Живи в гармонии с природой, как душа в гармонии с телом.

5. *Ищи источники жизни в труде*, творчестве, вдохновении, любви; *положи труд в основание добродетели*, трудись неустанно, преображая землю и наполняя ее красотой, умножая богатства своего народа и семьи, совершенствуя плоды творчества.

6. *Уважай достойных, люби верных, будь милосерд к страдающим*, не оставь сочувствием ближнего твоего, и во имя Любви будь способен к великой жертве!

7. Стремись к духовной близости с Господом, ищи ключи жизни в своей Совести, в Откровении, в преданиях своего народа.

5. Редактор как учитель.

Но не выходят ли уже мои Записки за границы заданной темы? Ибо вместо анализа редакторской работы я анализирую, если так можно выразиться, весь божий свет, да и самого Бога тоже!

Разве не должен был я вместо этого перечислять характерные ошибки авторов и учить их тому, как *правильно* писать, задавая работу над ошибками?

Но, увы (или к счастью), как писать *правильно*, не знает никто, а учителя *правописания* – меньше всех. В литературе скрыто И ремесло, как и во всем, но наибольшая ее часть – это искусство – как и в любви. Кто ищет ремесла, тот должен идти в соответствующие заведения, но я о них говорить не буду...

И все же в некоторой степени *поучение* скрыто и в работе редактора, прежде всего оно в том, что касается наставлений в бережном отношении к

русскому языку. Если я предостерег автора от небрежного и нелюбовного обращения со словом, то я сделал все, что мог. Больше меня делает Всевышний и Музы, они посылают вдохновение и талант.

Но добавлю еще из "Записок на пальме":

«Даже отдельные слова поучают и пестуют душу – Отечество, отчизна, Родина, народ; родной (милый, близкий), природа, родники (рождающие воду, а метафорически – источники жизни) – по духу и по рождению соединяют в одно целое тех, с кем мы живём, среди коих родились, семью, родную землю и череду родителей и пращуров, населявших ее. *Отчизной* и *Родиной* не назовешь место, куда забрасывает "по воле рока на ловлю счастья и чинов", куда бежишь за "длинным рублем", за сладкой и обеспеченной жизнью, ибо пронзительное слово *Отчизна* сильнее всех проповедей противостоит низкому суждению, что Родина – там, где хорошо, и даже высокому, что Родина там, где Бог. Но да может ли быть хорошо на *чужбине*, если дома даже "дым отчества сладок и приятен"? И может ли вполне согласиться с утверждением апостола Павла, что "отныне несть ни эллина ни иудея" – еще живой писатель, пишущий и думающий на *родном* языке? Еще живой актер и художник? Даже странник по родной земле, в восторге благодатного слияния с природой восклицаящий: "Благословляю вас, леса! Долины, воды... И посох мой благословляю! и всю *Природу!*"? Идея Рода и Отечества лежит в основании языка и противостоит безнациональной *всеобщности* способом говорить и думать.»

Кроме всего того, что я уже сказал (прежде всего, напоминая сказанное талантливыми и чуткими мастерами), я должен был бы сказать и многое еще несказанное, и, например, то, что Аполлон Григорьев говорил о *типическом*, и слова Огюста Родена об *особенном*: «В каждом существе, в каждой вещи пронизательный взор художника открывает *характер*, то есть внутреннюю правду, которая просвечивает сквозь внешнюю форму».

6. Еще одно, последнее сказанье...

Художник стремится найти и выявить *особенное*, «лица необщее выраженье», иногда героическое, превосходящее мир обыденности. Но что же народ, мир *обычных* людей, часто именно тех, которые рядом с нами, наших родных и наших друзей? Неужто они ничего не стоят, обречены на забвенье, над ними не прольется слеза художника, над их часто нескладной жизнью, часто с угасшими не по их вине надеждами и порывами? И они только достойны ненависти, презрения, обидных званий обывателей, мещан, *черни*?

Сострадание важнее, чем «любовь к ближнему», оно возможно и по отношению к недостойным, а великий художник пытается обнять *ВСЬ* мир, понять его и оправдать. Вот таков Лев Толстой, певец часто казалось бы заурядных судеб и характеров, и магия его "Войны и Мира", сколько бы мы ни пытались ее объяснить, в его *всеобщности*, а не исключительности, той *всеобщности*, которая у других превращается в банальность.

Во мне кипит негодование по отношению к глупым, жалким, мелким, подобострастным, верноподанным, не чувствующим возвышенное, одухотворенное, лишенным не только гениальности, но даже таланта... Но я,

родившийся при свете лучины в темной избе, переделанной из хлева, вскормленный молоком пополам с водой, и хлебом, выпеченным из сорной муки... разве я не жалел их, обделенных божьей искрой? Кто их обделил? Сами ли они себя обделили?

Вот поэтому в растерянности я говорю тем, кто меня читает и кто мне поверил: Забудьте о моей презрени к «малым мира сего».

Литература, а не литературная критика, и не Политическая экономия, и тем более не политология, и даже не философия, даст ответ на вопрос: Как нам жить в этом недостойном мире среди людей, которые нас даже не читают?

Закваской бытия, истории и Судьбы является Трагедия. Трагическое пронизывает историю и даже самую счастливую жизнь, даже такую, как у меня, человека, с которым с детских лет *носились* родные и друзья, учителя и врачи и даже следователи КГБ, человека, не обделенного вниманием ни своей жены, ни чужих ... то есть, я хочу сказать, вниманием друзей и подруг...

Но если Пушкин, признавая, что «отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаяние», одновременно восклицал: «но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал», то или я более привередлив, чем Пушкин, или нынешний век презреннее того, в который он жил.

Не трагедия, что меня бросали подруги в юности. Что я никому до сих пор не известен. Что даже математическая карьера мне не удалась, хотя я уверен, что мой Учебник математики наилучший. Что меня не читают и читать не будут – у меня есть читатель, которого одного мне достаточно – это Всевышний (не считая моих корреспонденток). Я настолько удовлетворен тем положением, которое занимаю в обществе, что никогда не сомневался в том, что я «баловень судьбы». Но судьба страны, культуры и образования, которые усилиями невежественных и циничных "власть имеющих" становятся все ниже – вот что меня волнует и трагически удручает. И поэтому мне хочется иметь другую историю, другую страну, другой народ. Этот народ, боюсь, скоро одичает и Пушкина читать перестанет.

Поэтому я и писал свои Записки редактора. Современная литература, надеялся я, ответит на мои вопросы и мои недоумения и объяснит трагедию нашего русского бытия.

7. Но все таки не прощаюсь...

Так что даже если Россию уже закатали в асфальт – воры, чернь, правительство, судьи, менты и чиновники, – то все же не все закончено: в литературе ее последняя надежда. Возможно, мы прорастем сквозь материю небытия, и если нам это удастся, Россия воскреснет.

Писатели – все, с кем меня столкнула судьба – меня учили. Литература – в большей степени школа, чем даже *школа жизни*. Поэтому моя задача не в том, чтобы ответить на вопросы: *Что есть истина, В чем смысл жизни, Как спасти Россию*, а чтобы еще раз их напомнить. Литература и ответит на них,

ибо даже если она будет стремиться потешать, логикой судьбы и страдания вынуждена будет отвечать. Так даже беспутная мать бросается на защиту своего ребенка, забывая про наслаждения.

Книга закончена. Теперь буду ждать откликов. Правда, даже если их не будет, я уже утешен – три подруги-поклонницы у меня уже есть: чуткие, глубокие, *художественно и философски одаренные...*

Им я и посвящаю свой труд.

И чтобы НЕрасставание наше было легким, вместо философских сентенций, слез или сетований я заполню его стихами.

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые....

Ф. Тютчев

Счастли́в, кто не спешит и с временем в ладу́.
Он успевает жить, и даже письма пишет.
Я – пасынок судьбы, как в летнюю страду,
Живу, беря займы, и время мною дышет.
Счастли́в, кто спит легко, кто снов своих не помнит,
Не злится на людей, и Бога не гневít.
Всё то, что предстоит, он в точности исполнит,
Не поколеблет твердь, но в бурю устоит.
Счастли́в живущий так, как будто Бог нас правит.
Вчерашнему он друг, грядущему не враг.
Душа моя больна – то, ненавидя, славит,
То, прославляя, вдруг хоругви рвет и флаг.
Душа моя больна, счастливым мне не стать,
Я спорю и с людьми, и с временем, и с Богом.
Опаздывая жить, отвергнув благодать,
Я с истиной тащусь по брошенным дорогам...

О, как мне быть, пророку и глупцу?
Я посредине поиска и знания.
То истина ударит по лицу,
То глупость, то порыв негодованья.
Болит душа. Но больно и уму!
Бормочет вздор бездушная эпоха.
С того и мучаюсь, что не пойму,
Зачем нам Бог, когда нам с Ним так плохо!

Время предстает то как Хронос (пожирающий своих детей), то как Кайрос – то особое состояние Бытия, когда Судьба откликается на особые и постоянные усилия человека.

21 августа 2013.

ЭПИЛОГ

ЭЙДОС и ЭНТЕЛЕХИЯ

Эпилог (греч. epilogos) в античной драме обращение к зрителю с поучением, просьбой о снисхождении или с разъяснением содержания.

1.

Эйдос (др.-греч. εἶδος – вид, облик, образ), термин античной философии и литературы, первоначально обозначавший "видимое", "то, что видно", но постепенно получивший более глубокий смысл – "конкретная явленность абстрактного", "вещественная данность в мышлении"; в общем смысле – способ организации и/или бытия объекта.

У Платона содержание понятия существенно трансформируется. Прежде всего, *эйдос* теперь понимается не как внешняя, но как внутренняя форма, то есть *имманентный способ бытия вещи*. Кроме того, эйдос теперь обретает онтологически самостоятельный статус, формируя трансцендентный мир идей (то есть собственно мир эйдосов) как совокупность абсолютных и совершенных образцов возможных вещей.

Эйдосы – это принципы, по которым устроены вещи, но должен быть и принцип самой принципности, или эйдос всех эйдосов, полагал Лосев в Истории античной эстетики.

Пытаясь вынырнуть из моря интерпретаций и комментариев, я полагаю, что *сознание* приводит к представлению и **понятию** как к вершине, квинтэссенции, результату логического анализа; чувство же приводит к представлению-образу и образу-**эйдосу**. Первый термин двуединства означает непосредственную данность восприятия объекта, второй термин – его сущность. Художественное изображение и преображение мира, превращение непосредственно данного (мира реальности) в духовно обусловленное (действительность) требует **сгущения**, перехода от конкретной индивидуальной данности к образу-**эйдосу**, в котором частное растворяется в общем, индивидуальное в видовом (а у Аристотеля эйдос и обозначал ВИД).

Художественное произведение оперирует понятиями и высказываниями, и образами-сущностями (эйдосами). Я не ограничиваюсь русским словом образ только потому, что он воспринимается как явление и изображение *предмета*, тогда как необходимо представить и его сущность, то есть создать эйдос (источник, идею, форму). И я догадываюсь, что теория типического как раз и соединяется с античным понятием *эйдоса* в его значении обобщенного образа, **архетипа**.

Понятийная философия должна уступить приоритет философии образительно-чувственной.

Понятийная философия, разворачивающаяся как свиток силлогизмов – одномерна. Роман – это трехмерный ОБРАЗ (эйдос) мира.

Таким образом, хотя именно философии принадлежит основная функция объяснения ВСЕГО, в том числе и образов литературы, но к глубинам мира проникает лишь художественность.

2.

Энтелехия (от греч. – направление, "цель" и "имею", обретаю), т.е. обретение (себя) через самовоплощение внутри заложенной цели (неизв. автор).

Энтелехия, от греч. *Entelecheia* – "осуществление", есть термин философии Аристотеля (Лосев. История античной эстетики).

По Гуссерлю, вся история европейской культуры представляет собой разворачивающуюся во времени Энтелехию открытых в Греции идей и принципов.

На протяжении той книги, которую я теперь пытаюсь завершить (возможно, кто-то из читателей дочитал и до сих моих строк), я пытался ответить на два вопроса: есть ли общее призвание у литературы и в чем оно состоит; есть ли некое особенное призвание у меня самого, то, что я часто полущу называл "миссией".

Привлекая важнейшее понятие мировоззрения Шпенглера (см. его "Закат Европы") – **СТАНОВЛЕНИЕ**, термин, близкий по смыслу и к "осуществлению" и к "обретению себя", мы непосредственно видим, что в действительном мире, который НЕ ЕСТЬ, а непрестанно изменяется, всякий *предмет*, явление, ИДЕЯ не есть нечто тождественное самим себе, а изменчивое. В чем причина изменчивости, внешняя она или внутренняя?

Понятие Энтелехии устанавливает, что у всякого предмета есть внутренний источник изменения, имманентный самому предмету (помимо внешних воздействий).

Пшеничное зерно, прорастая, *становится* пшеничным колосом, дыша воздухом, впитывая воду и растворенные внутри нее соли и солнечный свет и тепло. Внешние условия становления необходимы. Но все же пшеничным колосом зерно становится, исходя из себя самого.

Возможно, это справедливо для живого.

Но вглядываясь в космос, я с удивлением вижу, что и планеты, кометы, астероиды и звезды не существуют как нечто данное, они тоже созидались, так и Земля прошла удивительный путь эволюции, в результате которой появилась у нее и спутница, и вода и воздух, и почва, и растительный и животный мир. Одинокая скала на вершине горы, золотые россыпи возле нее, отмели и острова, болота, пустыни, истоки и притоки – ничто не есть как неизменная частица целого, но все стало собою, выявив заложенную в себе потенцию.

Не то же ли самое относится к математике и литературе и к отдельному человеку?

Что математика не произвольна, что она обусловлена СОБОЮ, заложенной в ней аксиоматикой и движением содержания, очевидно, хотя и также очевидно, что не вся она содержится в себе изначально как в семени.

Тем более это верно для человека.

Энтелехия личности не отменяет Судьбу и волю.

Мне необходимо понять самого себя. Я чувствую, что нечто, заложенное во мне изначально, еще в шесть лет, действует во мне до сих пор. Внимание к миру. К женской красоте и очарованию. К природе. Страсть к размышлению. Страсть.

Это *Энтелехия*. Но она мне известна лишь смутно.

Вообразил ли я или в действительности некие Высокие силы "имеют на меня виды", но с того же младенчества я живу с ощущением *Призванности*, которая мне также известна лишь смутно.

Энтелехия как потенция, как некий план развития, неотделимый от развивающегося, присуща всему, а уж человеку определено, и так же литературе, науке, культуре. И только, быть может, философия стремится быть своеобразной, ибо она не только врожденное, но и *воля, борьба, поиск*.

Наверное, врождена в нас Судьба, иначе как были бы возможны предвидения и предсказания? Но разве человек покорно плывет по ее течению? Разве он не борется с нею, даже изнемогая, даже погибая?

И разве нет удивительных встреч, происшествий, вмешательств, которые поправляют судьбу, которые призваны иногда к спасению, а иногда и к гибели человека? Я часто думаю, что бедствия, обрушивающиеся на нашу голову, это ИСПЫТАНИЯ, в них заключен важный смысл, который формирует и личность, и меняет судьбу.

В двадцать восемь лет я был направлен на некую словно бы переплавку, как шутил мой товарищ, на "Курсы исторического материализма" – и вот «благодатию Божию есмь то, что есмь» (по словам апостола Павла).

А разве не *благодать*? Разве иначе не был бы я благополучным, успешным, может быть, даже на Турецкий берег плавал бы греться на солнце, но не было бы этих Записок редактора, несомненно, ибо если мне, крестьянскому Сальери, и удастся *видеть*, то только потому, что и на следствии обливался холодным потом, и в заключении душа превращалась в ветошку, и «нож хирурга, к истязаниям привычный», резал мою грешную плоть, обещая, что «до утра я не доживу» (хотя, к счастью, и грехи мне удалось отстоять, и дожить даже до сего дня).

Потом было многое, и новые следователи (а со следовательницей мне даже посчастливилось целоваться, если мне это не кажется в становлении МИФА), и новые узы, и «месть врагов»... но Бог меня любит, и «клеветы друзей» я не испытал.

В апреле я разбил плечо, и оно болит до сих пор, хотя его уже "ремонтировали", но уже болеть устает, я его пересилил, не каждую ночь, и не во всю силу, а то и совсем не сильно. На днях я ездил на берег Ладоги, спал у костра в палатке, тащил потом по болоту тяжелый рюкзак (не такой тяжелый, как раньше), притащил десять литров брусники (помимо всего остального груза). Ну, скоро я буду как раньше.

Теперь я уже знаю, ЗАЧЕМ я его разбил, и оказалось, что это не козни дьявола, а суровое предостережение о горадо больших бедствиях. Но о них я не буду говорить, потому что та любовь, которую я не заслужил, но которая на меня изливается как благодать Божия, меня спасает и спасет впредь.

Став христианами, и Симон и Савл отказались от своих родовых имен, один стал Петром, а другой Павлом.

Я же вначале писал "на заборе", то есть на "стене", размещал там первые главы Книги и подписывался как Философ, а теперь, став, наконец, Редактором, возвращаюсь к своему родовому имени.

Город не всегда становится городом, но только когда он содержит в себе способность им стать, то есть свою энтелехию, душу, судьбу, призвание, предназначение. Для великого города все это определяется изначально, как для Рима, Парижа, Москвы, Петербурга.

Энтелехия – это и предназначение, и причина, и целесообразность, и характер. Отношение к миру как развивающемуся не в хаотическом дарвиновском движении, а ведомому духом обусловленного и необходимого развития, воспитывает в человеке чувство и понимание логического, этического и эстетического как основных свойств бытия. Красота и нравственность не могут существовать в человеке, если они не существуют в мире и бытии.

Мир сам своего рода роман, и его Творцом является мировой дух, но в сотворчестве с человеком. Та культура, которую мы созидаем и вносим в мир, не чужда миру.

Пока я писал эту книгу и определял *Признаки* русской литературы, я и сам их забыл. Возможно, не в их перечислении дело, а в духе русскости, который тот же во всех нас, гордые ли мы сыны славян (увы, я уже не решаюсь этим гордиться), или родились в семьях тунгусов и калмыков.

Но все же их перечислю:

- 1. любовь или сострадание автора к героям;*
- 2. отождествление автора со своими героями;*
- 3. поиски Бога и переустройства мира.*
- 4. истоки и преемственность.*
- 5. язык как основное изобразительное средство и основной признак народности (национальности).*
- 6. единство и обусловленность этического и эстетического в художественном произведении.*
- 7. народность.*

Литература – это призвание и бремя. Так же чувствовал и Пушкин. «Играть в бисер» русский писатель органически не способен.

14 сентября 2013

 ПЕРЕКЛИЧКА с РЕДАКТОРОМ
Заметки Редактора.**(К роману Ефремовой. 01.11.13)**

Не решался читать комментарии к любимой книге – так в юности страшишься спрашивать у друзей мнение о своей избраннице. Наконец, собственное восприятие романа застыло (не знаю, в камне или в бронзе) – и сколько же наслаждения доставили мне и чужие оценки!

"Такая любовь, увы, редка в наши дни... – пишет Марта – но еще реже такие повествования о любви, чистые и глубокие, и непорочные."

Почему же так мало читателей? Это, конечно, вопрос к "Философу" – но если бы я знал ответ!

Только что вернулся с философского собрания, на котором речь шла о русских поэтах девятнадцатого столетия – какие они были счастливики, и как трагична наша судьба! Но не будем отчаиваться: если даже один прочитает внимательно и с любовью то, что создал литератор, третьим будет Нива культуры – значит, зерно уже посеяно, когда-нибудь мы дождемся и всходов.

Давно не заглядывал на эту страничку, хотя о романе никогда не забывал, он со мной – как поздняя любовь: горчит, тревожит, даже наполняет иногда болью. И все же изумления и радости больше. Я о нем еще буду писать, он еще во мне продолжает прорастать, как прорастают под снегом озимые. Но эти строки пишу потому, что изумился низкой оценке рейтинга, хотя комментарии говорят о высокой оценке, комментарии меня порадовали. То, что они краткие – не беда, о Романе говорить трудно, мы еще и о «Войне и мире» не все сказали... Спасибо читателям, они, все же, существуют, а значит, не все потеряно, мы еще **ПОБЕДИМ!!!**

(Наталья Троицкая «ОБНАРОВ». роман о любви. Язык и судьба.)

Этот роман перевернул мою жизнь. Я уже думал, что всё... ну, словом, всё... одна нелепость и... нелепость...

Если остается только презирать и ненавидеть – то лучше сразу повеситься, как герою Достоевского в очерке «Сон смешного человека».

Нет, не то чтобы я и впрямь собирался повеситься, но жить уже не хотелось. Я думал, что буду продолжать катиться по скользкой дороге жизни, как катится колесо, оторвавшееся от телеги, пока оно не завалится в канаву или не иссякнет инерция движения. А теперь мне захотелось что-то фантастическим образом изменить! Вернуться к телеге, приладиться к ней, впрячься в нее вместо лошади, начать понукать и другие колеса: а ну, начинайте крутиться, сволочи! – так чтобы телега продолжила, хотя и со скрипом, движение. Для себя я решил вопрос: Быть или не быть.

Я читаю роман. Знакомлюсь с его героями. Переживаю те обстоятельства, которые выпадают на их долю. Заливаюсь слезами...

Читатель, разведи руками, но смирись: плакать я буду еще долго.

Плакать будешь и ты, если только вместо сердца у тебя уже не обледенелый камень из скепсиса, иронии, сарказма, насмешки, ненависти, презрения – ко всем, кроме себя. Словом, если у тебя вместо сердца не тот самый обледенелый камень, который был и у меня.

Я вдруг почувствовал, насколько люди несчастны, даже более, чем я сам!

И мне захотелось написать нечто вроде романа (хотя бы только для себя), в котором я постараюсь примириться со своим народом, со своей страной. Простить их. Если не полюбить всех, и не простить всех, то хотя бы простить и полюбить некоторых.

А тут со мной стали случаться всякие чудеса, начались встречи с разными людьми, разные примирения...

Во множестве современных произведений даны осколки толпы, текучей и бесконечной, и тысяча романов не представляет и тысячной доли жизни. Этот же удивительный роман представляет нам почти всю жизнь. Его герои – живые. Они удивительны.

Судьба главного героя тесно переплетена с судьбой России, с нашей горестной и нелепой жизнью, временами романтической и героической, временами безумной.

Обнаров, по имени которого назван роман, выражаясь языком Шпенглера, фаустовский тип, его характер дан не в античной статике, а в европейской динамике. В русской литературе это явление беспрецедентное.

Какими мы видим главных героев русской жизни и литературы? Их становление завершилось, они уже осуществились – Чацкий, Фамусов, Скалозуб, Хлестаков, Ноздрев, Печорин, Онегин, Болконский, Пьер Безухов, князь Мышкин, Раскольников.

И только Обнаров дан в становлении!

Роман многолик, глубок и обширен, как и сама жизнь. В нем есть все: страсти и чистая любовь, ненависть и месть, падение и взлет, боль и преодоление. Есть герои, тождественные одной пронзительной, сильной музыкальной теме, есть люди – симфонии. Иногда кажется, что в романе судьба проявляется только «бездны на краю», появляется только на краю жизни, на краю смысла, любви, ненависти, на краю оправдания. И чем оправдывается и судьба и герой? Сначала силой, красотой, талантом – всего ему отмерено сверх возможного. Потом – страданием. Но все самое важное происходит вне личной воли героя, СВЕРХ нее.

Мир, представленный в романе, только на периферии зла и добра чернобелый, а в основных своих частях он содержит много полутонов. Автор любит этот мир и учит нас его любить, в каждом учит надеяться на лучшее, и только уж отпетого негодяя, вроде Никиты Сазонова, он отправляет в ад читательского негодования.

Роман многогранен, как наша жизнь. Но после него хочется не ненавидеть белый свет, а любить его, обнять его, помочь ему.

Оправдание мира – вот что такое этот роман.

Но не буду ничего обосновывать, тогда мне надо переписывать в статью многие страницы из романа. Пусть читатель сам перелистывает их, и если он даже разучился читать, теперь научится читать заново.

Мы часто думаем, что время великих прошло, что «Война и Мир» были давно и больше не будут. Нет, и ныне происходят войны, и мы находим мир между ними, и учимся мыслить и чувствовать, и даже создаем великие произведения. Будем справедливы к нашим современникам – они не хуже тех, что были, не менее талантливы. Не все. Но ведь и тогда талантливы были не все.

Роман написан на русском языке, и этот язык богатый, сочный, точный – то есть настоящий русский язык. К сожалению, в нашей литературе это все реже встречается.

Критические статьи на художественные произведения – это особый жанр литературы. Я – редактор. Критических статей не пишу.

Но сейчас я не могу сдержать восторг, переполняющий мое сердце.

Год назад вышла в свет повесть Анастасии Поповой «И мы пошли по облакам», два месяца назад я прочитал роман Натальи Ефремовой «Осколки памяти», сегодня дочитал, в слезах, роман Натальи Троицкой «Обнаров». Три женщины, три судьбы, три дарования. Восторг переполнять меня начал еще с первой повести, но на «Обнарове» я уже не выдержал. Слезы текут по щекам и каплют на бумагу, застывая иногда чернильными кляксами, иногда словами. Кляксы и слова превращаются в строки.

Ну, что ж, ничего не поделаешь, молчать я не мог. Я должен был высказаться!

3 ноября

Дорогой Василий Иванович!

Прочла ваши огорчённые комментарии к "Обнарову" и к "Осколкам памяти". И хочу вас, насколько смогу, утешить и отчасти оправдать. Прежде всего, эти книги, как можно судить по отрывкам, – безусловно, хорошие, стоящие, серьёзно и с душой написанные. Но ведь каждый человек ищет в литературе чего-то своего. Кто-то – бурных страстей; кто-то – погружения в чудную, небывалую и полную волшебных приключений жизнь, а кто-то – суровой "правды-матки", причём обязательно со всеми её черными сторонами. Я встречала немало учителей литературы, не ценящих Маяковского, Достоевского, Солженицына, Булгакова. Уверяю вас, не все любят даже Есенина! А почитайте, что пишут в интернете по поводу творчества Улицкой! Я уж не говорю о наших скромных авторских персонах. Лично мне племянница мужа сказала: "Тётя Лена, честно говоря, я бы вашим героиням так и врезала! Уж такие они у вас правильные, прямо тошно!" Я ни секунды не сомневаюсь в её искренности, однако у меня есть и моя правда: в моём окружении действительно по большей части "правильные" женщины: некурящие, малопьющие и придерживающиеся общепринятой морали. Тем не менее некоторые из них, на мой взгляд, достойны внимания! Однако я не удивляюсь и мнениям, подобным тем, которые вы можете прочитать о моих "Ценностях" на главной странице сайта. Люди имеют право не обожать мои вещи. И спасибо, что есть и "мои" читатели. Ведь и я имею право читать главным образом произведения, которые чем-то сильно зацепили меня – а

цепляет меня главным образом хороший слог, причём, как я замечала за собой, с очень умеренным количеством прилагательных. Люблю я Довлатова, Маканина, Петрушевскую, Токареву. Не сомневаюсь, что у "Обнарова" найдётся множество читателей, а "Осколки памяти", как я поняла, уже сейчас пользуются хорошим читательским спросом – где-то Наталья Ефремова пишет, что в "Озоне" её роман продаётся с пометкой "выбор читателей". Так что она выходит на широкую читательскую аудиторию! А что касается "Обнарова", то, честно говоря, я не знала, что он участвует в конкурсе-2013, потому что отрывок опубликован на сайте во время предыдущего конкурса и, получается, участвовал в нём в прошлом году.

Простите, дорогой Василий Иванович, если чем-то огорчила вас. Но надеюсь, хоть отчасти и ободрила!

Увлечённо перечитывающая вашу книгу Елена Лобанова.

Наталья Е--ва *12 ноября 2013*

Я прочла вторую главу «Инобытия». Сейчас перечитываю, потом отдам ее С., а сама возьмусь за последние присланные Вами главы. Спасибо, что не забываете, высылаете главы новой книги. Я сейчас читаю небыстро, путано, поскольку параллельно перечитываю «Призвание литературы», которое у меня отбирает мама, чтобы прочесть самой и передать моей учительнице литературы из гимназии и даже своей, очень пожилой учительнице. Видите, какая получилась очередь? А Вы сетуете на отсутствие читателей...

Спасибо Вам, что пишете для нас, как Вы нас высоко величаете, "души моей царицы". Вы пишете и для себя тоже (это важно, это сродни, а может, и лучше психотерапии), и для других читателей.

Часть о ЧУДЕ меня, признаюсь, увлекла настолько, что ее я перечитывала не один раз. Особенно внимательно Ваши рассуждения о хаосе в произведении и о случайных и неслучайных словах. Как же Вы правы! Я сама, перечитывая свои отрывки, стараюсь искать такие случайные слова, заменять или убирать их вообще. Теперь буду прорабатывать тексты еще внимательнее.

Я была удивлена и очень-очень польщена, что Вы опять вспоминаете мой первый роман. Спасибо Вам за добрые слова, высокую оценку и память! Для меня это дорого!

А чудо, случившееся с Вами 14 лет назад и описанное в главе, едва ли не заставляет плакать. Но я искренне верю, что случается подобное в жизни, и Ваше исцеление это подтверждает.

... Ваш преданный В.И.

Дорогая Наташа! Мой компьютер вышел из строя, работать на другом неудобно, буду краток. Спасибо за поддержку! (Да, на чужом компьютере такое чувство, словно кто-то подглядывает).

В шесть у врача получаю результаты обследования, волнуюсь. Но что бы то ни было, сегодня начну четвертую главу.

Елена Л.

«Удивительная, многогранная книга, открывающая мир редактора изнутри, с его видением, сомнениями, размышлениями и широчайшими знаниями из области литературы, философии и религии, а главное – человеческой души. Василий Иванович, я глубоко признательна Вам за нашу совместную работу, за высокую оценку моего творчества и за "Призвание литературы". Перечитываю Вашу книгу в третий раз, уже перелистывая страницы! Спасибо!»

Присоединяюсь к словам Натальи Е--ой и хочу добавить, что о таком чутком, деликатном и высочайше образованном редакторе, как В. И., любой автор может только мечтать!

23.01.13 19:49 Тр--ая Наталья

Тонкий юмор, изящный слог, красивый и правильный русский язык. Если все "Волшебные истории" столь увлекательны, как предложенная в отрывке, читать книгу будет одно удовольствие. Какова подача сюжета! Сюжет развивается ярко, стремительно, 100% неожиданно. Браво, мастер!

А. С. Мануйлов

Роман В. И. Чернышева “Боль и любовь” открывает для читателя совершенно забытый, ускользающий пласт литературы о земле, ценностях людей, сформировавших свой характер вдали от городского хаоса. Точное знание уклада деревенской жизни, экзистенциальных и бытовых проблем “человека земли” наряду с глубокими личными переживаниями автора позволяет читателю максимально приблизиться к узловым, далеко не всегда приятным моментам отечественной истории. Особую ауру создает постоянное присутствие в тексте автора, ощущающего историю не как ставшее, но как становление. При помощи перманентной рефлексии автора читатель незаметно проникает в роман, становясь его неотъемлемой частью. Повествовательный анахронизм держит в напряжении внимание читателя, с легкостью перемещая его во времени. Структура произведения насыщена несколькими повествовательными моделями, приемами потока сознания и игровой иронии, меткой сменой стилистических кодов – от основ разговорной лексики до диалекта, от яркого художественного стиля до сдержанной публицистики. Широкий спектр философских проблем, прежде всего, идеологических, является генеральной линией романа, неким внутренним “диалогом”. Богоборческие мотивы сменяются критикой рационализма, вульгарный марксизм разбит о восхваляемые автором вершины культуры и искусства. Деконструируя собственную биографию и творческий путь, автор создает новое пространство, позволяющее ему переосмыслить былое и найти непроторенные дороги как в жизни, так и в творчестве.

9 августа 2017, среда, ясное утро. Послесловие

Редактирую то, что уже мною написано, готовлю собрание своих сочинений (книг, текстов) к выставлению на литературный Сайт, одновременно и к печати – для самого себя и возможных читателей.

Вдруг захотелось объяснить недоразумения и недоумения, связанные с моим творчеством, объяснить причины, по которым я пишу именно так, упрямятству в потакании чужим советам (хотя часто и соглашаюсь с ними). Написав двенадцать громоздких книг, я не сумел объясниться с обществом, но сумею ли теперь объясниться с ним в кратком послесловии? Да, как ни странно, я почувствовал, что все самое важное вот теперь смогу сформулировать и высказать.

Некоторые из моих товарищей-писателей говорят, что мои тексты представляют собою «поток сознания» – это, конечно, не совсем так, в прошлом я писал и стихи в традиционном смысле слова, и рассказы и даже роман, и письма и дневники. Последние пишу и теперь, но теперь их я выделил из написанного на потом: если у общества появится интерес к тому, что я пишу, и кто-то захочет прочесть и дневники, их он сможет (при нынешней возможности печатать свои и чужие сочинения даже в одном экземпляре) заказать и прочесть после того, как прочтает все остальное, более похожее на литературу в общепринятом смысле слова. А что это может случиться, доказывает феномен Розанова – вдруг, после почти ста лет забвения, почти все его книги, статьи и заметки печатаются, и по объему это гораздо более моего. Правда, возможно, он пишет гораздо лучше меня – но я не могу этого знать точно. Он пишет хорошо, но не всегда прав, как я думаю; я пишу лучше многих, как об этом мне даже приходилось слышать от читателей (немногочисленных).

Итак, вначале я писал более традиционно, но теперь мне это перечитывать трудно, слишком наивны мои рассказы, даже надуманы, фальшиво-патетичны, а стихи не совершенны по форме. Теперь я пишу лучше, но это... поток... Нет, не совсем верно. Главное мое свойство – оспаривание чужих мнений, почти повсеместно ошибочных, я еще в детстве ввязался в спор и так с тех пор спорю: с окружающими, учителями, властью, теперь вот спорю с литературой и философией. Однако меня многие и учили и учат: бесплодные у меня были учителя, некоторые из них даже со мною дружили и меня любили, были это и школьные учителя, и университетские, и писатели, и те выдающиеся личности, которых связывал со мною случай и судьба: учили меня девушки-красавицы (а женская красота – это то же самое, что гениальность ученых и писателей), и великий собиратель наследия русских вокалистов Юрий Борисович Перепелкин, и поэт и переводчик Корана Теодор Адамович Шумовский, и геолог и собиратель живописи Михаил Андреевич Гневушев, и математик и философ Игорь Ростиславович Шафаревич (с которым я, правда, тоже спорил), и мои современники Казимир Лавринович, Сергей Сергеевич Шульц, ... дождь, ветер, солнце и воздух – все на меня влияет благотворно и я всему благодарен, и мой спор аккумулирует, собирает

все благотворное в великих – для вразумления общества. Мои книги – это мой бесконечный спор, который я выражаю в форме литературы.

Но почему и зачем я спорю так настойчиво, даже ожесточенно с окружающими и обществом, с властью и историей? С учениями и даже с Богом?

Потому что ... вот почему – ... и это почти все объясняет и во мне, и в моем творчестве, и в моем разладе с миром.

Как полагает большинство (вместе с материалистами, в частности, с недавно самым знаменитым и хотя и поверхностно но приемлемо и понятно для большинства формулировавшим этот материалистический взгляд на мир) – существует абсолютная внешняя реальность, независимая от нас и «данная нам в ощущениях», и существует ощущающая личность, весьма существенно, почти всецело определяемая этой внешней реальностью, в частности, обществом: те (предметы и люди) источают флюиды и воздействия (например, при недавней диктатуре пролетариата, посылают по ночам «воронки»), а эти (несчастные, сплошь почти нули и единицы, о которых великий пролетарский поэт писал, что «единица вздор, единица ноль, но вот если в коллективную реальность сгрудятся малые...»).

Чем я от них всех отличаюсь? Я отвечаю, что все сказанное ими почти верно, но это еще не все, отношения объективного, внешнего и моего Я сложнее, и хотя мир существует и до меня и после меня, но все наши споры и разговоры, в которых я принимаю участие вместе с другими, происходят в рамках того, что называется **жизнью**, вне ее теряет смысл и объективная и личная реальность, в мою и нашу общую жизнь входят и философия и литература, более вечные чем даже «воронки» и «диктатура пролетариата» (даже чрезмерно мало проживший Пушкин успел пожить при трех царях, так что даже и цари не вечны!). Я отличаюсь от большинства своими стремлениями, некоторыми неотрывными от моей личности свойствами: все стремятся к удовольствиям, успеху, развлечениям (как и я), но я еще стремлюсь узнать, что в этом мире верно а что неверно и отделить неверное от верного и неверному возразить и даже по возможности неверное исправить, Я врожденный редактор и учитель. Обладая слухом, я отзываюсь болезненно на все фальшивое и инстинктивно ему возражаю. Главное мое стремление – к истине, гармонии, красоте, справедливости! Я стремлюсь еще и исправить все то, что меня раздражает. Так учитель русского языка автоматически отмечает ошибки в газете, которую читает, Вот почему я стихийно спорю с миром и безостановочно пишу свои книги. Статьи, в недавнем дореволюционном прошлом, как мне рассказывали, слушатели приходили в филармонию с партитурой музыкальных сочинений и следили по ним за игрой музыкантов!

Возможно, сто лет назад и ранее я ничего бы и не писал, а просто в частных разговорах за обедом между прочим возражал Федору Михайловичу или Льву Николаевичу, они бы к моим возражениям (как умные и образованные люди) иногда прислушались бы и ошибки в своих сочинениях исправляли, как прислушались друг к другу участники Петербургского Религиозно-философского общества, в котором тон задавали Мережковский и Розанов.

Итак, я критик, редактор, учитель арифметики и русской словесности, мои книги – то же, что особая осанка старого военного, что забота матери о ребенке, что работа учительницы над ошибками учеников. Много пишу не потому, что слишком навязываюсь, а что ученики пошли так плохо подготовленные, в детском саду их перестали учить как должно, да еще и телевизор развращает и портит.

Я не утверждаю, что настолько лучше других, что имею право всех поучать – учитель тоже человек и почти такой же как все – но так как жизнь дала мне профессии критика, редактора, учителя арифметики и словесности и неумемное стремление к исправлению и чужих и своих ошибок (себя я тоже поправляю и тексты свои перечитываю и редактирую!), то я и не могу пройти мимо чужих ошибок. К тому же в большинстве своем они настолько вопиющи, что неотличимы от преступлений.

В Германии восхваление и оправдание Гитлера и нацизма является уголовно наказуемым, почему же в России преступная власть из всех своих труб и громкоговорителей восхваляет тирана и тиранию и внушила народу любовь к ним, хотя еще полвека назад само же государство пыталось отречься от самых вопиющих злодеяний сталинского и большевистского режима, уничтоживших Россию и лучшую часть русского народа? Да потому что и нынешняя власть антирусская, а ее показная любовь к России – дымовая завеса разбойничьего ограбления. Десять миллионов уморенных голодом, десять миллионов уморенных в лагере, тюрьме, у расстрельного рва – и мой современник осмеливается безнаказанно у преступной нечисти выискивать нечто оправдывающее? Надо бы пройти мимо них и даже не отвечать – но я не могу пойти мимо большинства народа, я думаю, что он болен! Как его лечить? Этого я не знаю и ради поиска лекарства тоже пишу. Значит, пишу я не литературу, я бродячий обличитель язв, ученик Сократа или Конфуция, Гиппократ или Галена, я подобен матери, воспитывающей своего ребенка – и мать не претендует на полноту знания истины, но матери дана родовая память добра и зла, красоты и безобразия, справедливости и неправды, сострадания и жестокости, вот и во мне жива эта родовая память.

Плохо или хорошо написал я свои книги, до конца этого я не знаю, но чувствую, что не написать их было бы хуже.

Но теперь объяснюсь относительно их содержания и редактирования.

Я ведь не только исправляю ошибки читателей, но кое чему пытаюсь их научить, прежде всего тому, что у каждого есть своя голова на плечах и своя родовая память, общая и для меня, и у каждого из них есть учителя или должны быть учителя те же самые, которые научили меня, то есть великая русская литература, великий русский язык и поучительные русская история, философия и культура. Почему же не учитесь вы у Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Мусоргского, Скрябина, Розанова, Иванова-Разумника, а схватились за Маркса и Троцкого? Плохое привлекательно, легко научить курить сигареты и пить вино, пепси-колу вместо русского кваса (которого, правда, уже не производят), легко говорить похабное, забывая родной язык, легко жить воровством и обманом, легко сосредоточить все силы души на самом себе, забывая окружающий мир, природу и человека.

Так называемая **Реальность** – это не всё и не всегда самое важное, есть ведь и совесть, а она внутри, чувство красоты и правды, потребность в заботе о других – а она есть у каждого, только сначала христианство внушило нам мысль о том, что весь смысл жизни в спасении самого себя (и плевать на других), а потом большевизм унизил личность и возвеличил муравейник, а теперь и те и другие обрушились на человека, заглушая в нем его внутреннюю родовую правду.

Продолжая готовить свои книги к тому, чтобы выставить их на сайте, наткнулся на письма некоторых читателей о моих книгах, письма хвалебные, я даже и забыл про них, и мне стало стыдно, что я постоянно ругаю свой народ, а он не однороден, в нем так много прекрасного, что этого достаточно, чтобы утешиться. Мне казалось, что в восьмидесятые годы люди были возвышеннее и глубже, и после того еще военного поколения, от которого я так много получил, многое в народе изменилось к худшему. Но в ту эпоху я существовал ведь не среди всех, а только среди наилучшей части общества, одни приходили ко мне на литературные вечера, к другим я ходил в гости, и там тоже были избранные, а нынче круг моего существования значительно расширился, это и деревня, и дорога, и писательская среда, и интернет, домашних литературных и музыкальных вечеров уже нет, я живу в толпе, а она и не может быть слишком возвышенной.

Следовательно, надо более справедливо отнестись к обществу. В дороге я встречаюсь с множеством интересных людей – но те, кто останавливается в дороге, чтобы меня подвезти, и не может быть представителем толпы, останавливается один из ста, поэтому все они принадлежат к избранным, по крайней мере, к *особенным*. О них я надеюсь написать книгу «Встречи на дороге».

Но вернусь к своему собранию сочинений. Чтобы дотащить его до панели Сайта, выставить его на эту панель, я должен с ним сейчас меньше возиться, так, чуть-чуть почистить, самое необходимое, и – на панель, а иначе оно засохнет не читанным.

Но нельзя чрезмерно спешить и испортить его изменениями, слишком наспех меняя, лучше оставить почти по старому. Что надо непременно менять, увидится лучше уже после подготовки целого.

Дневники и письма я выделяю из Собрания на обочину, на потом, в Приложение. Несколько книг откладываю для редактирования, их еще перечитаю. Оставляю следующие:

Метафизика любви (Собрание стихов. Собрание рассказов. Боль и любовь, роман). *Металогика откровения* (Записки на пальме. Куда идти? Поиски длиною в жизнь.). *Записки редактора* (Призвание литературы. Литература как Инобытие. Инобытие как Литература и Миф.). *Любовь как всемирное притяжение* (Очарование любви. Трагедия любви. Прощание с N.)

И теперь надо на время расстаться с читателями и литературой, отдохнуть друг от друга... Завтра я проверю крепость духа и плоти, а послезавтра уезжаю в деревню и буду пестовать плоть, вне и внутри, ухаживать за грядками и закалять свое тело в крестьянских трудах. -----

Суббота, 1 декабря 2012 г., полночь. Вчера были в Концертном зале, английский драматический тенор, Баллада Редингской тюрьмы. Замечательная музыка, потрясающий голос.

Работа, увлечение (страсть), мания (болезнь) – вот три основные формы взаимоотношений человека и мира, любовь существует или сама по себе, или соединяется с тем или другим. Блажен, у кого работа (профессия) одухотворена любовью. Несчастливы те, у кого увлечение переходит трезвые границы и становится всепоглощающей страстью – игроки, коллекционеры, поклонники. Еще несчастнее те, у кого и сама любовь становится единственной формой связи с миром, любовь ли это к Богу, к женщине, к власти или богатству; у кого любовь превращается в болезнь.

Соль преобразует мир, любовь – это соль мира. Надо только заботиться о том, чтобы ее не было слишком много, ибо хотя мир без соли пресен, но и только соль несъедобна.

Преподавание было для меня не только работой, но и увлечением, и я счастлив, что я свою работу любил. Но заодно я любил и тех, кого я учил математике, как правило, это были девочки и девушки, и они тоже любили меня. Наша взаимная любовь была той солью, которая черствый хлеб математики делала вкусным.

То же самое происходило с дружбой, в ней всегда было немножко любви (или даже много), и я называл такую дружбу *влюбленной*.

То же происходило с моими увлечениями, правда, необходимую границу я часто переходил. Играл в карты я страстно, собирал книги с еще большей страстью, и еще с большей страстью увлекался девушками. Увлечение ими я ставлю в ряд с игрой и собирательством книг, а Любовь выделяю в отдельное состояние души, которое в той или иной мере наполняло мои увлечения.

Редактирование книг почти сразу превратилось в увлечение, подобное учительствованию, или становится его новой формой.

Но главное мое увлечение – разговор с женщиной.

Вот теперь для меня объединились все грани мира в одно целое. Моя работа, т.е. редактирование – это разговор с Литературным текстом. В нем я пытаюсь понять самого себя. Но и разговор с женщиной не таков же ли? Она для меня и текст и ученица, я и редактор и учитель.

Потом я посмотрел внимательнее на свою юную собеседницу и воскликнул: Но теперь я понял самое главное: женщина – это река, протекающая через жизнь, через детей и мужчин. И именно эта река является единственным подлинным редактором. Это не я Учю и Редактирую своих подруг, это они меня в течение жизни переписывают, совершенствуют, преобразуют для какой-то неведомой высшей цели.

Они меня учат пониманию любви, а значит – пониманию Бытия и Человека.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая. Насилие и любовь.	стр 3
Глава вторая. Обыденность и исключительность.	стр 21
Глава третья. Любовь.	стр 33
Глава четвертая. Почва.	стр 43
Глава пятая. Язык.	стр 53
Глава шестая. Язык, культура и национальность	стр 66
Глава седьмая. Язык, народ и культура	стр 91
Глава восьмая. Истоки и смысл Русской литературы	стр 106
Глава девятая. Спасет ли мир красота?	стр 126
Глава десятая. Хаос и космос. Красота и спасение	стр 138
Глава одиннадцатая. Жизнь как миф	стр 152
Глава двенадцатая. Смысл литературы	стр 171
Глава тринадцатая. Литература. Смысл и цель	стр 187
Глава четырнадцатая. Так что же такое творчество и культура?	стр 200
Глава пятнадцатая. Разрушение Несвободы	стр 217
Глава шестнадцатая. Частная жизнь и Метаистория	стр 229
Глава семнадцатая. Любовь как всемирное тяготение	стр 245
Глава восемнадцатая. Роман как метафизика жизни	стр 261
Глава девятнадцатая. Оправдание	стр 278
Глава двадцатая. Подведение итогов	стр 291
Глава двадцать первая. Литература как математика	стр 312
Глава двадцать вторая. Автор и миф	стр 329
Глава двадцать третья. Система ценностей	стр 352
Эпилог. Эйдос и Энтелехия	стр 363
Перекличка с читателями	стр 367
Послесловие	стр 372

Василий Иванович Чернышев

ЗАПИСКИ РЕДАКТОРА

Книга первая

ПРИЗВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Текст книги размещен на сайте
spb-pisатели.ru

Подписано в печать 27 августа 2017
Формат 60х90 1/16 24 п. л., **384** стр.

Печать по требованию

Санкт–Петербург

2018

ЗАМЕТКИ ПРИ ЧТЕНИИ
